

Александр Блок

Александр Александрович Блок

**Том 8. Письма 1898-1921**  
(Собрание сочинений в девяти томах #8)

Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее вышедших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.

В восьмой том собрания сочинений вошли письма 1898-1921 годов.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

**Александр Александрович  
Блок  
Собрание сочинений в  
деяти томах  
Том 8. Письма 1898-1921**

# Письма

## 1. Отцу. 18 октября 1898. <Петербург>

**М**илый папа!

Я все не мог собраться написать Вам; вообще я слаб насчет писанья. Теперь пишу и поздравляю Вас с днем Вашего рожденья.

Теперешней своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала мало, разве «общее». В Университете, конечно, гораздо интереснее, а кроме того, очень сильное чувство свободы, которую я, однако, во зло не употребляю и лекции посещаю аккуратно. Относительно будущего пока не думаю, да и рано еще мне, кажется, думать о будущем.

Из лекций меня интересуется история русского права, благодаря, вероятно, Сергеевичу, который читает очень популярно, даже немного элементарно. Единственный дурно читающий профессор — Петражицкий, который отвратительно говорит по-русски и сы-

пет иностранными терминами, не объясняя их, хотя следовало бы ему все-таки помнить, что мы — гимназисты 8-го класса и еще не привыкли к научному языку. Георгиевский и Ефимов читают ровно и очень недурно.

Теперь я довольно часто бываю у Качаловых (по субботам), где все со мной очень мило и любезно. Близко познакомился с кузинами и постоянно провожу с ними время. Кроме того, бываю у Менделеевых, с которыми коротко познакомился летом, когда они устраивали спектакли и я очень много играл и имел даже некоторый успех. Провожу довольно много времени с моим другом Гуном, который теперь на другом факультете, постоянно гуляю по Петербургу, вообще очень весело и приятно провожу время, пишу стихи, иногда пытаюсь писать прозу, но у меня ровно ничего не выходит. Пока еще мое времяпрепровождение довольно водянисто, и писать совсем нечего.

Ваш *Саша*.

## 2. К. М. Садовской. <1898. Петербург>

Чем больше я вижу Тебя, Оксана, тем больше во мне пробуждается то чувство, которое объяснить одним словом нельзя: в нем есть и радость, и грусть, а больше всего горячеей, искренней любви, и любовь эта не имеет границ и, мне кажется, никогда не кончится. Чувство это бурно и не дает мне совсем покоя, я имею потребность видеть Тебя как можно чаще, любоваться Тобой и хоть на минуту утишить ту страшную бурю, которая все время бушует у меня в душе; и мне хочется, чтобы Ты, безмятежный ангел, обвеяла меня своими крылами и разрушила сомненья моей больной души, которая стремится к Тебе только и не находит выхода. Ты скажешь, откуда взялись эти порывы у такого холодного, безнадежного эгоиста, который заботится только *о себе*?! Неужели же я не знаю, что я действительно эгоист, и сознание этого часто мучает меня... Я не могу ждать дольше пятницы нового свидания: если только можешь, то приходи в четверг, я буду ждать Тебя во 2-й

линии против дома; мне нужно только видеть Тебя и знать, что Ты со мной; а в пятницу прийти я не могу, меня заставляют исповедоваться именно вечером. Странное совпадение! Приходи в четверг, ради бога, моя душа только к Тебе стремится, только Тебя и жаждет. Может быть, Твое письмо поможет мне избавиться от эгоизма, и этим Ты спасешь меня от большого горя в жизни; а если Ты думаешь, что экзамены и пр. будут страдать от этого, то знай, что мне прежде всего нужна жизнь, а жизнь для всякого человека самое главное, потому я и стремлюсь к Тебе и беру от Тебя все источники жизни, света и тепла. Не знаю, может быть, это свойственно моей молодости, но на меня благотворно и жизневительно действует эта роскошно распускающаяся весна и наполняет все мое существо, особенно когда Ты со мной, а мне кажется часто что Ты близко от меня, и я думаю,

*Не здесь ли Ты легкою тенью,  
Мой гений, мой ангел, мой друг,  
Беседуешь тихо со мною  
И тихо летаешь вокруг?  
И робким даришь вдохновеньем,*

*И сладкий врачуешь недуг,  
И тихим даришь сновиденьем,  
Мой гений, мой ангел, мой друг...*

У меня в сердце постоянно звучат эти чудные строки. А мысль о Тебе действует на меня как музыка: то душа полна грусти, то внезапно замрет от бурного веселья, то жадно стремится к свету. Не правда ли, что это любовь? Будешь ли Ты еще сомневаться?

Я жду теперь Твоих писем, как неземного счастья... Жду Тебя, приходи.

### **3. Отцу. 22 января 1900. Петербург**

**М**илый папа!

Прошу Вас, если можете, прислать мне теперь те деньги, о которых Вы говорили, так как мои денежные средства приходят к концу; пришлось взять отсрочку в Университете.

Лекции у нас начались очень поздно - 15 января, что несколько повлияло на мое умственное настроение, так как на Рождестве я ничего не делал и настроился более в сторону искусства (преимущественно драматического теперь), чем науки. Впрочем, теперь я вхожу в курс лекций и стараюсь по мере возможно-



сти совмещать приятное с полезным; пока это несколько трудно, потому что я поступил в «Петербургский драматический кружок» и мне дали большую драматическую роль первого любовника в скверной пьесе, которую я буду играть 6 февраля в зале Павловой; считки, репетиции, а главное, мысль об исполнении такой ответственной роли берут у меня, конечно, время, однако я аккуратно хожу на лекции и немного занимаюсь дома.

Стихи подвигаются довольно туго, потому что драматическое искусство — область более реальная, особенно когдаходишь в состав труппы, которая хотя и имеет цели нравственные, но неизбежно отзывает закулисностью, впрочем, в очень малой степени и далеко не вся: профессиональных актеров почти нет, во главе стоят присяжные поверенные. Во всяком случае, время я провожу очень приятно и надеюсь получить некоторую сценическую опытность, играя на большой сцене. Несмотря на все это, начинаю подумывать об экзаменах и университетских репетициях, а также практических занятиях по русскому праву, которые начнутся у меня 25-го (обяза-

тельные). В чем они будут состоять — пока неизвестно. У нас на IV семестр ими руководит Грибовский; во всяком случае, едва ли они будут теперь особенно серьезны и трудны, чему, может быть, поспособствуют 8 февраля, Грибовский и весна. Целую Вас.

Ваш *Сатура*.

#### **4. К. М. Садовской. 31 марта 1900. Петербург**

**Г**лубокоуважаемая Ксения Михайловна.  
Я глубоко понимаю, чувствую и верю. Прощенья я не прошу, потому что нельзя просить его. Не спрашивайте о том, что было. Получить от Вас карточку — мое глубочайшее желание. Посылаю Вам свою. Страстно хочу получать от Вас письма, хоть изредка. Кому и чему может «теперь» мешать эта переписка? — Так же страстно хочу писать Вам иногда, если хотите знать, что у меня в душе. Будет ли ответ? Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. 7. В начале мая я уеду: Николаевская железная дорога, станция Подсолнечная, имение Шахматово.

Р. С. Что было? Было, конечно, то, что очень трудно объяснить, зная даже мою отвратительную натуру. Я сам не берусь объяснять этого «психологического» явления. Со мной бывает вот что: я — весь страсть, обожание, самое полное и самое чистое; вдруг все проходит — является скука, апатия (мне не за чем рисоваться), а иногда отчаянная беспредметная тоска. Что это? Молодость? Пресыщение? Безнравственная черта характера? Последнее, пожалуй, всего вернее. Вот полное объяснение.

Поверьте, это и мне тоже даром не проходит, теперь тем более не прошло.

У Вас там горы, море и южное небо Франции, а здесь — тусклый, серый Петербург и синяя дымка островов, где каждое дерево, каждая вечерняя тень, каждый поворот дорожки невыносимо больно, тоскливо и резко говорит мне, что «тогда» было первое и последнее — настоящее молодое счастье; помните Вы парк, залитый лунным светом, темное озеро, в котором опрокинулись еле заметные для глаза отраженья островов, и плывут большие белые лебеди; а здесь на берегу

Вы, Вы и Вы, — и кроме Вас нет вокруг ничего такого прекрасного, такого недоступного кисти художника. И ночь с Вами кажется еще темнее и еще полнее страстью, разлитой в воздухе, ласкающем Вас, и Ваши глаза все непонятнее, глубже и ярче... — Может быть, лебеди не плавали ночью и острова не отражались в темном озере, но я все это представляю себе именно так, — и иначе мне не хочется. Кроме ночей и вечеров были еще утра и дни, но всего не напишешь, и Вам невыносимо скучно читать всю эту пустую риторику, Ваши чудные глаза рассеянно бегут по строчкам. Отчего мне так врезался в память череп, нарисованный на столе над озером?

В Вашем письме есть слово, написанное одной буквой, а <я> не пишу ни одной, — Вы и так понимаете и видите.

Иногда я бываю у Ваших окон, смотрю, как кто-нибудь выходит из дверей дома. Двери так же блестят тогда, как прежде, — и это тоже очень больно, но что же делать? Ваши письма с первого до последнего я храню, как святыню. Пришлите Вашу теперешнюю карточку, прошу Вас. Лепестки роз в письмо

вкладывать было жестоко, по меньшей мере. Будете Вы еще писать мне? Прошу Вас теперь писать прямо на мой адрес, Вы должны знать, что никто, кроме меня, писем читать не будет, а перечитывать их, думать, вспоминать, тосковать и... целовать эти благоуханные письма тоже буду один я...

Одним словом, все это и глупо, и молодо, и нужно бросить в печку, но ничего другого я писать не хочу и нисколько от всего, что написано, не отрекаюсь. Если бы Вы знали, как нервы раздерганы, и тоска какая здесь, и как все скверно и грустно, и хочется обнять Ваши колени и «зарыдать у Ваших ног»... Смейтесь, а мне вовсе не смешно.

Вы напишете ответ и пришлете карточку?

Напишете на карточке хоть одно слово? Все равно что, — я буду только видеть Ваш почерк, и слышать знакомый голос, и думать, думать, думать...

Может быть, моя карточка напомнит Вам лучшее время?

## 5. Отцу. 1 декабря 1900. Петербург

Милый папа!

Благодарю Вас за переданные мне дядей Петей 250 рублей, которые я получил вчера, потому что несколько дней не собрался прийти за ними.

Что касается моих занятий, то они идут по-прежнему, т. е. так же, как и в прошлом году, с той разницей, что университетские успешнее. Я уже успел прочесть курс истории русского права, начал Коркуновский курс государственного права пишу взамен практических занятий реферат, т. е. конспект книги Петровского «О сенате в царствование Петра». Остается еще довольно много дела, так что занимаюсь более или менее правильно, насколько позволяет мне это петербургская жизнь, сопряженная всегда со многими удовольствиями, из которых особенно меня привлекает декламация; декламировать приходится довольно много у разных знакомых, может быть, удастся также играть со временем, что мне также очень желательно, потому что я давно не играл. Философские занятия, по

преимуществу Платон, подвигаются не очень быстро. Все еще я читаю и перечитываю первый том его творений в соловьевском переводе — Сократические диалоги, причем прихожу часто в скверное настроение, потому что все это (и многое другое, касающееся самой жизни во всех ее проявлениях) представляется очень туманным и неясным. Иногда совершенно наоборот (реже, конечно), и это главным образом после известного периода целесообразных занятий, когда все приходит в некоторую логическую систему. Читаю посторонних книг вообще мало, но вообще стараюсь занимать свое время всегда так, чтобы не быть вполне праздным, не знаю, в какой степени это удастся. Не могу сказать, чтобы все давалось без труда, многие мои прохождения с ним связаны, хотя и не всегда в прямом и точном смысле. В Университет я уже не хожу почти никогда, что кажется мне правильным на том основании, что я второй год на втором курсе, а кроме того, и слушание лекций для меня бесполезно, вероятно вследствие, между прочим, моей дурной памяти на вещи этого рода. Стихов пишу немного и нерационально,

потому что не имею в виду их печатания. Вот все мои занятия на поприще ума и темперамента, к ним можно прибавить общую петербургскую жизнь с постоянной суетой. Летом можно больше углубляться в самого себя и числить. Целую Вас, папа, до свиданья.

Ваш *Сатура*.

## **6. Отцу. 2 июня 1901. Петербург**

**М**илый папа!

Не сразу отвечаю Вам на письмо, в чем очень извиняюсь. Это происходит оттого, что я приготавливался к экзамену истории русского права, а собраться с мыслями в такое беспокойное время очень трудно. Сегодня наконец я выдержал этот экзамен (получил у Латкина 3) — предпоследний; остается еще одна статистика, которая, однако, задержит нас с мамой в городе еще за 22 мая.

Что касается подробностей учебных волнений, то я знаю о них также большею частью по газетам (самое точное?). Частные же слухи до такой степени путаны, сбивчивы и неправдивы, а настроение мое (в основании) так отвлеченно и противно всяким страстям тол-



пы, — что я едва ли могу сообщить Вам что-нибудь незнакомое. Потому же, между прочим, а также по некоторой свойственной моему духу неподвижности, я за эту зиму ни разу не посетил ни судебных, ни дворянских, ни городских учреждений. Впрочем, я наверстаю это в будущем; ибо подобное прохождение времени не чуждо и привлекательно для меня и заключает в себе поэтическое, философское и актерское. Теперь же трудно вводить еще и это в круг совершающихся событий; тем более что весна почуяла свою силу и отозвалась на моем настроении в высшей степени. Пора свести городские счета и временно перейти в созерцательность. — Мама благодарит Вас за поздравление.

Ваш *Сатура*.

## 7. А. В. Гиппиусу. 2 июня 1901. Шахматово

**М**илый Александр Васильевич!  
Благодарю Вас очень за письмо, доставившее мне большое удовольствие. Все в нем очень хорошо и радостно, очень радуюсь за Вас. Впрочем, и я в последнее время далеко не чужд прямо великолепных настроений, что прежде случалось редко. Очень уж поразила меня окружающая природа, которая сначала показалась мне обновленной. Однако все неизменно, за исключением некоторых порубок в окрестных лесах, впрочем открывающих замечательные новые виды. Когда я констатировал эту неизменность — снова стал радоваться, на этот раз уже ей. Вообще пока хорошего очень много, — и Петербург и статистика (4!) покинуты. Много созерцаю. Вчера впервые поехал к Менделеевым, где узнал о предполагающемся 29 июня (в Петров день) спектакле с либеральным оттенком (для народа). Но и последнее меня более не возмущает. Будет, по всей вероятности, масса пьяных, и состоится только какая-нибудь малая часть

спектакля.

Возвратился поздно ночью под непрерывным дождем. Это было даже приятно, потому что на горизонте все время виднелась светлая полоса заката — и напророчила хорошую погоду. — Других событий не было. Что касается Нины Николаевны, то я действительно не понял сути о советах, лучше расскажете en bouche.[1] А когда это будет, не знаю — должно быть, осенью, потому что я, пожалуй, не могу приехать к Вам по очень многим причинам, распадающимся на духовные и матерьяльные.

Я еще мало занимался, даже чтением, все больше сажал цветы и предавался отдохновению, уподобясь некоему Цынцынатусу. (К несчастью, забыл Кузьму Пруткова в Петербурге). Писал стихи (вообще довольно много в последнее время), вот одни из последних (пишу более из-за содержания):

*Они звучат, они ликуют,  
Они живут, как в те года,  
Они победу торжествуют,  
Они блаженны, как тогда!  
Кто уследит в окрестном звоне,*

*Кто ощутит хоть краткий миг  
Мой бесконечный — в тайном ло-  
не —  
И гармонический язык?  
Веселье буйное в природе,  
И я, причастный ей во всем,  
Вдвойне ликую на свободе,  
Неразлученный с бытием.*

Желаю Вам всего самого приятного и счастливого и крепко жму Вашу руку.

*Ваш Ал. Блок.*

## **8. А. В. Гиппиусу. 25 июня 1901. <Шахматово>**

**М**илый Александр Васильевич, извините, что отвечаю Вам не сразу. Дело в том, что все это время я занят сильно и нравственно и физически спектаклем, который состоится через неделю (1 июля). Придется играть три роли (моряка в «Горящих письмах» Гнедича, сумасшедшего — в костюме и с Машей и, наконец, Ломова в «Предложении»). Последнее особенно улыбается мне. Кроме всего этого, будет народное гулянье с дивертисментом, в котором и мне придется принимать участие.

Все произойдет у Менделеевых, ездить туда нужно далеко (верст восемь) и часто, все это, впрочем, для меня в высшей степени приятно. Вообще провожу время довольно хорошо, в свободное от спектакля время читаю Флобера и «Вечных спутников» и перевожу очень интересную статью Ренана об Ироде Великом. Жизнь довольно полная, в высокой степени созерцательная и далеко не чуждая мистических видений, «непостижных уму». Заглянув в Пушкина, нашел там отрывок «Юдифь» — необыкновенный. Я думаю, Вы знаете его: «Стоит, белеясь, Ветилуя в недостижимой вышине». Соловьев упоминает о нем в критике Пушкинского празднования. Вообще вокруг очень много хорошего, не знаю только, есть ли польза *та*, например, какую Вы хотите извлечь из лета. Удастся ли Вам это? Последнее Ваше письмо несколько разочарованное и кислотоватое: сквозь лаун-тэнис с барышнями и государственные науки (кстати, я, право, не настолько прочь от них, как Вы думаете!) смотрит черная меланхолия и «смех сквозь незримые слезы». Впрочем, надеюсь, что это было временно и даже случайно, а теперь —

прошло. Однако не думаю, чтобы Ваши «бюрократические» наклонности и желание писать сочинение и т. п. побороли летнюю обстановку Вашу, например море. Природа не может позволить человеку совершенно сосредоточиться на одном; может быть, Вы и стихи напишете, «а я давно (этого) желал», как говорит Степ. Степ. Чубуков. Если напишете, то пришлите, мне очень интересно, к тому же это отчасти докажет, что для Вас начались дни с числами. А Коркунова я давно бросил, почуяв силу Мережковского и Флобера. Признаки всё дурные, но дело в том, что «на равнинах моей души» поселился некий Сфинкс, очень и давно уже наполняющий мое существование (с некоторыми перерывами) и направляющий все мысли к одному началу.

Ожидаю великого «смыкания кругов». Вы поймете это, в сущности, так что за нагромождение непонятных и собственных терминов не очень извиняюсь. Часто испытываю большой подъем духа, доставляющий сильное счастье.

«Конец уже близок, нежданное сбудется скоро».

Очень и от всей души желаю Вам подобных настроений (конечно, с изменениями, соответственно Вашей природе!).

Любящий Вас Ал. Блок.

## **9. А. В. Гиппиусу. 28 июля 1901. <Шахматово>**

Дорогой Александр Васильевич!  
По обыкновению нашему, извиняюсь. Причины на этот раз уважительнее, чем когда-либо, и вот они: жара была нестерпимая, полная засуха, даже цветущая наша природа поблекла. И только на днях полил дождь и оживил в том числе мою, начинающую киснуть, душу. Но главное впереди: мой театральный пыл (впрочем, не я один тому виной) привел меня, можно сказать, к полнейшему хаосу; без преувеличения скажу, что, решившись играть «Ромео и Джульетту» и изучив отчасти роли, мы довольно быстро сменили ее на сцену из «Гамлета». Если прибавить к этому, что в промежутках этих колебаний «труппу» приглашали гастролировать посторонние лица, а в конце концов ничего не состоялось, — то получится довольно назидательная картина.

дательная иллюстрация к пословице «за двумя зайцами» и т. д. Надо Вам знать, что труппа состоит из двух лиц: премьерши и меня. Остальные лица приглашаются по надобности и в крайности; они довольно апокрифичны.

Все это, в сущности, очень хорошо обошлось (говорю «обошлось» только потому, что больше решительно не намерен предаваться спектаклям). Однако вот и лето кончается, и как-то скоро! Впрочем, еще осень длинна, и от нее я жду многого, а чего — по правде сказать, в точности сам не знаю. Но чувствуется мне, что должен произойти важный переворот в моей жизни или в хорошую, или в дурную сторону (плюс или минус!). Это чувство и постоянное «ожидание» бодрит. И часто «я плачу сладостно, как первый Иудей на рубеже страны обетованной» (конечно, в переносном смысле! а может быть, буду плакать и действительно?). Вообще, если бы не временная жара, я мог бы похвастаться полнотой жизни. Теперь наверстываю потерянное. Кое-что все-таки прочитано, теперь даже и за Коркунова взялся. А что Ваше сочи-



нение? Я надеюсь, что оно пойдет скоро окончательно безболезненно. А теперь мне представляется как-то, что Вы не можете сосредоточиться. И у Вас тоже очень хорошо, как здесь, но, я думаю, совершенно другие настроения возникают: Вы ходите много и с барышнями. Я если двигаюсь, то верхом на лошади и непременно к Менделеевым, вообще же хожу с неохотой и недалеко. Однако и барышня есть — к нам приехала на две недели Екатерина Евгеньевна Хрусталева, которую Вы однажды видели у нас (или дважды?). Мы мало гуляем, но иногда ведем разговоры, и, конечно, по преимуществу довольно отвлеченные. Кстати, ей очень нравятся иные из Ваших стихов, а я переписывать не даю; прошу Вас санкционировать мои поступки в ту или другую сторону. — Отвечаю на Вашу постоянную, привлекательную, но несбыточную просьбу, что приехать к Вам решительно не могу (да и поздно уж теперь было бы), потому что нет денег, а главное, я привязан к здешним местам: нас в Шахматово четверо, и убыль одного была бы чересчур заметна. Но и это можно было бы преодолеть. Дело в том, что сюда в

настоящее время привлекает меня мистический магнит; отречься от него теперь, мне думается, большой грех против собственной природы; ибо он притягивает меня больше, чем когда-нибудь; и в этом я чую перелом. Вы, конечно, склонны, как и я, к такому «идеализированью» собственных желаний (если интересно называть это идеализированьем), а потому поймете меня, особенно если я напомню Вам строки Фета «Знать, в последний встречаю весну и тебя на земле уж не встречу», Это настроение теперь не чуждо мне, хотя и не вполне подходяще, потому что очень весеннее. Но оно и без действительной весны возможно. — И вот настоящая причина. А потому я

*...боюсь, если путь мой протянется  
Из родимых полей в край чужой,  
Одинокое сердце оглянется  
И забьется знакомой тоской.*

Настроение, как видите, такое, что всякую мысль готов превратить в лирический стих. Очень радостное и очень напряженное. И еще раз, желаю Вам таких же мыслей и чувств, хо-

тя это и не будет способствовать Вашему сочинению. Да, ведь сочинение само собой напишется, потому что

*Всё, кружась, исчезает во мгле,  
Неподвижно лишь солнце любви.*

Скоро мы ведь увидимся в Петербурге; но все-таки напишите.

Искренно Вас любящий Ал. Блок.

Стихотворение, приводимое ниже, должно, по-моему, доставить удовольствие. Это — Аснык, в переводе... Лебедева!

### **ЧУДЕСНЫЙ СОН**

*Чудесный сон, владея мной,  
Мечтою длился нежной.  
Была ты — светлою волной,  
Я был — скалой прибрежной!.. —  
Не тосковал о жизни я,  
О брэнном, слабом теле...  
Всё снилась мне любовь твоя...  
Века, века летели. —  
Был нем, вздымаясь в небеса,  
Но жил мой камень мрачный:  
В просторе — чьи-то голоса,  
Лазурь — в волне прозрачной...  
В объятии каменном моем*

*Всё билась ты в печали;  
Нас общим, долгим бытием  
Века веков связали. —  
Ты всё точила мой гранит,  
И в сладостном влеченьи  
Я знал, я знал, что мне сулит  
Судьбы предназначенье! —  
Я знал — придет конец труду,  
И, рухнувши без стога,  
Я с ликованием паду  
В твое родное лоно!..*

Р. С. Может быть, Вы уже знаете его?

## **10. А. В. Гиппиусу. 13 августа 1901. Шахматово**

Дорогой мой Александр Васильевич, что с Вами? Я не поверил, впрочем, настроению Вашего письма целиком; а то было бы слишком плохо, если бы поверил! Ругать Вас совсем не собираюсь, а прежде всего ужасно благодарю за доверие, еще не заслуженное. Надеюсь, что письмо в иных частях своих навеяно временем дня, или временем года, или еще чем-нибудь внешним (сочинением?); Вы неузнаваемы, как будто и для Вас «проходят

дни и сны земные» ужасно горестно и ужасно тяжело. «Где слава, где краса?», где «жизненность»? Вас угнетают, конечно (или угнетали только?), «три группы чувств», о которых Вы мне пишете. По-моему, хуже всего сочинение. Борьба с плотью может окончиться для Вас особенно хорошо (не для Вас особенно, а хорошо особенно), если отойдут наконец «злые силы вражьих чар».

*Зло позабытое  
Тонет в крови.  
Всходит омытое  
Солнце любви.*

А о заграничной поездке ничего не знаю, потому что взглядов Ваших на этот счет не знаю.

Или, может быть, я просто не понял Вашего настроения и несколькими словами сделал неверное заключение?

Мои дела и дни текут по-прежнему хорошо для меня в большинстве. Вчера вернулся с соседней станции от Соловьевых, скоро они приедут к нам (это — семья Мих. Серг. Соловьева). Узнал там факты из биографии «властителя» моих дум и некоторые из его неиз-

данных стихов (вышеприведенные четыре строки — из предсмертного (незадолго до смерти) его стихотворения). Есть и еще властители всего моего существа в этом мире, но они заходят порою в мир иной (конечно, в воображении моем и мыслях) и трудно отделимы от божественного. И это по-прежнему — стимул моего поведения, а главное, душевного состояния (поведение часто ужасно негармонично и грубо). Ужасно все мне кажется «наполненным богами» (как у Фалеса). Большой для меня вопрос личный, когда наконец осуществятся мои ожидания и верования. Вот одно из бесчисленных нынешних выражений моей мысли:

*Ты прошла голубыми путями,  
За тобою клубится туман.  
Вечереющий сумрак над нами  
Обратился в желанный обман.  
За твоей голубою дорогой  
Протянулась зловещая мгла,  
Но с глубокою верою в бога  
Мне и темная церковь светла.*

Много я за эти дни узнал от Соловьевых и у Соловьевых. Также перечитал очень много

Гоголя и пришел в совершенный восторг. Отныне буду любить его и чтить, чего прежде не делал по недоразумению. Подробности до скорого свидания, и хочу Вас видеть прежним веселым и милым мне Александром Васильевичем. Пожалуйста, напишите.

Любящий Вас искренно *Ал. Блок.*

## **11. А. В. Гиппиусу. 23 августа 1901. Шахматово**

Дорогой мой Александр Васильевич, поздравляю вас искренно и от всего сердца, радуюсь за вас ужасно, конечно, главное — за главное, но также и за стихотворное возрождение, и за успех юридических экзерциций, и за настроение особенно; — оно, как могу себе представить, и есть и должно быть великолепно. Очень хочу знать все подробнее, очень благодарю за все письмо — и за стихи и за прозу. В стихах лучше всего «родник», вообще же вы еще не в спокойно-стихотворческом настроении, и содержание в ущерб форме, а мне все-таки очень нравится и настроение уж очень близко иногда. Впрочем, теперь именно оно не совсем такое, нет

такой ясности и несомненности. Да нет ее и в фактах моей жизни, потому что жду я, но не часто еще «верным кажется болото моим полуденным глазам». И еще долгое будет ожидание, по-видимому, но и конец не так отдален, ибо пора смыкаться так или иначе кругам моим. Теперь я в некотором затишье, усиленно предаюсь копаниию земли, которое исключает всякое движение мыслей, что мне необыкновенно теперь на руку; кажется, с радостью уеду в Петербург, когда настанет время (в первых числах сентября, точно трудно сказать). И на осень еще, да и дольше, может быть, протягивается мое напряженно-мистическое и неуклонное (пока) направление, потому что сделано очень мало и больше делали время и Мойра, но не я. Не думайте, что я нарочно затуманиваю; я совершенно не могу (не имею физической возможности) придать всему этому определенную форму; и сказать что-либо определенное значило бы — соврать! Тут-то в высшей степени «мысль изреченная есть ложь». У вас же теперь в руках, с моей точки зрения, что-то громадное и мне еще незнакомое, неиспытанное; и не сумел бы я обра-



щаться с такой неизмеримостью, и страшно хочу знать, как вы с ней обращаетесь, а по-видимому, умело. Бессчетны мои вам пожелания, но, пожалуй, пока излишни для вас, потому что нельзя оглядываться на Орфеевой дороге и нет нужды слышать напутствия из все еще сумрачного угла. Не примите всего за меланхолию, ибо очень уж тверда моя вера, чтобы я не бежал ее (меланхолии). Но надо же и тьмы.

*Свет из тьмы.  
Над черной глыбой  
Вознестися не могли бы  
Лики роз твоих,  
Если б в сумрачное лоно  
Не впивался погруженный  
Темный корень их.*

*(Вл. Соловьев)*

Крепко жму вашу руку и целую вас, до скорого свиданья.

Ваш Ал. Блок.

## 12. Отцу. 29 сентября 1901. Петербург

Милый папа!

В этом году я более, чем когда-нибудь, почувствовал свою полную неспособность к практическим наукам, которые проходят на III курсе. Об этом мы с мамой говорили уже и летом, причем я тогда уже возымел намерение перейти на филологический факультет. Теперь же, в Петербурге, я окончательно решил на этот серьезный и крайне для меня важный шаг и уже подал прошение ректору о переводе, о чем и спешу сообщить Вам, как о важной перемене в моей жизни; дело в том, что, пока я был на юридическом факультете, мое пребывание в Университете было очень мало обосновано. Три года тому назад я желал больше всего облегчения занятий и выбрал юридический факультет, как самый легкий (при желании, разумеется). Теперь же моя тогдашняя лень и бессознательность прошли, и вместо того я почувствовал вполне определенное стремление к филологическим знаниям, к которым, кстати, я теперь значительно подготовлен двумя теоретическими

курсами юридического факультета. Сознание необходимости моих занятий до сих пор у меня отсутствовало, и никаких целей (практических) я даже не имел возможности провидеть впереди, потому что был ужасно отчужден от того, что, собственно, должно быть в полной гармонии с моими душевными наклонностями. Мама очень поддерживает меня в моих начинаниях. Хотел бы знать, что думаете об этом Вы? Лекции я уже слушать начал. Со вторника начнутся для меня правильные занятия. Здоровье мое за лето поправилось.

Целую Вас крепко и жду Вашего ответа.  
Ваш *Сатура*.

### 13. Отцу. 16 октября 1901. Петербург

Милый папа!

Очень благодарю Вас за присылку денег, которые пришлись теперь очень кстати, потому что новое поприще требует массы новых учебников, дорогих и трудно доставаемых. Моя новая деятельность не только примирится, но и совсем сливается с созерцательностью, свойственной мне лично (потому что я почти никогда не созерцаю пассивно), и больше я уже не вижу прежнего раздела, что, само собой разумеется, еще более способствует моей «ясности», как внешнее, но необходимое обстоятельство (*mens sana in corpore sano*[2]). Хотя я и не знаю «*bonum et malum*»[3] (почему и не могу быть «*sicut Deus*»[4]). но чувствую уже невозвратно, по Фалесу, что *παντα πληρη δεων*[5] и «под личиной вещиества бесстрастной везде огонь божественный горит» (стих. Вл. Соловьева); и такое твердое убеждение укрепляет дух во всех начинаниях, но еще «труден горный путь» и «далеко все, что грезилося мне». Мне ужасно нравятся многие профессора-филологи, прежде всех,

конечно, Введенский, которого я уже слушал в прошлом году, когда он читал историю древней философии. Кроме него, несмотря на присутствие «великих грешников» приват-доцентов, ударившихся в политическую экономию (что, по-моему, на филологическом факультете не всегда извинительно), есть истинно интеллигентные и художественные люди — Зелинский, читающий Еврипидовых «Вакханок», и Ернштедт — греческих лириков. Они оба (особенно же первый) понимают всю суть классической древности, для меня же это клад. Прилагаю Вам одно из последних моих стихотворений:

*Ранний час.*

*В пути незрима*

*Разгорается мечта.*

*Плещут крылья серафима,*

*Высь прозрачна, даль чиста.*

*Из лазурного чертога*

*Время тайне снизойти.*

*Белый, белый Ангел Бога*

*Сеет розы на пути.*

*Жду в пленительном волненьи —*

*Образ плачущей жены*

*Предо мной в успокоеньи!*

## Вскроет крылий белизны.

Я очень рад, что Вы так сочувственно отнеслись к моему переходу. До свиданья зимой в Петербурге (цитирую Ваши слова). Целую Вас.

Ваш *Сатура*.

### 14. Отцу. 8 февраля 1902. Петербург

**М**илый папа!

У меня к Вам большая просьба: не можете ли Вы прислать мне удостоверение в том, что я — единственный сын. Дело в том, что мне необходимо представить его к 1-му марта в присутствие по воинской повинности; там мне сказали, что в Петербурге такого удостоверения выдать не могут, потому что (очевидно) требуется засвидетельствование отца. — В нашем Университете (который 6 февраля закрыт) происходят ужасные вещи; на сходке требовали активной забастовки, и на следующий же день «свыше» прекратили занятия. Еще есть, однако, слабая надежда, но вопрос в четырех неделях, потому что Ванновский, по-видимому, приведет в исполне-

ние все, что обещал (Вы, вероятно, знаете уже о «предварительном объявлении» и т. п.). Занятия мои шли бы в нормальных условиях своим порядком, несмотря на сравнительную трудность экзаменов. За зиму я убедился в том, что нетрудно возобновить в памяти мертвые языки, и, кроме того, почувствовал большую «близость» к философии. Теперь изучаю логику и психологию, курсы очень объемистые, но изложение Введенского великолепно. Вообще я мало где бываю и чувствую себя в некоторой отдаленности от внешнего мира, совершенно, однако, естественной и свободной, находящей свое разрешение в довольно большом количестве стихов, по-прежнему, несмотря на гражданские струи, лишенных этих преимуществ. Впечатление от Университета какое-то смутное — «временные» и бессильные «организации», которые возят по головам студентов, отчего последние свирепеют уже в последней мере; практических же перспектив трудно и доискаться в этом хаосе, где нельзя даже различить точно, кто первый виноват. Вообще положение очень неопределенно и уже тем са-

мым нежелательно и требует выяснений, которые, впрочем, надо полагать, не очень замедлят. Институты, Женские курсы и Медицинская академия очень тревожатся, как по общим, так и по личным причинам, так что и здесь обещает разыгаться очень серьезная драма.

Ваш *Сатура*.

### **15. 3. Н. Гиппиус. <14 июня 1902. Шахматово>**

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. Мне все хочется еще обосновать мои соображения, которые я высказывал Вам в последний раз. Думаю, что Вы согласитесь со мной, если я буду точнее: насколько я понял Вас, Вы говорили о некотором «белом» синтезе, долженствующем сочетать и «очистить» (приблизительно): эстетику и этику, эрос и «влюбленность», язычество и «старое» христианство (и дальше — по тому же пути). Спорил же я с Вами только относительно возможной «реальности» этого сочетания, потому что мне кажется, что оно не только и до сих пор составляет «чистую возможность», но



и конечные пути к нему еще вполне скрыты от нашей «логики» (в том широком смысле, в каком мы в последний раз употребляли это слово, то есть будь то логика плоти или логика духа). Вы, если я понял до конца, считаете эти пути доступными нашему логическому сознанию даже настолько, что мы можем двигаться по ним, не нарушая и (более того) — поддерживая связь с жизнью, не отталкивая преднамеренно «шумы» жизни, дабы они не заглушали Великого шороха. Мне иногда кажется, что рядом с этим более «реальным» синтезом, но еще дальше и еще желаннее его, существует и уже теперь дает о себе знать во внутреннем откровении (подобном приблизительно Платиновскому и Соловьевскому), но отнюдь не логически, иной — и уже окончательный «апокалипсический» — синтез, именно тот, о котором сказано: «И ничего уже не будет проклятого». «И дух и невеста говорят: прииди». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Кажется же мне это не на одном основании «беспредметности» (которая, впрочем, играет здесь некоторую роль), а также и на следую-

щих основаниях: во-первых — к тому единству мы можем деятельно стремиться, это же явится «помимо» воли. «И внезапно внидет в дом свой господь», а нам возможно только «учуять ветер с цветущих берегов». Истинный «конец» ведь и помыслить трудно. А во-вторых (и главное) всякий *сколько-нибудь реальный* синтез есть «человеческий» угол зрения. Мы видим только образ грядущего, как видим только образ божий, а не самого бога; а потому не заключены ли мы по самой природе своей в рамки одного ожидания и *относительного* (по отношению к последнему) бездействия? Ваш ответ на последний пункт был бы для меня ощутительно важен даже по практическим причинам (ведь этот вопрос граничит уже с образом жизни). Сам я все еще редко и с трудом решаюсь пускаться в твердое обоснование всей «сути века», главное потому, что органически не имею в себе большей части необходимого для построений матерьяла, например — сознания общественных связей и древнехристианской этики. Еще мне ужасно важно было бы узнать Ваше решение некоторой частности, именно: если

в понятии Эроса совсем отсутствовала «влюбленность», как Вы говорили (т. е. — «тоскованье», мечта о невозможном, Дон-Кихот, «рыцарь бедный»), то как понимать Орфея и Евридику, «платоновскую» любовь и Сапфо? (Если они могут служить возражением, то лишь условным?) Ваша формула открыла для меня такие громадные горизонты, что у меня явилась большая потребность ее проверки на частностях, которые очень могут оказаться исключениями с известной стороны, чего мне очень хочется. — Извините меня за этот ряд отвлеченных и даже, уж наконец, филологических вопросов; очень боюсь Вам наскучить. Я живу в месте очень зеленом и очень тихом, и опять начинает чаще казаться, что на высоте решается «таинственное дело». Тут и покоится ноша мира сего. Если Вы мне напишете, буду Вам благодарен, потому что для меня очень важны Ваши ответы. Решаюсь также просить Вас и о стихах (?).

Преданный Вам.

## 16. А. В. Гиппиусу. 23 июня 1902. Канун Иванова дня. Шахматово

**М**илый и дорогой Александр Васильевич, я не только ни минуты не сердился на вас, но еще чувствую себя перед вами очень виноватым, между прочим в том, что до сих пор не известил вас о седьмом томе Соловьева. Если бы у нас была здесь его история, я бы прислал вам его сейчас же, но здесь ее нет, а дополнительного тома и вообще нет, даже в Петербурге. Кроме того, я не пишу вам так долго от Лени и многих сравнительно новых впечатлений (в Шахматово приехали мои сибирские родственники и т. п.). Писал вам краткое и бессмысленное письмо в Петербурге 4 июня, в день последнего экзамена, думаю, что вы его не получили. Экзамены очень благополучно отошли в вечность, «унеслись в тоскующую даль». Здесь хорошо, часто спокойно. Мне чувствуется вокруг какая-то пелена, укрывающая от меня мой свет; что-то милое заглохло на время — и начинаю жиреть.

*В трудах бесславных в сонной ле-*

ни,  
Как сын пустыни я живу,  
И к мидианке на колени  
Склоняю праздную главу.

Все это буквально верно, начиная с «трудо-  
в бесславных» в образе разных Виндель-  
бандов и кончая даже уж и индианкой.  
Passons.[6] У нас дожди, солнце иногда выгля-  
нет, все страшно зелено, глухо и свободно,  
«как в первый день созданья»! Изредка от-  
крываю древние и современные Апокалипси-  
сы, считываю давно ожидаемые и знакомые  
откровения, дроблю и опять чеканю в горни-  
лах и логики и мистики. Просто, значит, ис-  
пытую бога, грешу неустанно. Слушая *челове-*  
*ческие* речи, молчу уже неосудительно, изды-  
хаю и хватаюсь за голову только мистически.  
Бодро и телесно проводя дни свои, мечтаю о  
белом боге. Вот какая (нецелесообразная)  
жизнь. Представьте себе, что я только раз был  
у Менделеевых; на днях опять поеду туда (ве-  
роятно). Вы спрашиваете меня о Мережков-  
ских. В последний раз я был у них около 1  
июня, вышел вместе с Зинаидой Николаев-  
ной; шли до Думы, говорили о богах, проща-

ясь, условились писать. Я написал на днях, ответа еще не получил. Живут они в Луге. От Дмитрия Сергеевича у меня в последний раз осталось впечатление ужасной жалости. Мне кажется, что он сильно и мучительно болен. Вы пишете мне о «чужом восторге», в который «переселяться заранее учится душа». Мне понятно это и представляется грустным. Ведь это — кто-то «в платье черном», «похожий, как брат», а все-таки не одиночество, а что-то большее и важнейшее. В этом мире с нами близки ведь наши двойники; так порой ощутишь близки, что иногда кажется — вдруг становишься дряхлым и старым, и руки морщятся, и дрожит в них какой-то неверный посох, а ищешь вокруг кого-то слабыми, жалкими, слезящимися глазами; это они-то и проходят. Но все-таки, разве вам не удастся иногда воскресить своих богов, свои великие: дремлющие силы, от которых твердеет походка, крепнет голос, кровь ходит величаво и ровно, — и сверху спокойно и весело смотришь на этих мелких двойничков-чертиков. То, что вы пишете о «том же окне», — все к лучшему. Это и есть благодать божия; только

бы чаще и чаще «чують ветер с цветущих берегов». Милый и дорогой мой, бодрствуйте только чаще, ведь мы не бедны, а богаты. И что стоит нам открыть в себе бога? Для нас же и «угрюмство» должно «множить красоту». Мне чуются иногда впереди великие надежды и великие прегрешения, и все-таки — свет, свет и радость. Пишите мне, прошу вас, пожалуйста, больше и подробнее. Если вы написали стихи, то приложите их. Я вам в следующий раз напишу стихи, если будут похарактернее. Теперь и стихов-то мало, но кажется —

*«дрогнула пред утром мгла».*

Ваш Ал. Блок.

## 17. Н. А. Малько. 18 июля 1902. Шахматово

Милый Николай Андреевич.

Простите, что не сразу ответил Вам на Ваше письмо от 17 июня. Сначала не собрался просто, а потом были хлопоты и неурядицы. Здесь, в Шахматово, 1 июля скончался мой дед. Теперь моя жизнь потекла обычным порядком. Здесь я провожу почти каждое лето довольно мирно (особенно — с внешней стороны). Довольно много читаю, также и ученые книги (Канта). Очень занимает меня II курс, между прочим — классическая филология. Насколько я мог заметить, Соколов поставил Вам пять (равно и мне), впрочем, к Вам почему-то придрался (ко мне же наоборот). Экзамены от меня теперь уже очень далеки (в смысле их неприятной и изнервляющей стороны, потому что польза их все еще, кажется мне, ощутительна). Надеюсь, что Ваши обстоятельства и дурное настроение теперь уже переменялись к лучшему, тем более что Вы, мне кажется, обладаете большой жизненной энергией и отсутствием желания «тосковать»,



что весьма обычно в настоящее время. Кажется, Вы миновали и так называемую «декадентскую» жизненную школу. Благополучно ли кончились Ваши дела в консерватории? Посылаю Вам одно из моих стихотворений, хотя за выбор не ручаюсь. Выбрать особенно трудно, потому что я пишу очень отвлеченно, в современном (уже после декадентском) роде.

Любящий Вас Ал. Блок.

### **18. 3. Н. Гиппиус. <Июль (до 21) 1902. Шахматово>**

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. В Шахматово, действительно, 1 июля скончался мой дед. Однако образ жизни не изменился, и я даже не ездил в Петербург, где были похороны, оставался здесь во внешнем (но не внутреннем) мире, однако с памятью о непрерывном мерцании свеч надгробных, которые, конечно, приняли мистические образы, в чем виновата единственно натура. Однако уверяю Вас, что я ощущаю (как подросток Аркадий Долгорукий) желание «трех жизней» (это несмотря на видимую безжиз-

ненность и склонность к «панихидному» умозрению). Здесь в одной из соседних деревень ходит странное (и уж исторически совсем необъяснимое) поверье: «она мчится по ржи» (буквально — и больше ничего). Кажется, что теперь эта «она» исчезла до времени. Тут есть ведь совпадение, какая-то трудно уловимая, но ощутительно одна мечта и с тем Петербургом, который «поднимется с туманом» (у Достоевского) и с Вашим «невидимым градом Китежем»: все они возвратятся *иными* «в последний день», — т. е. — хоть в последний день для каждого из отдельных, желающих проникнуть. Наглядно и «практически» это будет хоть в виде конечного разрешения личной «жизненной драмы» (соловьевский термин), т. е. личной мечты (у кого же жизненная драма больше самой большой мечты! Ведь всякая «серьезная» драма и есть раздвоение мечты и жизни — «Дел и дней» Гезиодовых). Если я пойму свой личный конец (или хотя бы неличный, конец известного духовного периода) как символ вселенского,[7] то ведь, во всяком случае, примирюсь хоть немного с кажущейся неудовлетворенностью

апокалипсических ожиданий. Пока еще там какая-то «жизнь мировая» вращается «в стремлении смутном», я буду хоть и со слезами «золотого мальчика» (не примите за аллегорию), но уверенно ждать свой «беспечальный Век Златой». И дождусь, хоть бы пришлось прожить ужасы «трех жизней». Тогда в смертном сне должна явиться эта мечта воскресения — «она, мчащаяся по ржи», как Достоевскому явится «новый град Петербург, сходящий с неба» (в этом случае, «играя в Апокалипсис», вспоминаю автора «Симфонии»). Что у кого запечатлелось, то и пригрезится «тогда». Ведь те, кто запомнил что-либо из этого «милого» и «грустного» круга безмирных понятий, имеют по крайней мере одно неотъемлемое преимущество: они не преступили заповедь: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Если все это декадентничанье будет Вам неприятно, пожалуйста напишите мне только на предыдущие «объективные» вопросы и что-нибудь о Китеже, потому что мало что на свете лучше «Китежей» (по правде сказать, их и нет на свете!). Поздравляю Вас и Дмитрия Сергееви-

ча с разрешением «Нового пути» и заранее ужасно радуюсь ему, как новому мистическому дополнению нескольких небезызвестных мне существований (между прочим, и собственного моего). Пожалуйста, передайте Дмитрию Сергеевичу мои самые лучшие и самые искренние пожелания.

Посылаю Вам два, по возможности мистических, стихотворения.

Преданный Вам.

## 19. А. В. Гиппиусу. 23 июля 1902. Шахматово

**М**илый Александр Васильевич!  
Я Вам не верю. Все, что вы мне пишете (даже о всеобщем упадке), кажется мне имеющим *raison d'Être*.<sup>[8]</sup> Дело в том, что за все то, что Вы пишете, только, конечно, под другими, свойственными каждому, формами, ухватился бы даже Мережковский; *но уже поздно*. Я, со своей стороны, далеко не уверен еще, что сами Вы «чувствуете» (а не только понимаете) свою формулу. Я же ее не «чувствую», именно потому она не входит в мое «мирочувствование»; Вы, до некоторой степени,

невольно и себе же наперекор отказали мне в «созерцании» мира. Это именно так, ибо я ощущаю скорее нужду «ощутить» «три жизни» («Подросток»), чем провести одну в сплошном «созерцании». От созерцаний душно. Ни одного «чувствования» я не отдам за тьму «созерцаний». Скажу Вам, что про наш-то век можно сказать, что он

*Свободой грезил золотою  
И небом Греции своей.*

Что другое, а это так. Все «отсозерцались». Мережковский говорит: «будем делать». Брюсов жалуется, что он не Скиф (!). Это смешно, но бог знает, как правильно. Раскольников ведь из нашей «эры». Убить старуху — больше, чем написать статью о том, как хорошо бы ее убить, но без статьи-то нынче не убивают. Статья — дань веку. Она только предрасполагает и обостряет, а не тупит волю. Что касается людей «воли» как таковой, то есть и они — и в нашем веке и на наших глазах. Погрязшие в сплошной и беспросветной мистике, конечно, не помнят о Менделееве (и tutti quanti,[9] как сказал блаженной памяти Фед.

Мих. Достоевский). Однако Менделеев, не нуждаясь в мистических санкциях (я не бранюсь, а только отдаю должное), — человек «творчества» как такового. И Ваша «сила творящая» находит в нем своего «делателя». Разве Вы не видите, что все порываются делать, может быть лишь некоторые стараются еще оградить себя «забором мечтаний». «Мистическое созерцание» отходит. «Мистическая воля» — дело другое. В воздухе-то дрожат какие-то не мертвые «трели». Вселенский голос плачет о прошлом покое и о грядущем перевороте. В нем и сожаление и желание. Неужели плеяда гибнущих застрельщиков (Антоний, Добролюбов, Ореус, Эрлих!) не говорит о границе, до которой мы дошли. Если да, то что же остается, как не броситься в этот «черный день» «со скал» — в дело (в битву, на «брань народов»). Или, в противном случае (а то и просто «отойдя в сторону», как Мамай с Куликовского поля), «станем добре, станем со страхом» и «всякое ныне житейское отложим попечение», т. е.: первое и главное — бросим все наши «жизненные драмы» (соловьевский термин, как Вы хорошо знаете!), иначе гово-

ря: на осколках «земной» любви воздвигнем небесную (sic! Так уж просто и без малейшего перехода отречемся от «родных и знакомых», которым в этом случае, очевидно, уже действительно ничего не останется, кроме «глубокого прискорбия»). Разве же это возможно? Разве можно миновать «мрак», идя к «свету»? Я лично и «пока» не отдам ни пяди «жизненной драмы» за тончайшее «мистическое созерцание» (мистическое дело — вопрос другой). Из этого отнюдь не следует, что я знаю, что нужно, т. е. что я уверен в *необходимости* действия. Но, во-первых, я не вполне уверен в границах между действием и состоянием («любить есть действие — не состоянье», сказал Фет); во-вторых, не знаю, прав или не прав ушедший на снежную вершину. Может быть, он когда-нибудь и увидит «Нечто» (хотя бы «Жену, облеченную в солнце»), а может быть, его кобылка так до конца и повертится на брюхе на самой острой горе (см. «Естественно-разговорное представление», где указаны и последствия такого верчения). О менее отвлеченном напишу Вам уж в другой раз, а теперь (прибавив, что очень прошу Ва-

шего ответа на весьма хаотическое письмо — правда, такое же, как само настроение автора вследствие «многих» причин) желаю Вам исполнения желаний (это к тому, что мне недавно пришло в голову, что *все*, чего человек хочет, *непрерывно* сбудется; а если не сбудется, то и желания не было; а если сбудется «не то», то разочарование только кажущееся. Сбылось именно то).

*Ваш Ал. Блок.*

### **20. 3. Н. Гиппиус. 2 августа 1902. Шахматово**

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. Извините, что отвечаю Вам не сейчас же. Это происходит от того, что у нас посылают на почту только около двух раз в неделю. Ваше письмо и Ваши похвалы моим стихам были для меня неожиданно приятны и важны. Конечно, я с величайшим удовольствием и согласием отдаю их в «Новый путь». Ваше письмо еще было мне важно тем, что навело на новые разъяснения. Ведь «широкая белая лестница» (если не ошибаюсь, ее «лирическое истолкование» можно найти в словах:



*И в плоть до зари, пробуждения  
вестницы,  
Я в мире свершений. Я радостно  
сплю.  
Вот узкие окна... И белые лестни-  
цы...),*

«рассекающая» сферу «здесьнего» по пути к «небу верхнему» — нездесьнему — есть, следовательно, подъем. Чем выше, тем «слитнее» видно все; значит, видно и то, как сходятся внизу пропасти и как нет причины миновать одну для другой. Обо всем ведь надо помнить. И вот на вершинах лестницы вспоминаем мы, может быть, то, что помнили только детьми (об этом есть у Дмитрия Сергеевича), вспоминаем «странность существования», открываем удивленные глаза. И вот тут, по слову Аристотеля «Философия началась с удивления»), закипает на последней ступени лестницы истинный разум и присоединяется к «чуянию» второй ступени и к «примитивной грубости» и «чувственности» (однако, может быть, не лишенной «жизненной», живой, необработанной правды) первой ступени. Приблизительно такова «Ваша» лестница к

синтезу; она таким образом, сама будучи мистической, избавляет от «крайностей» мистицизма, от его «декадентства». Ибо, еще не поднявшись на высшую ступень, мы увидим только одну пропасть, отразим в себе только её правду, затоскуем, «размечтаемся» под ветхозаветным «кедром ливанским», забыв прекрасное древо «Нового завета». И вот в этом пункте Ваши слова нашли мои мысли этих дней, ибо именно тут (перед получением Вашего письма) захотелось мне сойти с чисто мистической дорожки и спокойно взглянуть на нее сверху. И пришло Ваше письмо о третьей «разумной» ступени, о «требованьи понятности во имя Непонятного», о том «мире свершений», где сон — радостен, удивление разумно и видно далеко и «слитно», как весело странствуют «притихшие дети», бесстрашно ищут, высматривают «зарю, вестницу пробуждения». Ваша картина, поистине «эллинически» гармоническая, однако открывает мне другие страны «уныния», «забвения». Здесь возникает мне параллельный, «схожий» образ других лестниц, переходов, «лесов»:

*Мы бродим в неконченном зда-*

нии,  
По шатким, дрожащим лесам,  
В каком-то тупом ожидании  
Не веря вечерним часам.

*(Вал. Брюсов. Tertio Vigilia)*

Об этом иногда страшно думать, потому что и это «действительно», хоть и «до времени». Это — опрокинутый бог, человек, забывший свое «подобие божие». Вот сейчас провалятся леса, город тихонько вздрогнет и поднимется, испарится, прилетит большая птица Человеческой Надежды, сойдет, разовьет крылья и исчезнет. А куда — неизвестно. Вот оно — неверие, «декадентство», [ «реализм действительной жизни-с»]. Ваши слова о двух синтезах примирительны; но я не всегда могу принять их. Иногда из-за логической гармонии смотрит мне в лицо безмирное отрицание. И я все еще не могу решить, что это: только ли «страх со змеиною колючею ласкою», или «страх божий», боязнь испытывать. В последнем случае может быть еще сильные романтические когти.

Еще раз благодарю Вас, Зинаида Николаевна, за письмо, также за приглашение прие-

хоть к Вам. Но не знаю в точности, до каких пор буду в деревне. Здесь также не было лета, а только осень, теперь уж скоро настоящая, желтая, красная.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

## **21. Отцу. 5 августа 1902. Шахматово**

**М**илый папа.

Извините, что больше месяца не отвечал Вам на Ваше письмо. Это лето проходит для меня в тихой и довольно медлительной отвлеченности (с внутренней стороны), чего я даже сам не совсем ожидал. Сквозь известную так называемую «разочарованность» (выразившуюся, между прочим, и для моего возраста в желании «объективничать», покидая чрезмерную сказочность моего недавнего мистицизма) — все еще мне мечтается о крутом (не внезапном ли?) дорожном повороте, долженствующем вывести из «потемок» (хотя бы и «вселенских») на «свет божий». Однако этот свет, на иной взгляд, может оказаться еще метафизичнее, еще «страннее» потемок. Но ведь и здравый Кант для иных мечтателей не в меру. Вообще-то можно сказать, что мой

реализм граничит, да и будет, по-видимому, граничить с фантастическим («Подросток» Достоевского). «Такова уж черта моя». И ее очень трудно бывает примирить, например, с прекрасной и высокоталантливой доктриной Ал. Ив. Введенского, от которой только благодаря таланту и такту не разит каким-то *особого рода* шестидесятничаньем. По крайней мере иногда впечатление таково. В этом случае, обжигаясь на философии, я устремляюсь в классическую филологию, которая пострастнее и попросторнее. Иногда можно даже «обдумывать тайные стихи», не ссорясь с ней. Полного же мира достигнуть нельзя, иначе непременно попадешь в компромисс: уподобишься «александрийскому» декаденту, играющему в тонкости науки, убивающему двух зайцев, эклектику, «дилетанту». С этой точки зрения волей-неволей иногда кажется, что наука — «суета», которой «служенье муз не терпит». Иначе я бы и не мог думать по «беззаконности» моей природы, потому, что «испытывать» для меня всегда труднее, тяжелее, томительнее, «соннее» (эта новая сравнительная степень появилась от избытка филоло-

гичности), чем «созерцать» (все это, разумеется, не в первобытно-романтическом, а скорее — в «реально-Достоевском» стиле, в котором созерцание углубленно, а не порхает). Внешнее мое прикосновение к мирам «иным» и литературным заключается теперь в переписке с Зин. Гиппиус (женой Мережковского), которая уже взяла два моих стихотворения в новый журнал «Новый путь», который скоро начнет выходить (изд. П. П. Перцов). Переписка очень интересна, вполне мистична, так что почти не выходит из круга умозрения (опять-таки — современного, в духе Дм. С. Мережковского). Еще мне удастся, может быть, осенью посмотреть московские святыни. Пока я очень много (сравнительно с прежним) читаю; чтение — умудряющее и отрезвляющее; однако этот процесс, как всегда, «безвольный» — и угнетает иногда и оставляет желать большего в жизненном смысле. — Очень благодарю Вас за письма Спекторского, очень характерные для Западной Европы и интересные для меня как «апокалиптики», иногда «чающего воскресения мертвых и жизни будущего века». Теперь уже

скоро (вероятно, в начале сентября) я буду в Петербурге. На Подсолнечной принимаются только денежные посылки, но не переводы.

Ваш *Сатура*.

## **22. Н. А. Малько. 5 августа 1902. Шахматово**

**М**илый Николай Андреевич.

Ваше письмо было ужасно грустное и печальное. Такого я даже не ожидал. Хорошо по крайней мере (если что-нибудь есть хорошее), что Вы надеетесь на исход тяжелого времени, хоть для себя лично. Без этого, я думаю, и жить было бы трудно. Каковы Ваши нынешние обстоятельства, улучшилось ли положение? Помогает ли Вам музыка? Наши времена и в политическом отношении остры. Особенно это заметно на нашем юге. Слышали ли Вы про ужасные бунты в Пензе и Саратове? Я имею достоверные сведения об этом, потому что пострадали мои родственники и знакомые. Крестьяне жгут усадьбы, призваны войска. Повторяется то же, что в Полтаве и Харькове. Причина — какой-то революционный кружок. Что же касается рабочих, то они

бунтуют, кажется, во многих местах. Вообще опасаться можно очень многого. Мы с Вами будем сравнительно обеспечены зимой в Петербурге от этих «жакерии». Что касается факультетских интересов, то они отделились от меня. Атмосфера уж очень не зимняя. Впрочем, я учусь и читаю сравнительно много, поездок еще не предпринимал. Может быть, съезжу скоро в Москву, посмотрю святыни. Живу вообще довольно тихо и не развлекаюсь. В доме есть больные. В Петербург я вернусь, думаю, в начале сентября. Лето плохо по погоде, ясных дней было мало, все дожди. Желаю Вам лучших впечатлений, чем были. Будьте здоровы.

Любящий Вас Ал. Блок.



## 23. 3. Н. Гиппиус. 16 августа 1902. <Шахматово>

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. Отвечаю Вам не сразу, потому что несколько дней подряд чувствовал ужасный упадок духа; вероятно, это временно, хотя и до сих пор не прошло, а вообще бывает периодами. Теперешняя моя жизнь не богата происшествиями, потому что лето как будто какое-то переходное. Может быть, скоро придется оставлять все здешнее, а я к нему страшно привязан, потому что почти из года в год провожу здесь одни и те же летние месяцы. Прежде я имел смелость играть в соседнем именье Гамлета, Чацкого и Скупого рыцаря. Подмостки были маленькие, и зрителей настоящих мало, а всё крестьяне. Но были костюмы, грим, рампа, подъем духа — такая полнейшая иллюзия театра, что я несколько лет подряд упорно собирался на сцену и даже в Петербурге играл в отвратительном кружке в зале Павловой. Это преимущественно меня и отвадило. Теперь бы не хватило, пожалуй, и духа опять играть Гамлета, да и летний театр

расстроился; в этом году не сыграли ни одного водевиля. Я все читал, а книги надоедают. Близкие люди у меня есть (схожусь я с ними, конечно, разное — то в том, то в другом, кроме мамы, с которой — во всем), и вид из окна великолепный — зеленый и тихий сад, розы, рябина, липы, сосна. Но нет места, где бы я не прошел без ошибки ночью или с закрытыми глазами. Поэтому иногда хочется нового. Да и больные кругом все лето; не говоря о недавней смерти — все это не способствует оживлению. Вся жизнь медленная, ее мало, мало противовеса крайнему мистицизму. А он ведь влечет за собой «непобедимое внутреннее обмельение», эти Ваши слова я очень оценил. Вы спрашиваете о Бугаеве, но я не имел о нем никаких известий. Читал только рецензию на «Симфонию» в «Новом времени». Стихи Брюсова я очень люблю, некоторые особенно — в обоих выпусках «Северных цветов» (прошлого и этого года). В Петербург поеду, вероятно, в начале сентября. Пожалуйста, напишите мне, когда Вы предполагаете выпустить «Новый путь»?

Преданный Вам Ал. Блок.

## 24. А. В. Гиппиусу. 28 августа 1902. Шахматово

Милый Александр Васильевич.

Очень давно не писал я Вам. Скоро мы увидимся, я приеду в город 1 сентября уже, в день, когда начнутся лекции. Пора уезжать отсюда. Лето прожито мной серовато. Осень — лучше. Осенью и всегда-то больше красок и больше жизни. В этом году мне почти чуждо то, что Вы пишете об умирающей грусти. У меня — «горящих осень ищет взор» (Фет). Ездил на сутки в Москву, смотрел главным образом Кремль. Впечатлений так много, что лучше передать их изустно, тем более что некоторые из них опять-таки отвлеченны. А большой отвлеченности в последние дни и мне уже даже не требуется. Вы же также устали от нее — да и все устали — мои родные и знакомые. В этом году у меня не было и спектаклей (т. е. сам я ни в одном не участвовал). С летом счета сведены, с здешней осенью — тоже. Ничего мне не прибавилось (или — «почти» ничего), а убавилось ли — не знаю. Физически чувствую себя бод-

рым, не устаю от сорокаверстных поездок верхом. Остается — петербургская осень (все из того же еще цикла впечатлений). Зима — совсем иначе. Должен сказать Вам, что с некоторых пор у меня нравственно открыт рот от удивления на многие события, касающиеся лично меня. Все это столь «тонко», что даже во многих местах «рвется». Заплатки мало помогают, во всяком случае получается арлекинада, шутовской балахон. А желтые осенние листочки пестрят еще разительнее. Простите за туманность, прямо не в состоянии. Вероятно, Вам известно, на что я намекаю. Вот лучше — стихотворные иллюстрации, которые и прилагаю ниже. Целую Вас крепко, если будете писать, то не позже 30-го, потому что 31-го — уезжаю.

*Ваш Ал. Блок.*

## 25. 3. Н. Гиппиус. 8 сентября <1902. Петербург>

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. Благодарю Вас за письмо, которое мне уже переслали из деревни в Петербург. 1 сентября я был в городе и ужасно обрадовался, потому что и наше лето было темное, сонное и мокрое. Даже грозы были какие-то странные, больше обыкновенного насыщенные чертовщиной — и в этих чертях при этом тоже какое-то сверхприродное «благоразумное полубезумие», так что не на чем душу отвести, нечего пугаться и нечему радоваться. Мне странно то, что Вы пишете о сцене, о том, что с нее нельзя говорить о будущем. Мне иногда кажется, что, несмотря на все внешне опошление современного театра, стоит актеру иметь талант (а это не так уж редко), чтобы сейчас запахло литургией. И даже в самой закулисной личности актера иногда заметна священная черта, какое-то внутреннее бескорыстие и глубокая важность, медлительность и привычка быть королем, жрецом... и немного пророком. Право, это мне думается

не отвлеченно, а на основании виденных мной даже не знаменитых итальянцев, а просто наших русских актеров императорской и частных сцен, например г-на Далматова в «Короле Лире». Никогда не забуду ему этой роли, да и вообще она ему зачтется впоследствии, потому что такие моменты никогда не проходят даром. — О первом представлении «Иполита» я давно уже думаю (рассчитывая... на Шувалова). Так как не я один хочу видеть его, то прошу Вас, если Вам это не трудно, написать мне несколько слов о том, как и где лучше достать билеты; я очень боюсь, что они будут расписаны еще перед началом продажи в кассе.

Не будет ли билетов у Вас или у кого-нибудь из Ваших знакомых в городе? Будьте так добры написать мне об этом и также о том, когда первое представление, объявления о котором все еще нет. — Моя «меланхолия» миновала, все краски опять резкие, осенние, не робкие. Петербург располагает к деятельности. Когда приблизительно соберетесь Вы с Дмитрием Сергеевичем в город и начнется деятельность религиозно-философских собра-

ний? Посылаю Вам обе части моего стихотворного «диптиха» (1. Брожу в стенах монастыря. 2. Инок шел и нес святые знаки).

Преданный Вам.

## **26. 3. Н. Гиппиус. 14 сентября <1902. Петербург>**

**М**ногоуважаемая Зинаида Николаевна. Прежде всего извините меня за отсутствие адреса в предыдущем письме. Это случилось, кажется, в первый и, надеюсь, в последний раз. О г. Далматове мне хочется с Вами поговорить, потому что я согласен как с тем, что Вы о нем пишете, так и с собственным мнением. Одно не исключит другого в известной обстановке, при известном направлении мистических мерцаний души. Или — я по временам очень грубею и становлюсь более толстокожим, чем нужно для справедливой оценки. Знаете, я, кажется, не виноват на этот раз, потому что в одну сторону (по крайней мере) вижу теперь очень далеко и в эти серые, сонные дни петербургской осени, и вечером, и ночью. Душа горит опять, «как в первый день». Там опять все — помыслы, поступ-

ки и сказки всего существа. Должно быть, даже я на этот раз добьюсь чего-то; пора уже вдохнуть и несказанное, чего давно и безуспешно я пытаюсь достичь. Падают желтые листья и с ними жестокие, обманные химеры. Открылся уголок «мистического реализма», открылась возможность строить здание не на песке; нашлись осязаемые средства и простые орудия. Если будет и дальше все в таком роде, моя литургия и моя симфония будут достойны тех надежд, которое я возлагаю на нее с давних пор. Мне очень хотелось бы говорить с Вами и быть у Вас в Луге, но мне этого исполнить теперь нельзя. Вы будете в городе, вероятно, уже очень скоро, боюсь, что окончательно убедитесь в моем декадентстве. Декаденты ведь ангелы, не забывшие о своем начальстве, но «оставившие» свое жилище. Всегда брезжит в памяти иной смысл, когда кругом отбивается такт мировой жизни. Припомню окончательно то, что мне было когда-то завещано, и тогда уже без колебаний исполню, чего бы это ни стоило; по всему этому я надеюсь на плодотворную и не робкую зиму этого сезона. Чувствую «перст» и не боюсь



«случая». Если встречу с ним (а это случится), только зажмурюсь. Я ведь все-таки слуга и должен исполнить все наветы Господина, — а быть рабом гораздо важнее, чем даже доктором Фаустом. Пока что разрежаю мою сгущенную молниеносную атмосферу жестокой арлекинадой, которой стихотворное выражение и посылаю Вам. Простите, что пишу все только о себе и так «самоутверждаюсь». Другому пока не судьба.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

## **27. Отцу. 29 ноября 1902. Петербург**

**М**илый папа.

Я получил оба Ваши письма, ответил не сразу, потому что был не совсем здоров, отчего, между прочим, не был 22 ноября на Басковой улице. Благодарю Вас за поздравление с днем рождения. Посылаю Вам логику Минто, которую получил недавно в виде приложения к раммовскому «Самообразованию» (боюсь, что есть какое-нибудь шарлатанство в тексте), а логику Введенского в Университете не нашел, моя же мне очень теперь нужна и в очень тяжелом переплете, что несколько

затруднило бы пересылку. У Ангелиночки я еще не был, может быть, отложу до Рождества, как и многие другие посещения, потому что нужно исполнить всякие более или менее официальные обязанности относительно несколько запущенного мной (да и профессорами нашими) третьего семестра. В первом Но «Нового пути» мои стихи помещены не будут, но позже, говорят, непременно. Редактор (Перцов) написал мне письмо слишком (преувеличенно) лестное по поводу моего «божьей милостью» таланта. Чувствую потребность и ожидаю скорого вдохновенного стихотворения или даже прозаического экскурса в область мистицизма, который, оправдываясь ходом моих житейских «подвигов и дел», тем самым оправдывает и мои «бродяжнические сны» хотя бы в области наук.

Скорпион Брюсов, который со мной еще не познакомился, имел на меня какие-то виды. Из Москвы вообще много благоприятных вещей. «Мир искусства» приглашает меня на свои журфиксы, но я был только на одном, где нашел много знаменитостей из художников и литераторов и дух «светский» без отно-

шения к моему «духовному», внутреннему, все больше опознаваемому. Часто уже я твердо знаю, чего мне не надо (отрицательно), — но и это много. У литераторов здешних и других какие-то всё жизни неудавшиеся и звенящие осколками, которые легко вонзаются в смельчака, неопытно зондирующего почву. Из Москвы меня цитируют рядом с Вл. Соловьевым. Бедный Д. С. Мережковский на днях читал мне главу из нового своего романа «Петр и Алексей». У многих в душе «холодный белый день», и я часто ощущаю его — и беспредельность своего личного «змеино» познания.

Относительно философа Вознесенского — я знаю только, что он ученик Александра Введенского и, как говорят, находится у него «под башмаком». Введенский вообще большой деспот. Относительно годового философского собрания 22 октября я знал, но предчувствовал вздорность Бороздинской речи и некоторый (постоянный, впрочем) *circulus vitiosus*[10] в экстатических песнях Ф. Ф. Зелинского. И они, вероятно, несчастны.

Ваш *Сатура*.

## 28. М. С. Соловьеву. 23 декабря 1902. Петербург

Милый дядя Миша.

Сейчас получил Ваше милое, ласковое, во всех отношениях целебное, письмо, а вчера — пятый том Владимира Соловьева. За все это не знаю как Вас благодарить. Мы уже испугались одно время, что никто из Вас не писал после последнего письма тети Оли о нездоровье Сережи. Из Вашего письма и посылки заключили, что у Вас пока все благополучно. Хорошо и приятно, что Вас можно еще ждать в январе. Ваше известие о Брюсове, которого я в Петербурге не видел, обрадовало нас с мамой очень сильно. Еще раз благодарю Вас за все это. Мне лично тут еще, кроме всего другого, особенно важно, что мои стихи будут помещены в *московском* сборнике — оттого, что Ваша Москва чистая, белая, древняя, и я это чувствую с каждым новым петербургским вывертом Мережковских и после каждого номера холодного и рыхлого «Мира искусства». Наконец, последний его номер ясно и цинично обнаружил, как церемонно расшаркива-

ются наши Дягилевы, Бенуа и проч., а как с другой стороны, с Вашей, действительно страшно до содрогания «цветет сердце» Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком. По Москве бродил этой осенью и никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером. Ко всему еще за прудом вились галки и был «гул железного пути», а на могиле — неугасимая лампадка и лилии, и проходили черные монахини. Все было так хорошо, что нельзя и незачем было писать стихи, которые я тщетно пытался написать тут же. Когда я послал Вам мое предыдущее письмо, сейчас же сообразил, что написал много ненужных вопросов о собирании шуточных стихов Владимира Соловьева. Но Вы мне даже и на них ответили. Если Вам будет нужна впоследствии помощь, пожалуйста, знайте, что для меня это величайшая честь и огромное удовольствие как в отношении помощи Вам, так и в отношении собирания самих стихов. М-те Мережковская однажды выразилась, что Соловьев устарел и «нам» надо уже идти даль-

ше. Чем больше она говорила таких (а также и многих других!) вещей, тем больше я на нее злюсь, и иногда даже уж до такой степени злюсь, что чувствую избыток злобы и начинаю напоминать себе о ее несомненных талантах... В довершение всего на сцену выступает г-н Добролюбов, который «выздоровел»! Наше место свято.

Ни одной из четырех книг, о которых Вы мне написали, я не прочитал, но прочту. Гамсуна давно уже имел в виду, читал рецензию Льдова, слушал похвалы и невиннейшую брань. Читал Владимира Соловьева, древнюю философию, Аристофана, историю Реформации, Тютчева, Фета и мн. др., все это зараз, часто урывками, как угорелый бегаю по городу, часто радуюсь, никогда не скучаю, имею бесчисленные планы, половины которых, уж верно, не выполню. Стихов пишу мало, потому Вам теперь не посылаю. Спасибо Вам, крепко обнимаю Вас, целую и хочу видеть.

*Ваш Ал. Блок.*

**29. А. В. Гиппиусу. 28 декабря 1902.  
Петербург**

**М**илый Александр Васильевич!

Я почти все это время сижу дома. Начал выходить и опять заболел, даже слег, теперь лучше, но до начала января, пожалуй, придется просидеть еще. Все читаю, пишу и прочее, однако чувствую себя бодро и не в пример временам прошедшим. Когда поправлюсь, приду к вам. Как вы себя чувствуете? Поздравляю вас с Новым годом уж заранее, хотя еще не чувствую его наступления, но чувствую, как всегда в это время и в январе, весенний рост и теплые воздушные струи.

*Ваш Ал. Блок.*

## 30. Андрею Белому. 3 января 1903. Петербург

**М**ногоуважаемый Борис Николаевич. Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это — «песня системы», которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке как искусстве ни с какой стороны. Таким образом, я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то — гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с точки зрения музыки-искусства, а с точ-



ки зрения интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно, нет. «Не имеем ли мы здесь намек на превращение жизни в мистерию»? Следующая фраза еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии» и в статье об Асениной. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай бог, чтобы это не было так!) заполнили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и *отсутствие в ней внешней действительности* наводят на мысль о нумеральном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия». Ведь Вы *хотите* слушать музыку будущего! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обозначили* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо *во избежание соблазна* здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалипсическая труба не

«искуссна» (Ваша 344 страница). Вы последнее слово не сказали, и оттого последние страницы — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому пути», «Миру искусства». Вы гениально достигли полпути и вдруг свернули, улыбнулись Мережковскому с его символом-соединением ( $\delta\upsilon\mu\text{-}\beta\alpha\lambda\lambda\omega$  — подумаете, что все дело в предлоге и глаголе! Мертвая филология, «грех, проклятие и смерть», индийский Дионис с его «символическим» атрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без «созидающего» хохота Вл. Соловьева, с «разлагающим» хохотом Arlekino-Erl-Konig![11]). Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», ин-

фернальной... о, да! inferнальной! «Она влияет». Тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова «инфлуэнца» — influence! (простите за каламбур). Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный всадник на болоте, на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин. Ник. Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в «Новом пути», но я не видел журнала. В этом письме все белое, целый свод апокалипсической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного» (конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» — мифологическая глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам (τῶν μακαρέδσι θεοῦτιν), а других (!) — οὐτ ἐν λοῦψι οὐτ ἐν ἀριθμῶ! [12] Ведь у них у всех последнее самоутверждение, агамемноновские замашки паствы народов. Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически).

Ваши же цитаты *единственного не языческого титана* гласят:

*«Бывшие мгновения поступью беззвучною»...*

Разве это о том? Ведь это вот что:

*Страсти волну с ее пеной кипучей  
Тщетным желаньем, дитя, не лови.*

*Вверх погляди — на недвижно могучий  
С небом сходящийся берег любви.*

Весь вопрос теперь в том, где у Вас *последняя музыка*, лучше сказать, то, что *перестанет* быть музыкой-искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искуссную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»? Есть ли эта последняя музыка — яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-я Сим-

фония, 4 часть) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»)? Есть ли это «грустно-задумчивое»? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка ведущие сны», или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)? Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском и проч. И потому хочу кричать Вам, пока не поздно.

Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам *необходимо* сказать больше, вопить о границах, о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот, тем более что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе — белая, *не* «бездонная», *не* «безобразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон

утрюмой», необходимо, чтобы Вы сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-я). Ваши слова гениально прозревают, потому нам нужно их все. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги», не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и без складок. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока». К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих) в статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас кантовской теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И будет легче, когда будет слышнее цветение Вашего сердца.

Преданный Вам Ал. Блок.

**31. В. Я. Брюсову. 1 февраля 1903.  
Петербург**

**М**ногоуважаемый Валерий Яковлевич. Посылаю Вам стихи о Прекрасной Даме. Заглавие ко всему отделу моих стихов в «Северных цветах» я бы хотел поместить такое: «О вечно-женственном». В сущности, это и есть тема всех стихов, так что не меняет дела и то, что я не знаю точно, какие именно Вы выбрали, тем более что, вероятно, у Вас были в руках некоторые стихи, посланные мной Соловьевым. Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: *Александр Блок*, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывался на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.

Преданный Вам и готовый к услугам  
*Александр Блок.*

## 32. С. М. Соловьеву. 20 марта 1903. Петербург

Мой милый и дорогой Сережа.

Сколько времени прошло, как мы с тобой писали друг другу, и сколько истекло сроков. И, я думаю, столько открылось чудесного и исполнились такие заветы времен, что нет уже надобности заполнять их речью. У нас уже наступают многогранные дни, и нет нужды упоминать о многодумных свершеньях писаний и о том, что «закат не без привета и не без смысла эта тень». Здесь глубоко испытываются храмовые законы Молчаливой Воли, в которых «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Прислушиваясь в себе к дробящим звукам, чувствуешь *железные* звуки, и это в «горних» и готовых для Встречи рудниках сердца. Тебе, одному из немногих и под неперменной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни... Я женюсь. Имя моей невесты — Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен — и не менее *года*.

Пожалуйста, не сообщай этого никому, да-



же Борису Николаевичу, не говоря уже о родственниках. Твое письмо к маме произвело на нас очень сильное и вполне благоприятное впечатление. Надеюсь много раз в жизни видеть тебя и приветствую тебя радостно. Если в это лето ты приедешь в Шахматово, все мы будем счастливы тебя видеть. Вот пока все, что сообщаю тебе. Пожалуйста, если не будет настроения или времени, не трудись отвечать сразу.

Любящий тебя неизменно *Ал. Блок*.

Крепко тебя целую и обнимаю.

### **33. А. В. Гиппиусу. 30 апреля 1903 Петербург**

**М**илый мой и дорогой Александр Васильевич!

Вот, если Вас не застану, оставляю письмо. Желая Вам всего счастливого и светлого, всего, что есть здесь несомненно и только запрятано и закутано. Мне кажется, что мы увидимся скоро, например осенью. Больше уж не приду к Вам. У меня все складывается странно радостно. Сплелось столько всего, что ни написать, ни рассказать кратко невысказанно.

Но все это цепкое, весеннее, пахучее, как ветки сирени после весенних ливней. Будьте счастливы, будьте милостивы, будьте так, как Вы можете. Это правда, что я верю в Вас, и имею на то основания.

Будем писать друг другу. Я уеду отсюда в 20-х числах мая. Крепко жму Ваши руки, целую и обнимаю Вас крепко и радостно.

Господь с Вами и со всеми нами, и оттого мы все никогда не будем суетны. Люблю Вас горячо, господь с Вами, мой дорогой.

Ваш любящий и преданный *Ал. Блок*

### **34. Л. Д. Менделеевой. <13 июня (н. ст.) 1903. Бад-Наугейм>**

**М**оя Любовь, моя единственная. Я получил сегодня два твоих письма. Даже сказать Тебе о них ничего не могу. И вообще трудно говорить с Тобой, опять трудно на таком расстоянии, в такой непривычной обстановке. Здесь совсем животная жизнь, разленивающая и скучная. Мы встаем в 7 часов утра, ждем ванны, после ванны лежим 1 час. Так проходит время почти до Mittag'a[13] (12 ч). После него — шатанье по городу и парку, по-

том в 7 часов вечера — ужин, потом можно идти на террасу слушать музыку, а в 11 часов вечера всё запирают. Все уже устроилось, наши комнаты внизу, в довольно тихом месте, все расстояния маленькие. Город я помню наизусть. Боимся знакомств, между тем сегодня утром приходили какие-то два господина и не застали нас, сказали, что придут nach Mittag, [14] а мы ушли от них кататься на лодке по озеру, сейчас вернулись и боимся их прихода. Теперь день длинный, длиннее русского. По вечерам бывает страннее и скверное чувство отчужденности и отдаленности от всего. Я скоро устрою себе заполнение дня, по возможности приятное и полезное. Вчера начал писать Тебе и бросил, так бесцветно и пусто выходило. Так и теперь выходит пусто и бесцветно. Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя. А немцы до такой степени буржуазно скучны на вид, что о них совсем нечего писать. Страна страшно деловая, сухая. Из роз выглядывают серые лица. Пышность деревьев и цветов и плодородие земли точно ни к чему не обязывают. Нет ни одной хорошей фигуры ни у мужчин, ни у

женщин. Женские лица просто на редкость безобразны, вообще нет ни одного красивого лица, мы не встречали по крайней мере. Все коренастые и грубые, заплывшие жиром. Тому же впечатлению способствуют больные, у которых ноги еле ходят, лица бледные и распухшие. Всё старики и старухи, молодых меньше. И почти никого, при первом взгляде, по-настоящему не жалко, до того бессмысленным кажется их существование.

И все-таки, если бы мы были здесь с Тобой вдвоем, просто так, не обращая внимания на леченья и лечащихся, было бы хорошо. Можно бы было почти никого не видеть и уходить в парк и за парк, на озеро и в поле. Несмотря на однообразие, было бы то преимущество, что мы бы были совсем вдвоем. Не было бы даже третьей — России. Здесь, по-моему, русский (особенно русский) совсем отделен — без земли, без языка и без людей, и даже квилле прикреплен только минутой. Вот какое письмо! Я не люблю ни фактов, ни публицистики. И все-таки написал тебе то и другое. А все оттого, что выбился из колеи. Скоро отыщу точки устоя у Соловьева и Достоевского.

Нужно «задуматься», чтобы понять хоть что-нибудь. Первые здешние думы были вялы. А немцы не «задумываются», и все остальные видимые люди тоже. На лицах нет той складки, которая даже у нас на улицах различима. Вот где истинно плоски лица, так это здесь — и по всей длине прусских железных дорог. Прости за мои письма. Я знаю, что Ты там, севернее меня и лучше меня. И помню все, но не могу выразить, или еще не смею снова начинать выражать, оглушенный ужасно прозаической обстановкой. Здесь нужно «осмелиться» сквозь целую ватагу людей, «живущих зверинским обычаем», воззвать к богу и к Тебе. Нужно писать стихи и молиться Твоему богу. А здесь нет бога, его не видели здешние люди.

Твой.

## 35. Л. Д. Менделеевой. 24 июня (н. ст.) 1903, <Бад-Наугейм>

Около нас есть маленький городок Фридберг. Я там сегодня провел уже второй день. Там две замечательных вещи: собор и дворец нашей нынешней императрицы (когда она была просто Алисой Гессенской). Собор строго готический, весь упирается в небо своими острыми вершушками. Под крышей выглядывают безобразные существа полузвери (как на Notre Dame). Окна узкие, длинные, точно растянулись в постоянном бегстве к небу и так застыли, испещренные тончайшей и сложной канвой узоров. Между двумя богинями приютилась маленькая Богородица с Младенцем, протестантски-некрасивая статуя. Двери окованы так крепко, точно для того, чтобы не выпустить мирян из мрака Лютерово́й религии. Красота всего здания совсем исключает многие из евангельских текстов, а небо как раз серое, и ходит упрямый ветер. Такой страшный божий дом. Когда от него пойдешь по главной улице с домами, крытыми черно-красной черепицей, открывается

вид на древний «кремль», окруженный рвом. Главная башня (самая высокая из окрестных) окружена приземистыми стенами и круглыми короткими башнями в трещинках, с окнами для всяких «лыцарских пицалей» (дрянью же они стреляли!). Единственный мост через ров; на нем, наверное, визжали ворота, часовой кричал и стучал алебардой, под своды въезжали неуклюжие, закупоренные в латы всадники, густобровые, рыжеусые, герольды в беретах — все пришпиленные к лошадям тяжестью одежд. Потом все опять затворилось ржавыми ключами, и наверху загорался сторожевой огонь. — Внутри кремля (ведь он был один сначала, а позже подбежал к нему пестренький городок) — всё те же башни с бойницами, толща стен, дворец новейшей постройки. Латинские надписи на воротах, на фонтане, кое-где гербы, памятник какому-то, очевидно, недавнему придворному музыканту или композитору ничего очень интересного. Сквозь маленькую дверку можно пройти в королевский (или герцогский) сад. Там-то я и застрял. Сад небольшой и разбит совсем особенно — вверху и внизу. Кругом — верхняя

дорожка на высоты стенных зубцов, а в середине — глубокая лощина с дорожками и старыми деревьями, увитыми плющом. Сначала идешь, будто, крадешься, по узкой дорожке вдоль стены, там темно и холодно понурым розам и георгинам. Потом — поворот — и внезапный вид на огромную Гессенскую равнину, на обилие земных соков и культурных ухищрений немцев. Под стеной (весь сад на стенах) бежит железная дорога. Дальше — все оттенки дали — от ярко-зеленого до туманно-синего, на горизонтах — горы. У самого края стены — выступы и беседки из деревьев, и последняя, как венец сада, угрюмая, высокая, почти ужасная, выстроенная из толстых неочищенных древесных стволов — серых и узловатых, точно умерших только тогда, когда уже образовалась из них стена. И в беседке — такие же громадные кресла и стол, на которых подобало бы сидеть треххаршинному сюзерену с толстоногим позолоченным кубком. Это не все еще. Главное, меня поразила и как-то уколола одна аллея из стриженных лип, образующих длинную, сплошь замкнутую сверху галерею. И среди лета — настоящая



осень, вся аллея шумит от желтого листа под ногой. С одного боку — обрыв в среднюю ложину, плющ завил стволы сплошь. С другого — мелькает вид на равнину, но чаще кажется, что все кончается сейчас же за обрывом стены, заросшей кустами. Кое-где ютятся холеные холодные розы, опять розы и георгины, усталые от ветра и здешней осени. Если выбрать минуту полного одиночества и взглянуть вдоль аллеи (она прямая, французского типа), — все ждешь узорного пажа, который бежит шаловливо, вприпрыжку, и напрасно разыскивает «ее и его» — местную владелицу замка и заезжего остроумного рыцаря (остроумного, когда ему удалось наконец стащить доспехи). Где они? Не разберешь, не поймет и тот, кто знает сад, кто сам провел здесь ночь с возлюбленной. Такой уют, несмотря на угрюмость стен, весь сад пропащий (оттого, что там можно пропасть и, надеюсь, не раз пропадали легкомысленно-нарядные пары. А старый граф качал только головой, а поделать ничего не мог, — да и не хотел). И на долю пажей кое-что перепало, наверное (хоть бы поцелуй короткий и томный,

чтобы зажать рот красивому мальчишке), и «наперсницам» бросали кошельки. Все было просто и страстно-интимно, потому что за стеной кончалась жизнь — и начиналась только в следующем таком же замке, непременно вокруг башни, не переходя за границу стен, на равнину. Как заскрипят ворота и гости уедут, — все опять тихо. Все думают: владелец, его дочь и вино в подвалах — каждый заветно и без огласки. — Когда сам ходишь там, все это приходит в голову непосредственно, ждешь подслушать древнюю клятву в верности, застрявшую в рыхлой стене, ждешь увидеть на дорожке розу, такую же сырую от росы и свежую, как она была, когда упала с квадратного выреза толстого негнущегося платья. Хоть давнишнее, а живое. А главное, я представил себе, как Ты идешь со мной рядом и как мы могли бы прожить на стене в саду целое лето, отделившись от всех. Потому я и заметил все это, что представил Тебя Одну со мной. Там хорошо, наверное, в горячую ночь после знойного дня. Мы бы вышли оттуда одичалые и сильные — после такого лета. Но это так потому, что я был там, а не в другом

месте. Думаю, что мы и при других условиях можем одичать. Хочешь одичать? Я страстно хочу, хочу, чтобы было поменьше мыслей и ума — и никого, кроме нас.

Я писал Тебе на этих днях всё отвратительные письма. Ты сердишься, негодуешь, досадуешь — не знаю. Но знаю, что я готов похищать Тебя, чтобы быть с Тобой вдвоем. Это преследует меня и кружится, кружится, до головокружения, до полета. Теперь — одни, одни, одни, почаще, побольше, подольше, потом — все будет видно. Дивная Ты, красавица, Ты у меня стащила рассудок, бросила его со стены, вот и останься со мной вдвоем.

Твой.

## 36. А. В. Гиппиусу. 25 июня (н. ст.) 1903. Бад-Наугейм

Милый Александр Васильевич.  
Я получил Ваше письмо только на днях, хотя Вы написали его 18 мая. Мое Вы получите бог знает когда. Я сижу в очень скучном курорте и беру ванны из таинственного зеленовато-голубого ключа. Это — лучшее, что здесь есть, кроме немецкого национального гимна: «Das Rauchen ist verboten».[15] Отдыхаю и уже очень поправился от зимней усталости, мама тоже как будто и, дай бог не сглазить, чувствует себя лучше. Мы с ней вдвоем здесь — чувствуем очень сильную отдаленность от России, куда через 28 недели поедем, сначала в Петербург на два дня, потом — в Шахматово на июль и половину августа. *Мое* венчанье будет около половины августа в Шахматово, оттуда мы с Любовью Дмитриевной поедем сейчас же в Петербург. Вот какое лето. Пишите, милый, в Петербург на ту же квартиру, а шахматовский адрес Вы знаете, сюда же не успеете написать. Несмотря на расстояние, разделяющее нас с Вами и

как будто рассчитанное на длинные и обстоятельные письма, я пишу как-то вяло, потому что душа уж как-то не требует прежних моих громоздких и отвлеченных обобщений. Улыбаются мне все прошедшие и будущие факты жизни. Конечно, Вы знаете, к чему относятся мои теперешние мысли. А как же Вы? Нет ли чего-нибудь «нового» внутри Вас? Наш последний разговор с Вами оставил на мне след «задушевности» и вместе — тяжеловесности. Вообще мы с Вами *оба* всегда почти говорили тяжеловесно, по-моему. Страшно загромоздились тревожными теориями и, конечно, передумались. Конечно так. Думаю, что это бесспорно. Вам, конечно, раньше, чем мне, захотелось освободиться и «опроститься», но и Вам не удалось, а мне — и говорить нечего. А все-таки этот Ваш термин «жизненность», я думаю, прошел между нами — и возбудил желание прильнуть к нему. Надо бы подраться с «теориями». И, по правде сказать, у меня уже есть для этого очень действительное оружие — брак, если хотите. Вот бы Вам? Ну, — молчу. «Неподвижные идеи» (как у скрипача Ефимова в «Неточке Незвановой») хорошо

смягчать в менее упругом возрасте, а иначе — застрянут внутри во всей своей колючести. Это я пишу все словами, как бог на душу положит, больше потому, что ощущаю это, а не думаю. Чем старше, тем труднее. Напишите о себе. Не увидимся ли мы осенью? Что вокруг Вас? (Мне Ваше письмо переслали из Шахматова). Какие у Вас планы, что государственные экзамены, имеете ли сообщение и переписку? Андрей близко от нас — в Крейцнахе, но мы едва ли увидимся теперь. Сообщу ему Ваш адрес. Крепко целую и обнимаю Вас.

Любящий Вас по-прежнему *Ал. Блок*.

Будьте здоровы.

## 37. С. М. Соловьеву. 8 октября 1903. Петербург

**М**илый мой Сережа.  
Сегодня получил твое второе письмо. Получил, вернувшись из университета и особенно ощущая в эту минуту отчужденность от людей и злость на толстого и бородатого студента, ежедневно спрашивающего у меня: 1) что такое декадентство? 2) оправдываю ли я его существование наряду с другими общественными факторами — и т. д.

Много, долго и все одно и то же. По этой причине (пропуская бездну всех других тебе известных, из которых не последнюю роль играет врожденное и раздуваемое влечение к тебе) был особенно доволен и сменил злость на безмятежное чаепитие. Впрочем, за спиной еще торчат смягчения зубных и гортанных, которые увы! будут «сниться наяву» еще два года. Все это, однако, не удручает, а, надеюсь, в скором времени поможет возобновить стихи, редко удающиеся теперь.

Ты знаешь, я послал в «Гриф» 15 стихотворений. Андрей Белый написал мне о предло-

жении Соколова (кстати, я не отвечаю Андрею Белому и отвечаю Соколову не потому, что ценю славу больше, чем его, а просто потому, что я «прирожденный скот»; на днях, однако, собираюсь исправлять свою репутацию перед ним и отвечать на длинное письмо и великолепную «Старушку»). Знаешь ли ты, что «Симфонию» нельзя достать, она вся разошлась, по крайней мере в Петербурге.

Вчитываюсь в твои стихи и не понимаю, чего нет в них? Прихожу к разным заключениям. Иногда думаю, что они скользят поверху. «Ликуй, Исая» мне совсем не понравилось. «Грех бессилен» сначала чрезмерно логично и «топографично» и «симметрично» и вообще «ично» — и вдруг обрадуешься, когда начинается «Словно лебедь обняла»... Но кончается опять как-то не так. А звучат вообще в нем пушкинские сказки («восхищенья не снесла»), но точно не параллельно им и как будто вторые их варианты. И оно, в сущности, не нравится. *Положительно* нравится мне: 1) «Долго, долго по балкону» — отсюда и до конца, 2) «Тревога жизни отзвучала» — до 4-й строфы (из переписанных осенью тобой в



красную тетрадь). Остальное нравится все, но не за стихи, а за все остальное. Может быть, я вообще люблю односторонние стихи. Я особенно люблю, когда «только ласковой думы волнение, только сердца напрасная дрожь» и вместе с тем не поверху. Впрочем, это, разумеется, в отношении к тому кругу стихов, о которых и которые мы пишем. Твои переводы, напротив, поражают меня и вызывают благодарность, в том числе и «Vita nuova».

В последней (Сонет) мне не нравится только «вдруг» (8-я строка). Не хочется писать об «ином». Но снова и снова лишь констатирую как «общеизвестное» и «общепонятное»: почтальон все так же взбегаёт лестницу к верхней двери. И прячется за шкапами некто, и «Критика разума» лежит в *другой* комнате. Обо всем этом существуют намеки. Недавно мы с женой были на кладбище, искали могилу ее няни. Вместо того нашли... могилу студента-самоубийцы, о котором я только слышал, видел его портрет (снятый в день самоубийства) и читал его стихи. Это не трудно «распечатать». Но я не распечатываю. О Развадовском нет слухов. Я предполагал, что вы

в переписке. Странное приходит в голову.

Л<юба> тебя приветствует. Сейчас она одна в концерте (а мне «медведь на ухо наступил»). Мы постоянно вместе ходим в учебные заведения, а кроме того почти никуда. Театров мало, а со знакомыми раззнакомливаемся. Начинаются понемногу новые, и пока по принципу, формулированному тобой: «Подать сюда мистика!» У мамы сердце скверно, бывают черные мысли. Ты же своими письмами убеляешь косвенно и ее. Но все прекрасно, о чем, впрочем, я ужасно не хотел бы говорить и даже думать. Обнимаю тебя и целую. Вот тебе стихи, боюсь послать уже известные тебе.

Твой *Ал. Блок.*

## 38. Андрею Белому. 13 октября 1903. Петербург

**М**илый и дорогой Борис Николаевич.  
«Осень озолотила» и прошла.

В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде») идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать этого, а если бы имел, то не был бы вправе сообщать об этом даже Вам. Но теперь, теряясь в области предположений, хочу *известить* о них *Вас непременно*. Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева. Лично у нас с ним как-то (даже *когда-то*, хотя я и знаю, когда) нечто переплелось — большое и синеватое, потерявшееся потом в «лазурно-безмирном своде».

Были кроткие взгляды, сторожевые окрики, кто-то подавал нам невидимые руки, когда мы шли над пропастью. Мне бы хотелось, чтобы и к *Вам* стекались похвалы этому человеку, хотя бы безыменные. Вы постоянно го-

ворите (в статьях), что «многие не поймут, откуда Вы говорите». Признаюсь, что и я не понимаю, потому что не знаю, откуда Вы вообще появились, и к Вам по преимуществу приложил бы Ваши слова:

*В венце из звезд, над царством  
скуки,  
Над временем вознесены —  
Застывший маг, сложивший руки,  
Пророк безвременной весны.*

Я бы устыдился, сообщая Вам все мои мысли о Вас. Многого и сам угадать не могу и из своих мыслей. Одно время я думал написать о Вас статью, но теперь мне кажется, что рано, потому что все слова о Вас сплетутся с Вашими. В общих чертах, отдаленно-холодным взглядом окидывая, гипнотизируя дрожь Ваших слов, заставляя их хоть на мгновение застыть, можно еще сказать (с грехом пополам), что Вы *еще* больше «лирик», чем «мыслитель». Но такое определение страдает ненужностью. Еще одно время я думал о Ваших «повторениях». Но думаю теперь, что нет повторений там, где совершается Ваше «литературное» шествие. С одной стороны, у Вас в руках

очень тяжелая палка, которой Вы колотите нещадно многие из прежних «литературных образов», в том числе многие из современных. С другой — прозрачная кротость и песни задумчивой девушки. Едва ли кто-либо из наших современников внутренне *синтетичнее* Вас — столь небывалое сливается и о столь невозможном поэте. Ваши лекции, о которых Вы мне писали и прежде еще говорил Сережа, были для меня сначала странны и дики. Мерещилось в них «обдуманное самоубийство» — обречение себя на невероятную усталость, на полную, может быть, усмиренность. Теперь мне кажется, что и в лекциях Вы правы: они нужны. Тот «скептицизм», о котором я писал (мистический), лучше сказать, ту *задумчивость* (так точнее), я простирал на что-то внешнее. Между тем, строго говоря, можно быть «задумчивым» и под градом камней, разумеется, *неудачно* брошенных (что и предполагается). «Застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны...»

Можно бояться сознательно *только одного*: своего ужаса. Нечто случилось. Может быть, новый звездный мост перекинулся, мо-

жет быть, друга подняли за мертво чужие люди. Тогда и ночью, как «среди белого дня», в складках завесы образуется неожиданный разрез. Он может испугать — Вы знаете.

Только этот испуг страшен. Он ведет к неизгладимому. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещены ручки и ножки. Они так высохли, и из лица, некогда прекрасного, стало «личико», сморщенное, маленькое. И голова ушла в плечи.

Ему останется одно в жизни: весенним утром, в оттепель зимы, — бегать по улице с лесенкой, тушить фонарики, плакать на дворе: «Ах, какой серый город!» А из города ему не выехать, в деревню не попасть, — даже на билет III класса не хватит «средств». Он одиночествовал, он предавался лазурному плесканью, голубки ворковали жалобно, а ему, старому от рожденья лгуну, не пришло в голову зажечь лампадку. Красная лампадка, услышать тенор священника из струящихся седин бороды, чтобы «в сердце, сжавшемся до боли, — внезапно прослезился свет»... Не успел. И не всякий успеет зажечь свою лам-

падку. Потому что лампадка у каждого своя — и, увы! мы в этом еще глубоко, нескончаемо индивидуальны, да еще, чтобы «продолжить удовольствие», носим маски и масочки. К чему? Я говорю, например, про Семенова. Зачем он *никогда* не решится «плакать при чужих»? А может быть, и решится? «Нос как свечка» многое обещает. У многих из нас есть и были «носы как свечки» — «восковые черты». Надо оживить, растопить. *Если сам не растопишь*, растопят другие. Это и будет страх, будет ужас. На такого человека испуганно взглянут сверху нежные личики, милые лилии Ангелов. Пусть *поскорее* зажигает свою лампадку.

*Так я женился.*

Милый Борис Николаевич. Ваша «Старушка» так изумительна, что я даже откладываю писание Вам о Ваших стихах, которые Вы мне прислали. То же про «Великана». Покорнейше прошу прислать еще. Благодарю Вас за краткое открытое письмо с кентавром, я уже послал стихи Соколову. Благодарю Вас вообще. Посылаю Вам два стихотворения, потому что больше не написал еще. В обостренные мгновения, когда приходится «измерять глубину»

своей и других жизней, Ваши слова помнятся. «Еще напевами объята душа светла и жизнь легка». «Образ Возлюбленной — Вечности». Не рассердитесь, что пишу Вам всегда меньше, чем Вы мне. Это — оттого, что я не понимаю своих слов, когда их много, лучше, когда мало. А Ваших слов люблю много. Напишите, когда лекции, вообще напишите, если некогда, не торопитесь. Целую Вас и крепко обнимаю, люблю.

*Ал. Блок.*

P. S. Пишу Вам на Сережин адрес, дорогой Борис Николаевич. Может быть, у Вас другая квартира.



## 39. Андрею Белому. 20 ноября 1903. Петербург

Милый Борис Николаевич.

Спасибо Вам за все сведения о Ваших отношениях к «Скорпиону» и «Грифу». Мне было очень важно знать это, потому что верю в Вас глубоко. То, что Вы пишете *не* об этом, мне в высшей степени понятно. «Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со всех сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими или не понимающими людьми. Потому, кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании, похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить. Чувствую себя виноватым и все-таки молчу по странному чувству давнишней известности моих возможных слов для тех людей, с которыми в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходит действительно похоронно как будто, хотя у меня внутри редкая ясность, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самых близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я внут-

ренно кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне показалось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно, и поставили Ваше состояние молчанья для себя на первый план. А я уже мирюсь с этим, потому что не вижу *крайней* необходимости тратить пять лошадиных сил на второстепенное... Вот и я «*все о себе*». Только, мне кажется, это ничего. Вам может быть интересно обо мне так же, как мне всегда захватывающе интересно все о Вас. Да и как же нам раскрыться, если не писать о себе. Ваша оговорка, мне кажется, напрасна, потому что мы понимаем уже навязчивость и ненавязчивость, так же как схоластику и не схоластику, как когда-то сказали Вы, и потому можем пользоваться свободно тем и другим для единой цели.

Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, *кто я, что я!* Разве Вы не знаете? То же и то же опять, милое, единое, вечное в прошедшем, настоящем и будущем. Дойти до напряженного проникновения — «и след мечты опять стряхнуть с

чела». И что такое эти наросты окружающих толков, а priori'ных определений шаблона жизни — для всех одинаковой — так ли? Чем лучше то, что выходит *только* из кабинета, чем то, что выходит *только* из будуара? То и другое — метафизическая сплетня. Я говорю о самом близком, окружающем меня. Один из петербургских поэтов пишет мне: «Про Вас ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи». М-ме Мережковская, кажется, решила это заранее. Что же это значит? М-ме Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в эту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, вот снова пишу стихи, и милое прежде осталось милым; и то, что мне во сто раз лучше *жить* теперь, чем прежде, не помешало *писать* о том же, о чем прежде, и даже об Иммануиле Канте, как оказалось впоследствии из анализа стихотворения «Сижу за ширмой». А тут «сложилась легенда»... Это порой кажется просто глупым, отдаленным от смысла. Извините за откровенность, она не цинична (как Вы, я думаю,

знаете), мне хочется только сказать Вам то, чего, во всяком случае, не скажу Мережковским, если даже их еще увижу. Не отнеситесь только к этому с «судорогой презрения», хотя это тоже «словесное», не особенно нужное, разумеется. Таковой же мне кажется размолвка «Скорпиона» с «Грифом». Я совершенно понимаю, если хотите, Брюсова, восстающего на «Грифов». Хотя — зачем? Мне кажется, что это не навсегда, даже, может быть, ненадолго. Тому доказательство — «Urbi et orbi». Это — бог знает что — только в обратном смысле. Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем Вы, об этой книге. Долго просижу еще над ней, могу похвастаться и поплясать по комнате, что не всю еще прочел, не разглядел всех страниц, не пронзил сердца всеми запятыми. При чтении могут прийти на ум мысли круглого идиота о том, как много на свете делается, сколько на небе звезд, какая бывает хорошая погода — и прочие. Возвращаю с охотой и страстью, не отнимая у Вас, Ваши слова — автору:

## *В венце из звезд...*

Бальмонт тоже натворил чудес, выпустив последние две книги. А Вы!!! Молчание. Милый Борис Николаевич, мне Вы написали столько незаслуженного, что я краснел, читая.

Вы говорите, что, может быть, навсегда замолчите. Это невозможно. Вам не о чем молчать, потому что Ваши богатства неисчерпаемы и повторения Вас не будет...

Однако, однако, мы обмениваемся разговорчиками! Я боюсь, как бы с моей стороны это не кончилось полнейшим отсутствием словесных знаков. Вы будете печатать, а я в ответ, вместо никуда не годных «рецензий», — мычать.

Вы знаете, наверно, что разрывание от *понимания* окружающего иногда еще болезненнее скуки. Потому, вероятно, как и я, не всегда позволяете себе понимать. Впрочем, часто этого предотвратить невозможно, а потому начинается усиленное заглядывание в зеркала и на перепутья, где веет снеговой ветер, — не появится ли там к своему весеннему юбилею какой-нибудь морщинистый Кантик, или

напротив — Кантище на соломенной табуретке. Или, можеет быть, в пальто, на извозчике, с поднятым воротником. Разумеется, мы его узнаем, и придется приглашать, чего доброго... доброго-доброего... старичка.

Бывает и так. Но поймите же, наконец, *ВЫ*, московский и *НЕ* петербургский мистик, что мне жить во *СТО* раз лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что мои стихи — препоганые.

Как бы это Вам приехать в Петербург? Мы с женой, кажется, поедem в Москву в начале января. Страшновато мне встретиться с Вами. Как-то это выйдет «официально»... Немножко пахнет могилкой, в которой похоронили этой весной маленькую девочку в голубом платьице. Этот факт мне известен из достоверных источников, едва ли не иноземных, полученных от «влюбленных гостей поздних веселых времен». Оказывается, они дальние родственники Виндалая Левуловича... А может быть — привез на извозчике маленький Кантик? Тррах! Грохнулся с извозчика, ушибся; его поднимали дворники под ручки, ввели в горницу, поставили на колени, накрыли полотен-

цем. Думали, что молится, оказалось — пропал без вести, пришел к невесте и провалился на месте. Только его и видели.

Все это все-таки ужасно не нравится. Чего доброго старичка где-нибудь и повстречаешь. Юбилей — не мудрено!

До свиданья, милый Борис Николаевич, — по-настоящему. Прошу Вас, когда можете, пишите, не забывайте. Спасибо за все. Люблю Вас, как свою тишину и сон наяву — «среди белого дня».

Преданный *Ал. Блок*.

Петербург — город, по улицам которого на днях, по случаю наводнения, проплыли на ялике двое в колпаках, ухмыляясь, с ящиком, на котором написано было: «Осторожно!!!» На перекрестке из ящика просунул головку Иммануил! Он сказал: Здравствуйте! Нынче хорошая погода и приятно покататься на лодке. Постарайтесь к вечеру доставить меня в Кенигсберг.

**40. В. Я. Брюсову. 23 ноября 1903.  
Петербург**

**М**ногоуважаемый Валерий Яковлевич. Ваше предложение участвовать в журнале «Весы» для меня необыкновенно лестно и приятно. Благодарю Вас от всей души и постараюсь оправдать Ваши ожидания. Считаю, однако, своим долгом предупредить Вас, что я связан обещанием (относительно своих стихов) с редактором альманаха «Гриф». Не могу себе представить, как Вы отнесетесь к этому, потому что слышал об отношении «Скорпиона» к издательству «Гриф». Если этот вопрос не стоит в зависимости от литературного участия в изданиях «Скорпиона», — мне было бы очень важно предложить Вам несколько стихотворений для альманаха «Северные цветы» на 1904 год по примеру прошлого года, если еще не поздно. Прошу Вас ответить мне, если это Вас не затруднит, для того чтобы я мог поступить так или иначе и ориентироваться в трудном для меня вопросе.

Преданный Вам и готовый к услугам Вашим



Ал. Блок.

**41. В. Я. Брюсову. 26 ноября 1903.  
Петербург**

**Г**лубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Каждый вечер я читаю «Urbi et orbi». Так как в эту минуту одно из таких навечерий, я, несмотря на всю мою *сдержанность*, не могу вовсе умолкнуть.

Что же Вы еще сделаете после *этого!* Ничего или —? У меня в голове груды стихов, но *этих я никогда не предполагал возможными*. Все, что я могу сделать (а *делать* что-нибудь необходимо), — это отказать себе в *чести* печататься в Вашем Альманахе, хотя бы Вы и *позволили* мне это. Быть *рядом* с Вами я не надеюсь никогда. То, что *Вам* известно, не знаю, доступно ли кому-нибудь еще и *скоро ли* будет доступно. Несмотря на всю излишность этого письма, я умолкаю только теперь.

*Александр Блок.*

## 42. С. М. Соловьеву. 1–6 декабря 1903. Петербург

Милый Сережа.

Вчера вечером мы с Любой истратили порядочно нервов. Был концерт Олениной. Со мной делалось сначала что-то ужасно потрясающее изнутри, а после немецких песен я так устал что с трудом слушал русские. Она пела, между прочим, «Лесного царя», «Двойника», «Два гренадера». К счастью, не было «Песен и плясок смерти», но была «Детская» Мусоргского. Люба была совсем потрясена, так же действовало и на маму. Мы были втроем и видели тетю Сену, которая с грустью говорила маме, что ты ей не пишешь. Была с Манасеиными. С Олениной что-то делается, когда она поет. Мне кажется, что она не проживет долго. Возвращаясь домой, я собирался написать о ней в «Весы», но вместо того вышла рецензия на «Urbi et orbi» в «Новый путь». Брюсов мучает меня приблизительно с твоего отъезда, ибо тогда я стал читать его книгу. Мне, откровенно говоря, хочется теперь сказать ему какую-нибудь пакость, разу-

меется, только потому, что обратное плохо говорится. Читать его стихи вслух в последнее время для меня крайне затруднительно, вследствие горловых спазм. Приблизительно как при чтении пушкинского «Ариона» или «Ненастный день потух».

*6 декабря*

Продолжаю. Начал тебе писать ночью, вне себя от «Urbi et orbi». Бросил и заснул. Не отвечаю тебе долго, потому что очень много дела — штук десять рецензий, некоторые — к определенному сроку. Сообщу тебе несколько фактов. Я получил от Брюсова очень лестное письмо по поводу моего письма к нему о его книге. Вижусь со здешними поэтами, от которых, в противоположность московским, веет молчанием и холодом. До сих пор не могу оценить этого качества, иногда мне кажется, что это залог будущих действий, а не разговоров. Настроение самое лучшее (у меня), очень деятельное, подвижное, даже без молчания. Хотим непременно приехать в Москву, если будут деньги. Слова Батюшкова о Брюсове, которые ты мне передал в письме, кажутся мне

настолько важными, что я в ином виде вставил их в рецензию. Как видишь — на языке до сих пор Брюсов. «Он не змеєю сердце жалит, но, как пчела, его сосет...» Фамилия твоя приклеена к стихам. О твоих стихах напишу тебе как-нибудь отдельно, когда упьюсь «Королевной». По-моему, в ней нет подражания Белому. Спешу тебя умерить, что ты мне никогда не представлялся «скромным тружеником», но не пришлось ли тебе быть им относительно задач и экзаменов? — Можно ли писать: «Мальчик на горку уж ввез сани с обмерзлой веревкой». Ведь это уже написано в «Urbi et orbi». Не потерплю такой узурпации относительно Брюсова и отомщу тебе кинжалом — в свой час. Впрочем, надо полагать, что скоро сам напишу стихи, которые все окажутся дубликатом Брюсова. Пока скажу тебе, что, по-моему, кроме классической «Королевы», лучше всего «Мы шли в последней темноте», «Дымка прозрачного пара» и «струнный голос». Кончаю письмо, сейчас выйду не без приятности на улицу, где иллюминация. Люба в симфоническом концерте, где поминают Берлиоза.

Твой Ал. Блок.

### 43. П. П. Перцову. 9 декабря 1903. Петербург

**М**ногоуважаемый и милый Петр Петрович. Спасибо Вам за Ваше неизменное отношение ко мне и стихам моим, и особенное спасибо за простое и откровенное письмо. Для меня это так важно всегда, когда дело идет о важных и неважных вещах, а между тем откровенности кругом почему-то ужасно мало — в Петербурге. А из Москвы она, как вода жизни жаждущему, часто дается даром. В Вас, если Вам это не обидно, я всегда чувствовал что-то московское. Для меня это очень много, потому что в Москве я потерял Соловьевых и приобрел Бугаева. А за последнее время «Скорпион» вызывает очень большие дозы *личной* моей благодарности, издавая свои книги. Кстати — мои рецензии, боюсь, не годятся Вам — они длинные, но от души.

Мои стихи, которые я послал Вам, я буду считать свободными (т. е., если встретится возможность, напечатаю где-нибудь), списки

же, если они Вам нравятся, оставьте лично у себя, в знак моей неизменной преданности Вам. Если рецензии Вы найдете возможными, буду ждать Коневского, о котором, пожалуй, придется также написать длинно, а об остальных книгах собираюсь написать маленькие рецензии.

Любящий и уважающий Вас *Ал. Блок*.

#### **44. Андрею Белому. 12 декабря 1903. Петербург**

**М**илый Борис Николаевич.

Все это время я был занят рецензиями и т. п., потому не отвечал. Теперь, после крайнего напряжения нравственных сил, что-то упало во мне, но шевелится, шевелится в мозгу, и ранним утром приходят в голову пронзительные мысли. После больших приемов стихов Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гиппиус странно чувствуешь себя все еще самым собой. Так быстро спадает первоначальное очарование, и остается объективная радость и благодарность. Но пока надо пройти сквозь усталость.

А как Вы думаете? Не мы ли с Вами — лю-

ди в будущем враждебные друг другу, о которых Вы говорите? Я говорю это, потому что слишком люблю Вас. Между тем я боюсь, что с Вами что-то случится и со мной что-то случится. Иногда, пресыщаясь и уставая, как бы пропустив мимо себя любимую фалангу со слезами на глазах, я чувствую, что слезы высохли, осталось глухое утомление и удушье. Тогда нет в мире ни одной черты, которую мне не хотелось бы перевернуть вверх дном. Все валится в одну грудку, в которой ищешь того, чего никогда еще не находил. Когда мы оба затворимся от людей (я, как и Вы, хочу этого), с нами и случится. А пока один день я раздуваю ноздри, а другой — брожу, как сонная муха. Должно же что-то треснуть и разбиться, чтобы под этим «что-то» оказалось единое.

Со всем, что Вы пишете о Мережковских, я согласен. Но стихи, стихи Зинаиды Николаевны! И уморительны и гениальны! Если кто устал, то это она и Сологуб. За эту усталость ей все простится. Не знаю, как Вы относитесь к ее стихам, я постоянно вижу, что действительно будет чудо, если их поймет хоть один.

Я не понимаю, но чувствую, что надо остановиться; а ранним утром пронзительно визжат в мозгу и ее стихи. Иногда приходит в голову, что петербургская теоретичность и схематичность может обратиться в практику. Эта практика будет иная, чем в Москве. Под Вами — голубая вода, легкий хрустящий песок на твердом дне. Здесь под нами ничего, ничего, ничего, голова кружится, когда оступишься, рабские мысли приходят: только бы не увидеть, — лучше совсем опять надолго съезжиться.

О Вашем голубом дне я говорю только в противоположность нашему. Вы — над провалами и кручами, но что-то есть у Вас, за что ухватиться.

У нас — ничего. Никто и руки не протянет. Полное одиночество, беспомощность, скудость сердца. Я слышал, что Вас зовут в Петербург. Не ездите, милый, не переселяйтесь. Едва ли Вы хотите этого, впрочем. Мне очень хотелось бы хоть ненадолго убраться отсюда подобру-поздорову к Вам в Москву. А здесь не поладишь ни с Медным Всадником, ни с Таврической Венерой.



Вот я опять написал Вам скудное письмо. Поверьте мне, что я Вас люблю теперь уже совершенно просто, даже помимо всех драгоценностей, которые Вы расточаете в стихах и прозе. Пошлю Вам хоть стихи. А в Москву, вероятно, мы с женой приедем. Вы приедете к нам в Петербург?

Ваш преданный друг *Александр Блок*.

## **45. В. Я. Брюсову. 13 декабря 1903. Петербург**

**Г**лубокоуважаемый Валерий Яковлевич. Ваше письмо о моих стихах и рецензиях доставило мне много приятных минут. Очень важно и лестно для меня и то, что мое имя упомянуто в объявлении «Весов». Ваше мнение для меня — одно из самых веских и достоверных, ибо Вы давно влияете на меня Ваши книгами (не исключая «Chefs d'oeuvre» и «Me eum esse»). Мой ответ Вам запоздал потому, что я хотел соединить его с прилагаемой корреспонденцией для «Весов». Направляю ее к Вам лично, потому что совсем незнаком ни лично, ни письменно с С. А. Поляковым. Не совсем уверен, что Вы примете мою рукопись,

во-первых, потому, что январская книга «Весов», вероятно, готова, во-вторых, — труппа Метерлинка дает спектакли и в Москве, и, вероятно, идут те же пьесы. Я старался не говорить специально о пьесах, так как предполагаю, что московские отчеты будут подробны. Может быть, возможно все-таки поместить заметку в январе? Я торопился, насколько мог, потому что последний спектакль был 10 декабря. Что касается заглавия и отдела журнала, то я, конечно, предоставляю все это редакции «Весов».

Глубоко преданный Вам *Александр Блок*.

## 46. С. М. Соловьеву. 20 декабря 1903. Петербург

Милый Сережа.

К тебе и стихам твоим я чувствую глубокую нежность. Люба необыкновенно точно представляет, как ты читаешь «Королевну». Настолько близко, что мне стало «чуть-чуть страшно», как говорится в Писании («Симфония» 1-я героическая). В эту минуту я вдруг опять вспомнил все прошлогоднее с новой силой. Очень и слишком часто приходит в голову эти дни, что было бы теперь, как было бы, если бы все осталось по-старому.

*Долго, долго по балкону  
Я хожу в вечерней мгле.  
Ночь ползет по небосклону  
И спускается к земле.*

Все перемены жизни, и мои лично, и твои, и наши, и те, и другие, и еще, и еще!.. все обвили меня белой пеленой, обязали к чему-то. Все, что было, отрезало пути к отступлению в детство жизни. И это прекрасно, и к лучшему. Прежде когда-то мне удавалось прожить

твою строфу:

*Тревога жизни отзвучала  
И замирает далеко.  
Змеиной страсти злое жало  
В душе уснуло глубоко.*

Теперь я почти поручусь, что это когда-то, стоящее рядом, навсегда остановилось в воспоминании только, и я бессилён понять такую близкую минуту. Тем более, мне издали поется это каждый день теперь. И рядом с этим, например, Врубель, который меня затягивает и пугает реально, особенно когда вспомнишь, что с ним теперь.

Еще одна разгадка твоих стихов: они требуют отдельного «настроения». Кроме того, часто требуют твоего голоса. Они не гибки или, выражаясь чисто современным декадентским языком, не изысканны. То же самое в стихах Владимира Соловьева: они требуют любви, а не любовь — их. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто раз больше, чем в них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь. Твои стихи (хотя далеко не все) тоже необходимо полюбить через кого-нибудь: иногда — через твой

голос, через однозвучность и скандированье, а иногда через собственную мысль или собственный образ, перехваченный по дороге.

Тогда «Королевна» говорит во сто раз больше, чем сказано словами. Также — «Мы шли в последней темноте» и «Золотой качался колос». Эти три — самые любимые мной из последних. «Дымка прозрачного пара» еще под сомнением, там ужасно портит чередование настоящего и прошедшего времени (даже *perfectum* и *imperfectum*), — и еще кое-что, что я тебе говорил, особенно — «Брат положил в тихой ласке».

«Королевну» (я для краткости) я читал на днях Семенову (автору драмы и стихов в «Новом пути») и Смирнову (постоянному сотруднику «Нового пути», оба — студенты и поэты). Они отнеслись равнодушно. По этому поводу мне приходит в голову нечто о прерафаэлитстве (ибо ты к нему в последнее время, кажется, близишься, в противоположность мне, удаляющемуся); «Королевну» я нахожу в больш. степени прерафаэлитской. Оно не может быть забыто теперь, но оно не к лицу нашему времени. Лицо искажено судорогой, приходит

постоянное желание разглаживать его морщины, но они непременно опять соберутся. Это чересчур просто сказано у меня, но я не чувствую надобности усложнять, потому что это действительно просто до угнетения. Потому же особенно ясно, что теперь именно труднее всего рассказать другому свой самый светлый сон (это отчасти говорит Гиппиус в предисловии к «Собранию стихов»). Чтобы его поняли, нужно, чтобы любили, а так как все заняты своим делом, — то своевременнее (более ли *вечно* — не знаю) действовать кинжалом, как Брюсов, как Врубель.

Скоро для поэзии наступят средние века. Поэты будут прекрасны и горды, вернутся к самому обаятельному источнику чистой поэзии, снижут нити из всех жемчугов — морского дна, и города, и ожерелья девушек каждой страны. Мне кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады, воскреснут. Но при этом повторится и кочевая жизнь с оружием в руках и под руками, стилеты под бархатными плащиками, целая жизнь пажа, или трубадура,

или крестового рыцаря, или дуэньи, или «дамы сердца» — всех в целостности и полной индивидуальности — *на всю жизнь*. Это как реакция на место богословия, с одной стороны, вздыхающей усталости — с другой. Сологуб и сквозь усталость увидел звезду Маир, реку Лигой, землю Ойле. Что же мы-то, желающие жизни? Я лично хочу, сойдя с астрологической башни, выйти потом из розового куста и спуститься в ров непременно в лунную, голубую траву, пока не появился в зеркале кто-нибудь сквозь простыню. Трудно будет с моими «восковыми чертами», но тем не менее попробую. А пока я болен (простудился) и сижу дома. У мамы — головные боли, у дяди Франца — флюс. О Любе не говорю, чтобы не сглазить. Пожалуйста, напиши о себе.

У меня к тебе одна нескромная просьба. Скажи пожалуйста, живет ли у тебя кто-нибудь? Дело в том, что у меня тайное желание ночевать у тебя, когда мы будем в Москве. Люба должна остановиться у своих родственников, которые очень милы, но тем не менее мне бы очень хотелось самому не стеснять их и быть в отношении к ним не слишком в за-

висимости, чтобы осталось больше времени на мистическую Москву. Предупреждаю тебя, что: 1) ты прежде всего *должен* совершенно обдуманно и искренно сообщить мне, помещаю я тебе или нет; 2) что мы не наверное поедем в Москву; 3) что, если поедем, рассчитаем так, чтобы, проведя дней десять, быть в Москве в день 16 января, притом лучше, чтобы этот день оказался одним из последних дней пребывания! в Москве; 4) что я *могу* остановиться у Любиных родственников, которые даже приглашают меня, и обращаюсь к тебе скорее по собственному капризу.

Напиши, мой милый, целую тебя и обнимаю крепко. Все мы тебя любим.

Твой *Ал. Блок*.

Вот два последних стихотворения. Пришли мне твои последние стихи.



## 47. Матери. 14–15 января 1904. Москва

9<sup>-е</sup> — *пятница.*

Разговор с уездной барышней в купэ III класса.

10<sup>-е.</sup>

После малого спанья приехали на квартиру Марконет. Очень хорошо и уютно. Визит к Владимиру Федоровичу («Агнес!» и пр.). От Вл. Ф. к Сереже: на лестнице — тетя Саша. Ее литературные разговоры. Бугаев (совсем не такой, как казался, — поцеловались) и Петровский — очень милый. Сережа с криками удаляется на немецкий экзамен. Мы вчетвером (с Буг. и Петр.) идем пешком в «Гриф». Никого не застали. Все приехали пить чай к нам на Спиридоновку. Через некоторое время отправились к Менделеевым. Очень мило — всего полторы пошлости (отец и сын). После обеда вернулись домой. Пили чай с Сережей, Бугаевым и тетей Леной, которая завтра (11-го) уехала. Легли спать в первом часу. Стихов еще почти не читали. Сережа представил пье-

су Чехова на Станиславской сцене.

11-е — воскресенье.

Пробуждение в полдень от криков Сережи. Мы идем вдвоем с Любой к Соколовым. Нина Ивановна очень мила, довольно умная (умнее мужа). К трем часам еду к Бугаеву, не застаю уже там Антония (епископа на покое), который был в два часа (тот самый, у которого были Мережковские). М-ме Бугаева(!). Дверь соловьевской квартиры с надписью: «Доктор Затонский». Бугаев и Петровский говорят, что его *нет* — затонул в тростниках. Сидим с Бугаевым и Петровским под свист ветра. Радуемся. Выхожу к менделеевскому обеду из дому Бугаева: за спиной — красная заря, остающаяся на встречных куполах. С крыш течет радостно. На лестнице Менделеевых сонная Сара говорит: «Какая ужасная погода!» (первое впечатление). Скука — среднее впечатление. Присутствие трех чужих лиц за обедом: 1) молодой <...>, 2) господин со слепыми: голосом, фигурой, рожей, определенный мной словами: «забинтованное брюхо», 3) дама, источающая пошлость скрипящим от пе-

репоя голосом. Последнее впечатление: Дм. Ив. Вы куда? Люба. К Андрею Белому. Д м. И в. Отчего не к черному? — С тех пор мы еще не показывались у Менделеевых, а в настоящую минуту (вечер 14 января) они разыгрывают любительский спектакль, на который нас очень звали. — Возвратясь домой — едем к А. Белому *на собрание*: Бальмонт, Брюсов, Батюшков, художник Владимирова, М. А. Эртель (мой *самый* яростный поклонник — брат петербургского офицера!), Петровский, m-me Соколова. Бальмонт приходит с Ниной Ивановной. Мой разговор с Брюсовым. Бальмонт читает стихотворение «Вода». Я читаю стихотворение «Фабрика» и «Три лучика». Брюсов без дам читает два стихотворения — «Белый всадник» и «Приходи путем знакомым». Еще важнее «Urbi et orbi»! После ухода Бальмонта, Брюсова, Соколовой — мы с Андреем Белым читаем массу стихов (за вторым ужином). Ночь. Андрей Белый неподражаем (!). Я читаю «Встала в сияньи». Кучка людей в черных сюртуках ахают, вскакивают со стульев. Кричат, что я первый в России поэт. Мы уходим в третьем часу ночи. Все благодарят, трясут ру-

ку.

*12-е, понедельник.*

Утром приходит Сережа. Мы втроем едем на конке в Новодевичий монастырь. Сережа кричит на всю конку, скандалит, говоря о воскресении нескольких мертвых на днях, о том, что антихрист двинул войска из Бельгии. Говорим по-гречески. Все с удивлением смотрят. Яркое солнце. В Новодевичьем — на всех могилах всех Соловьевых, Марконетов и Коваленских. Купола главного собора, золото в глубоко синей лазури сквозь ветки тополя. «Кувырকাющиеся» (Сережа) фигурки святых на стенных образах. Из монастыря бродим по полю за Москвой, у Воробьевых гор. Возвращаемся не без прежних скандалов в город. Входим в Кремль (все втроем). Проходим мимо всех соборов в яркой вечерней заре. Опьянение и усталость. Входим в квартиру Рачинских. Поразительность хозяев и квартиры. Григорий Алексеевич говорит со мной о Бальмонте и Волошине. Именины его жены, Лопатин, гости, крошечные художественно-уютные комнатки (у Иверской), конфеты, чай, ва-

ренье. Рачинский целует руку у Любы (всегда). Выходим, спускаемся от Иверской. Смятение, веселье внутри и на улице. Полнеба страшное — лиловое. Зеленая звезда, рогатый месяц. Сережа едет обливаться (ежедневно), мы — обедать к нему. Зязя. Варя. Вечером приходит Бугаев. Приехала тетя Соня (бодрая). Мы оставляем ее с Зязей. Запираемся вчетвером (Бугаев, Сережа, мы). Пьем церковное вино, чокаемся. Знаменательный разговор — тяжеловажный и прекрасный. Возвращаемся домой. Тетя Соня, Бугаев. Читаем стихи. Ночь.

### *13-е, вторник.*

Утром Сережа, Владимир Федорович и мы (вчетвером) едем в Сокольники на другой конец Москвы с весельем и скандалами Сережи в конках в больницу к Саше Марконет. Сидим с ней около часу. Подробности устно (почти не сомневаюсь в ее сумасшествии). Она рада. Впечатление хорошее. Возвращаемся так же. Обедаем у Сережи с Бенкендорфом (как всегда — с Зязей). Уходим. Сталкиваемся в дверях с Рачинскими, Мишей Ковалевским.

Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион». Не застаю, приезжаю один. Редакция: портрет Ницше. Брюсов, Поляков, Балтрушайтис. Разговариваю со всеми, особенно с Брюсовым. Рецензия на Метерлинка не принята, потому что не хотят бранить Метерлинка. Уходим с Бугаевым, идем пешком. Захожу за Любой. После чаю едем на собрание «Грифов»; заключаемся в объятия с Соколовым (его не было дома раньше); собрание: Соколовы, Кобылинский, Батюшков, Бугаевы (и мать), Койранский, Курсинский. Отчего нет Бальмонта? «Он — в своей полосе». Читаю стихи — иные в восторге. Ужин. Звонок. Входит пьяный Бальмонт (последующее не распространяй особенно). Грустный, ребячливый, красноглазый. Разговаривает с Любой, со мной. Кобылинский, разругавшись с ним, уходит (очень неприятная сцена). Бальмонт просит меня читать. Читаю. Бальмонт в восторге, говорит, что «не любит больше своих стихов»... «Вы выросли в деревне» и мн. др. Читает свои стихи — полупьяно, но хорошо. Соколов показывает корректуры альманаха (выйдет 1 февраля). Моих стихотворений —

семнадцать (кроме посланных — «Фабрика», «Лучики»). Уходим в третьем часу. Бальмонт умоляет нас обоих остаться. Тяжеловато и странновато.

*14-е — среда.*

Утром: мы, Бугаев, Петровский и Соколова едем в Донской монастырь к Антонию. Сидим у него, говорит много и хорошо. Любе — очень хорошо, многое — и мне. О Мережковских и «Новом пути». Обещал приехать к нам в Петербурге. Прекрасный, иногда грозный, худой, с горящими глазами, но без «прозорливости», с оттенком иронии. О схиме, о браке, идем из монастыря пешком (пятеро). Расходимся. Мы с Любой обедаем у Тестова (два расстегая и уха — очень вкусно). Играет мерзкая музыка. Проходим Тверскую, возвращаемся, пьем чай с тетей Соней, пишу письмо. Все прекрасно — впечатление от пьяного Константина Дмитриевича изглаживается.

*Будущее.*

*Завтра — религиозное собрание, Сережа.*

*16-е — Новодевичий и памяти.*

17-е — собрание — обед у Рачинских.

*Еще неопределенно* — к Соколовым, к Бугаеву (не раз), свидание с тетей Сашей у Сережи (Вера Владимировна больна, и к тете Саше нельзя), собрание у Сережи, к Брюсову за его стихами и, кажется, еще многое, что я сейчас забыл.

Масса подробностей, конечно, пропущена. День отъезда еще не назначен, конечно. Очень полна жизнь. Москва поражает богатством всего. Вспомнить, например, Кублицких и Петербург, не готовый к нашему приезду из Москвы с требованиями *действительной* жизни — страшновато. Мы и здешних-то родных сторонимся. Впрочем, это я пишу не с чувством озлобления, потому что здесь слишком хорошо. Милая мамочка, обнимаю тебя и очень был рад получить твое письмо сегодня. Тороплюсь кончить, думаю сейчас забежать к Сереже один.

Твой Сатура.

*Ночь того же дня.*

Сейчас вернулся от Сережи. Разговор наш с ним вдвоем был необычайно важен, отраден,



светел и радостен. Много говорили о Любе. Скоро будем обедать в «Славянском Базаре» (с ним), где происходил роман Владимира Сергеевича и Софьи Петровны и где Соловьевы (братья и Ольга) собирались в важных разговорах. Я надеюсь на *особенную* бодрость и *знание* после нынешней Москвы.

*Приписываю 15-го в четверг.*

Утром пришли: Маруся Ковалевская, Андрей Белый с матерью отдали визит. Андрей Белый написал тут же письмо Бальмонту, что пока он не извинится перед Кобылинским, Бугаев не может иметь с ним дела. Сережа ликует — в сюртуке с цветами с нашей свадьбы. Скоро пойду на религиозное собрание. В воскресенье вечером у тети Саши Коваленской. Завтра (16-го) — заупокойная обедня в 10 ч. утра в Новодевичьем, и обедаем втроем (с Сережей) в «Славянском Базаре». Целуем и обнимаем тебя.

*Сатура.*

## 48. Матери. 19 января 1904. Москва

**М**иленькая маминька, продолжаю.

*15-е, четверг.*

Утром пришли: Сережа, Маруся, Владимир Федорович. Пили чай. Вечером было религиозное собрание университетского кружка на частной квартире у студента. Бугаев прочел большой реферат «Символизм как миропонимание» по корректуре из «Мира искусства», в котором, конечно, опять цитирует нас с Лермонтовым. (Кант — Шопенгауэр — Ницше, современный религиозный дух — стихи). Люба была в это время у Менделеевых.

*16-е.*

В начале 11-го часа мы приехали в Новодевичий. После немногочисленной заупокойной обедни (монахини очень хорошо пели) отслужили панихиды на могилах дяди Миши и тети Оли, Владимира Сергеевича и Сергея Михайловича. Пошли пить чай к Поповым мы, Сережа, Бугаев, Кобылинский. Ели блины, была масса тостов. Мы перешли: с Бугаевым на

ты. Вернувшись домой, после визита Соколова пошли обедать с Сережей в «Славянский Базар». Сидели долго, все платил Сережа. Люба перешла с ним на ты. Из «Славянского Базара» пошли к Соколовым, куда я привел Бугаева и Эртеля (не слишком глубокого, но милого человека). Нина Ивановна была в ужасном настроении, Соколов произвел дурное впечатление, фальшивое, вечер был неудачен. Я получил корректуру стихов, их шестнадцать. «Фабрику» Венкштерн (цензор) вычеркнул целиком. «Гриф» выйдет около 1 февраля.

*17-е, суббота.*

С утра пришел Бугаев, и мы долго пили чай втроем. После его ухода пришел Сережа, и мы вместе поехали обедать к Рачинским. Все было необыкновенно. Григорий Алекс. производит впечатление небывалое, равно как и вся обстановка их дома, обед и пр. После обеда читал им массу стихов, Рачинский сказал в восторге, что он не ожидал, что я выше Брюсова (а Бальмонта он не выносит — подробности лично!). Ушли только в первом

часу после многих разговоров, смотрели у Иверской, как в 12 часов ночи повезли икону божьей матери в карете на шестерке при большом стечении народа.

*18-е, воскресенье.*

Утром пришел Владимир Федорович. Днем — Григ. Ал. Рачинский, рассказавший нам еще подробности о 16-м января прошлого года. В пятом часу пошли обедать к Сереже. Обедал еще Новский — очень хороший. Приходили Батюшков и Бугаев. После обеда поехали втроем (с Сережей — он вторично ехал у меня на коленях) к Коваленским. Впечатление ужасное. Дядя Витя — очень милый, совершенно измученный <...> Присутствовало несколько мерзостей обоего пола. Тетя Саша умилялась стихами несколько на манер тети Сони. Маруся вышла под конец, встав с одра жабы. Была кругла и глупа (впрочем, в предыдущие разы нам с Сережей было ее жалко, когда я встретился с ней впервые у нас (я писал тебе), она была бледна и жалка). Сережа убежал в ужасе раньше нас и ждал нас у ворот. Отплевываясь от вечера <...> мы пришли

пешком домой во втором часу ночи.

*19-е, понедельник, сегодня.*

Утром пришел Сережа. Я получил твое второе письмо. Ты, уж конечно, получила теперь мое заказное. Маминька бедная, утраздило тебя увидеть эту плешивую сволочь у Грибовских! — Мы втроем пошли к Сытину. Я говорил с ним. Он был деловит и сух и сказал, что *дело будет кончено к Пасхе или даже раньше*<sup>^</sup> а теперь кончить его не могут, потому что есть свои дела. Когда я спросил его, приедет ли он для этого в Петербург, он сказал, что «будет устроено», и не ответил прямо относительно себя. По-видимому, он поручит все Жигареву. Во всяком случае — «обнадежил». От Сытина мы пошли в Кремль и осмотрели Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы — образа, гробницы патриархов и царей, мощи. Вернувшись, обедали у Владимира Федоровича (с Сережей же). Сейчас идем на собрание к Сереже; Батюшков будет читать реферат, будут тетя Саша, Рачинские.

Ночь. Вернулись от Сережи. Батюшков читал (были, кроме упомянутых, — Рачинские).

Мы устали вообще. Приедем в пятницу. Можно сделать нам две ванны днем и вечером в пятницу?

— Мы избаловались, я думаю с ужасом о том, как в большинстве петербургских квартир никто ничего не знает.

*Будущее:*

*Завтра — вторник.* Утром — в Третьяковскую галерею. Обедает у нас Сережа. Я — к Брюсову на минуту (в редакцию). Вечером у нас Сережа и Андрей Белый.

*Среда.* Визиты прощальные: тетя Саша, Бугаевы, Соколовы, еще Менделеевы, другие, Рачинские. Обедать у первых Менделеевых (о!). Вечер у Сережи конфиденциальный, последний.

*Четверг* — укладыванье. Отъезд в 4 ч. (кажется). В пятницу — утром — в Петербурге.

Я думаю с удовольствием только о нашей квартире в Петербурге. Видеть Мережковских слишком не хочу. Тоже — всех петербургских «мистиков»-студентов. Все это — в стороне. Тоже с Любой — относительно этих «мисти-

ков». Пьяный Бальмонт отвратил от себя, *личность* Брюсова тоже для меня не очень желательна. Хочется святого, тихого и белого. Хочу к *книгам*, от *людей* в Петербурге ничего не жду, кроме «литературных» разговоров в лучшем случае и пошлых издевательств или «подмигиваний о другом» — в худшем. Но будет так много хорошего в воспоминании о Москве, что я долго этим проживу. Надеюсь передать и тебе, что могу. Когда ты написала о каком-то Никольском, на меня пахнуло кошмаром. Но я твердо знаю, что мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге *людей*, ибо *они есть в Москве*. Нельзя упускать из виду никогда существования Москвы, всего, что здесь лучшее и самое чистое. На Пасхе, может быть, будет у нас Павел Николаевич Батюшков, одна из прелестей. Тебя, маминька, я очень хочу видеть. Целуем тебя крепко.

Твой Сатура.

## 49. В. Я. Брюсову. 23 февраля 1904. Петербург

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за Ваше письмо и поручение. Буду стараться, как могу, написать о «Новом обществе художников» и доставлю заметку в редакцию «Весов» не позже 1 марта. Вы выводите меня из большого затруднения. Мне было стыдно смотреть каждый понедельник объявления о новых книгах в «Новом времени» и не находить ничего для рецензии. С другой стороны, Петербург этих дней мало чем обогащается, страдает болезнями подделок и в архитектуре и в живописи. «Новое общество», по слухам, составляет приятное исключение.

Мое отношение к живописи как искусству очень несовершенно, но любовно, потому, вероятно, недостаточно выпукло и смело. Во всяком случае, учусь у древних, у Возрождения и у «Мира искусства», а не у передвижников и академиков.

Я занимаюсь теперь специально записками А. Т. Болотова. Не найдут ли «Весы» воз-



можным напечатать небольшую статейку мою о нем, если я найду библиографические и критические матерьялы о человеке, писавшем стихи «К дерновой канаве» и «К весне во время еще первейших зимою талей»?

Извините, что утруждаю Вас вопросами. На этот, разумеется, не надо скорого ответа.

«Urbi et orbi» все еще лишает меня возможности писать вполне собственные стихи.

Глубоко уважающий и любящий Вас  
*Александр Блок.*

## **50. А. В. Гиппиусу. 23 февраля 1904.Петербург**

**М**илый и дорогой мой друг Александр Васильевич!

Неужели Вы думаете, что я обижаюсь? И на что? Все произошло от моей неподвижности, в которой я каюсь перед Вами. Ваше длинное письмо с Манчжурии от 5 января я получил не тогда, когда оно пришло, а по приезде из Москвы, где мы были с Любой более двух недель (об этом — ниже). Отвечать не решился, думал, что Вы раньше уедете в Томск (так ведь и было бы?). Решил пойти к

Вашим и узнать также Ваш томский адрес. Конечно, прособирался (по характеру моему, Вам известному). Наконец, наступили курсовые беспорядки, и я боялся несколько говорить с Верою Васильевной. Знаете ли, что наделали курсистки? Чуть не побили Раева, устроили сходку, выразили порицание своим профессорам, пришлось закрыть курсы и учить наукам лишь избранных, притом с осторожностью и потихоньку. Приходится опасаться обливаний нежелательными жидкостями и т. п. (все подобные поступки имеют общее заглавие одного нового отдела в «Мире искусства»: «Смех и горе»). — Итак, адреса Вашего я не узнал и Ваших до сих пор не видел (с осени). Пойду к ним непременно, и не только потому, что Вы мне писали об этом, а и по собственному желанию и расположению к ним. В начале января, до отъезда в Москву, я встретился в Мариинском театре (на «Валкирии») с Еленой Васильевной и Владимиром Васильевичем. Говорили, конечно, мало и о внешнем, они сказали мне только, что надеются будущей зимой жить в городе, а не в Царском. Мне показалось, что Елена Васи-

льевна поправилась (на вид) и, во всяком случае, пополнила.

Мы с Любой провели бурно-литературный ноябрь прошлого года. Я писал спешные рецензии на поток последних изданий «Скорпиона» и на его подделки. Приезжал Сергей Соловьев, приезжал добрый редактор «Грифа». Декабрь и начало января прошли хуже, сначала тихо, потом сумрачней, сумрачней; Петербург, по обычаю, дал себя знать мглой жизни и искусства. Наконец, около 10 января, поехали в Москву, где вполне расцвели. Прожили пятнадцать дней, ежедневно сновали по знакомым и мало по родным (что обыкновенно украшает жизнь). Виделись особенно много с Сергеем Соловьевым и Борисом Николаевичем Бугаевым (А. Белым). Брюсова я видел несколько раз, также и Бальмонта. В последнем разочаровался, в первом — наоборот. По моему убеждению, Брюсов теперь первый в России поэт, особенно после последней книги («Urbī et orbī» — читали ли Вы? Может быть — нет?), которая, по-моему, крупнейшее литературное явление в последние годы. Прочтите, милый Александр Васильевич, это со-

всем необыкновенно, старого декадентства, по-моему, нет и следа. Есть преемничество от Пушкина — и по прямой линии. Иные стихи лягут алмазами в коронах царей. Но кующему и смотрящему вверх, увы, редко удастся «насладиться природой» (как и камергеру). Потому Брюсов (как тахітум брожений, кипений, стораний) кажется диковинной сказкой, страшной, машущей красными рукавами, застигающей на распутьях, пылящей снегами в глаза. Но не «человеком» (кавычки! ибо здесь глубина! помирите-ка творца с жизнью человечества!). Он громоздит комнату и мозги празднотлюбцев, людей без девизов и наковален. В глазах его бродит хаос. Сюртук его никому не впору. Голова его стрижена чуть-чуть необычно. Но на затылке (однажды он наклонился) в одном месте есть отсутствие загара, *почти* детское, и в одной манере его пронзительной речи есть нечто *почти* детское. Но сколько надо усилий, чтобы открыть пятнышко на затылке, белизну в речи! Это — о Брюсове.

Право, я не напрасно занят им. Он много знает. Он много скажет, но в стихах. А в про-

зе — только спустит с шестого этажа. Бывают и такие — и пусть. Если бы были *одни* такие, жить было бы нельзя. Но в Москве есть еще готовый к весне тополь, пестрая собака, розовая колокольня, водовозная бочка, пушистый снег, лавка с вкусной колбасой.

Бальмонт был пьян (не от вдохновения, увы! — а от спиртных напитков). Его воротнички туги. Веки и нос припухли и покраснели. Из-под сюртука торчит тоненькая шпажонка («Эй, доктор, эй! Рази шпажонкою своей!»). Он достал ее из *книги* Кальдерона, которую перевел в числе 1000 других. Но он способен нанять извозчика на зеленую планету и заплатить только полтинник.

Те, кто не распирает комнат (положительные ли, отрицательные ли) — увы! бездарны. Они выпустили альманах. Его бумага блестит, как полированный стол. Шрифт его никогда не будет представлен ко двору. Участники его (большинство, автор письма исключается) всегда носят камзолы великих Бальмонтов и подобных, но сшитые у дурных портных. Они гнут на креслах дурные стихи. Их наковальни — игрушечные. Вдохнове-

ние их всегда в катаральном состоянии. Они имеют поярковые шляпы и нечистые руки, — а лацкана сюртуков их — неведомых цветов.

Но мы видели и людей, не только поэтов и писателей. Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные. Не скупают.

Когда мы вернулись из Москвы, наступили университетские дела. Теперь я в поре сочинения о Болотове (мемуары XVIII в.) и церковнославянского реферата. У Мережковских не бываю с тех самых пор, как Зинаида Николаевна убедилась в моей негодности, происшедшей от женитьбы. «Новый путь» читаю, В. В. Розанова перевариваю с трудом. «Петр и Алексей» (3-я часть трилогии Мережковского) приятно щекотит горло, но не свыше нормы. Получаю «Весы» (Скорпионовский журнал), где буду писать (ужасное буду, когда еще не знаю почти, о чем).

Это — о нас.

Милый Александр Васильевич! Зачем Вы пишете мне: 1) что я обиделся; 2) что я «улыбнусь пронзительно». Я не пронзителен по от-

ношению к Вам и никогда не буду. Все, что есть у меня по части пронзительности (немного, увьи!), трачу я на людскую тупость. Вас я знаю настолько, чтобы говорить Вам то, чего почти никто не хочет узнать и понять, и услышать от Вас сладостные, нежные вести. Вы сообщили мне весеннюю весть, повитую сумраком все-таки. Спасибо. Мне хочется для Вас в этом конца такого, какой *нужен мистически* (в эти концы я верю наиболее, да и Вы!), но чтобы не было йоты *поверхностного*, надуманного, чахлого. Я своего конца *не придумал*, он настал *без ведома* заинтересованных сторон (*это буквально так*, поэтической вольности ни на грош). Дай Вам бог того же, мало людей достойнее Вас. Я жил среди «петербургских мистиков», не слыхал о *счастье* в теории, все они кричали (и кричат) о мрачном, огненном «синтезе». Но, пока я был с ними, весны веяли на меня, а не они. Веяла «Лучезарная Подруга», и стихи я посвящал Ей, а не Зинаиде. В Москве смело говорят и спорят о *счастье*. Там оно за облачком, здесь — за черной тучей. И мне смело хочется *счастья*. Того же Вам желаю от всего сердца.

Когда будет можно, напишите мне еще о той девушке, о которой Вы говорите. Для меня это хорошо не только из-за красоты, а из-за жизни и религии. Ваше письмо было ново и прекрасно, потому что Вы говорили от души. Спасибо Вам за Ваши милые слова и за Вашу любовь. Когда приедете (*верю*), перейдем на ты. Пора уже.

Желаю Вам СЧАСТЬЯ, здоровья, светлого расположения духа, исполнения *мистического* долга. Моя жена, мама, отчим желают Вам всего самого лучшего и приветствуют Вас. Спасибо за пожелания всем и письма. Мы думали о Вас, беспокоились при начале войны. Сегодняшнее Ваше письмо успокоительно свидетельствует о том, что Вы в Томске. А как хороша война, сколько она разбудила!

Целую Вас крепко, милый. Напишите, когда будет время.

Желаю Вам перешагнуть через экзамены счастливо.

Ваш, любящий Вас *Ал. Блок*.

P. S. Осенью выйдет сборник моих стихов! (в «Грифе»). Можно посвятить Вам что-нибудь? Но надеюсь, что мы увидимся раньше.



## 51. С. М. Соловьеву. 8 марта 1904. Петербург

Милый Сережа.

Несмотря на получение двух твоих писем, я до сих пор не мог выбрать *настоящей* минуты для ответа. Все было что-то беспокойно. Между тем я имею сообщить тебе многое.

Прежде всего, приехав из Москвы, мы с Любой совершенно пришли в отчаяние от Петербурга. Въезд наш был при резком безнадежном ветре — без снега, так что порошинки неслись по мостовой взад и вперед без толку, и весь город как будто забыл число и направление своих улиц. Через несколько дней впечатление было еще пострашнее. Мы встретились в конке с чертом, и, что всего ужаснее, — не лицом к лицу. В погоду, подобную вышеописанной, сидела в конке против нас «симфоническая» (А. Белый) фигура женщины (или — нет), по-видимому на подложном круге (какой кладут больным от геморроя и т. п.), в бесформенной шубе, с лицом, закрытым белой вуалью, под которой вместо глаз и носа виднелись черные впади-

ны. Она говорила вульгарно сипловатым дамским баском с несчастной и преждевременно состарившейся (!) женщиной-поводилыщицей. По-видимому, последняя от рождения раба. Всего ужаснее, что мы с Любой до сих пор не знаем, клевета ли это на больную старушку (впрочем, исполинского роста) или правдивый рассказ о «нем». Но «он» был близко, ибо в тот же день мы не узнали одной из самых примечательных для нас улиц.

Еще через несколько дней стали приходиться «петербургские мистики». Один целый вечер хихикал истошным голосом. Другой не знал, что ему предпринять, ввиду важности своего положения, и говорил строгим и уклончиво дипломатическим тоном. Третьего (и самого замечательного — *Иванова Евгения*) «коряжило» от Медного Всадника всю зиму, — представь, что с ним к весне! Он вполне и безраздельно пылает Розановым и Мережковским. В тот вечер получил я впервые в этом году приглашение в «Новый путь» от Зинаиды — крайне любезное, с подписью «душевно ваша». После долгих разговоров, в которых Люба была против «Нового пути», я

внезапно решился и написал сдержанно и вежливо, что я не приду, потому что пока молчу и пишу стихи, а потому не имею права *молча* присутствовать на собрании, с которым не согласен. Опускал письмо сам, ночью, причем внезапно (и единственный раз) на лестнице потухло все электричество, и было страшно идти с напряженными нервами. Но я принял это за дьявольское препятствие и прошел до ящика ощупью.

Все это описываю тебе так подробно, потому что чувствую, что тут наступает что-то важное для меня, и именно после наших мистических встреч в Москве. Во всяком случае, могу формулировать (донельзя осторожно) так: во мне что-то обрывается и наступает новое в положительном смысле, причем для меня это *желательно*, как никогда прежде. Я чувствую неразрывную связь с Мережковским только как с *прошлым* и в смысле *отучения от пошлости* и пр. Теперь меня пугает и тревожит Брюсов, в котором я вижу, однако, неизмеримо больше света, чем в Мережковских. Вспоминаю, что апокалипсизм Брюсова (т. е. его стихотворные приближения к

откровению) не освещены исключительно багрянцем, или исключительно рациональной белизной, как у Мережковских. Что он *смятеннее* их (*истинный* безумец), что у него есть *детское* в выражениях лица, в неуловимом. Что он может быть *положительно* добр. Наконец, что он, без сомнения, носит в себе *возможности* многого, которых Мережковский совсем не носит, ибо *большого* уже не скажет. Притом мне кажется теперь, что Брюсов всех крупнее — и Мережковского. Ах, да! Отношение Брюсова к Вл. Соловьеву — *положительное*, а Мережковского — вполне отрицательное. Как-то Мережковский сказал: «Начитались Соловьева, что же — *умный* человек» (!?!). Вообще я могу припомнить много словечек Дм. Сергеича, не говорящих в его пользу. Но он важен, и считаться с ним надо.

На днях приезжал С. А. Соколов. Вышло глупо и скверно. Я *думаю*, что он добрый человек. Но я *знаю*, что он *совсем* *ничего* не *понимает*. Прежде всего он развязно спросил: как нам нравится альманах? Я замямлил (ибо мое убеждение сходится с твоим — относительно печки, за исключением Бугаева, на-

прасно тебе не нравится «Световая сказка»). Он уже слегка обиделся. Из долгих и бесплодных разговоров в продолжение двух дней и скитаний по совершенно ненужным местам выяснилось, что мы совсем разных мнений. К тому же я раскис, и Люба не была в духе поддерживать расклеивавшийся разговор. Наконец перед отъездом (за обедом у нас) добрый Сергей Алексеевич разбух от грусти и все живо напомнил Крабба. Стало совсем отвратительно, примешалась жалость к нему. Он уехал грустный и обиженный на вокзал. Через несколько минут я сорвался с места и поспекал за ним. Приехал к нему в номер, проводил его на вокзал, каялся, просил прощения, он слегка растрогался. Вообще конец оказался удачнее. Но, в конце концов, у меня чувства следующие: 1) «Гриф» выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда. Все издано более или менее скверно. 2) Редактор ничего не понимает. 3) «Скорпион» сделал бы все это гораздо лучше. 4) «Гриф» не имеет никакой реальной почвы под ногами. 5) Я попал в грязную историю, и мне ужасно не хочется печатать сборник в «Грифе». 6) Самое ужасное:

«Грифы»... — очень хорошие люди и искренно не понимают и не видят, что им гораздо лучше не издавать ничего. 7) Мало того — «Гриф» — *положительная* подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора «Гриф» и «не Гриф». В последнее время подделки фабрикуются в неопикуемых дозах — на картинных выставках (вся Академия художеств) и... в «Грифе». — Все это заставляет грустить и предвидеть какие-то дурные последствия.

О, позволь мне отругаться по алфавиту! Какая скотина Бальмонт! Что он печатает! Твои стихотворения о нем (кстати, и «Мережковскому отдыха нет») — превосходны, я уже читал их Семенову, который совсем не понимает смешного (о!), и послал в Сибирь Гиппиусу (*Александру*, который очень хорошо понимает смешное). Мы же все в восторге. — Сергей Кречетов вполне бездарен. А. Ремизов неудобочитаем от скуки. А. Койранский еще менее нужен, чем Б. Койранский. Вяч. Иванов красиво врет о кипарисах, а в остальном бездарен.

О Миропольском не следует говорить. Дурнов... Курсинский... Поярков — пуговица от Бальмонтовых панталон! Кондратьев — безвкусица последнего сорта. Смородский (!) *лучше* других! Эллис (извини, пожалуйста) никогда поэтом не был и не будет, Бодлэра *совсем* не понимает (мама читала мне стихотворения из альманаха по-французски). П. Н. Батюшкова надо читать в кантианскую минуту. А. Белый — изумителен. «Тор» совершенно нигде не уместается. Александр Блок — свинья, ибо поместил половину стихотворений — скверных, старых, подслеповатых.

Твои замечания о моих стихах (сравнение с Брюсовым), мне кажется, очень тонки, но неприменимы к моим стихам теперешним. Кроме того, я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова, даже теперешнего. А что будет его *будущая книга*). Буду ждать с восхищением и надеждой.

Сведения о графе — из третьих рук: он в Риме и поступил в Краковский университет. Я не имею писем от него <...>

Твоя вера в <...> еще более сближает меня с тобой, и все, что касается наших с тобой отно-

шений в этой и будущей жизни, кажется мне привлекательным и полным тайного смысла. Поэтому на первый случай, несмотря на твой отказ, мы ждем тебя в Шахматово весной, когда будем там одни, а также летом, когда не одни, — и т. д.

Пишу стихи длинные, часто совершенно неприличные, которые, однако, нравятся мне больше прежних и кажутся сильнее. Не ругай за неприличие, сквозь него во мне *все то лее*, что в прежнем «расплывчатом», но в формах крика, безумий и часто мучительных диссонансов. В этом отношении ведь и у Брюсова *то лее*. Сверх того, мне кажется, что у Брюсова в окошке *светает*, сравнительно с прежним.

Письмо начинает походить на краткие заметки в «Весах». Потому кончаю.

Пожалуйста, кланяйся от нас с Любой, мамой, дядей Францем, Краббом и тетей Маней: 1) себе; 2) Зязе; 3) Вере; 4) Григорию Алексеевичу; 5) Борису Николаевичу; 6) Татьяне Анатольевне. Когда же выйдет «Золото в лазури»? Мы с Любой очень хотим читать, я буду читать всем достойным по ночам, когда



«чернь» ложится спать, а «белизна» заставляет пробалтываться самых оргиастических молчальников. Целую тебя крепко и обнимаю, мой милый друг и кузен, пиши мне, пожалуйста, без особенно скверных слов, чтобы Люба могла читать беспрепятственно.

Твой Александр Блок.

## **Подражание**

(Скандировать на голос Валерия Брюсова  
«Приходи путем знакомым»)

*Жду я смерти близ денницы,  
Ты пришла издалека.  
Здесь исполни долг царицы  
В бледном свете ночника.  
Я готов. Мой саван плотен.  
Смертный венчик вокруг чела.  
На снегу моих полотен  
Ты лампадный свет зажгла.  
Опусти прозрачный полог  
Отходящего царя.  
На вершина к колких елок  
Занимается заря.  
Путь неровен. Ветви гибки.  
Ими путь мой устели.  
Царски-каменной улыбки  
Не нарушу на земли.*

Покажи, пожалуйста, Борису Николаевичу те стихи, которых он не знает. Я пришлю ему следующие, эти не в силах больше переписывать, хотя и обещал ему. Напиши, пожалуйста, твое мнение о прилагаемых стихах.

Пришли мне непременно твоих стихов!

## **52. Андрею Белому. 7 апреля 1904. Петербург**

**М**илый дорогой друг Борис Николаевич. Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг осознал... и утешился. «Лик безумия, сошедший в мир», — и притом *нынешнего* нашего безумия — грозил и прежде. Но знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит. Я спал и видел холодные сны (в буквальном смысле). Не далее как сегодня во сне мне явился наконец Брюсов в ужасающей простоте его внутренних «потемок» и в физической красоте — нежный, как мальчик, с черной бородкой. Тут был и твой «Одинокий» и вчерашний рассказ, слышанный мной у Мережковских (!) о пьяном Брюсове в «Грифе». Среди бела дня снился мне кошмар об «опрокинутых кадках» и де-

вушке с карликом. Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшие гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнуру, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Прежних лиц я уже не вижу, страх перед *ними* отошел в милую память о собственной юности. *Больше некого бояться.* И юди уже не страшны. *ЗАТО* («в предвестие, иль в помощь, иль в награду») возвращается древняя и бурно-юная боязнь *стихий* — изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности:

*Меня зовет к безвестным высям  
В горах поющая весна,  
А эта груда женских писем  
И не жива и холодна!*

Мы поняли слишком много — и потому *перестали понимать*. Я не добросил молота — но небесный свод сам раскололся. И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник *положим* расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной

машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил), — а с другой — нашей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только заглажу ее. — Как видишь, я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, *НО* часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень олны, которая меня несет. Потому — пронесет, а что дальше — опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать *ТЕБЕ* окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знал это всегда. Есть на Тебе такая печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в *Твоем* существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!» А извозчик — В. В. Розанов — едет, едет — день и ночь — с трясущейся рыженькой бороденкой, с *ямой* на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера

ночью от Мережковских, я подумал: «Мы с Борисом Николаевичем...»

Но все-таки я не знаю, что с Тобой теперь. И едва ли пойму. Впрочем, скорее всего, что временами знаю. Не могу написать Тебе о «Золоте в лазури», как писал о «Симфониях». Слишком важная вообще и для меня лично книга. Спасибо Тебе! Не посылаю Тебе стихов, потому что их нет больше (пока). Получил письмо от А. Н. Шмидт. Она просит определенно отвечать... Сумею ли — не знаю. Но об этом (о Софии) я, пожалуй, все-таки всего определеннее могу сказать.

В Мережковских больше нет огня.

В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов. Он юродивый, нищий духом, потому будет блаженным.

Обращаюсь к Тебе с очень нахальной просьбой: один очень милый математик (и ученый) — студент-технолог Гуцин, просил меня написать Тебе, не можешь ли Ты прислать ему (через меня) следующие книги Твоего отца:

1) Учение о числовых производных.

2) Из пяти брошюр о «приближенном счис-

лении» — следующие *три*: а) Способ последовательных приближений. Приложение к разложению функций в непрерывные ряды, б) Способ последовательного приближения. Приложение к выводу теорем Тейлора и Лагранжа в преобразованной форме. в) Способ последовательного приближения. Приложение к интегрированию дифференциальных уравнений.

Если можешь, пришли (не к спеху), а если почему-нибудь нет, — ради бога напиши, что не можешь.

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Не имею сил так утешить Тебя, как Ты меня утешил. Приветствуй от нас Твою маму и пожелай ей всего самого лучшего от нас. Люба Тебя приветствует от сей души.

Любящий Тебя нежно *Александр Блок*.

## 53. П. П. Перцову. 10 мая 1904. Шахматово

**М**ногоуважаемый Петр Петрович. Благодарю Вас очень за письмо и за отписки. Если мои стихи будут напечатаны в июньской книжке, нельзя ли мне будет получить такие же отписки и с них?

Посылаю Вам рецензию на Брюсова в самом сухом тоне, я никак не могу написать менее лирическую. Мне кажется, «Urbi et orbi» — факт неисчерпаемый и громадный.

Решительно не могу придумать варианта сколько-нибудь приличного, вместо «тот самый». Посылаю Вам еще пять стихотворений, из ненапечатанных, одним из которых можно заполнить пробел. «За рамой» мне не хочется.

У меня к Вам огромная просьба, многоуважаемый Петр Петрович. Если еще напишете мне, при случае, вложите в письмо брюсовского «Бледного коня», которого я перепишу и сейчас же возвращу Вам. Решаюсь обратиться к Вам, потому что, если просить Брюсова, он укусит. А для меня это было бы ущественным

прибавлением к домашнему обиходу.

Преданный Вам и любящий Вас  
*Александр Блок.*

## **54. Андрею Белому. 16 мая 1904. Шахматово**

**М**илый, дорогой Борис Николаевич.  
Твои письма, за которые крепко Тебя обнимаю, я получил недавно — мне переслали первое из Петербурга. Спасибо за совет, книги, а главное — за любовь. В стихах — лучшие строки —

*На руках и я носил  
Золотые кольца.*

А вообще — сочинение если не Валерия Яковлевича, то по крайней мере — Валерия Николаевича Бугаева. То же все время происходит со мной, но в еще большем размере, так что от моего имени остается разве окончание: ок (В. Я. Бр... — ок!). Я в отчаянье, и усиленно надеюсь на исход из асфальтовых существительных. Как только подашь прошение — приезжай в Шахматово милый. Я надеюсь, что Тебе теперь лучше, мне гораздо лучше,



чем было в городе, где все стало томительно непонятным. Дело в том, что в начале июня приедут позитивисты-родственники, но не в самых первых числах, так что хорошо бы нам некоторое время пробыть без них. Тут дело идет, конечно, не о нас, которым все время будет свободно, но, например, о маме, которая очень захочет видеть и слышать Тебя и вдруг окажется связанной, так что ей не удастся поговорить. Напиши, пожалуйста, можешь ли Ты приехать и когда именно. Если Тебе ничего — приезжай на ямщике от станции, так как это может совпасть с приездом родственников, а назад мы Тебя отвезем на наших лошадях. Кроме того, если захочешь, приезжай любого числа *мая*, может быть — перед подачей прошения. Впрочем, как Тебе удобнее. А мне хочется к Тебе приехать, и думаю, что исполню это. Кроме того, вдруг Ты приедешь еще раз летом! Это будет недурно! Я думал пригласить из Петербурга Евгения Иванова, человека очень замечательного, который очень хочет с Тобой познакомиться. Мне кажется, что он понравится Тебе, он очень добр и искренен, кроме ума и пр. К нам приезжала

А. Н. Шмидт. Впечатление оставила смутное, во всяком случае, хорошее — крайней искренности и ясности ума, лишеной всякой «инфернальности» — дурной и хорошей. Говорила много тонких вещей, которые мне *только понятны*. Знаешь ли — у меня не (анти?) христианское сознание... Много мучительного... Ночь еще не «на исходе»... Но — чувствую опять

*Когда мои мечты за гранью прошлых дней  
Найдут Тебя опять за дымкою туманной, —  
Я плачу сладостно, как первый Иудей  
На рубеже земли обетованной;  
Не жаль мне детских игр...*

Написал первую часть пробрюсованной поэмы «Три свидания». Лучше прочту при свидании с Тобой — длинно и... в отношении стихов ужасно недоволен собой. Ты меня очень поддержал своим сочувствием последним стихам о павилике и «Молитвах».

Целую Тебя крепко и жду, милый. Приезжай. Все Тебя очень ждем.

Твой Ал. Блок.

Шахматово — 17 верст от ст. Подсолнечной  
Николаевской ж. д.

## 55. Андрею Белому. 5 июня 1904 Шахматово

Дорогой, милый Борис Николаевич.  
Спасибо Тебе за нежные слова. Я ценю, понимаю и принимаю их. В прошедшие года изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был склонен *минутами* сказать: здравствуй. Чаще всего — это был *всадник в голубом*. Иногда хотелось *принять* его за Христа, но он был так близок мне, что я ни разу *не решился* сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездит мимо. Но я наверное знаю, что это — не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет, он ходит где-то очень далеко. Пускай даже в *этих* странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в *тех* стра-

нах, а из *этих* — «убежал с королевой». Страна, в которой я теперь живу, — «голубая тюрьма» и «зеленая планета» (то и другое явно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и делать забор. От этого у меня исчез даже «почерк», и руки дрожат от топора и лопаты. Я надеюсь на еще большее забвение и тишину.

*Что восстанут за вопросы,  
Опьянят что за слова,  
В час, когда под наши косы  
Ляжет влажная трава?*

Мне очень хочется развивать мускульную силу, как каждый год, восстанавливая утраченное зимой. От этого в буквальном смысле часы становятся *неведомыми* и день за днем тонет — голубой, зеленый, белый, золотой. Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей.

Позволь мне счесть установленным, что Ты приедешь в конце июня или начале июля.

Тогда я позову милого и нежного Евг. Иванова, который очень хотел Тебя видеть. Напиши мне, пожалуйста, о расстоянии от станции до «Серебряного Колодца» и от Москвы до Ефремова (Курской дороги?). Можно к Тебе приехать невзначай? только я не могу еще решить — когда и приблизительно. Но легче решить, не назначая точно дня, только напиши, милый, не стеснит ли это в чем-нибудь вас с мамой?

Видевшая Тебя и не видевшие приветствуют Тебя и ждут. Целую Тебя крепко.

Твой любящий *Ал. Блок.*

Вот масса стихов, в которых я затрудняюсь определить, — что у кого похищено. Но часть — собственная.

Р. S. Адрес Ты пишешь совершенно точно: *Николаевская ж. д. Ст. Подсолнечная, имение Шахматово.*

## 56. Е. П. Иванову. 10 июня 1904. Шахматово

Милый, дорогой Евгений Павлович. Во-первых, простите меня, что я без конца не отвечаю на Ваше милое и замечательное письмо. Причина тому — бездельничанье в умственном отношении, сажание цветов, постройка заборов, прогулки и все подобное, останавливающее головные процессы. Впрочем, Вы простите меня за это, как и я и мама моя Вас за все, в чем Вы перед нами извиняетесь. Не будем извиняться; мне хорошо бывает теперь от милого забвенья, временного и отдохновительного, которое пройдет, когда его «сладостно и больно» возмутят. Мне хочется ответить Вам на все, что Вы пишете, но не по порядку.

Мне редко что в современном так близко по способу выражения и восприятия, как Ваши слова, особенно в этом письме. Устно Вы говорили как-то более гордо. Впрочем, эта гордость была прекрасна, а иногда даже выводила на острую гористую формулу, откуда открывался сжатый разноцветный вид. Напри-

мер, там, где «колосился» Христос (*ВАШЕ*), я мог видеть васильки, и ромашки, и даже маленьких желтогрудых овсянок. Или Солнце всходило над рекой. Но это была гордость не из Вас, а идущая рядом спутница. И вдруг Вы сбегаете с горы (намеками это было и прежде), и мы — два *РЕБЕНКА* встречаемся, потеряв игрушки (игрушки — в лучшем смысле) (симфоническом?).

Вам в *вашем* гораздо больше меня. Но и мне в своем больно. Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его *не знаю* и *не знал* никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то желчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, «как прах могильный». *Намек* на определенность — болезнь для меня, но ужас в том, что в *разговоре* (с позитивистами), когда он коснется «этого», я чувствую необходимость быть определенным. Все это Вам, конечно, знакомо, и многое подобное, к тому же относящееся.

*Потому* именно я еще только и имею силу передавать Вам бессвязно то, что уже переда-

валось связно другими. Я могу говорить Вам намеками, небрежно и не обо всем, не в системе, *зная* совершенно твердо, что Вы поймете. Если бы все это не носилось в воздухе, мы бы были настоящими «декадентами» с этой бесконечно усталой переключкой, грозящей с минуты на минуту обратиться в общее место, благодаря оскудению огня. Но я именно оттого говорю вам сейчас свободно, что знаю, что все, что говорю, — у нас — общее место.

Отрицаясь, я чувствую себя здоровым и бодрым, скинувшим с себя тяжелый груз, отдалившим расплату. Именно так говорил, например, с Анн. Никол. Шмидт, которая, допускаю, все, о чем говорит, — знает. Но я не хочу знать этого, кое-что нравится, но просто нехорошо, когда только нравится или нет — без страдания. Больно говорить «петербургским», но Вам не больно (потому что поймете без преувеличений *точно*), что я в этом месяце силился одолеть «Оправдание добра» Вл. Соловьева и не нашел там *ничего*, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой скуки. Хочется все делать *напротив*, назло. Есть Вл. Соловьев и его сти-



хи — единственное в своем роде *откровение*, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьева» — скука и проза.

Милый Евгений Павлович! Не навязывая и не затрудняя Вас, прошу от меня, жены и мамы приехать в Шахматово. Хотите так: А. Белого и С. Соловьева можно не встретить, Белый приедет в конце июня или начале июля. Мы спишемся, когда я буду наверно знать, что в Шахматово никого не будет из них. Тогда приезжайте, а потом мы можем ехать в Москву вдвоем и смотреть просто Москву, город и окрест его — без встреч. Или, если хотите, Вы один поедете в Москву из Шахматова. Все это равно возможно. Вы знаете, я *ни о чем не спрошу* и буду *уважать по-прежнему* (тоже не из «бахвальства» пишу), знаю, впрочем, что оба они (Белый и Сережа Соловьев) — «страшные и знающие» — не будут презирать. Но, если хотите, повторяю, можно не встретиться с ними. Да ведь я не знаю, «знают» ли они, особенно Белый. Наконец, Ваше «*знание*» рядом с моим — громадно. Ведь я ничего не знаю.

Принимаю к сведению поездку в морской

канал, воспользуюсь указанием. Также — на Исаакия. Ведь мы не встретимся на свадьбе Лидии Семеновны, уж очень не хочется ехать, Вам-то два шага, а нам — две железные дороги, жар, пыль, бивуак, и обратно. Да и деньги. Все это, может быть, прескверно, но я перестал это понимать. От Чулкова получил письмо, июньской книжки «Нового пути» еще не видал. Вы поймете лучше, почему мы не едем к Цулукидзе, когда увидите Шахматова. Уверю Вас, что прекрасное место. Впрочем, как хотите, приезжайте или нет, как можете. Нам бы хотелось очень Вас увидеть, и мне в частности. Напишите еще об этом, милый, но без стеснений и, если хотите, без объяснений. Я понимаю. За растрепанность письма не взыщите — и за бессвязность. Моя жена очень желает Вам еще больше отдохнуть. Мама просит передать Вам самые приятные и хорошие пожелания. Я Вас крепко целую. Пожалуй-ста, кланяйтесь от меня всем Вашим близким; как здоровье сестры и брата?

Будьте здоровы и бодры, милый. Напишите.

От станции до Шахматова — 17 верст, кото-

рые можно проехать туда и назад в нашем экипаже.

Ваш любящий *Алекс. Блок*.

## **57. Е. П. Иванову. 28 июня 1904. Шахматово**

**М**илый, бесценный Евгений Павлович. Получил Ваше письмо. Позвольте обнять Вас крепко. Всем нам скверно теперь — отчаянное время. Мы растем в тени, и стебли, налившись, остались белыми. Наверное, пробьется когда-нибудь в нашу тень Солнце — и позеленеет. Будем крепче всех остальных. А пока — даже мало знаем друг друга (самое глубокое) — не различаем в сплетении посторонних веток.

Вы — один из пронзительных. Мы любим сторожа, стучащего в доску, когда *спят*... все — и *близкие*. Но, чтобы полюбить *совсем*, нужно увидеть, как он копошится у темных строений с собакой у ног. И на лице его ходит ночная тень. И на Вашем лице она же — самая милая, часто *очень* страшная. Я люблю Ваше лицо — оно *прекрасно* и пронзительно. Оно, как Ваша душа, — на волоске от объ-

тий — последних, самых цепких, неразмыкаемых, кристальной чистоты.

Если бы я встретил Вас на несколько лет раньше, я прочел бы сквозь Ваше лицо то, что угадывал в своих лицах Леонардо да Винчи. Может быть, я выпил бы Чашу с теплотой из Ваших рук. Но я — слепой, пьяный, примечательный только резкие углы безумий. Примелькались белые процессии, и я почти не снимаю шапки. Крутится моя нить, все мерно качаясь, иногда встряхиваясь. Безумная, упоительная скачка — на привязи! Но привязь — длинна, посмотрим еще. Так хочется закусить удила и пьянствовать. Говорите, что на каком-нибудь повороте мне предстанет Галилеянин — пусть! Но, ради бога, не теперь!

Вы «обижаете» меня (в кавычках, разумеется), говоря, что нарушите мою «душевную тишину». Не дай мне бог ее теперь! Все мы крутимся, и я — вечно.

Смерч московский разорил именье сестры моей бабушки, где жил С. Соловьев. Вековой сад вырван с корнями, крыши носились по воздуху. Все люди и скоты спаслись. На днях приезжает Андрей Белый и, вероятно, С. Соло-

Вьев.

*Не Вы причина моего бегства от Него. Вре-  
мя такое. Вы знаете Его, я верю этому. А. Бе-  
лый уверяет меня, что я — с Ним.*

Позвольте мне забыть побольше:

*И долу клонит грех великий,  
И тяжесть мне не по плечам.  
И кто-то Жадный, Темноликий  
Ко мне приходит по ночам.*

*(З. Гиппиус)*

Только в тишине увидим Зарю. Мы — в бунте, мы много пачкались в крови. Я испачкан кровью. *Раздвоение*, особенно. Ведь я «иногда» и Христом мучаюсь. Но все это — завтра. Позвольте мне кончить двумя стихотворениями — для характеристики пережитого прежде и теперь. Александру Павловичу и всем кланяюсь. Вам пожелания от жены и мамы. От меня любовь и удовольствие, что Вы существуете.

Любящий Вас Ал. Блок.

## 58. Андрею Белому. 29 сентября 1904. Петербург

Милый друг.

Я потому не писал Тебе давно, что мало имел слов в запасе. И теперь их не много (хотя на деле все еще слишком много) — но я помню Тебя и люблю. Осень проходила хорошо, я мог радоваться. У меня поглощала время и «жар души» физическая усталость каждого дня, очень занято учебным делом. И теперь то же дело — и пусть оно будет так зимой — до лета, пусть многое тонет в том, в чем есть своя тишина. Изредка я начинаю понимать Твое возвращение в университет. Ты написал мне о конкретно-жизненном, у меня было его много теперь, и я хочу сохранять это дольше и больше. За сеткой тихой суеты проходят, как в калейдоскопе, многие люди — и там же меняется нрав души — то буйно-золотой, свободный, захлебывающийся жизнью, то бездумно-тихий. Иногда поднимается глухое беспокойство — что это: слишком мало или слишком много изживается в каждом моменте. Но и это тонет. Мне все хочется теперь

меньше «декадентства» в смысле трафаретности и безвдохновенности. Я пробовал искать в душах людей, живущих на другом берегу, — и много находил.

Иногда останавливается передо мной прошлое: «Я изменил, но ты не изменила». Но я живу в маленькой избушке на рыбацьем берегу, и сети мои наполняются уж другими рыбами.

Приезжай в наш город зимой. Это — город хороший, дремучий. Крепко целую Тебя, до свиданья. Вот и стихи. Пришли своих.

Твой *Алекс. Блок*.

Р. С. Пожалуйста, когда будешь писать, припиши адрес Сережи, у нас никто не знает.

## 59. С. М. Соловьеву. 21 октября 1904. Петербург

Милый друг!

Почему ты придаешь такое значение Брюсову? — Я знаю, что тебя несколько удивит этот вопрос, особенно от меня, который еле выкарабкивается из-под тяжести его стихов. Но ведь «что прошло, то прошло». Год ми-нул как раз с тех пор, как «Urbi et orbi» начало нас всех раздирать пополам. Но половинки понемногу склеиваются, раны залечиваются, хочешь другого. «Маг» ужасен не вечно, а лишь тогда, когда внезапно в «разрыве туч» появится его очертание. В следующий раз в очертании уже заметишь частности («острую бородку»), а потом и пуговицы сюртука, а потом наконец начнешь говорить: «А что, этот черноватый господин все еще там стоит?»

Конечно, это жестокий цинизм. Но мне и не хотелось бы, чтобы было иначе. Если бы было вечно так, то мы бы представляли из себя вечно и стойко сражающихся с упрямым, круторогим и постоянно разозленным быком. Вследствие привычки бык стал бы казаться



только задорным петухом, и наша стойкость упала бы в собственных наших глазах, стала бы «декадентской».

Мне искренно кажется, что «Орфей» и «Медя» далеко уступают «Urbi et orbi». Почти так же, немного выше — «Конь Блед». И так должно быть всегда — после затраты чудовищных сил (а ведь Брюсов иногда тратил же их «через силу»). После сильного изнурения пища сразу в рот не полезет.

Конечно, при Марии Дмитриевне «Орфей» разросся перед тобой, но... прислушайся к его «субстанции»: много перебоев, словом, то, что пишется «внешним нутром», на «авось»; много перенятого у самого себя. То же — в «Медее», которая, однако, выше.

На днях я закончил большое университетское сочинение, которое лишало меня возможности читать интересное. Стихов почти не нишу, с декадентами очень затрудняюсь говорить, не вижу никакого сколько-нибудь продолжительного выхода из наук до конца сезона.

Конечно, после всех наших споров о Ме-режковском мне продолжает быть близко и

необходимо «Соловьевское заветное», «Теократический принцип». Чтобы чувствовать его теперь так исключительно сильно (хотя и односторонне), как прежде, у меня нет пока огня. Кроме того, я не почувствую в нем, вероятно, никогда того, что есть специально Христос. Но иногда подходит опять близко и напевает.

Недавно читал твои стихи Е. и А. Ивановым, которым они очень понравились (особенно Бернард — первый). Очень досадовал, что не имею «Beato», прошу очень прислать мне его, он — из ряду вон.

Только что мама получила твой адрес от бабушки. В конце концов ждем тебя все сюда в ноябре. Как хороши последние стихи Бориса Николаевича. Я совсем разучился писать длинно. Скоро пришлю тебе наконец собрание своих сочинений, боюсь, что в ультракадентской обложке, которую Соколов от меня утаил благоразумно; уж одну я похерил.

Приветствуем тебя все.

Твой Александр Блок.

## 60. Отцу. 29 октября 1904. Петербург

Милый папа.

Сегодня получил наконец свой первый сборник, который посылаю Вам. Пока не раскаиваюсь в его выходе, тем более что «Гриф» приложил к нему большое старание и, по-моему, вкус. Мне хотелось «благородной скромности», потому я старался избегать посвящений «знаменитостям», если не считать учителя — Вал. Брюсова и нежного близкого друга — Андрея Белого. Что касается Вл. Соловьева, — то он в эпитафии слишком уместен. Быть может, я стольким обязан его стихам, что лучше было промолчать о «светлой дочери темного хаоса» и не цитировать его... Но — того требует окружающий хаос и «литературная» тупость. Лично же с Вл. Соловьевым мы некогда встретимся — но в просторной и светлой витрине неба скорее, чем в витрине книжных лавок, освещенных всесветными «газами».

Пока пишу Вам только об этом. Занятия мои идут хорошо, большое кандидатское сочинение («Болотов и Новиков») закончено.

Моя жена и мама кланяются Вам.

Ваш сын *Александр Блок*.

**61. В. Я. Брюсову. 6 ноября 1904.  
Петербург**

**Г**лубокоуважаемый Валерий Яковлевич.

Ваши слова о моих стихах останутся для меня навсегда очень важным фактом. Позвольте мне просто выразить Вам благодарность и обойти строгим молчанием то, что и для меня самого не совсем досказано.

Посвящение мое в Вашем экземпляре было вызвано совершившимся, а не имеющим свершиться. Если бы я был в состоянии считать Вас «только художником в узком смысле слова», — я бы не написал, конечно, этого самого по себе некрасивого посвящения. В действительности же я был вправе разве умолчать о факте, который для меня ежедневно налицо. Но находящемуся «там, где весло», присуще видеть «кормщика» в том, кто «у кормила». В той неудачной и бледной рецензии о Вашей книге в «Новом пути» я пытался сблизить Вас с Вл. Соловьевым. Но, кажется, это возможно будет лишь для будущего «исто-

рика литературы». Пока же я действовал на основании опыта, испытав по крайней мере более чем литературное «водительство» Ваше и Вл. Соловьева на деле. Параллель моя больше чем любопытна, она — о грядущем.

Глубоко преданный Вам *Александр Блок*.

## **62. Андрею Белому. 23 декабря 1904. Петербург**

Спасибо Тебе, милый друг, что написал обо всем. Скажу Тебе на это прежде всего, что, верно, Ты знаешь, как поймет все это тот, который сидит во мне помимо всех остальных, сидящих там же; многие из них — пренеприятные господа, которых Твое извещение заставило поугомониться, — и вот протянулся ряд хороших дней, более тихих, более глубоких, самообсуждающих. Когда начинаются эти дни, — возвращаются обыкновенно настроения, очень давно покинувшие, совсем забытые, которые, казалось, были похоронены. Может быть, я даже присутствовал на похоронах и ставил свечки, но удивительно, что встретился опять с покойником, нисколько не удивился и принял его в круг самых жи-

вых и самых близких. Этот год с осени был особенный в этом смысле. *Особенно* резко и старательно было забыто осенью, во время обычного после лета укрепления «нервов» и «просияния» по этому поводу, — все из прошлого. Летняя земля помогла, пожалуй, выковать очень хороший замок, который наглухо закрыл двери, и когда створки окончательно сдвинулись, пробудилось стремление писать зачетное сочинение и рефераты. Все это было выполнено успешней, чем когда-нибудь, стало приятно и лестно чувствовать свою «работоспособность» и возможность историко-литературных обобщений. Все это длилось до очень недавнего времени, до рождественских вакаций. Вероятно, это было полезно и укрепительно, потому что позади этого, когда створки приоткрываются (только теперь), оказывается *воспоминание* о днях, когда «постигал я первую любовь»... Дело в том, что кто-то *очень Добрый* (слава богу! слава богу!) заставлял *придумывать* то, что было *пережитораньше*. Конечно, это шло туго. Говорю о «Прекрасной Даме» (о, обоюдоострое название! надоело...)... Придумыванье шло доволь-

но давно.

Может быть, теперь, когда *от* многого приходит пора отказаться (говорю о *молодости*: знаешь?), все меньше и меньше станут затемнять *Истинность* мгновенные, ребячливые построения. Ведь они были нужны, пока существовали какие-то странные, *казавшиеся* нужными связи с не совсем реальным. Очень вероятно, что поезд мой сделает еще только последние повороты — и придет потом на станцию, где останется надолго. Пусть станция даже *средняя*, но с нее можно будет оглядеться на путь пройденный и предстоящий. В нынешние дни, при постепенном замедлении хода поезда, все еще просвистывают в ушах многие тревожные обрывки, но странно: прежде мне хотелось писать Тебе и говорить вообще об этих вечно свистящих обрывках, а теперь хочется «остаться в границах» положительного письма. Такое же впечатление производят на меня и Твои последние письма. Ты пишешь все реальнее и все углубленнее; я принимаю это совсем просто и реально. С прежними письмами могли происходить случайности, — в дороге слова еще

шевелились и могли искривиться. Теперь они все закрепленнее изнутри. Все это происходит как-то помимо сознания. Правда приближается странное время, я бы сказал, что «носом и глазами впивается» непривычная стихия средней полосы жизни, как когда-то — первая юность. Несмотря на всю эту положительность, — я *знаю*, кто Брюсов, и что — именно тот, о каком Ты пишешь. Прочтя Твое письмо, я подумал, что он сейчас заглянет и к нам, но почти не боялся. Ничего не случилось. Читал вслух Любе, она сказала, что ей это «близко». Иногда я боюсь за себя. Кое-какая «пронзительность» есть на моей душе. Странно, что я *почти* не встречал в жизни «этого» лицом к лицу. Предположить могу только одно из двух: или — окончательную бездарность в «переживаниях», — но это не так, потому что переживания «Прекрасной Дамы» были слишком несомненны; или — бессознательное умение гонять чертей соответствующими средствами — их же оружием. Последнего-то я и боюсь иногда. Слишком мало пугаюсь. Но, может быть, ведь — я исчерпался. «Песне конец». Впрочем, «странно весе-



лые думы мои» — налицо. Если бы Ты знал, как я *всегда НЕ ВЕРУЮ!* Но *иногда*, как, «закинув руки в голубое», могу простоять я над бездной — и почти полет! До сих пор есть эта возможность. Пусть не *верую* даже, потому что иногда еще даже возможность покаяния как будто брезжит. Впрочем, я не могу исповедаться у священника. Я думаю: «верно нужна конституция» — искренно и часто с серьезной злостью на правительство. Тут-то подбегает «ребенок — я» и, протягивая на меня палец, кричит, заливаясь смехом: «Он хочет конституции!» Этого ребенка я беру на руки и целую — и «я и Он — одно...», *опять* одно. — Туго, гладкими стихами, часто *старательно* пишу поэму. Дошел наконец до части, где должна явиться Она. Знаю, как надо... но тут идет одна золотая нитка, которую перервать нет ни нужды, ни сил, продолжить — может быть — тоже. Дело в том, что на корабле должна прибыть Она. На корабле — бочка, самая простая, так — среди других тюков и бочонков. В бочке — *ребенок*. Все это только канва, но на канве появился самый реальный, страшно глупый, *Добрый* мохнатый ще-

нок с лиловым животом, по которому ходят блохи. Если я останусь правдивым, — то заменю ребенка в бочке именно таким щенком... Впрочем, пишу Тебе все это скорее затем, чтобы бросить поэму и разбить ее на отдельные стихотворения. Я не посылаю Тебе стихов — стоящих нет пока. О твоих очень соскучился, — если есть — пришли, пора опять испить из этого Твоего кубка.

Ведь я нарочно почти не *отвечаю* на Твое письмо. Слов не найду все равно, но *знаю, знаю...* Относительно слов все более становлюсь нищим, но иногда головокружительно какое-то богатство. Видишь, и я не умею по-прежнему писать письма. Но пусть хранит Тебя господь. Знаю о Твоем *СТРАДАНИИ*, страдающий и сильный — «*сильнее, чем сам предполагал*»'. Крепко обнимаю Тебя, и целую, и нежно люблю. Люба и мама благодарят Тебя и приветствуют. У нас елка стоит и пахнет смолой — чисто и бело. Поздравляю Тебя с Праздником! Поздравь, пожалуйста, Твою маму. До свиданья, милый.

Твой Ал. Блок.

## 63. Отцу. <Конец декабря 1904>

Милый папа.

Большое спасибо за присланные Вами сто рублей, которые пришлись очень кстати. Поздравляю Вас с близящимся Новым годом и, как всегда, желаю Вам всего лучшего.

Мне странно, что Вы находите мои стихи непонятными и даже обвиняете в рекламе и эротизме. Мне кажется, это нужно «понимать в стихах». В непонятности меня, конечно, обвиняют *почти* все, но на днях мне было очень отрадно слышать, что вся почти книга понятна, до тонкости часто, а иногда и до слез, — совсем простыми «неинтеллигентными» людьми. Не выхваляя ни своих форм и ничего вообще *от меня* исходящего, я могу с уверенностью сказать, что, плохо ли, хорошо ли, — написал стихи о вечном и вполне несомненном, что рано или поздно должно быть воспринято всеми (не стихи, а эта вечная сущность). Что же касается «распродажи» в настоящем, то она идет, разумеется, «туго», что, впрочем, я мог ожидать всегда и ни на какие доходы не надеялся.

Если бы я хоть раз встретился с критикой «по существу», я, разумеется, воспринял бы с благодарностью самые сильные нападки. К сожалению, такая критика была еще пока только устная — и в малом размере. Раскаиваться в том, что книга вышла, я не могу, хотя и славы не ожидаю.

Еще раз большое спасибо за деньги. Будьте здоровы.

Ваш сын *Ал. Блок*.

## **64. С. М. Соловьеву. <Январь 1905>**

**М**илый Сережа!  
Спасибо за все слова и не слова. Люблю тебя и Борю. И я политики не понимаю, на сходке подписался в число «воздержавшихся», но... покорных большинству. Не знаю, что из всего этого выйдет. Читая «Красный смех» Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда всех нас перережут. Близился к сумасшествию, но утром на следующий день (читал ночью) пил чай. Иногда «бормочу» и о политике, но все меньше. Осенью был либералом более. Но когда заговорили о «реформах», почувствовал, что деятельного участия в них

не приму. Впрочем, консерваторов тоже почти не могу выносить. Пишу иногда стихи, большая часть их есть у Бори. О Брюсове ничего не понимаю кроме того, что он — гениальный поэт александрийского периода русской литературы. Верю совершенно тому, что говорите о нем вы с Борей, но несколько сержусь за никуда не годный последний номер «Весов» (1905, № 1). Начинаю чувствовать преданность и благодарность товариществу «Знание». Люба сказала, что она похожа на Печорина, который охладевал немедленно, как только рядом с ним проявляли вспыхи-вание, тревогу и беспокойство. Люба кланяется тебе. Доверенность Булгакову (Федор Ильич. Улица Гоголя, 9) необходима «официальная», присылай ее поскорей мне.

Твой очень любящий тебя Ал. Блок.

## 65. Андрею Белому. 4 февраля 1905. Петербург

**М**ИЛЫЙ МОЙ!

Как было хорошо с Тобой в Петербурге! Сейчас мы узнали об убийстве Сергея Александровича. В этом — что-то очень знаменательное и что-то решающее. Это случилось, когда мы прощались с Тобой на платформе. У нас обоих ужасно тяжелое чувство, и что будет — не знаем.

Сейчас, узнав об убийстве, целый вечер шатался по улице. Представление «Гибели богов» было отменено. Чувствовал на улице одиночество и потерянную. Толкнулся к Иванову и Городецкому и, не застав их, почувствовал, что *один* (многолетняя служба... *серьезно*). Нет почти людей, с которыми легко. Подумал о Мережковских — и не захотелось идти к ним... Ты незаменимый и любимый. Обнимаю Тебя крепко, Боря, Мы близки.

Твой *Саша*.

66. А. В. Гиппиусу. 4 февраля 1905.  
Петербург

**М**илый, дорогой мой друг Александр Васильевич.

Прости, что пишу несколько слов только. Остро люблю Тебя. Сейчас узнал об убийстве великого князя Сергея. Скитался я по улицам, и *не к кому было пойти*. К Тебе было бы можно, если бы Ты был здесь. Нужно было отвести душу. Так все трудно и так сложно совсем неразрешимо, что будет с Россией и со всеми вами. Чувствую все определеннее: «Ныне мы — дети божий, но неизвестно, что будем!» Экзаменов, по всей вероятности, не будет — это комически малый результат великих событий. Однако — и это приходится принять во внимание. Но живем мы много и хорошо, только вот от событий тяжело и смутно. Откладываю подробности до другой минуты. Все мы, конечно, Тебя любим и помним и кланяемся. Кланяйся, пожалуйста, от нас всех очень Иулиании Ксенофоновне. Крепко обнимаю Тебя, милый, незаменимый.

Твой Ал. Блок.

67. С. М. Соловьеву. 26 февраля  
<1905. Петербург>

Милый Сережа!

Передал я Булгакову твои переводы; сам он меня не принял, но студент, управляющий журналом, спросив его, передал мне, что достаточно *простой* твоей записки на мое имя приблизительно такого содержания: «Доверяю получить А. А. Блоку... и т. д. — следует подпись». Никакого нотариуса, следовательно, не нужно. *Непрерменно* присылай мне ее *скорей*, потому что Булгаков скоро известит меня о дне и часе, в который я могу получить деньги, и пропустить нельзя, так как он очень занят.

Присылай немедленно.

Забываю сообщить приятное: Развадовский — в монастыре, в каком — неизвестно, и с каких пор он монах — тоже неизвестно! Начинаю совсем *НЕ* выносить декадентов. Альманах «Гриф» производит отталкивающее и омерзительное впечатление. Большая часть «Весов» — то же. Твоя (?) заметка о Дункан меня как-то испугала, и еще не знаю о ней. Любе



очень понравилось, особенно о телесности музыки. Подпись твоя напоминает нечто вроде «статского советника», по словам Владимира Соловьева. Кстати, если тебе не трудно (т. е. если у тебя есть экземпляры), пришли мне VI том Вл. Соловьева, ты все остальное нам прислал.

Жить в городе почти невыносимо. «Пойти» некуда почти, и сосредоточиться нельзя. Каждый день — вести, которых я не могу оценивать по достоинству. Пиши. Крепко целую.

Твой *Ал. Блок.*

## **68. Г. И. Чулкову. 15 марта 1905. Петербург**

**М**ногоуважаемый Георгий Иванович. О Вашем переводе Метерлинка: мне нравится I, IV, X, потом — VIII; вообще мне кажется, в переводе много своего, не метерлинковского. Например, в V: у Метерлинка тревожно бежит свет по комнатам и умирает, а Вы размерно рассказываете об этом, и не под первым впечатлением. В IV — опять у Вас своя певучесть, особенно в оканчивающих строку «есть», «нет»; их добрая пугливость

все-таки не совсем приближает к Метерлинку. Метерлинк торопливо карабкается по лесенке своих размеров, оттого ему скоро удастся рассыпаться почти бесследной ракетой. А Вы замедляете его торопливость и стихотворствуете. У Метерлинка почти нет стихотворчества. От этого разнится метерлинковская и Ваша певучесть, по-национальному. Я бы сказал, что стихи Метерлинка *перпендикулярны* Вашей передаче, как французский темперамент перпендикулярен русскому. Ярчайший пример не слитости, а *прекрасной* перпендикулярности — «жизнью громко восхищались» — «ont saluift la vie».[16] У Вас — объятие «клеяким листочкам», у Метерлинка — испаряющийся поклон. Мне кажется, Метерлинк по-русски должен непременно отяжелеть. По-моему, совсем не звучат следующие строки: «Она *имела* три короны золотые, — кому она их отдала» (VII), «Пришли нам вести принести» (V), «Удалиться не решились» (VIII), «Вы должны *теперь идти*» (IX). Часто нарушают песни слова «те» и «там» — дополнительные грузы, не сливающиеся с существом стиха. Кроме того, мне кажется, *в припе-*

вах Метерлинк нашел узелки, в которых стягивается мелодия. У Вас припевы стремятся иногда стать стихом и вследствие грузности теряют свое внутреннее место (например, «Мне страшно, о дитя»). Больше всего (из припевов) мне нравится — «золотые прочь повязки», «крепче узел затяните». Еще, по-моему, нельзя: 1) три светлых ангела *молилось'*, 2) корабль собрался *уезжать* (смесь мокрого и сухого).

Извините и не сердитесь, что пишу больше, чем Вы просили. Посылаю Вам брюсовского Верхарна, корректуры Вашу и мою и рецензию о Рашильде. Книги принесу сам. Жму Вашу руку.

Искренно Ваш Ал. Блок.

## 69. Отцу. 28 марта 1905. Петербург

Милый папа.

Получение денег от Вас было для меня совсем неожиданным и очень приятным сюрпризом. Конечно, очень благодарю Вас за них. Это было особенно кстати по двум причинам: во-первых, государственные комиссии окончательно прекратили свою деятельность, и возможности держать экзамен нет ни малейшей (впрочем, едва ли бы я стал держать экзамен на условиях, предлагавшихся г. Глазовым, отчасти и потому, что на сходке 7 февраля я присоединился к решению «большинства», хотя и воздержался от решительного мнения). Во-вторых — в последнее время денег становилось мало — пришлось делать штатское платье и пр. Впрочем, когда я наконец решил принять меры к добыче денег, мне это удалось почти сразу. Редактор «Грифа» прислал в виде гонорара и за книгу стихов 50 рублей. «Вопросы жизни» (заменившие «Новый путь») дали много работы и также заплатили 50 рублей. Теперь я имею возможность работать у них много — писать

рецензии, иногда статьи (о поэтах) и помещать стихи. Кроме того, могу написать фельетон в газету «Слово» о французских символистах. Все это пока очень устраивает и радует меня некоторой невзыскательной радостью, особенно потому, что помогает относиться с полным равнодушием (разумеется, с точки зрения денежной) к прекращению лекций. На VII семестре (осенью) я успел, однако, развить довольно деятельность, чтобы написать зачетное сочинение, которое г. Шляпкин хвалил и предлагал напечатать («Болотов и Новиков» — к истории мемуаров и масонства). Печатать его, однако, возможно, я думаю, «с дополнениями и изменениями», ибо все-таки оно — компиляция, хотя и списано с подлинных, правда, изданных, мемуаров. Тогда же написал я большой реферат Соболевскому об апокрифе о путешествиях Иоанна Богослова, и, уж разумеется, скучный, фонетико-морфологический. Таким образом, почти все «зачеты» мои готовы, и можно успокоиться до осени, а на Рождестве (!) держать экзамены. Пишу очень много рецензий о самых разнообразных книгах, преимущественно о беллетри-

стике и историко-литературных. Вопрос об отъезде в деревню мог бы быть решен в скором времени, если бы остальные вопросы, касающиеся общей политики были решены. Об этом я бы и хотел писать, но вполне не доверяю «почте и телеграфу». Думаю, что зайдет об этом разговор с Евг. Вас. Спекторским, которому буду писать сейчас и которого очень рад увидеть, так как он сообщит мне сведения о Вас. Что касается сведений, полученных из Сибири через Марианну Петровну, то они как-то слишком издалека пришли и профильтрованы несколькими родственными наслоениями. Мне всякие родственники, кроме ближайших, крайне затруднительны, и я почти не встречаю их. Вижу периодически часто с большими и малыми литераторами, что также не всегда приятно, а иногда и отягчительно, но зато — почти всегда не скучно. Скука вообще куда-то давно испарилась, и это заставляет меня думать, что пути мои не совсем кривы, хотя будущий практический путь до сих пор совершенно не выяснен. К сестре Ангелине я не пошел до сих пор, преимущественно от инертности по отношению

к хождениям. Пойду к ней непременно, хотя боюсь своего крайнего неумения обращаться с детьми, а также своего довольно туманного способа выражений в разговоре («für wenige»! [17]). Впрочем, в последнее время у меня явилась даже потребность в одичании, и многих речей я совсем не понимаю.

Встречи с разнообразными людьми учащаются. Кружок Мережковских стал менее самодовлеющим. Много приехало в последнее время и из России (в противоположность Петербургу). И все-таки ближайшими людьми остаются Сергей Соловьев, Борис Ник. Бугаев (Андрей Белый) и Евг. Пав. Иванов (из «Нового пути»). Роль «фона» близости играют до сих пор в большой степени Мережковские, злостно ненавидимые почти всеми за то или за другое. Правда, в этом они часто виноваты сами (особенно З. Н. Гиппиус), но замены их я не предвижу, и долго не дожидаться других, которые так же про шумят, как они (в своей сфере — теорий великолепных, часто почти нелепых, всегда талантливых, всегда мозолящих глаза светским и духовным лицам). О декадентстве в последнее время (и давно уже)

как-то нет помину, и его, в сущности, по-моему, нет. Оно ютится где-то в Москве, в среде совершенно бездарных «грифенят», молодых гимназистов, отслуживших черные мессы (будто бы в Берлине), говорящих на собраниях много и скучно о черных лилиях. Сами маги (Брюсов и другие), давно, в сущности, оставившие декадентство, взирают на этих с тайной грустью. Всего этого так много, и все это внешне и большей частью скучно. Выходя в «поле за Петербургом» на шоссе, я чувствую себя совершенно по-настоящему. «Здравость» ничем не нарушается, кроме религиозных впечатлений, впрочем, в очень широком смысле.

Наверное, напишу Вам еще до осеннего личного свидания. Извне все до такой степени перепутано, что я совсем не могу представить себе, что будет осенью и останется ли все на месте. — Люба и мама очень благодарят Вас за поклоны и желают Вам всего лучшего. Целую Вас. До свиданья.

Ваш сын *Александр Блок*.



**70. Е. П. Иванову. 21 апреля 1905.  
Петербург**

**М**илый Женя, как жалко, что ты нас не застал. Мы вдруг ушли в Лесной и оттуда пешком по шоссе в Новую Деревню. Полная весна, все течет и поет. Заря из тех, от которых моя душа ведет свою родословную. Проталины; и небо прозрачное до того, что ясно, Кто за ним. Пахнет навозом, и прошлогодняя трава зеленая.

Приду к вам завтра (вторник), если успею написать рецензию, которая необходима ко вторнику. Много пишу. Впрочем, если нужно уйти, — уходи и не жди, я приду еще. Поклон всем твоим. Целую крепко. Ничего нет, кроме гордости, что чувствую весну.

Твой любящий *Ал. Блок.*

## 71. Андрею Белому. 19 мая 1905. Шахматово

**М**илый Боря, спасибо, получил Твое письмо в Шахматово. Приехали опять рано, в апреле, и уже опять копаюсь в земле. Впрочем, больше еще бродим кругом. Грозовая весна, были дни сплошь грозовые с ливнями, а вообще сухо и сильный ветер. На горизонте такая мгла, что говорят, будто Москва горит. И в то же время на закатах такой ветер, что ясно, откуда он, — от солнца, окруженного парами. Вообще ясно многое, в чем сомневаются соседние естественники. Но иногда грустно, и до того все забылось, что может вспомниться при неожиданных обстоятельствах, врасплох. Весной писал стихи, часть которых пишу Тебе. А я не простился с Мережковскими, и вообще кончилось с ними как-то глупо и досадно, из-за Зинаиды Николаевны. Что Ты думаешь о «жертве» у Минских? (не скандал ли это?). Я думаю, что это было нехорошо, а *Евг. Иванов* писал, что почувствовалась близость у всех, вышедших на набережную из квартиры Минского в белую ночь. Но Люба

сказала, что близость чувствуется также после любительского спектакля. — Напиши, когда Ты можешь к нам приехать?

Напиши вообще. Крепко Тебя целую.

Твой *Саша*.

**72. Е. П. Иванову 23 мая 1905.**

**Шахматово**

**М**илый Женя.

Пишу тебе пока только так, несколько слов. Ужасно далек от слов, но опять чувствую, что (кажется) надо говорить, — в словах рождается что-то важное (между словами). С жертвой у Минского не мирюсь, не хочу, присутствие его одного может все испортить. Ты знаешь, Люба сказала о близости, родившейся после «жертвы», что близость рождается у всех участников *любительского спектакля* — по окончании его. Ведь и спектакль — глубокое; может быть, правда, близость и такая священна. Я думаю, что, наверное, она священна и строга. Над Вяч. Ивановым у меня большой вопросительный знак (как над человеком *действия* и воли). Он «водит», может быть, куда-то наискосок, хищно и

метко. У него в глазах — старый воробей романтизма «себе на уме». Это пока так мне кажется, может быть, я ошибаюсь.

Прочел твой «Университет», совершенно согласился и очень понравилось. Люблю твой стиль настолько, что не могу сообразить, понятен ли он другим.

А тебе «так» пишу пока — «через забор». Когда приехали, жутко было иногда от древесного оргазма — соки так и гудели в лесах и полях. Через несколько дней леса уже перестали сквозить тишиной и стали полношумными. Теперь все они веселятся, очень заметно. Лягушки и пр. также веселятся чрезвычайно, а я болтаюсь, колеблемый ветром и несозревшими идеями по лесам с двумя крабками (таксами). Цветет все раньше, уже сирень все ветки согнула. В одной из многочисленных гроз показывался венец из косых лучей — из глаза отца, Солнце бушует ветром — это ясно на закате, сквозь синюю и душную занавеску. Говорили, будто Москва горит, — так затуманились горизонты; но это были пары и «пузыри земли», и «ветер разнес их мнимые тела, как вздох». Хорошо, но унизитель-

но не быть одной из этих «стихий», хотя бы в том смысле, что еще не написаны ни одни «стихи».

Все мы кланяемся, конечно, очень всем вам.

Что за ужас был в редакции! Крепко обнимаю тебя, милый.

Твой *Саша*.

### **73. А. М. Ремизову. 28 мая 1905. Шахматово**

Дорогой Алексей Михайлович.

Большое спасибо за гонорар и книжки журнала.

Начитался «Пруда», охватило чувство «скарба» и запахов. Проглотил все сразу и жду, что дальше, с нетерпением: куда пойдет. — даже, куда выберется?

Надо же, чтобы конец романа обсушился, а то — ужас (Сологуб иногда перед этим ребенок...). Страх ворочает, когда читаешь роман. И именно пока все так: «выберется», «ворочает», «ползет». К ночи читать страшно. Есть общее со сказками «Кота Мурлыки», единственными, по-моему, в своем роде, — которые я в

детстве ужасно любил, а теперь почти забыл, и вдруг опять «поднялось».

Поклон Серафиме Павловне и Вам.

Преданный Вам Ал. Блок.

## **74. Г. И. Чулкову. 23 июня 1905. Шахматово**

Дорогой Георгий Иванович.

Большое спасибо за оттиски и книгу Котляревского. Мне хотелось воспользоваться Вашим предложением и возразить на Вашу статью о Соловьеве в «частной переписке». Но у меня не оказалось под рукой не только прозы, но и стихов Соловьева. Вероятно, возражение пришлет Вам С. Соловьев. Просматривая булгаковское возражение, мне не захотелось и читать его, что-то совсем, совсем не о том...

Я хотел спорить с Вами о тех пунктах Вашей статьи, где говорится о трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти. В противовес этому я думаю поставить: 1) совершенную отдельность и таинственность, которой повиты последние три года жизни Соловьева; 2) лицо живого Со-

ловьева и 3) знание о какой-то страшной для всех тишине, знание в форме скорее чутья, инстинкта или нюха (все эти три пункта, конечно нераздельны).

К последним трем годам относится и наибольшая интенсивность Соловьева как поэта, и апофеоз того смеха (дарящего, а не разлагающего), который он точно от всех Соловьевых по преимуществу вобрал в себя, воплотил, «заклучил», — сделал законным это захлебывание собственным хохотом до икоты; этот смех — один из *необходимейших* элементов «соловьевства», в частности Вл. Соловьева; и этот смех делает Соловьева совершенно неуязвимым от тех нападок Розанова, которые звучат похоронно, — «хорошо бы-де Соловьеву иметь ребенка», «Соловьев-де вялый, пасмурный, нежизненный», словом — Соловьев «во сне мочалку жует» (конечно, это я формулирую Розанова).

Последние годы Соловьев в моем предположении и впечатлении начинал *прекрасно* *двоиться*, но совершенно не было запаха «трагического разлада» и «черной смерти». Скорее, по-моему, это пахло деятельным весе-

льем наконец освобождающегося духа, потому что цитированное Вами о «днях печали», «гробнице бесплодной любви» и подобное в стих. Соловьева насквозь *перегорало* в Купине Несказанности, о которой теперь часто (или-всегда!) говорит А. Белый. Соловьев постиг тогда, в период своих главных познаний и главных несказанных веселий, ту тайну *игры* с тоскою смертной, которую, мне сейчас кажется, тщетно взваливает на свои плечики Мережковский... Он так хохотал, играючи, что могло (и может) казаться, что львенок рычит или филин рыдает (о филине как-то выкрикнул Соловьев в большом обществе, помните, это есть у глупейшего Велички). А ведь филин вовсе и вовсе не тоскует, когда кричит, я думаю — ему весело.

*Знание* наполнило Соловьева неизъяснимой сладостью и весельем (ведь его стихи имели *роковое значение*, говорите Вы, и этот Рок исполнил его *всего* Несказанным, и не от убыли, а от прибыли пролилась его богатейшая чаша, когда он умирал (и на меня упала капелька в том числе). Помню я это лицо, виденное однажды в жизни на панихиде у род-



ственницы. Длинное тело у притолки, так что целое мгновение я употребил на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась душа, потому что Соловьев тоже взглянул долгим си-не-серым взором. Никогда не забуду — тогда и воздух был такой. Потом за катафалком я шел позади Соловьева и видел старенький желтый мех на несуразной шубе и стальную гриву. Перелетал легкий снежок (это было в феврале 1900 года, в июле он умер), а он шел без шапки, и один господин рядом со мной сказал: «Экая орясина!» Я чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился, незаметно, на вокзале, куда привезли гроб, его уж не было.

Мне хочется написать Вам именно так, без теорий, а *облик во мне живущий*, и просить Вас не показывать письма. Конечно, это не возражение, но *это самое* спорит во мне с Вами, тем более что я знаю угол, под которым стихи Соловьева (даже без исключений) представляются обмокнутыми в чернила (смерть, и смерть, и смерть...). Но сквозь все это просла лилейная по сладости, дубовая по упорству *жизненная* сила, сочность Соловьева, ко-

торой Розанов при жизни его не сломил, а после смерти — подпачкал. Эту силу принесло Соловьеву то Начало, которым я дерзнул восхититься, — Вечно Женственное, но говорить о Нем — значит, потерять Его: София, Мария, влюбленность — всё догматы, всё невидимые рясы, грязные и заплеванные, поповские сапоги и водка.

От Соловьева поднимался такой вихрь, что я не хочу согласиться с его пониманием в смысле черного разлада, аскетизма и смерти. Аскетизма ведь *не было и фактически*, и не им вызывался тот хаос, о котором Вы говорите и сквозь который вечно процветал зеленый, подлинный, живой стебель. Вступление к стихам — загадка, многое мне здесь разрешается, когда вспоминаю о *хохоте* Соловьева. Вступление *искренно* несомненно, но и хохот искренен. И когда хохот заглушён, губы серьезно сдвинуты, а борода разложена по сюртуку, как на фотографии Здобнова, — еще неизвестно, что услышим, что откроется. Еще многому надлежит явиться, о чем провещал маститый философ, заглушив в себе смех и на миг отвернувшись от игр ребенка. Еще в Со-

ловьеве, и именно в нем, может открыться и Земля, и Орфей, и пляски, и песни... а не в Розанове, который *тогда* был именно противовесом Соловьева, не ведая лика Орфеева. Он Орфея не знает и поныне, и в этом пункте огромный, пышный Розанов весь в тени одного соловьевского сюртука.

Дорогой Георгий Иванович! Мы с Любой ужасно жалеем, что не можем пригласить Надежду Григорьевну и Вас к нам. Дело в том, что мы живем не одни, а с родственниками, часть которых, как мы убедились по приезду А. Белого и С. Соловьева, страшно тяготится близкими нам разговорами и страдает от них чуть что не физически. Я думаю, что это скоро прекратится, т. е. мы будем жить в более согласном обществе, и, может быть, на будущее лето Вы с Надеждой Григорьевной посетите нас. Теперь как-то совсем нельзя говорить, и отношения между партиями обострены, так что люди как-то оскалились до степени понятий: здесь — «мистики», а там — «позитивисты». Но рознь глубже понятий.

Кланяемся Вам и Надежде Григорьевне. Жму Вашу руку.

Любящий Вас Ал. Блок.

P. S. Прилагаю еще три рецензии.

**75. Е. П. Иванову. <25 июня 1905.  
Шахматово>**

Да, милый, есть больше слов, как ты писал мне. Я много и долго мучился и падал духом, и были совсем черные дни. Теперь хорошо. На днях уехали — сначала Бугаев, потом Соловьев, приехавшие вместе, привезшие новизну и голос событий, совершающихся в самой главной области — «Несказанной».

Знаешь, что я хочу бросить? Кротость и уступчивость. Это необходимо относительно *некоторых* дел и *некоторых* людей. Знаешь ли, что одиночество, пока оно остается чувством, томит, и нежит, и думать не дает, и рукой манит. А потом вдруг оно становится из чувства — *знанием*, и тогда оно крепит, и на узде держит, и заставляет опять *СЕБЯ* же черпать. «Черпай, черпай, пока не иссохнет гортань, а если выживешь — силу узнаешь».

Я говорю про одиночество особого рода. Что тебе — Христос, то мне — не Христос. Я люблю тебя и чую близость нашу сквозь об-

*щее наше*, что закипает, и пенится, и светится после нашей *СЛУЧАЙНОЙ* встречи — знакомства. Ведь с разных концов мира принесло, и все дело было во взгляде — первом и самом значительном. Может быть, нас в разных котлах варили, но вынесло в «крайнюю глухую заводь», в «край лиманов и топей речных», «Царство Демона древней Москвы» (Коневской о Петербурге). И стала у нас сумрачная близость, к которой часто я возвращаюсь мысленно и понять не могу. Сейчас пишу тебе так, потому что опять страшная злоба на Петербург закипает во мне, *ибо я знаю*, что это поганое, гнилое ядро, где наша удадь мается и чахнет, окружено такими безднами, такими бездонными топями, которых око человежье не видело, ухо — не слышало. Я *приникал* к окраинам нашего города, знаю, знаю, что там, долго еще там ветру визжать, чертям водиться, самозванцам в кулаки свистать! Еще долго близ Лахты будет водиться откровение, небесные зори будут волновать грудь и пересыпать ее солью слез и будет Мировая Несказанность влечь из клоаки. Но живем-то, живем *ежедневно* — в ужасе, смраде и отчая-

нье, в фабричном дыму, в треске блудных улыбок, в румянце отвратительных автомобилей, вопящих на Зарю, смеющихся догадываться о Заре! Петербург — гигантский публичный дом, я чувствую. В нем *не отдохнуть, не узнать всего*, отдых краток там только, где мачты скрипят, барки покачиваются, на *окраине*, на островах, совсем у ног залива, в сумерки. Но там узнаешь тишину только до рассвета, а едва рассвет запылит, — все кончено. Читал ты драму Брюсова «Земля»? — Там есть об этом. В сущности, я пишу так много и крикливо, оттого что хочу высказать ненависть к любимому городу, именно тебе высказать, потому что ты поймешь особенно, любя, как и я. Но надо, надо понять, что в Петербурге легче, чем где-либо, умереть без мучений, застрять и заглохнуть. Знаешь ли, что *МЫ* те, от которых хоть раз в жизни надо, чтобы поднялся вихрь? *Мы сами ждем от себя вихрей*. Мне писать так легче, чем говорить; если б говорили, я бы опять заленился, раскис, гнусил бы, как, ты знаешь, я большей частью говорю. Я и написать не могу всего, но то, чего я не могу высказать ясно, вертится все близ одно-

го: хочу действительности, чувствую, что близится опять *огонь*, что жизнь не ждет (она не успеет ждать — *он сам* прилетит), хочу много ненавидеть, хочу быть жестче. И все-таки это не совсем так; если узнаю еще, напишу больше. Близок огонь опять, — какой — не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа. Пиши, что в тебе теперь ответит мне, не торопись писать. Если б ты узнал лицо русской деревни — оно переворачивает; мне кто-то начинает дарить оружие... Может быть. Может быть, будет хорошо, кругом много гармонии.

Твой любящий *Саша*.

Все это письмо уж так и посылаю в его импрессионистском и сумбурном виде. Может быть, где-нибудь вдруг оказалось то, что не сумел сказать. Какое важное время! Великое время! Радостно.

## 76. Г. И. Чулкову. 19 июля 1905. Шахматово

Дорогой Георгий Иванович.

Спасибо за Ваши слова. Пожалуй, лучше все-таки не печатать моего письма к Вам, я не знаю, как отнеслись бы родные Соловьева к чуть-чуть разоблачительному духу его. Ведь у меня не только личные впечатления, а и навеянные разговорами с С. Соловьевым и другими. Да и не хочется утверждать так мельком сказанное о Мережковском и Розанове, ведь здесь следовало опереться на ряд рассуждений.

У меня к Вам просьба о книгах для рецензий. А. М. Ремизов предлагал мне Сиповского («Русские повести XVII—XVIII в.» цена 2 р.) — вышло недавно, интересно, — может быть, пришлете? Может быть, и еще что-нибудь, потому что у меня остались всего две книги (С. Маковский и Lesconte), о которых скоро напишу, а в деревне, может быть, долго пробудем. Посылаю Вам даже сверх комплекта — о двух скверных поэтишках коротенькую брань. Не знаю, писать ли об О. Шапир, Бело-



конском и С. Семенове?

Жму Вашу руку. Передайте наши приветствия Надежде Григорьевне.

Любящий Вас Ал. Блок.

Р. С. Ужасно мне понравились «Тихие песни» Ник. Т-о. В рецензии старался быть как можно суше; но, мне кажется, это настоящий поэт, и новизна многого меня поразила.

**77. Е. П. Иванову. 5 августа 1905.  
<Шахматово>**

Милый Женя.

Думаю теперь не так, как в предыдущем письме. Приписываю многое из него «рассудочной судороге», может быть — одной из *последних*. Но — странно, странно — мне хочется радоваться за свое прошлое (и близкое и далекое) и, *может быть*, — за будущее. Днями теперь чувствую, что молодею. Днями становлюсь легкомысленным мальчишкой, страшно интересующимся Достоевским, причем душа не лежит плотно и страстно на его страницах, как бывало всегда, а скорее как бы *танцует* на них. Ты знаешь, что между нами с тобой лежала какая-то горсточка непонима-

ния. Иногда, когда ты говоришь, мое восприятие захлопывается, как вентилятор во время ветра. При этом внутри саднит от раскаяния, что не вникаю, и от напряжения. Все это оттого, что я еще не научился воспринимать самое сердце слова, огонь его. Может быть (я надеюсь), что научаюсь.

Впрочем, опять-таки — не могу выразить большую часть. Скажу *приблизительно*: я дальше, чем когда-нибудь, от *религии*...

«Хвастаешься» и ты, как ты писал. Наши пути до времени не сойдутся. Но — ты один из самых мной любимых в мире. Что-то случится между нами в будущем. С нынешними людьми, особенно близкими, непременно со всеми что-то случится в какую-нибудь октябрьскую оттепель.

Событий было два: сегодня я хоронил старую собачку, всеми любимую; осталась теперь только одна наша такса — Крабб. А еще — жил у нас еж Григорий, которого наконец выпустили. Мы сильно привязались к нему.

Пишу довольно много стихов. Пришли, что хотел, но в августе. Меня уж тянет в город!

Как Мережковские? Приедем, вероятно, к 1 сентября.

Поклон всем твоим. Как здоровье сестры?  
Крепко тебя целую.

Твой Саша.

Вот стихи:

*Девушка пела в церковном хоре  
О всех усталых в чужом краю,  
О всех кораблях, ушедших в море,  
О всех, забывших радость свою.*

*Так пел ее голос, летящий в купол,  
И луч сиял на белом плече,  
И каждый из мрака смотрел и  
слушал,  
Как белое платье пело в луче.*

*И всем казалось, что радость бу-  
дет,  
Что в тихой заводи все корабли,  
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.*

*И голос был сладок, и луч был то-  
нок,  
И только высоко, у царских врат,  
Причастный Тайнам, плакал ребе-*

НОК

*О том, что никто не придет назад.*

Кланяются Люба и мама.

## **78. Андрею Белому. 8 августа 1905. Шахматово**

Милый Боря.

Сейчас смотрели на лунный туман. Ночь. Удивлялись. Твое письмо мне близко, близко. Спасибо. Мне хотелось именно быть Меркурием, когда я узнал, что я Меркурий в «Химерах»; более близкой мне статьи Твоей я давно не читал. Я сам извещаю себя эти дни, и сам не знаю того, но извещаюсь о чем-то как бы в последний и в первый раз, как всегда бывает в острое время жизни. Извещает меня о чем-то легкая юность с перевитым жезлом, но иногда эта юность бывает косматая, разбойничья, и все-таки — легкая. Все это лето я отвечаю Тебе на Твою любовь. Как-то учащенно все думаю о Тебе, узнаю Тебя, может быть; почти не проходит дня без мыслей о Твоей единственности для меня и мира. Я

совсем разлюбил стихи Валерия Брюсова, почти без исключений. Над ним жестоко посмеялся кто-то. Впрочем, я хотел сказать Тебе во все не об этом, так как это изумительно потеряло смысл. Я ужасно молодею и, чувствуя это, очень радуюсь этому. Узнаю Тебя, говорю о Тебе, и душа прильнула к Тебе. У меня нет религии, но мне завещано: да не смущается сердце ваше. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольюно.

Глубоко Твой *Саша*.

## **79. Андрею Белому. 22 сентября 1905. Петербург**

**М**илый Боря!

Вот стихи Hans'a von Guenther'a, которые он просил меня передать Тебе и обоим нас просил сообщить свое мнение. Я уж написал, что мне многое нравится. Они написаны ужасно неясно, трудно разбирать. Гюнтер переводит мои стихи. Просьбу о биографии я уже передавал Бальмонту, но он гордо ответил, что она — в словаре Венгерова.

В Петербурге очень много бодрости. Меня очень интересуют события. Университет пре-

образился — все оживлено. Слежу за газетами. Мои экзамены будут в ноябре и декабре. Как Ты, — напиши мне несколько слов. Я Тебя люблю сильно и нежно по-прежнему. Крепко целую Тебя.

Твой *Саша*.

## **80. Андрею Белому. 2 октября 1905. Петербург**

**М**илый Боря.

Мне вдруг захотелось послать Тебе много всяких моих стихов, и плохих и получше. Напиши мне когда-нибудь, как они Тебе вообще кажутся, и покажи Сереже. Кроме того, можно посвятить Тебе стихотворение, приложенное здесь же? Я изумился, читая «Зеленый луг». Дело в том, что все это время я писал статью, в которой последняя глава называется «Зеленые луга». И вдруг! Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего. Почти никто не знает об этом ничего, кое-кому известно наизусть. Но я более или менее часто вижу людей. Осень легкая. Часто хорошо и радостно. Спасибо Тебе за письмо. Совсем не знаю, что написать от Тебя Гюнте-

ру? Очень возможно, что он идиот. Он пишет мне всё открытки, где говорится: сегодня я перевел 26-е стихотворение... Сегодня 40-е. Нельзя ли назвать все «Die Frau in Sonne bekleidet»? [18] Эти извещения и вопросы сыплются мелким дождичком из Митавы — с Балтийского побережья — культурно и неукоснительно.

Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но как Ты думаешь, знаю ли я Тебя? По крайней мере я этого всегда хочу. Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому. Говорить об этом могу пока только с *непосвященными*. Но посвященным можешь быть разве Ты, никто, кроме Тебя, не услышит и знать не захочет. Но рядом с этим я совсем перестал бояться людей внутренне и доброжелателен ко многим больше, чем прежде. Куда-то совсем ушли Мережковские, и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Можно сказать, наплевали. Не знаю, надо так или не надо. Надрыва же никакого нет. У меня и вообще нет надрыва. Я больше не люблю города

или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Часто из нее исходят все только одни гармоничные ощущения. Я никогда ничего не забуду в прошлом. Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер повеет, и колючие мои руки запляшут свободно.

Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю. Если иногда в этом сиротливость, то я — «сам господин своих вериг». Пришли рукопись. Мы тоже пойдем в «Пиковую даму». Спасибо за московские известия. Вяч. Иванову передам; я еще не был у него. Вот его адрес: СПб. Таврическая, 25, кв. 24.

Вечером. Сейчас вернулся от Сологуба, где видел Вяч. Иванова и передал ему, что Ты просил. Он просит передать Тебе, что не сердился теоретически, но был оскорблен лично тем, что Ты писал Чулкову. Но вообще говорил мягко и доброжелательно. Может быть, не могу передать Тебе точно, что он гово-



рил, — ужасно устал. А мне трудно еще с Вяч. Ивановым. До свиданья, милый. Неужели правда Сережа в Риме?

Как Ты думаешь — если я кончу статью (довольно длинную) и пришлю ее в «Весы», — напечатают ли ее и заплатят ли что-нибудь? В «Искусство» я написал все-таки две статьи, потому что обещал Соколову.

— Где Сережа? в Москве или в Дедове?

## **81. Андрею Белому. <15 октября 1905. Петербург>**

**М**илый Боря.

Сегодня я получил Твое письмо — такое, какого я ждал. Это последнее (т. е. что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить Тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего Ты спрашиваешь о том, буду ли я сердиться, и объясняешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно), —

кроме одного: я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережинными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) — *все это* — речи идиотски бессвязные, понахватанные чорт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно — и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4), и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, *никогда*, даже когда писал все стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать

точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декадентами и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда), и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, может быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых довлений,

чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно так и надлежит студенту имп. СПб. университета и сотруднику «Вопросов жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относительно мистики я знаю, что она *реальна* и страшна и что накажет меня. Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность, — во мне ее много. Когда Ты командовал «про-сияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А Ты сказал раз, что мне не нужно экзамена. Но я совсем, не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потому что я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, ко-

торый имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Может быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто разворачивается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний, и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать — я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я тебя «соблазняю пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания, и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой, — значит меня не знать.

Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься на

меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю *теперь*, потому что я *всегда* был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить, — уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить, — научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить Тебя! Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно — не «преображенная». А, хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преображаюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больнее всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Никто во мне не смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или просто говоришь о ней?), но скорее — переворачивает острые камни. Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста,

не выживай Аполлонов и не задавай о них вопросов, Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же — боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).

О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство — «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение я тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради бога, все *прямо*), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потому что теперь я таких слов никому, *кроме Тебя*, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель — прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность — научи. Я знаю, что Ты — властный.

Твой *Саша*.

Все, что я писал, во многом — не то. Мне важнее сказать Тебе наконец: о Тебе, Боря,

как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (должен быть) второй и третий — преодоление дракона и смерти. Второго подвига я, может быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответ: распинаю ли я Тебя? существую ли я? Ведь предо мною куст терновый Огнем горел и *НЕ СГОРАЛ*.

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще большую боль, или — совсем никакой боли.



82. А. В. Гиппиусу. 9 ноября 1905.  
<Петербург>

Милый друг Александр Васильевич.  
Я ужасно рад, что ты в Петербурге, приходи совершенно когда хочешь, например завтра или послезавтра (четверг и пятница) — конечно, лучше обедать. Мы все рады тебя видеть, я тебе не писал, оттого что не знал куда. Когда так далеко, — не веришь, что письмо дойдет. Да и о чем писать — все другое и все такое тревожное, что не написать. У нас все по-прежнему. Какой-то ты? Я — «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ». Крепко целую тебя и очень люблю.

Твой Ал. Блок.

### 83. Е. П. Иванову. <3 декабря 1905. Петербург>

Милый Женя.

Сейчас с радостью сижу дома и не иду к Мережковским. А ты, верно, там. Если бы ты знал, что было со мной всю неделю! Два раза в день ходил: сначала в Публичную библиотеку (Венгеров дал работу), а потом на «литературные собрания», откуда, пьяный, возвращался утром. Потому на следующей неделе мне необходимо побольше работать в Публичной библиотеке; работа оказалась довольно сложная. Не могу пока прийти. Если увидишь Ге как-нибудь, передай ему, пожалуйста, от меня поклон и расскажи обстоятельства, по которым я все не иду к нему, хотя давно обещал. Есть своя привлекательность в полном изнеможении. Сквозь дребедень что-то поет.

Против Мережковских что-то чувствую не совсем... Немного боюсь идти к ним, они хотят посадить меня на ладонь и сдунуть. Но я *наверное* знаю, что во мне *есть* что-то состоящее не из пуха, ветром и дыханием их гони-

мого. Не сдуть. 16 ноября мне приснилось нечто, чем я живу до сих пор. Такие изумительные сны бывают раз в год — два года.

Крепко целую тебя. Передай поклон всем твоим. Если тебе вздумается прийти как-нибудь вечером, я, разумеется, буду ужасно рад. Будешь ли ты служить? Давно не видал тебя. Спасибо, что приходил и сообщил о «Тропинке», очень сочувствую ей.

Твой Саша.

## 84. Андрею Белому. 26 декабря <1905. Петербург>

**М**илый Боря. Родной мой и близкий брат, мы с тобой чудесно близки, и некуда друг от друга удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег, и бледное лиловое небо над нами. Это бывает на лесной поляне у железной дороги, а на краю лилового неба зеленая искра семафора между двух еловых стен. Там я провожу многие дни и наблюдаю смену времен года. Там ничто не изменится, и я не изменюсь тоже, все буду бродить там и наблюдать. Я Тебя полюбил навсегда спокойной и

уверенной любовью, самой нежной, неотступной; и полюбил все, что Ты любишь, и никогда Тебя не покину и не забуду.

Твой *Саша*.

## **85. Андрею Белому. 30 декабря 1905. <Петербург>**

**М**илый Боря.

Всегда помню Тебя, радуюсь, и учусь у Тебя. Все, что важно для меня в Петербурге, теперь полно Тобой, смягчено и улегчено. Вчера я встретил Философова, и, несмотря на то, что это было в редакции газеты «Наша жизнь», он говорил со мной несколько слов так хорошо и нежно, в первый раз, и я увидел, что всякого, кто только захочет открыться, Ты научишь этому. Через Тебя я теперь опять особенно люблю всех Мережковских, которых осенью начинал забывать, и знаю теперь, как это было нехорошо. На моей маме после Твоего отъезда я замечая все время Твое влияние, она способна радоваться на Тебя, как ни на кого и ни на что в свете. Нечего и говорить обо мне, которому Ты близок и нужен бесконечно и в самом глубоком. Ты зна-

ешь, что я только почти никогда не умею этого выражать, а прежде не всегда был в этом уверен. Теперь я знаю ясно и уже спокойно и просто, как совершившееся твердо, — что Ты первый и единственный, показавший мне, что такое *братское*: что это *не* есть совместное, но истерическое захлебыванье «глубинами», которые быстро мелеют, и не литературное подмигиванье, а тишина и безмолвная помощь. Мне больно, что я не умею помочь Тебе, а если иногда и помогаю, то бесконечно меньше, чем Ты мне. Но, может быть, поняв эту помогающую тишину, я и научусь помогать. В этом смысле Ты первый, вытацивший меня из самодовления, в котором я вечно пребывал, не нуждаясь в братстве, пока не узнал, что это такое.

Крепко целую Тебя и обнимаю бесконечно дорогого и любимого. Спасибо. С Новым годом.

*Саша.*

Милый Боря, пожалуйста, поздравь от меня Твою маму и Сережу. Пожелай им всего самого лучшего.

## 86. Отцу. 30 декабря 1905. Петербург

**М**илый папа, поздравляю Вас с наступающим Новым годом, который, бог даст, хоть частью разрешит и трагедии и нелепости настоящего времени. Пишу Вам немного, потому что давно не имею никаких сведений о Вас, а о Варшаве — только газетное вранье. В этом году мне удавалось получать довольно много литературной работы: с марта меня печатали в большом количестве «Вопросы жизни» (преимущественно — рецензии). Осенью я познакомился с С. А. Венгеровым, для которого перевел несколько больших и маленьких юношеских стихотворений Байрона (в издание Ефрона, для III тома), и теперь жду новых переводов Байрона от него же. Кроме того, Венгеров заказал мне историко-литературную компиляцию: «Очерк литературы о Грибоедове», на которую пошло довольно много труда. Если жизнь всех издательских фирм не прервется окончательно (а это становится, по словам того же Венгерова, очень возможным), — моя работа войдет в какое-то новое школьное издание Грибоедова. Таким обра-

зом, я все-таки доволен работой истекающего года. Стихов писал много, чувствую, что в них все еще много неустановившегося, перелом длится уже несколько лет. Появления новых стихов в печати жду в начале будущего года, — основываются бесчисленные журналы, из которых иные, впрочем, могут и прогореть. Все это ужасно шатко теперь. Отношение мое к «освободительному движению» выражалось, увы, почти исключительно в либеральных разговорах и одно время даже в сочувствии социал-демократам. Теперь отхожу все больше, впитав в себя все, что могу (из «общественности»), отбросив то, чего душа не принимает. А не принимает она почти ничего такого, — так пусть уж займет свое место, то, к которому стремится. Никогда я не стану ни революционером, ни «строителем жизни», и не потому, чтобы не видел в том или другом смысла, а просто по природе, качеству и теме душевных переживаний.

Университетские мои занятия, разумеется, оборвались, но, *кажется*, я насильно (вместе с другими) переведен на VIII семестр и он мне насильно зачислен, так что я уже не студент.

Государственный экзамен становится мечтой, далекой от воплощения. Совсем оставив пока университетские (учебные) мысли, думаю иногда лишь о «предметной системе» и ее преимуществах.

Живем мы по-прежнему и благодаря совместной жизни, казенной квартире и моим заработкам (около 50 руб. в месяц) — совершенно обеспеченно. Надеюсь, что и в будущем году буду работать, чувствую все преимущество работы (и моральное и материальное). Препятствие для заработка (литературного) только одно: революция, но ее я в этом смысле (по легкомыслию, может быть) — не боюсь. А в смысле моих последних «дум» о Государственной думе я все-таки «мещанин» (по Горькому), так как не прочь от «земцев», Струве и пр. «умеренных» партий (разумеется, не для жизни, а для «Государственной думы» и т. п.).

Милый папа, напишите мне, пожалуйста, что — нибудь о себе. Кланяйтесь Е. В. Спекторскому, о котором у меня приятное воспоминание. Целую Вас. Жена кланяется и поздравляет Вас с Новым годом.



Ваш сын *Ал. Блок*.

## 87. Андрею Белому. 3 января <1906. Петербург>

**М**илый брат Боря, я все ближе и ближе к Тебе, все больше понимаю все, что Тебя касается, и все нежней и заветней тебя люблю. Мне сейчас тоскливо. Только что вернулся с большого собрания, где *Факелы и Жупелы* обсуждали свои театры. Там я молчал, как всегда молчу, но выяснилось, что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, «развивая стихотворение *Балаганчик*». Все это строительство таких высоко культурных людей, как Вяч. Иванов, и высоко предприимчивых, как Георгий Чулков и Мейерхольд, начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить что-то из меня операционным ножичком. Все это Ты знаешь гораздо лучше меня, потому я пишу Тебе, чтоб облегчить душу. Самое ужасное для меня (отчего и тоскую), что не умею быть самостоятельным. Уже я дал всем знакомым бесконечное число очков вперед, и они *вправе* думать, что я всей душой предан мистиче-

скому анархизму; я не умею опровергнуть этого и не умею возразить, особенно при публичке. Напиши, *надо* ли мне высказаться по отношению к лицам, принимающим меня за бунтаря и мистика? Ты-то знаешь, что это не так. — Вчера я был на минуту у Мережковских, Тата была проста, она скоро придет, а Зинаида Николаевна опять ломалась и литературничала. — Дмитрия Сергеевича не видел. Шапка его нашлась. — Вчера я написал С. А. Полякову предложение издать мой сборник в «Скорпионе» и сотрудничать в «Весгах» (стихами). Не надеюсь на его согласие. Перевожу Байрона — единственная отрада. — Сегодня из всего многолюдного собрания мне понравился только Максим Горький, простой, кроткий, честный и грустный; я думаю, если бы около него не было такой гадости, как \*\*\*, он был бы еще лучше. Где-то в нем брезжит и «Максимка», а грусть его происходит во многом оттого, по-моему, что он весь захватан какими-то руками — полицейскими, что ли?

Я получил вчера Твое письмо, спасибо Тебе, родной мой Боря. Потом я буду писать Тебе о себе много, я хочу, чтоб Ты знал обо мне

много. Теперь еще не могу, потому что сам не знаю всего, и буду стараться скорей узнать — Ты мне бесконечно помог в этом, ужасно важном и для меня самого, деле. Пиши мне, милый, я уже не могу нормально существовать без Твоей поддержки от времени до времени. За эти дни, из приносимого почтальонами и мной из чужих квартир, — настоящими были только Твои письма. Милый мой брат, обнимаю Тебя. Мне теперь гораздо лучше, стало тихо и опять бережно вокруг  
Твой брат *Саша*.

**88. В. Я. Брюсову. 11 января 1906.**  
**<Петербург>**

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич. Приношу Вам мою глубокую благодарность за Вашу книгу, которую я сейчас получил, и за надпись, сделанную Вами на ней. Вы знаете, что я издавна люблю Вашу поэзию и многим обязан ей, как ученик. На этих днях я писал о «Венке» рецензию, которая должна появиться в первой книжке «Золотого руна». В этой рецензии, характера очень не критического, но лирического, я почувствовал

невозможность писать всякие формальные слова и говорил только об одной стороне, которая начала определяться для меня еще до появления «Венка». По-моему, поэзия «Венка», превосходя всю предыдущую Вашу поэзию, в отделе «Правда кумиров» особенно, — возвращает вместе с тем к одной ноте Вашего сборника «Me eum esse» — в отделе «Вечеровых песен» — для меня самом близком и драгоценном.

Глубоко уважающий Вас *Александр Блок*.

## **89. Андрею Белому. 28 января <1906. Петербург>**

**М**илый Боря.

Спасибо Тебе за то, как Ты нас всех любишь. Твоя любовь очень нужна нам. Ты ведь знаешь, что и Ты единственный и особенный для всех нас. Мама так радуется, получая Твои письма.

Ты спрашиваешь о, представлении «Балаганчика». Его теперь не будет. Чулков, по обыкновению, все это рассказывал преждевременно, а теперь оказывается, что и «Факелы» осуществятся не раньше осени (почти на-

верно). Но все-таки я опять чувствую симпатию к Чулкову — он милый и смешной, хотя и бывает неприятен. Последние дни, впрочем, приближается одиночество. Как-то мысленно блуждая по душам, вижу всюду сопротивление и озлобленность или нарочитость. Теперь опять страдаю от этого мало, потому что храню в себе легкость. Но, когда покидает легкость, становится труднее. Между прочим, меня спасает постоянная работа или по крайней мере возможность работы. От этого в самом лучшем смысле забываю себя. Все не могу собраться к Мережковским по-настоящему, отчасти занят, а отчасти — опять разномыслию о них. Я люблю их, но мне часто начинает казаться, что они — ужасные келейники, и потому в них мало легкости, и потому же они преследуют келейность, которая чудится им в других. Это чувство пошло у меня в ход с тех пор, как я узнал ближе Тату и Натю. Тата приходит и рисует. Я думаю, при этом со стороны есть что-то смешное и недоговоренное — в общении всех нас с Татой и Таты с нами. Но до сих пор не знаю, что из этого выйдет. А я все на *большее* готов, чем *дольше* жи-

ву. Будет всем нам в будущем хорошо. Приезжай к нам, как пицешь. Люблю Тебя.

Твой брат *Саша*.

**90. П. П. Перцову. 31 января 1906.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый и дорогой Петр Петрович.

Получил Ваш подарок «Венецию», которую читал с глубокой нежностью и благодарностью еще в «Новом пути». Большое спасибо Вам за книгу и за надпись, такую лестную и такую дорогую для меня. Опять буду читать и перечитывать и помнить уроки Вашего «стиля», в котором я давно чувствую великое и родное — дыханье истинной тишины *тех самых* «поздних времен». Я знаю (пережил), что бывает, когда читаешь Ваши книги или статьи, часто даже независимо от содержания (публицистика ли, или политика, или «Венеция», или «Профессор Сумцов»). Начинается тихая весенняя *капель*, и вот — поднимешь глаза на окно, а уж сумерки, и знаешь, что весна, и в небе серый клуб облака наплывает на другой, и проплывут мимо, и откроется

нежная лазурь, и тальй снег зацветет. Боже мой, сколько Вы знаете! Это то самое, что Андрей Белый называет «страной» и о чем мы с ним часто говорим, переглядываемся или просто молчим, когда нет человеческого «сквозняка». Спасибо за то, что поместите в «Слове» стихотворение Смородскому (конечно, можно назвать его «Летний сон») и о Лермонтове.

Граф Сэн-Жермэн и «Московская Венера» совсем не у Лермонтова. Очевидно, я написал так туманно об этом, потому что тут для меня многое разумелось само собой. Это — «Пиковая дама», и даже почти уж не пушкинская, а Чайковского (либретто Модеста Чайковского):

*Однажды в Версале aux jeux de la reine*

*Venus Moscovite проигралась до-тла...*

*В числе приглашенных был граф Сэн-Жермэн.*

*Следя за игрой... И ей прошептал Слова, слаще звуков Моцарта...*

*(Три карты, три карты, три карты)...*

и т. д. — Но ведь это пункт «маскарадный» («Маскарад» Лермонтова), магический пункт, в котором уже нет «Пушкинского и Лермонтовского», как «двух начал петербургского периода», но Пушкин «аполлонический» полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского — *мага и музыканта*, а Лермонтов, сам когда-то побывавший в бездне, встал над ней и окостенел в магизме, и кричит Пушкину вниз: «Добро, строитель!» Это — «все, кружась, исчезает во мгле». Конечно, если это туманно написано, просто можно вычеркнуть. Я путаюсь в этом страшноватом для меня пункте. — Спасибо, спасибо!

Искренно любящий Вас Ал. Блок.



# 91. И. М. Брюсовой. 11 февраля 1906. Петербург

**М**ногоуважаемая Иоанна Матвеевна.  
Ужасно неожиданно и приятно было мне получить Ваши ласковые подарки. Большое спасибо. У меня за последние годы все еще только готовится какое-то «отношение» к Добролюбову. Часто я закрывал глаза на него; иногда мне казалось воистину, что А. М. Д. «своею кровью начертал он на щите».

*Три года назад было так:  
Из городского тумана,  
Посохом землю чертя,  
Холодно, странно и рано  
Вышло больное дитя.*

*Будто играющий в жмурки  
С Вечностью — мальчик больной,  
Странствуя, чертит фигурки  
И призывает на бой.*

*Голос и дерзок и тонок,  
Замысел — детски-высок.  
Слабый и хилый ребенок  
В ручке несет стебелек...*

Тогда я слушал биографию Добролюбова от многих. Сейчас, перелистывая «Невидимую книгу», я узнаю бесконечно многое, иногда до того, что безобидно посмеиваюсь: дело в том, что я давно знаю лично и близко одну *живую книгу* Добролюбова — человека, который когда-то был ему ближе всех (пожилого уже теперь). Потому мне вдвойне важно и нужно узнать *эту* книгу, которую Вы мне прислали; книгу 1900 года я уже знал, но, кажется, не понимал; по крайней мере она понятней мне в связи с последней.

Кажется, я начну теперь понимать в этом (добролюбовском) направлении все больше. Мало удовлетворяли анекдоты, да и сам Добролюбов, просящий сахару в чай у «сестры Зинаиды Гиппиус» (это было раз при мне). А «Невидимую книгу» мне очень надо.

Еще раз благодарю Вас от всей души.

Искренно уважающий Вас Александр Блок.

## 92. И. Ф. Анненскому. 12 марта 1906. Петербург

**М**ногоуважаемый Иннокентий Федорович. С радостью получил я Ваши трагедии. «Иксиона» я читал давно, но так невнимательно, вероятно, что впоследствии, читая «Тихие песни», не узнал в них автора трагедий и переводчика Вакхилида.

Потому «Тихие песни» до недавнего времени были для меня совершенно отдельной книгой, вневременной; и это — к лучшему (для меня), потому что я читал их, не делая никаких историко-литературных сближений, в светлые осенние дни.

Тогда была близка «золотистость» (тютчевская) и раннее весеннее:

*И с бадьями журавли,  
Выпрямляясь, тихо стонут.*

Потом целый осенний вечер в глухой деревне я читал Вашу книгу вслух — и был ряд открытий:

*Золотые сулили вы дали  
За узором двойных королей.*

*Когда умолкает для слуха  
Железа мучительный гром...  
Мне тихо по коже старуха...*

«Это» навсегда в памяти. Часть души осталась в этом.

Теперь буду читать трагедии; за присылку их горячо благодарю Вас. К несчастью, моя рецензия о Вашей «Книге отражений», которую мне поручило «Слово», должна задержаться, потому что меня «гнетут» государственные экзамены.

С искренним уважением и преданностью  
*Александр Блок.*

## 93. В. Я. Брюсову. 25 апреля 1906. Петербург

**М**ногоуважаемый Валерий Яковлевич. Спасибо за все, что Вы мне пишете и о чем извещаете в Вашем письме. Безмолвное спасибо.

Относительно «Факелов» я согласен с Вами. Только еще мне нравятся некоторые стихи Сологуба, хотя и не новые для него. Но ведь он принадлежит к нестареющим в повтореньях самого себя. Я думаю, «Факелы» вышли такие от разговоров. Страшно подумать, сколько было произнесено слов по поводу их. Потому многое до срока износилось, и дух мистерии отлетел. Тоже и мистический анархизм, по-моему, мистерии не породит, в нем я не чувствую ни легкости, ни смеха. А ведь современная мистерия немножко кукольна: пронизана смехом и кувыркается. Хочется, чтобы все больше смеялись (где-то Гоголь рождается), и даже чтобы явился целый отдел в литературе, о котором в истории было бы сказано: «новый элемент добродушного издательства».

Летом я буду, как всегда: Николаевская ж. д., станция Подсолнечная, сельцо Шахматово. На днях я пойду в «Слово», где очень давно не был, и сейчас же напишу Вам, кто остался за Петра Петровича. Прежде предполагалось, что останется Штейн, который помогал Петру Петровичу.

Искренно преданный Вам *Александр Блок*.

## **94. Отцу. 5 мая 1906. <Петербург>**

**М**илый папа!  
Сегодня кончились мои экзамены. Спешу сообщить Вам об этом. Кончить удалось по первому разряду, получив четыре «весьма» на устных и круглое «весьма» на письменных экзаменах.

На днях поедem в Шахматово. Люба Вам кланяется.

Ваш *Саша*.

**95. А. В. Гиппиусу. <7 мая 1906.  
Петербург>**

**М**илый Александр Васильевич, ужасно жалею, что ты не застал нас, как раз все разошлись в разные места, Я приду непременно, но через некоторое время, потому что чувствую измученность и нападает тоска. А тебя очень люблю и крепко целую.

Твой *Ал. Блок.*

**96. В. А. Пясту 7 мая 1906. Петербург**

**Д**орогой Владимир Алексеевич. Спасибо за письмо Ваше, которое я получил вовремя, потому что до сих пор изнемогаю от зноя в Петербурге, но на днях уезжаю в деревню (Николаевская жел. дорога, ст. Подсолнечная, сельцо Шахматово). С трудом могу представить себе, что кончил наконец (5 мая) курс, и, что всего удивительнее, по первому разряду. От этого пребываю в юмористическом настроении и с гордостью ничего не делаю, и Вам пишу не по существу. Нет на свете существа более буржуазного, чем отэк-

заменовавшийся молодой человек! Впрочем, я закончил составление сборника стихов и дописал поэму, о которой думал полгода. В деревне буду отдыхать и писать — и мало слышать о «религии и мистике», чему радуюсь. В последнее время не бывал нигде, но все еще, пройдя экзаменное горнило, чувствую «жар и зной» последних «сред», на которых, по рассказам, многотысячные толпы алчущих все еще... говорили о «мистическом анархизме». При этом, ввиду сильного атмосферического давления, многие говорили на крыше, вися над безднами, и с высоты седьмого этажа видели, как за освещенными окнами «думает» новое правительство. К нему, Впрочем, к отношению с нежностью, но, думаю, лишь до той поры, когда Петрункевич получит премьерский портфель.

Радуюсь, что Вам хорошо в Мюнхене. А мне теперь не хотелось бы за границу.

Присылайте, пожалуйста, стихи, очень хочу узнать их.

А Борис Николаевич, кажется, в Мюнхене не будет, а будущую зиму будет жить в Петербурге.



Мы хорошо поговорили с Вами в последний раз. Может быть, в следующий так не вышло бы и многое бы затуманилось, потому что я только внешне жалею, что мы не простились. В тот день, как и во многие другие, я, кажется, уходил «пить красное вино» (пишу в кавычках, потому что этот процесс стал для меня уже строгой формулой, из которой следуют многие теоретические выводы).

Пожалуйста, напишите мне еще, милый Владимир Алексеевич. Я пишу Вам так вяло сейчас от жары и усталости, доживая последние дни в Петербурге. С удовольствием расстанусь с ним, но не знаю, что сменит его для меня: террор или обыкновенная, но неприятная, аграрная революция?

*Ваш Ал. Блок.*

97. В. Я. Брюсову. 5 июня 1906.  
Шахматово

**М**ногоуважаемый Валерий Яковлевич. Спасибо еще и еще — за пленительную книгу Верхарна и за надпись на ней. Теперь буду с любовью, шаг за шагом, читать Ваши переводы; а когда они встречаются в журналах или газетах, — всегда читаются не так охотно, как оригинальные стихи: плохая бумага, два столбца, как в «Журнале для всех». Мне захотелось послать Вам просто так («для ознакомления») мою попытку перевода стихотворения из «Toute la Flandre»; кажется, некоторые места вышли недурно и близко к подлиннику, хотя я не имею понятия о законах свободного стиха, а из Верхарна знаю только одну книгу да несколько строк из других, какие попадались в рецензиях.

В Вашей книге прочел «От издателей» и новый каталог «Скорпиона»; за то и за другое опять искренно Вас благодарю.

Глубоко уважающий и искренно преданный Вам

*Александр Блок.*

**98. Е. П. Иванову. 25 июня 1906.**  
**<Шахматово>**

**М**илый Женя.

Жара, сильные грозы и долгие дожди, а потом опять жара — так все время. Сыро и душно, но хорошо, и в природе все по-прежнему; так же по-прежнему и в душе — осадок и тоскливость после зимы (все еще!), страшная лень (писать и думать) и опять «переоценка ценностей», как каждое лето. Думаю, однако, что тем летом эта переоценка была не так бесплодна, как теперь: ужасное запустение, ничего не вижу и не слышу больше. Стихов писать не могу — даже смешно о них думать. Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих, которые менее повинны в нем, чем я. Настал декадентству конец, теперь потянется время всеобщих повторений, и нечего думать о литературных утешениях, пока кто-нибудь не напишет большой и действительно нужной вещи, где будет играть роль тело не меньше, чем дух. Все переутомились и преждевременно сочли святым свой собственный больной и тонкий дух, а теперь

платятся за это. О ком ни подумаешь, — все нет никого, кто бы написал освежительную вещь. Наступила Тишина — самая чертовская — несмотря на революцию.

Про большинство людей восклицаешь: «И это Шиффлер!»

Все мы получили твои письма. Ты прекрасно видишь из всего вышеупомянутого, что для меня всего милее то, что ты пишешь мне, потому что там нет цитат из Священного писания: окончательно я изнигилился, спокойно говорю — и мало скорблю об этом, потому что чаще всего тоскую неизвестно о чем. Все, что ты пишешь о всеобщей тоске и тьме, — совершенно так, но не верю причинам, которые ты выставляешь. Нет ни причин, ни начала, ни конца этому для того, кто тоскует. Ты не совсем тоскуешь, потому что видишь светлую точку в конце томного коридора, как пишет об этом Мережковский, хотя сам-то, пожалуй, и не видит светлой точки. Я же, если бы писал что-либо подобное, — лгал бы; и как только запишу декадентские стихи (а других — не смогу) — так и налгу. В голове много глупостей и гадостей.

Иногда мы ведем умные разговоры, а часто загадываем шарады и хохочем. Гуляем и в саду немного копаемся. Ты знаешь, если бы ты смог даже на неделю приехать, и то бы стоило: здесь время идет вдвое-втрое тише, чем в людных местах. От мух советую купить пачку бумажек «Tanglefoot» — к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени.

Ведь ты напишешь еще рецензии в «Страну» и еще получишь денег. Может быть, когда найдешь новую квартиру в Петербурге — приедешь? Хоть на неделю? Хорошо бы. А я буду писать рецензия в «Слово», мне прислали книг. Читал я много — Сологуба «Тяжелые сны» (очень хорошо), Горького («Трое» были для меня важны), Гамсуна и Гауптмана. Лучшая пора жизни — ночью перед сном, когда все тихо, — читать в постели — тогда иногда чувствуешь, что можно бы стать порядочным человеком.

Напиши, Женя, и приезжай все-таки, если сможешь. Может быть, ты извлечешь из

здешней тишины больше, чем я. Всем твоим передай от всех нас поклон — и Александру Павловичу и Евгении Алексеевне. Куда за границу едет Александр Павлович? Ах да! Может случиться, что мы с Любой поедem осенью в Италию, хотя я сам мало этому верю. Люба очень хочет, да там, надо полагать, и действительно хорошо — в Венеции, Риме и Флоренции. Но надо для этого наработать денег. Крепко тебя целую.

Твой *Саша*.

## **99. Г. И. Чулкову. 7 июля 1906. Шахматово**

Дорогой Георгий Иванович. За книгу с надписью большое спасибо. Все лето думаю о многом, связанном с этой книгой. Прочел, и еще буду возвращаться. Ваши краткие статьи, как стрелы — одна за другой, — ранят, пролетая, но откуда и куда летят — неизвестно. Многие попадают прямо в сердце. Вы пишете жестоко и справедливо. Самое жестокое теперь — сказать: «социализм — по счастью — перестал быть мечтой». Это главное, что жалит пока; в таких словах в наше время *полная*

*правда* (а это так редко в литературе вообще). Вывод из них: весь табор снимается с места и уходит бродить после долгой остановки. А над местом, где был табор, вьется воронье. Это — жестокая правда социализма в современной фазе. Этот вывод не связан с предыдущим, с событием эпохи императора Александра III и писателя Лейкина; не связан до такой степени, что люди богомольные сочтут его наказанием за грехи и по-своему будут правы: копили, копили — и вдруг все отдать, включая сюда письма невесты и кусок гвоздя, которым приколачивали ко кресту Христа. Это — социализм и «мистический анархизм» оба об этом говорят, и оба — не «учение», так же как «мистика» и «анархия», каждая отдельно: потому что они говорят о поступках, а на поступки решаются, не учась. Может быть, теперь особенно надо, решаясь на поступки, многое забыть и многому разучиться.

Почти все, что Вы пишете, принимаю отдельно, а не в целом. Целое (мистический анархизм) кажется мне не выдерживающим критики, сравн. с частностями его; его как бы

еще нет, а то, что будет, может родиться в другой области. По-моему, «имени» Вы не угадали, — да и можно ли еще угадать, когда здание шатается? И то ли еще будет? Все — мучительно и под вопросом.

Получил извещение о том, что «Факелы» соединяются с «Адской почтой», и, еще раньше, Ваш отчет о «Факелах» (спасибо!). Пусть остается мой пай в книгоиздательстве. Со всем не знаю об «Адской почте», послал туда стихи и просил ответить, но получил только 3 NoNo «Адской почты» и потом — ни слуху ни духу.

«Скорпион» объявил, что символизм закончен, — и пора было это сказать. В связи с этим манифестом, который стал моим убеждением, я теперь теряю или приобретаю надежды. Пока больше теряю — так и живу.

Еще раз спасибо. Всего, о чем думаешь, не написать. Крепко жму Вашу руку, дорогой Георгий Иванович. Надежде Григорьевне и Вам от нас поклон.

Любящий Вас Ал. Блок.



## 100. Е. П. Иванову. 6 августа 1906. Шахматово

Милый Женя.

Ведь это хорошо, что мы больше узнали друг друга, живя вместе. Чем больше правд узнавать, — тем проще. Ты знаешь, что я тебя люблю и чувствую себя с тобой, как со своим. Почти со всеми людьми я чувствую себя не совсем собой, только более или менее собой. Лицо перекашивается и губы кривятся от напряжения. С тобой — легко и просто. От этого происходит то, что я не радуюсь, когда грустно, и наоборот. С «чужими» почти всегда становишься оборотнем, раздуваешь свою тоску до легкости отчаянья и смеха; после делается еще тоскливей. С тобой — плачешь, когда плачется, веселишься, когда весело. Верно, ты и сам прост и не напряжен, но с гораздо большим числом людей, чем я.

Мне тоже стало теперь тоскливо опять. После твоего отъезда я стал писать пьесу, написал все в прозе, довольно много, пока писал — был весел и бодр. Когда прочел вслух, все увидели (и я в том числе), что никуда не годит-

ся — только набросок. Поэтому я буду теперь опять скучать и лентяйничать вероятно до тех пор, пока не примусь опять за пьесу. Надо переделывать ее и излагать стихами.

Вот и пишу тебе опять, что грустно. Мы взаимно принимаем печали друг друга. Ты пишешь, чтоб тебя кто-нибудь обругал. Я не хочу ругать — и не надо; если что надо, — то выругать нас обоих: оба мы даем себя околпачивать печалям. А когда расколпачиваемся, — то по-разному.

Женя, неизменно тебя люблю.

Твой *Саша*.

Спасибо, что написал о «Слове». Мы еще не получали его, вероятно они опоздали выпустить в срок. А Городецкий писал, что не может приехать. Верно, мы с Любой здесь не пробудем дольше трех недель, а мама и тетя уедут раньше.

Городецкий, думая, что ты еще у нас, письменно тебе кланялся и просил тебя писать в букварь: «нужда в чисто повествовательных рассказах, где бы совершались события».

Люба тебе очень кланяется.

Твой *Саша*.

**101. Андрею Белому. 9 августа 1906.  
Шахматово**

**Б**оря!

Сборник «Нечаянная Радость» я хотел посвятить Тебе, как прошедшее. Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя. Только потому не посвящаю Тебе этой книги.

*Ал. Блок.*

**102. Андрею Белому. 12 августа 1906.  
<Шахматово>**

**Б**оря, милый!

Прочтя Твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет. По всей вероятности — чем беспокойнее Ты, тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я на-

рочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что я верю себе в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в Петербург, — и лучше решительно для всех нас.

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько нужно, чтобы у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах — только больное и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря, милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать» и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать — и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: не посвящаю ее Тебе; во-первых, потому, что не вижу теперь — «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения стали глубже и они

не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где Ты», и посвящение было бы внешним.

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и без лжи. Крепко целую Тебя.

Твой *Саша*.

### **103. Матери. 1 октября <1906. Петербург>**

**М**ама, я сейчас возвратился домой и захотел тебе написать, потому что, когда мы встречаемся, большей частью не говорится ни одного слова, а все только разговоры или споры. Я эти дни очень напряжен, хочу, чтобы это напряжение увеличивалось все больше; больше меня не утомляют чужие люди, напротив, они выдвигают из меня человека, которого я люблю по-настоящему, все больше, и почти всегда, в сущности, нахожусь во внутреннем восторге. Это заставляет меня наружно многое пропускать; при этом мне кажется, что ты на меня смотришь вопросительно — очень часто. Я хочу, чтобы ты все-

гда определенно знала, что я ни минуты не перестаю тебя любить по-настоящему. Также, не знаю, по-настоящему ли, но наверно, я люблю Францика и тетю. Относительно Любы я наверно знаю, что она тебя любит, она об этом говорит мне иногда просто. Я хочу, чтобы эти простые истины всегда сохранялись и подразумевались, иначе — ненужное будет мешать.

Кроме того, я теперь окончательно чувствую, что, когда начинаются родственники всех остальных калибров, а также всякие знакомые, и офицеры вообще, то моя душа всех их выбрасывает из себя органически, без всяких либеральных настроений. Для меня это внутренняя азбука, так что даже когда я любезен с ними, то потом тошнит, если у души на это оказывается свободное время. Это — мой хам, т. е. не во мне, а в них — для меня. Никого из них я ни за что «не приму»; тем самым, что они родственники, они стали для меня нулем, навсегда выброшены. Они не могут ничем заслужить человеческое достоинство в моих глазах не потому, что тут какие-нибудь теории, а по какому-то инстинк-

ту проклятия отдаленной кровной близости со мной или с Любой. Все они не только не могут, но и не смеют знать, кто я. Все они также призрачны, как городовые, которые внимательно смотрят за идущим и возбуждают тупое бешенство, или как солдаты по одному с бессмысленным штыком и казенной бумагой — или по три, или — целой гороховой толпой тупые и опоганенные мужики.

Все это — прокламация о моем душевном организме. Поскольку прокламация — это глупо и ненужно; а написал я затем, чтобы строго отделить себя от этого и чтобы ты раз навсегда знала, что то, что я написал о родственниках и городских, — это я инстинктивный, а с настоящим моим «я» это не смешивается никогда. Этого ужаса я избежал, я думаю, потому, что Александр Львович его исчерпал. А я живу всегда одной нотой, чем больше она освобождается и стряхивает с себя постороннее, — тем громче и торжественней звучит, так что я себя все больше и глубже люблю, крепко обнимаю тебя. Я часто хочу, чтобы ты пришла, когда ты не приходишь. Не мешаешь,

*Сашинька, или Саша.*

Негодник Крабка вовсе не умирал, я его люблю по-настоящему,

**104. И. Ф. Анненскому. 9 октября  
1906. Петербург**

**М**ногоуважаемый Иннокентий Федорович. За трагедию и за надпись, столь почетную для меня, благодарю Вас от всей души. Сочту приятным долгом для себя вручить Вам сборник моих стихов «Нечаянная Радость», который выйдет, вероятно, около Рождества. Глубоко уважающий Вас неизменный и искренний Ваш поклонник

*Александр Блок.*



**105. В. А. Пясту. 15 октября 1906.  
<Петербург>**

Дорогой Владимир Алексеевич,  
В четверг вернулся домой и нашел Вашу карточку, но до сих пор не ответил Вам, потому что был сам не свой: читал свою пьесу в театре Коммиссаржевской.

Очень хочу видеть Вас и поговорить с Вами, а между тем на этой неделе, кажется, не буду в состоянии прийти к Вам: дела накопились много, а кроме того, должен уйти в понедельник, среду и пятницу.

Если бы Вам было не трудно собраться, не пришли ли бы Вы во вторник или четверг? А если трудно, на той неделе увидимся. Напишите, пожалуйста.

На обороте Вашей карточки я нашел надпись Гюнтера. Вы вместе с ним пришли? Не знаю его адреса может быть, Вы знаете? Если знаете, напишите, пожалуйста.

Будете ли на первой «среде» у Вяч. Иванова -18 октября? Я пойду.

Любящий Вас Ал. Блок.

**106. В. Я. Брюсову. 17 октября 1906.  
Петербург**

**М**ногоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич.

Большое спасибо за письмо. Драма «Король на площади» должна идти в этом сезоне у Коммиссаржевской, так что я не знаю, печатать ли ее до появления на сцене. К тому же срок еще не назначен, да и цензуры я немного побаиваюсь. А драму уже давно у меня просит Рябушинский. Я не знаю, как бы Вы отнеслись к ней, сам я не вполне ею доволен и с формальной и с внутренней стороны. Она — трехактная, и есть места, мало связанные с действием. Техникой я еще мало владею. Боясь несколько за разностильность ее, может быть, символы чередуются с аллегориями, может быть, местами я — на границе старого «реализма». Но, в сущности, так мне хотелось, и летом, когда я обдумывал план, я переживал сильное внутреннее «возмущение». Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внутри души, так что разлетелись кругом неровные осколки, иногда, может

быть, случайные. Вообще кое-чего, в чем упрекают меня, я хотел сам, и сделал так не от неумелости.

В другом, конечно, я грешен, и надо писать еще и еще; и опять очень хочу драматической формы, а где-то вдали — трагедии.

«Король на площади» не длинен. Чтения всего — час с небольшим. — Спасибо за сведения о «Нечаянной Радости». Поэму «Ночная Фиалка» я никуда не отдавал и ужасно хотел бы, чтобы она появилась до сборника. Она мне до сих пор нравится. Если бы она могла попасть в «Весь», я был бы очень счастлив.

Еще раз спасибо. Когда будете в Петербурге, я буду очень рад Вас видеть. Соберитесь, пожалуйста, к нам.

Искренно преданный Вам *Александр Блок*.

107. Е. П. Иванову. 15 ноября 1906.  
<Петербург>

**Ж**еня, милый. Все, что ты пишешь, кроме одного, я знаю и подписываюсь под этим. Знаю, что я перестаю быть человеком бездны и быстро превращаюсь в сочинителя. Знаю, что ломаюсь ежедневно. Знаю, что из картона.

Но при этом: во-первых, не умею себе самому каяться в этом, думаю, что поздно каяться, что *та* молодость прошла, и решаюсь убивать эту молодость все дальше сочинительством. Один раз Аничков мне рассказывал, как над моей могилой будет кривляться мой двойник, и я это одобрил и этому поверял, насколько может во что бы то ни было верить моя теперешняя душа.

Во-вторых, я не могу не бранить и не ненавидеть, правда, часто бледной и серединной ненавистью, «тех, кто не с нами», хотя и знаю, что я сам не с собой. Зато со мной — моя погибель, и я несколько ей горжусь и кокетничаю.

В-третьих, когда я тебе писал, что люблю, действительно так было и сейчас есть. Мы не

говорили с тех пор, как я тебя ругал. Но давно уж, когда вспоминаю про тебя, то всегда с почетом и нежностью. Чтобы идти к тебе, надо выбрать время, потому что часто нам было бы *скучно* и бестолково вместе: ты человек, а я перестаю быть человеком и все больше становлюсь ломакой. Пусть так. Все это писать мне не составляет никакого труда и надрыва, потому что я не открываю всего этого в себе, но молча с этим помирился. Если ты еще будешь принимать меня так же, как принимал всю эту осень, ласково, я буду знать, что поддержка есть. Но человеком становиться едва ли удастся, да я сейчас и не хочу. Я «занят». Завтра не приду, потому что мне будет 26 лет и придут обедать мама и тетя Маня. В пятницу буду тебя ждать.

Не навсегда я потерял бездну. Всегда одним краем уха слышу. Даже когда совершенно изломан и совершенно мертв. Может быть, от последнего у меня и нет «моральных выводов». Себя ненавидеть не умею и не хочу. Знаешь, я свое лицо люблю.

Тебя я отрицал, когда во мне еще ломался человек. Теперь сломался — и я тебя *уважаю*

*глубоко и люблю (как мертвые живых?).*

*Очень твой Саша.*

**108. В. П. Веригиной. 25 ноября 1906.  
Петербург**

**М**ногоуважаемая Валентина Петровна.  
Спасибо за Ваше письмо. Непременно приду к Вам завтра в четыре, как Вы пишете. Постараюсь передать Вам все, что сумею. Искренно Вам сочувствую и понимаю Ваше настроенье: и со мной случается, но обыкновенно к лучшему: когда тоскую об утрате себя, это значит, что стихи лучше напишу, а когда доволен собой обречен на бесплодность.

Искренно уважающий Вас *Александр Блок.*

## 109. Андрею Белому. 6 декабря 1906. Петербург

Боря.

Я получил и письмо, и фотографию, и стихи, но не отвечал тебе отчасти потому, что уезжал в Москву на конкурс «Золотого руна». Главное, впрочем, не мог тогда ответить, потому что недостаточно просто относился. Теперь — проще, и могу писать, но постараюсь писать меньше, чтобы не было неправды. И, конечно, прежде всего только за себя одного. При теперешних условиях, когда все и всюду запутано, самое большое мое желание быть самим собой. Так вот: ты знаешь, что я не враг тебе сейчас и что о «Кусте» я совсем не думал и не думаю и не могу обижаться. Ты пишешь, по-моему, очень верно, что ложь в наших отношениях была и что она происходила от немоты. Тем более необходимо теперь, когда мы оба узнали, что ложь была, всячески уходить от нее. И это, очевидно для меня, — *единственный долг* для нас в наших отношениях с тобой. Ты же пишешь принципиально, что «немоты не должно быть между

людьми». Я могу исходить только из себя, а не из принципа, как бы он ни был высок. Потому говорю тебе: сейчас я думаю, что я ниже этого принципа, и если и могу нарушить свою немоту по отношению к тебе, то только до известной степени, но не до конца. Если я позволю себе это относительное нарушение немоты, — опять будет ложь. Почему не могу до конца, ты знаешь: преимущественно от моего свойства (которое я в себе люблю): мне бесконечно легче уйти от любого человека, чем прийти к нему. Уйти я могу в одно мгновение, подходить мне надо очень долго и мучительно; теперь во мне нет мучительного по отношению к тебе и потому еще нет путей. Навязывать себе какие бы то ни было пути я ни за что не стану, тем более в таких случаях, как наш; *важность* его я знаю очень хорошо и не могу не знать: не было бы всего, что было, если бы было не важно.

Теперь: если я еще не могу идти навстречу тебе и говорю тебе об этом, — то также не чувствую, что ты идешь мне навстречу. То, что ты пишешь, — и карточка, и стихи, и письмо, — я думаю, не полная правда потому,



что ты говоришь, например, в письме о примирении, а в стихах: «Не гаснет бескрайная высь». Для меня вопрос дальше примирения, потому что мы еще до знакомства были за чертой вражды и мира. А «бескрайная высь» все-таки — стихи. И из всего остального — из слов и лица на фотографической карточке — я не вижу в тебе того, кого могу сейчас принять в свою душу. Для себя я и в этом еще вижу неправду или, говоря твоим словом, еще не знаю твоего имени.

Но ведь, раз это важно, узнаю. Все, что необходимо, случится. Ты видишь, как я теперь пишу тебе, стараясь быть как можно элементарнее, суше и проще. Как же нам теперь говорить? Говорить всегда возможно, но нужно ли всегда? Я не понимаю твоего слова «обрывать», это совсем не то слово. «Обрывают» только те, кто заинтересован или увлечен друг другом. А я глубоко верю, что мы были дальше этого.

Если хочешь, можно и говорить, но думаю, что полной правды не выйдет и что немота еще есть. Я же не боюсь такой неправды и очень склонен ее забывать скоро. Думаю

только, что именно теперь нам особенно должно было бы избегать лжи. Если хочешь, будем писать друг другу, но только тогда, когда есть полная внутренняя возможность, как сейчас у меня. Знай только, что не «сержусь», не «обижаюсь», не могу говорить о «примирении». Совершенно могу так же, как ты, прислать карточку (только у меня нет теперь) и написать стихи тебе. Но для меня это еще не настоящее. И вот сейчас я тебя люблю так же, как любил, но и это еще не то.

Конечно, пришлю тебе «Нечаянную Радость», когда она выйдет. Пожалуйста, пиши мне «ты» с маленькой буквы, я думаю, так лучше.

*Ал. Блок.*

110. Е. П. Иванову. 7 декабря. <1906.  
Петербург>

Милый Женя.

К нам завтра придут Александр Павлович и Евгения Алексеевна. Не придешь ли и ты?

Москва обошлась для меня скорее хорошо. Много дикого, смешного и грустного («и больно и обидно»). С Вячеславом очень сблизился, и многое мы поняли друг в друге. Все вообще расскажу.

*Твой Саша.*

Пишу также Ге — не придет ли? Может быть — вместе придете?

111. В. Э. Мейерхольду. 22 декабря  
1906. <Петербург>

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Пишу Вам наскоро то, что заметил вчера. Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые перспективы на «Балаганчик»: мне кажется, что это не одна лирика, но есть уже я в нем остов пьесы; *об общем* хочется говорить только одно: всякий современный театр, даже Ваш, в котором всего воздушнее дыхание молодости, роковым образом несет на лице своем печать усталости; точно гигант, которому приходится преодолевать неимоверные препятствия в борьбе с мертвым материалом; есть момент, когда этот гигант изнемогает и останавливается, тяжело дыша. Как будто его душат эти незримые мертвые складки занавесей и декораций, свисающие из бездны купола. И тогда эти мертвые складки падают непосильным бременем на плечи актеров, режиссера, пьесы — сыпятся куски краски, громоздятся мертвые балки. В этой борьбе поневоле умирает звонкая нота, голо-

са грубеют; насколько этот момент присутствует в Вашем театре, настолько я могу восставать против него, *но только во имя звонкой лирики* своей пьесы; но сейчас же говорю себе и Вам: во-первых, в Вашем театре «тяжелая плоть» декораций наиболее воздушна и проницаема, наименее тяготит лирику; во-вторых (что главное), *всякий* балаган, в том числе и мой, стремится стать *тараном*, пробить брешь в мертвечине: балаган обнимается, идет навстречу, открывает страшные и развратные объятия этой материи, как будто предает себя ей в жертву, и вот эта глупая и тупая материя поддается, начинает доверять ему, сама лезет к нему в объятия; здесь-то и должен «*пробить час мистерии*»: материя одурочена, обессилена и покорена; в этом смысле я «*принимаю мир*» — весь мир, с его тупостью, косностью, мертвыми и сухими красками, для того только, чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить ее: в объятиях шута и балаганчика старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна.

Это мои общие соображения. Из них Вы

можете видеть, что я сам стараюсь «спрятать в карман» те недовольства, которые возникают в моей *лирической* душе, настроенной на одну песню и потому *ограниченной*; я гоню это недовольство пинками во имя другой и более нужной во мне ноты — ноты этого *балагана*, который надувает и тем самым «выводит в люди» старую каргу, сплетенную из мертвых театральных полотнищ, веревок, плотничьей ругани и довольной сытости.

Это последнее и глубоко искреннее, что сейчас могу сказать Вам, может быть потом скажу больше и точнее. Извините, что заболтался, все это захотелось сказать Вам *вообще*, потому что мне казалось, что Вы думаете, будто я только «мирюсь». Но поверьте, что мне нужно быть около Вашего театра, *нужно*, чтобы «Балаганчик» шел у Вас; для меня в этом *очистительный* момент, выход из *лирической* уединенности. Да и к тому же за основу своей *лирической* души я глубоко спокоен, потому что знаю и вижу, какую истинную меру соблюдает именно Ваш театр: того, чего нельзя предавать толпе, этому слепому и отдыхающему театральному залу, *он никогда* не пре-

дает — ни у Метерлинка, ни у Пшебышевского. И для меня в этом чувствуется факт очень значительный — присутствие истинной любви, которая *одна* спасает от предательства!

Теперь только о частностях. Большую часть, я думаю, Вы заметили. Не нужно ли «автору» в *первый раз* именно вылезать с опаской и потихоньку и приходиться в ужас только к середине первого монолога? А то он оглушает немного. Но на этом не стою. Потом он, конечно, должен бегать, как бегают. Вообще Феона великолепен. Нельзя хоть раз просунуть чью-нибудь руку, чтобы было видно, как автора тащат за веревочку. Хорошо, чтобы он растерянно высунулся опять после слов мистиков: «Ты не выдашь меня?» — «Никогда».

Коломбине надо быть все время глубоко неподвижной, без малейшей аффектации, без одного жеста. Четыре слова своих ей надо произнести тоже просто и равнодушно, чтобы все была одна и та же музыка — ее голос, золотая коса и простое белое платье. Хорошо, если бы она появилась подальше от мистиков, а то она немного загораживает их, а у

них нет средств достаточно испугаться. Председателю надо бы произнести монолог с большим священным (хотя и дурацким) трепетом, разнообразя интонации несколько больше. Так же и слова «Легкий призрак».

Арлекину, может быть, лучше говорить первые слова менее раскатисто, с оттенком победоносной галантности, но и изящества. Ведь и у него есть своя глубина — может быть, она кроется в том, что он — вечно юный. Он очень юный, гибкий, красивый.

О влюбленных парах: партнер В. П. Веригиной делает, может быть, слишком порывистые жесты; и интонации его слишком страстны. Ведь он с самого начала уже обречен, погублен, «освистан» этим столбом легкого, играющего и обманчивого огня.

Партнера Н. Н. Волоховой мне хотелось бы видеть ближе к ней, насколько позволит еще появление среди них дразнящего паяца. Пусть он говорит еще проще, но и призывнее, хотя и деревянно, и пусть чертит круг перед нею *по земле* мечом еще более длинным и матово-серым, как будто сталь его покрылась инеем скорби, влюбленности, сказки — вуа-



лью безвозвратно прошедшего, невоплотимого, но и навеки несказанного. Надо бы и костюм ему совсем не смешной, но *безвозвратно прошедший* — за это последнее и дразнит его языком этот заурядненький паяц.

Если бы можно было заглушить стукотню шагов сукном — было бы хорошо. Выделилась бы только бестолковая стукотня авторских ножек по авансцене. Этот автор — всему помеха, он не понимает главного, что *балаган* надувает старуху, преодолевает обманом косную материю.

Сейчас я мог написать Вам довольно живо, благодаря Вам же, увидав «Балаганчик» на сцене, я вспомнил его и загорелся им, а до сих пор он был заслонен «Незнакомкой» и «Королем на площади». Спасибо, дорогой Всеволод Эмильевич. О Пьеро Вам нечего говорить. Вы и так очень поняли его, и знаю, что хорошо сыграете.

Спасибо еще раз. Крепко жму Вашу руку.  
Любящий Вас Александр Блок.

Завтра приду в 12 час. дня на генеральную репетицию с Любовью Дмитриевной.

112. В. Я. Брюсову. 26 декабря 1906.  
Петербург

**М**ногоуважаемый и дорогой Валерий Яковлевич.

От всей души спасибо за книгу Вашу и за надпись. Теперь я перечитал только то, чего не знал раньше, — «Последних мучеников», «В зеркале» и «Мраморную головку». Особенно среднее поразило меня неожиданно и ярко. Это — мистерия — отдельные раздробленные «*пассии*» зеркальности, связанные *психологической* вязью. Хочется сгруппировать свои мысли о Вашей прозе; я предложил «Золотому руну» написать заметку о «Земной оси». «Земля» стоит для меня совсем отдельно — может быть, всех нужнее мне.

Искренно преданный Вам Александр Блок

## 113. Матери. <Начало января 1907. Петербург>

Мама, пока я клеил, записку-то Люба и прочла. Но ведь там нечего не показывать. То, что ты пишешь, свойственно и мне и Любе так же, как тебе. Пока я живу таким ускоренным темпом, как в эту зиму, — я «доволен», но очень допускаю, что могу почувствовать отчаянье, если ослабится этот темп («Я пала так низко, что даже Ангелы не могут поддержать меня своими большими крыльями», — говорит Беатриса).

Жар у меня меньше — 37е. Голова не болит, но тяжеловатая. Почитай-ка прилагаемый том Андерсена, я его не кончил, но у меня есть другие. Я давно уже не читаю ничего, кроме него, и это очень успокоительно. Я тебя люблю и крепко целую.

*Саша.*

## 114. Матери. <13 января 1907. Петербург>

**М**ама, вчера были Сологуб, Вячеслав, Чулков, Пяст, Гофман, Кондратьев, Городецкий. Я прочел все стихи и «Незнакомку» и имел успех. Городецкий ночевал. Книжка моя, надеюсь, через месяц выйдет с обложкой Бакста.

Люба сейчас у Лидии Дмитриевны. Завтра мы придем обедать. Крепко целую.

*Саша.*

Выхожу уже на улицу.

Может быть, завтра вечером уйду к Сологубу. Третьего дня явились все «Шиповники», требуют к осени четвертый сборник стихов.

**115. В. Я. Брюсову. 13 января 1907.  
<Петербург>**

Дорогой Валерий Яковлевич,  
Получил Ваше письмо. Спасибо за то, что Вы говорите о «Нечаянной Радости», за факт ее появления в свет. Как только получу ее здесь, — пришлю Вам. У меня уже почти готова и скоро начнет печататься в «Орах» маленькая (в формате «Эроса») книжка новых стихов — «Снежная маска». Все это — стихи, нигде не напечатанные и написанные залпом на этих днях, пока неожиданные и, во всяком случае, новые для меня самого. Надеюсь, что через месяц книжка уже выйдет.

Спасибо за Ваше предложение писать о «Земной оси». Мне хочется очень войти в Вашу «прозу», потому извините, если пришлю заметку не в ближайшие дни.

Очень извиняюсь, что затрудню Вас новыми вопросами, но прошу Вас ответить мне, когда будет время. Как Вы отнеслись к тем трем стихотворениям, которые я передал Вам для «Весов»? Если «Весы» намерены опять помещать поэтов циклами, как в прошлом году,

нельзя ли мне — или дополнить эти стихи еще несколькими, или прислать целый новый цикл, когда он у меня будет? — относительно «Незнакомки» (пьесы) — очень надеюсь на апрельскую книжку «Весов», как мы говорили с Вами. Все еще не соберусь написать рассказ, а хочу и имею потребность. Точно так же — рецензии для «Весов», Как только соображу, о чем писать, пришлю открытку в редакцию, и тогда позвольте мне взять у Балашева книги, как мы уговорились еще в Петербурге.

В «Ниву» я отдал «Les ras» Верхарна, обещали поместить в первом приложении в этом году, но известия о «Ниве» я получаю только от швейцара, так что не знаю, когда пойдет мой Верхарн. Постановка «Балаганчика» меня радует. Художники (и даже Сомов, очень недовольный театром Коммиссаржевской вообще) очень хвалят. Играют, по-моему, хорошо, с любовью, но можно, конечно, сыграть и совсем иначе. Иногда мне брезжит, вместо маленькой сцены на сцене, — балы в духе Латуша — вьющиеся лестницы, запруженные легкой толпой масок.

Я совсем не чувствую, что Вы у меня в долгу за «Tristia». Но, если хотите, пришлите мне, пожалуйста, или «Облака» Жагадиса, или «Долой Гауптмана!» Ландсберга — из тех немногих изданных «Скорпионом» книг, которых я не знаю.

Еще раз спасибо. Передайте, пожалуйста, мой поклон Иоанне Матвеевне.

Искренно Ваш *Александр Блок*.

**116. С.А. Венгерову. 14 января 1907.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Семен Афанасьевич. Теперь я выздоровел и очень хотел бы заняться Пушкиным. Пожалуйста, назначьте мне день, когда я мог бы зайти к Вам переговорить о стихах *1816-17 годов*.

С истинным уважением *Александр Блок*.

117. А. В. Гиппиусу. 20 января 1907.  
<Петербург>

**М**илый и дорогой друг Александр Васильевич.

Отвечаю тебе поздно и под сегодняшним впечатлением смерти Дм. Ив. Менделеева, потому, может быть, как-то торопливо. Но все равно я не сумел бы в этом году ответить тебе о жизни, потому что всякое эпическое спокойствие давно утратил. Жизнью теперь у меня называется что-то очень кошмарное, без отдыха радостное или так же без отдыха тоскливое, — а все остальное я пишу на бумаге, сидя за письменным столом, и в этом воплощаю очень много необходимого мне. Пишу много, даже очень, стихов и прозы, частью для денег, частью для себя, и нигде не служу. Благодаря всему этому наша новая квартира, на которую мы с Любой осенью переехали (ведь ты и этого не знаешь, так давно мы не видались), приобрела богемный характер: ветер свищет, много людей ходит, много разговоров и молчаний. Написал я, кроме стихов, статей, рецензий и т. д., три пьесы: одну («Ба-



лаганчик») ты знаешь, и она идет у Коммиссаржевской (как раз в эту минуту уже в 5-й раз), я сказал бы — с успехом, потому что меня много вызывали и обильно свистели и шикали на первом и втором представлении; другую мою пьесу, «Король на площади», запретила театральная цензура, третью («Незнакомка») поставят, может быть, в будущем сезоне. Только что вышла у «Скорпионов» вторая моя книжка стихов — «Нечаянная Радость», которую я не могу тебе прислать по трем причинам: 1) по Скорпионьей скупости касательно даровых экземпляров; 2) по дороговизне (1 р. 50 к.) и 3) по своему безденежью. Зато пошлю тебе скоро третью свою книжку, которая выйдет не позже, чем через месяц, в новом петербургском издательстве. Таковы крупнейшие мои литературные заслуги. Но у меня есть и ученые: меня как-то угораздило кончить курс прошлой весной с дипломом 1-й степени. Теперь он валяется ни к чему — для паспорта разве. Служить очень не хочу, и пока что удается зарабатывать до 150 р. в месяц, что достаточно при скромных потребностях. Когда же у меня развиваются нескром-

ные потребности (как-то — любовь к спиртным напиткам и т. п.), то и этого не хватает. Как видишь, все это дико, и я сам иногда растираю себе лоб руками и удивляюсь, отчего все так сложилось; но мне все-таки так нравится больше, чем иначе, потому что многое меняется и перегорает, и в этом много радости, правда что — «нечаянной». Пожалуй, уже бесполезно и поздно излагать, почему я тебя надул в последний день, когда условился прийти к тебе, но на то были уважительные причины. — Франц Феликсович скоро, пожалуй, получит полк. Живут они вдвоем в казармах, а мы ходим к ним обедать с *Петербургской стороны, Лахтинской ул., д. № 3, кв. № 44* — сырой, но дешевой и веселой — на 5-м этаже.

Пишу писем так мало, конечно, только потому, что «быстро летит время», как и у тебя, а ты далеко и живешь другой жизнью. Люблю тебя неизменно и крепко целую. Кланяйся от нас обоих твоей жене и Наташе.

Хоть и поздно, — с Новым годом! Мы его встречали вдвоем и хорошо: согрели красное вино и много говорили и думали.

**118. С. А. Венгерову. 30 января 1907.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Семен Афанасьевич. Вчитываясь в комментарии тех стихов Пушкина, которыми Вы позволили мне заняться и которые я выбрал, — я увидел, что почти все они имеют отношение к увлечению Пушкина Е. П. Бакуниной, а одно относится к Марии Смит. Если бы Вы разрешили мне заняться комментариями *всех* стихов Пушкина, касающихся Бакуниной, Смит, а в промежутке — горничной Наташи, — я сумел бы расположить материал равномерно. Составлю таблицу всех этих стихотворений (все 1816 г.), *подчеркивая то, что Вы уже дали мне* (страницы указываю по первому академическому изданию):

Стр. 201–203. Послав не к князю Горчакову (как бы вступительное к последующим грустным элегиям, относящимся к Бакуниной).

Стр. 204–210. Сон (отрывок) (Бакунина).

Стр. 211–212. Любовь одна — веселье (Бакунина).

Стр. 213–214. *Окно* (Бакунина).

- Стр. 215. *Наслаждение* (Бакунина).
- Стр. 217. К Морфею (Бакунина).
- Стр. 218–219. Пробуждение (Бакунина).
- Стр. 220. К письму (?Бакунина?).
- Стр. 220. *Желание* (Бакунина).
- Стр. 224. *Уныние* (Бакунина).
- Стр. 225. *Певец* (Бакунина).
- Стр. 226. Элегия (Я видел смерть) (Бакунина).
- Стр. 227. Элегия (Счастлив, кто в страсти...) (Бакуниной).
- Стр. 221. К ней (Бакунина).
- Стр. 222–223. Месяц (Бакунина).
- Стр. 228–229. *Осеннее утро* (Бакунина).
- Стр. 230–231. К Наташе.
- Стр. 232. Княжне Волконской (On peut trns bien...).
- Стр. 233–234. Элегия (Опять я вам...) (относится к Бакуниной и связано со следующим стихотворением).
- Стр. 235. *Друзьям (Богами вам...)*.
- Стр. 239. *Элегии (Я думал, что любовь..)* (Бакуниной).
- Стр. 241. *Слово милой* (Мария Смит).
- Стр. 241. *Лиле* (Смит).

Стр. 242. К молодой вдове (Смит).

Если в ближайшие дни я окончу комментарий одного-двух стихотворений (вероятно, «Окно» и «Наслаждение») (говорю так, потому что в библиотеке Академии наук очень задерживают — книги читаются), то зайду к Вам лично узнать Ваш ответ. Если успею сделать работу немного позже, то спрошу Ваше мнение по телефону, как Вы позволили мне, или, во всяком случае, осведомлюсь по телефону, когда могу застать Вас.

Истинно уважающий Вас *Александр Блок*.

P. S. Не могу ли я впоследствии также взять на себя комментарии к стихам 1817 года, где есть последние отголоски увлечения Бакуниной?

119. Ю. Н. Верховскому. 31 января  
1907. <Петербург>

Дорогой Юрий Никандрович.

Вот стихотворение. Очень бы хотелось видеть его в первом № «Потока». Будут ли присылать журнал сотрудникам? Сейчас никак не могу прийти к Вам, заложен Пушкиным со всех сторон. Посылаю прислугу. Дайте ей, пожалуйста, майковский том Пушкина и, если можно, также стихи Леонида Семенова. Первое издание я Вам скоро отдам, только размечу второе. Работа интересная и могла бы даже стать «нечаянной радостью», если бы погрузиться в нее. Не знаю, смогу ли, уж очень тревожно и весело так, даже помимо Пушкина. Жму Вашу руку.

*Ваш Ал. Блок.*

**120. В. Я. Брюсову. <19 февраля  
1907. Петербург>**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Я ужасно рад, что Вам понравилась моя рецензия о «Земной оси». Мне самому кажется, что мне удалось сказать в ней больше, чем в прежних заметках о Вас, где я постоянно терял критическую почву и переходил в лирику. С Вашим отзывом о сонетах Л. Н. Вилькиной я совершенно согласен. Спасибо за то, что пишете о «Незнакомке». Мне нравится то, что Андрей Белый поливает всех картечью, только если бы знать — во имя чего?

Ваш Александр Блок.

P. S. На днях выйдет моя книжка «Снежная маска», и я сейчас же пришлю ее Вам. Как поразительно Ваше латинское посвящение к «Огненному ангелу»!

121. С. А. Венгерову. 19 февраля  
1907. <Петербург>

**М**ногоуважаемый Семен Афанасьевич. Кроме прилагаемых на суд Ваш комментарий, за мной остаются примечания к следующим стихотворениям 1816 года:

1. Послание к кн. Горчакову.
2. Элегия (Я видел смерть).
3. Элегия (Опять я ваш, о юные друзья!).
4. Слово милой.
5. Лиле.
6. Амур и Гименей.

Первых *трех* я не мог окончить, потому что до сих пор не могу добиться в библиотеке *Сумцова* («Этюды о Пушкине», вып. IV) и *Незеленова* («Пушкин в его поэзии»), а 4-го и 5-го потому, что не знаю, писать ли о Марии Смит или Брюсов напишет о ней в прим. к стих. «К молодой вдове». Если не добьюсь книг и в Публичной библиотеке, попрошу у Вас на днях (если у Вас есть *Сумцов* и *Незеленов*) зайти к Вам и сделать небольшие справки в этих книгах. Первоначальные варианты я привожу потому, что всегда стараюсь оценивать ка-



чество и количество пушкинских поправок. Эстетические наблюдения относительно многих стихотворений совершенно невозможны, но я стараюсь проверять Майкова, как могу.

Искренно уважающий Вас Александр Блок.

## 122. В. П. Веригиной. 27 февраля 1907 <Петербург>

**М**ногоуважаемая и милая Валентина Петровна.

Пожалуйста, простите меня за то, что я говорил. Я сам знаю, что нельзя говорить *так* при чужих. Хочу сказать Вам несколько слов в объяснение, а не оправдание себя, так как чувствую себя виноватым. Я знаю, что Вы не чувствуете теперь Леонида Андреева, может быть от усталости, может быть оттого, что не знаете того последнего отчаянья, которое сверлит его душу. Каждая его фраза — безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и звериный рев, когда он творец и художник. Меня эти визги и вопли проникают всего, от них я застываю и переселяюсь в них, так что перестаю чувствовать живую душу и становлюсь жестоким и ненавидящим всех,

*кто не с нами* (потому что в эти мгновенья я с Л. Андреевым — одно, и оба мы отчаявшиеся и отчаянные). Последнее отчаянье мне слишком близко, и оно рождает во мне последнюю искренность, притом, может быть, вывороченную наизнанку. Так вот, простите. Мне хочется, чтобы Вы знали, как я отношусь к Вам.

Может быть, я в Вас бичую собственные пороки. Мне хочется во всем как можно больше правды.

Пожалуйста, выругайте меня и простите.

Целую Вашу руку.

Искренно любящий Вас *Александр Блок*.

## 123. Л. Л. Кобылинскому (Эллису). 5 марта 1907. Петербург

Дорогой Лев Львович.

Спасибо за письмо и за принятие стихов, очень рад этому, а также, признаюсь, гонорару осенью, — наверное, деньги очень понадобятся. Конечно, «Vox Coelestis» лучше выпустить к началу сезона, а не к концу.

Ваши слова о Вяч. Иванове и Кузмине ужасно глубоки. Как *Ваши*, я принимаю их, слыша, что за ними стоит истинный рыцарь. О Кузмине опять-таки с *Вами* я не хочу даже спорить, потому что во мне самом есть нечто, отвечающее Вашему взгляду на Кузмина, Но знаете ли Вы, что Вячеслав Иванов «растворил свою жемчужину любви» («Эрос»), как Лир? «Эрос» — совсем уж не книга и не стихи, пожалуй, это — чистая лирика, которая всегда — болотна и проклята. Меч — слово, но, когда за словом становится музыкальное марево, — меч тонет. Потому бороться с Вяч. Ивановым (этой необходимости я не отрицаю) нужно не романтизмом, не лирикой и не манифестом А. Белого. Его чувственную

музыку можно заглушить теперь только льдом — но прав ли будет его противник, не понесет ли он *много* проклятия за это — я не знаю. Я не боюсь Вяч. Иванова, хотя он стоит на дороге и его не объедешь. Может быть, пройти сквозь него надо жизнью («жизнь мою, жизнь мою, жизнь мою...»).

Замечаю, что цитирую все Шекспира. Люблю его глубоко; и, может быть, глубже всего — во всей мировой литературе — «Макбета».

О романе Роденбаха поговорю непременно, как только увижу, например, «Шиповников» (их несколько, и в соредакторы они пригласили Зайцева — вот с ним надо поговорить). Если не удастся у них — попытаюсь еще с кем-нибудь, спрошу.

За «Молодую Бельгию» и «Боделэра» заранее большое спасибо.

Жму Вам руку крепко.

Ваш Александр Блок.

## 124. Т. Н. Гиппиус. 16 марта 1907. <Петербург>

Милая Татьяна Николаевна.

Прочитал я некоторые «обрывки кошмара» и верно составил себе полное понятие о них. Читал и Любе вслух. По-моему, не надо печатать, хоть есть и талантливое. Душа новая, но, как большинство новых душ, невоплощенная, а потому страдания большей частью бесплодны и ненужны. Конечно, Дмитриев очень хорошо знал для себя свойства индийских тканей, и краткие воздушные полеты, и молодую змею, окруженную семью звездами. Но все-таки он даже не лирик, и наполовину только от некультурности и от неимения «слога». Он очень любит слова «чудный» и «дивный» и употребляет массу эпитетов.

Говорить о записках как о дневнике, по-моему, невозможно, потому что автор, по-моему, сам от себя старательно скрывал свою душу: как только захочет признаться сам себе, так неувловимо неискренен, мертвит себя словами и образами, иногда получужими (например, старуха, влекомая на лодке по озеру,

или целование лампы).

Если б я писал рецензию о записках, я бы поставил их немного выше провинциальных декадентов (выше только потому, что писано не для печати). Очень знакома эта чистота души, преломленная двойственным ко всему отношением, но неправая, потому что безжертвенная (не знающая долга и холода) и беспринципная (ненужно скрытная). Сам знаю, сам знаю! Приходите к нам, пожалуйста.

Преданный Вам Александр Блок.

**125. В. Я. Брюсову. 24 марта 1907.  
Петербург**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Крепко жму Вашу руку за Ваш — такой драгоценный для меня — отзыв о «Нечаянной Радости» в «Весах». Особенно ценно для меня лично Ваше отношение к моей драме, и то, что Вы говорите о ней, я принимаю как желанное для меня, то, чего я хочу достигнуть. Понемногу учась драматической форме и еще очень плохо научившись прозаическому языку, я стараюсь все больше отдавать в стихи

то, что им преимущественно свойственно, — песню и лирику, и выражать в драме и прозе то, что прежде поневоле выражалось только в стихах. Однако «Нечаянная Радость» еще далеко не целиком проводит этот принцип равномерного распределения матерьяла, и, конечно, поэтому я «не сумел адекватно воплотить в слова свои переживания». Следующая моя книжка (которую все еще задерживает типография) будет, кажется, цельнее, и отступлений от лирики в лирике, как это было со мной, — в ней уже меньше.

Ваши драгоценные для меня слова о «дне, а не ночи, красках, а не оттенках, полных звуках, а не криках...» я принимаю как пожелания Ваши и благодарю Вас за них со всею живой радостью.

Искренно Ваш *Александр Блок.*

## 126. Андрею Белому. 24 марта 1907. Петербург

Милый Боря.

Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о «Нечаянной Радости», которую Ты поместил в «Перевале». Она имела для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опаснейших для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание Твои заключительные слова о «тревоге» и «горячей любви к обнаженной душе поэта», я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать «Балаганчика» и подобного ему — за «горькие издевательства над своим прошлым». Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и *должен* идти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности, — это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой



под *детское* или просто *идиотское*» — слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Пишу это Тебе *не* казенно и надеюсь, что Ты услышишь меня, как услышал в отзыве о «Нечаянной Радости».

*Александр Блок.*

P. S. Не зная Твоего адреса, посылаю письмо через «Скорпион».

## **127. Л. Л. Кобылинскому (Эллису). 1 апреля 1907 <Петербург>**

Дорогой Лев Львович.

«Шиповники» упираются и, во всяком случае, откладывают всё в долгий ящик. Они теперь сосредоточились на переводах северных писателей, а с французского — не хотят. Лучше говорить с ними лично. Вы знаете, что Б. Зайцев — соредактор «Шиповника»? Знакомы ли Вы с ним? Если да, переговорите, когда он вернется в Москву (теперь скоро уезжает за границу), — он может повлиять на них, так как в альманахах — полноправен. Но думаю, что до осени «Шиповники» не согласятся издать ничего, кроме намеченного ими.

Относительно Чулкова не хочу соглашаться с Вами. В нем есть правда, давно уже важная для меня, отчасти, может быть, враждебная мне, но — тем важнее. И его отношение к Брюсову — полуправда, полухулиганство. Но в ком нет последнего — может быть, есть и во мне? Много двойников развелось, постоянно душа тянет руку другой душе — полуподобной себе, полувраждебной. Но ведь тут есть радость, хотя бы и проклятая.

Любящий Вас Александр Блок.

## 128. Л. Д. Блок. 24 мая <1907>. Ночь

Милый друг.

Я пишу тебе с Сестрорецкого вокзала. Сижу и пью. Пьеса подвигается. Я сейчас был в *Левашове* — на той лесной дороге, где мы были с тобой давно. Там так же хорошо, как было. Лесной воздух, елка и вечерний туман. Большая часть первого акта — о тебе. Твое письмо получил — и книгу. Когда приеду — не знаю. Думаю, что приеду. Мыслей очень много. И какая-то глубокая, подстерегающая усталость. Пиши мне и помогай.

*Саша.*

Этот листик из того леска в Левашове, где мы были с тобой. Там совсем шахматовское — елки, рябина и брусника на мху.

## 129. Л. Д. Блок. 30 мая 1907. Ночь <белая>

Получил два твоих письма, милая крошка. Мама тебе уже писала о том, как при Жене пришли Георгий Иванович и Вяч. Иванов и как говорили. А я гуляю и пишу много (критику). 1 июня буду обедать у Жени и гулять с ним. Мне тоскливо без тебя; я думаю, что тебе будет приятно вот это *стихотворение*, которое, в сущности, исчерпывает все, что я могу написать тебе. Мне оно нравится, но я его написал только сию минуту — ночью, усталый. И переписал на первую страницу новой тетради. Напиши мне о нем, моя родная. Пусто без тебя.

*Саша.*

На твой вопрос отвечаю, что Лидия Дмитриевна здесь (Таврическая, 25). Я, наверное, пойду скоро к ним — очень люблю их обоих. Но тут у меня сложнейшие планы и комбинации — литературные, в зависимости от Горь-

кого, Андреева, Бори, парижан и пр. Буду тебе излагать, когда приеду. Хочется приехать, но не знаю — когда. Драма плохо пишется.

**Л.Д.Б.**

*Ты отошла, — и я в пустыне  
К песку горячему приник.  
Но слова гордого отныне  
Не может вымолвить язык.*

*О том, что было, не жалея,  
Твою я понял высоту: Да.  
Ты — родная Галилея  
Мне — невоскресшему Христу.*

*И пусть другой Тебя ласкает,  
Пусть множит дикую молву:  
Сын Человеческий не знает,  
Где приклонить Ему главу,*

*1907. Весна*

*Александр Блок.*

**130. Г. И. Чулкову. 23 июня 1907**

Дорогой Георгий Иванович.

Вернулись ли Вы из Финляндии? Я вернулся вчера. Спасибо за деньги. «Весы» не удивили меня. Думаю в конце следующей своей статьи в «Золотом руне» (о лирике) сделать маленький P. Scr. о том, что напрасно критики «Весов» касаются личностей и посвящают летучие «манифесты» темам, которые требуют, по важности своей, серьезных статей. Где Вяч. Иванович? Городецкого я видел. Я все больше имею против мистического анархизма.

*Ваш Ал. Блок.*

## 131. Н. Н. Русову. 20 июля 1907. Шахматово

**М**ногоуважаемый Николай Николаевич. Ваша статья о «Снежной маске» — одна из самых *нужных* для меня статей обо мне. С такой критикой, как Ваша, очень хочу и считаю необходимым сообразоваться. Спасибо, спасибо. Только тон слишком положительный для газеты: ведь книжка до последней степени субъективная, доступная самому маленькому кружку. Я отвыкаю уже и от этой книжки, хотя она и последняя. «Нечаянная Радость» все-таки лучше.

Объявление непременно постараюсь поместить целиком, когда вернусь в Петербург (думаю, скоро — в начале августа), а во всяком случае — сообщу его в так называемый «Календарь писателя» в одну из двух газет («Русь» или «Свободные мысли») или и в ту и в другую.

Крепко жму Вашу руку.

*Александр Блок.*

## 132. Андрею Белому. 6 августа 1907. <Шахматово>

**М**ногоуважаемый и дорогой Борис Николаевич.

За последние месяцы я очень много думал о Тебе, очень внимательно читал все, что Ты пишешь, и слышал о Тебе от самых разнообразных людей самые разнообразные вещи. По-видимому, и Ты был в том же положении относительно меня; ввиду наших прежних отношений и того, что мы оба служим одному делу русской литературы, я считаю то положение, которое установилось теперь, совершенно ненормальным. Не только чувствую душевную потребность, но и считаю своим долгом написать Тебе это письмо.

Начну с того, что было последней побудительной причиной. Тастевен сейчас написал мне те условия, на которых Ты согласен возвратиться в «Золотое руно». Первое: чтобы «„Руно“ перестало опираться на группу, идейное значение которой равно нулю». Я не понимаю, какую группу Ты разумеешь; «Руно» определяет ее чисто *внешним* образом: «пе-

тербургские литераторы» — и понимает под этим в данный момент Вяч. Иванова, Городецкого и меня. Если ты считаешь, что эти трое г. *внутренним образом* составляют группу, и ищешь в ней значения, как «в группе», то Ты жестоко ошибаешься; впрочем, я буду говорить *только о себе и только за себя*, ибо в последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — *оставаться самим собой*. Между тем, собрав отзывы обо мне из Твоих статей и заметок в «Весах», «Перевале» и киевском журнальчике, я увидел, что Ты: 1) противоречишь себе на каждом шагу, а именно: называя меня одним из «корифеев русской литературы» (название, конечно, злое и ироническое) и намекая на мою «скромность и честность» (?), находишь в моих стихах «идиотское» (вяжется ли это с «корифейством?»), говоришь, что я «неустанно кощунствую» и что я хвалю Чулкова за то, что он меня похвалил (где же тогда честность? Где Ты прочитал, что я его хвалю, или как мог честь за похвалу цитированье одного удачного стихотворения? Уж не думал ли Ты, что



я его называю «светловзором»?)

2) Исходя из понятия ненавистного Тебе «мистического реализма», Ты наклеиваешь на меня этот ярлык, с которым я ничего общего не имел и не имею, и с этой точки зрения критикуешь меня, уверяя, что я «описываю крендель булочной так, что волосы становятся дыбом» (?), и что я хуже Чехова (утверждение справедливое, но странное).

Имею ответить на все это следующее:

1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться.

2) С «мистическим реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом» никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего. Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт, если бы все Вы его не раздували так отчаянно.

3) Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе особенно Зин. Гиппиус в статье о «Перевале» по поводу меня и Чулкова), — не признаю. Считаю, что та-

кая критика должна оставаться на совести ее сочинителя.

4) Не считаю допустимым намеков на личные отношения в литературной полемике.

5) К *Георгию Чулкоеву* имею отношение как к человеку и возмущаюсь выливанием помоев на голову его как человека. Считаю это *непорядочным*. Вяч. Иванова ценю, как писателя образованного и глубокого и как прекрасного поэта, мировоззрение же его («мифотворчество») воспринимаю как лирику. Сергея Городецкого ценю, как прекрасного поэта. Твои произведения высоко ценю и со многими из Твоих принципов соглашаюсь.

6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу.

7) Думаю, что все *до сих пор* написанные мной произведения, которые я считаю удачными (а таковых немного), — *символические и романтические* произведения.

8) Считаю, что стою на твердом пути и что все написанное мной служит органическим продолжением первого — «Стихов о Прекрас-

ной Даме». Ввиду этого не понимаю Твоего отношения к моей литературной деятельности, поскольку Ты считаешь мои новые произведения не связанными с прежними.

9) Упрек в *кошунстве* принимаю только *ограничительно*, считая, что все мы повинны в нем, и я не больше остальных. Никакого «оргиазма» не понимаю и желаю трезвого и простого отношения к действительности.

Что касается второго условия, которое Ты поставил «Золотому руну», я не понимаю, почему Ты требуешь себе и В. Я. Брюсову права *veto*, которого нет у «петербургских литераторов». Я считаю, что было бы справедливым иметь равные права обоим лагерям, если это действительно *реальные*, а не бутафорские лагери, в чем я сомневаюсь.

Считаю долгом сообщить Тебе, что я принял приглашение «Золотого руна» вести критический отдел независимо ни от кого и ничьих влияний и давлений испытывать не *согласен*. Считаю, что по отношению к людям я *minimim* имею право требовать от них честного и прямого к себе отношения — и *обязанность* — учиться у них тому, чего во мне

недостает. *Maximitt'ov*, т. е. любви, комплиментов и проч. (что часто связано с незаметным насаживанием на плечи) я не только не требую, но часто избегаю, ибо считаю себя *достаточно сильным, чтобы быть одним*.

Прошу Тебя ответить мне на это письмо. На Твои вопросы я готов отвечать. Что касается журнальной полемики, то я считаю своим *неприятным долгом* (потому что полемика, по-моему, слишком мелочна и ставит в тупик читающую публику) кратко высказаться в *post-scriptum'e* одной из моих критических статей в «Золотом руне».

В заключение, прошу Тебя, хотя бы кратко, *указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения*. Этого пункта я не улавливаю, ибо, повторяю еще раз, к новейшим куцым теориям отношусь так же, как Ты. Жму твою руку.

*Александр Блок.*

Адрес мой *до 15 августа*: Николаевская ж. д., ст. Подсолнечная, с. Шахматово.

### 133. Андрею Белому. 8 августа 1907. Шахматово

**М**илостивый Государь Борис Николаевич. Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевета на меня, заявляете, что все время «следили за мной издали», — и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете» и никто, кроме Вас, не умеет страдать, — все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве, я склонен приписывать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме, отправленном до получения Вашего), или особого рода душев-

ной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам *десятидневный срок со дня, которым помечено это письмо*, для того чтобы Вы — или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, — или прислали мне Вашего секунданта. Если *до 18 августа* Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры.

*Александр Блок.*

### **134. Е. П. Иванову. 9 августа 1907. Царское Село**

**М**илый друг мой Женя.

Пишу тебе по совершенно особенному случаю. Дело касается развития наших отношений с Андреем Белым.

Ты знаешь, как он отзывался в последнее время обо мне в «Весах». Недавно приехавший ко мне секретарь «Золотого руна» сообщил о его состоянии, крайне изнервленном, и отказался повторить те выражения, которые он употреблял в разговоре с ним обо всех «петербургских литераторах», и обо мне, вероят-

но, в том числе. Судя по всему этому и помня наши прежние отношения с ним, я решил, что он совершенно забыл меня или же никогда не знал; кроме того, сплетни оказали большое действие. В этом духе я написал ему очень определенное письмо, прося его *точно указать пункты нашего с ним разногласия* и указав очень резко, что я *не имею ничего общего* с теориями «мистического анархизма», «соборного индивидуализма» и «мистического реализма», на которые он в последнее время так усиленно нападает. С тою же почтой я получил от него письмо, разошедшееся с моим; в этом письме, называя меня «милостивым государем», он сообщает, что ему стало легко, когда он понял, что я не имею никакой цены; понял же он это окончательно с тех пор, как прочел мою статью о «реалистах» (тебе известную), которую он называет «*прошением*»; что поздоровается со мной, если я первый подам ему руку, когда встретимся («от чего боже сохрани»). Письмо написано в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом.

На это я написал ему (и посылаю вместе с этим письмом тебе), что его выслеживанье, пристаиванье и ругательства мне надоели; что оскорбляться на это я не думаю, так как не оскорбляюсь «ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности»; что, не желая считать его ни шпионом, ни лакеем, приписываю его поведение или незнанию меня, или какой-то особому рода душевной болезни; что даю ему срок *до 18 августа*, чтобы он или взял свои слова обратно, или прислал ко мне своего секунданта; что, если он не исполнит ни того ни другого, я сам приму «соответствующие меры».

Ровно год тому назад, как ты помнишь, он вызывал меня на дуэль. Теперь нарочно описываю тебе все это, чтобы ты мог судить; если опускаю какие-нибудь подробности, то расскажу при свидании. — Теперь думаю, что *иначе* поступить совершенно не могу; для меня ясно, что *если он не сумасшедший*, то дуэль неизбежна; для меня совершенно ясно, что действовать нужно решительно: если он сумасшедший, то его бесконечно жалко, и я го-



тов более чем примириться с ним; если же нет, — то необходимо прекратить его поведение, а для этого единственный теперь выход — дуэль. Думаю так, передумав очень много и взвесив все; может быть, есть кое-что, чего ты не знаешь; тогда расскажу.

Таким образом, мне почти наверно будет нужен секундант. Пишу тебе прямо, что иного, кроме тебя, я не хотел бы; тебя я люблю и верю тебе глубоко; сверх того, ты знаешь все сложные и интимные обстоятельства всяких связанных с этим отношений за несколько лет.

Потому прошу тебя написать мне, как ты смотришь на это и имеешь ли охоту и возможность согласиться? Можно ли будет написать тебе (или телеграфировать на службу — *напиши мне подробный адрес службы*), когда это понадобится? Согласен ли объясниться с А. Белым, если понадобится? Что касается всяких денежных расходов, то, во-первых, кажется, полагается платить за все сражающимся, а не секундантам, а во-вторых, их у меня теперь много (даже очень), а у тебя — верно, мало; потому прошу тебя взять у меня.

Наши все знают обо всем этом (может быть, я сделал глупость, что показывал письма, мама беспокоилась, но теперь — ничего, кажется; она пишет тебе тоже). — Много гуляю, здоровею и думаю, сочиняю пьесу. Бывает тоскливо, но мало, чаще бодро. Как ты?

Всем твоим — поклон. Крепко целую тебя и жду ответа.

Твой Саша (Ал. Блок).

### **135. Андрею Белому. 15–17 августа 1907. Шахматово**

**М**илостивый Государь Борис Николаевич. Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прощении, так и я беру назад «словечки» о шпионстве и лакействе, вызванные озлоблением.

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопросы о наших личных и литературных отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь объяснить, как все на-

чалось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалося различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи. Ваши мысли были необыкновенно важны для меня, и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами *таинственную близость*, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или страшное напряжение мистических переживаний (*всегда высоких*), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, — я думаю, что в моей жизни все так и шло и долго еще будет идти тем же путем. *Теперь* вся разница только в том, что надо мною — «холодный бе-

лый день», а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря холоду белого дня я нахожу в себе трезвость и большую работоспособность, чем прежде, но и *только*. По-прежнему, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне — *все те же* огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно — по поводу «Снежной маски» — В. Я. Брюсов; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что *по существу* — не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драматическую симфонию (не помню, до или после знакомства), и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. *Я не разбирался в этой сложности*. Знаю одно: *мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам*. Я объяснял это — *ленью*. Ровно через год мы

встретились. Мне было трудно говорить с Вами, и я опять объяснял это своей ленью. Но это было НЕ единственной причиной. Причина, вероятно главная, сказалась при следующих обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне, и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам мистический страх. Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом — может быть — моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал и пережив напряженно то, что мы — «разного духа», что мы — духовные враги. Но я — очень скептик, тогда был мучительно скептик, — и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне как вообще непостижимо (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами лично-

го и письменного общения. Потом — пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились благодаря тому, что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но *не узнаю*, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пылкий, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою моральную, философскую, религиозную физиономию. Я *не умею*, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторых из этих событий и переживаний не знает *никто на свете*, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до сих пор не препятствует моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите,

но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь, и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу *душной атмосферы*, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского *credo*» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, уверяю Вас, эти сообщения *ничего не прибавят* к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — *очень* верю в себя, что ощущаю в себе какую-то *здоровую цельность* и способность и умение быть *человеком* — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это *не признания, не выкрики, не фразы, не «гам»*. *Все это я пережил и ношу в себе* — свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологических

свойств: я *предпочитаю людей идеям*. Может быть, это значит: я предпочитаю *бессознательных людей, но пусть и так*. Вы должны, если захотите, понять, в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. — Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь — милый, но десять этих милых — *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, «*попускаю*». Вина моя перед литературой — велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги перед *русской литературой*: я допускаю, чтобы Чулков таскал по всем квартирам свою дурацкую схему поэтов, уверяя всех, оспаривающих ее, что она верна только в данное мгновение, и что отнюдь не следует ее принимать «вообще» (или что-то в этом роде), и чтобы он же всучил ее какому-то идиотическому Семенову из *Mercure de France* (в чем я не был уверен до Вашего письма, потому что не читаю *Mercure de France*; *кстати*: я напишу на этот раз письмо в редакцию «Весов», где публично, как Вы советуете, отре-



кусь от мистического анархизма. Но мне нужно для этого знать точно, как именно выражается Семенов, чтобы, опровергая, не провраться. Потому — откладываю это до Петербурга). Но послушайте: неужели Вы думаете, что я «предаю друзей врагам», когда пишу Вам или Эллису насмешливо о Чулкове, а потом — «противоречу себе». Когда мне говорят: не правда ли — Чулков *подозрителен* в таком и таком-то отношениях? — я уклоняюсь, виляю (да, да), боюсь признаться другому в том, что подозреваю сам. Ведь когда один человек думает о другом, — он свободен, когда же об этом другом уже «перемигнутся двое», — дело кончено, затравлен человек, и от травли еще увеличатся его пороки и еще уменьшатся добродетели. Когда же мне говорят: если Вы честный человек, Вы обязаны признать, что Чулков — негодяй, — я отвечаю злостно (о, это не формализм и не чиновничанье!). Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами

искренно и серьезно. Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю — и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он — представитель сорока простых миллионов, а я — представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделатать не может с тем, что он «темен», а я с тем, что я — еще темнее, даже с «мистическим анархизмом» ничего не могу поделатать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь *все проще*, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это — лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев (какой еще сплетник сообщил Вам, что я читал «черновик» Андрееву? Ни

черновика, ни Андреева не было. Ох, уже эта Тата, Зина, Чулков, Вяч. Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц. Этой зимой вышло однажды из этих рассказов, что я уже умер), но и Л. Андреев, которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мои хватанья за Скитальца; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что *это* — искусство.

Чувствую, что всем, что пишу, еще более делаюсь чуждым Вам. Но я *всегда* был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?» — спрошу в свою очередь.

Драма моего мирозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — *лирик*. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала*, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бере-

жет только моя душа, — я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах (кроме «Балаганчика»)? Почему кощунственны строки: «в подушках, в кресле, на диване...»? Это просто — скверные строки, как почти все мои стихи — в «Цветнике Ор». Сверх того, именно эти строки еще банальны и «дурного тона». Другое дело — стихи о «Весне» — они кощунственны. Но объясните, что кощунственнее всего и что такое — кощунство? Когда я издеваюсь над своим святым — *болею*. Но «Балаганчику» Вы придаете смысл чудовищный — зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы, — он омерзителен, вреден, пожалуй, «мистико-анархичен». Поверните *проще* — выйдет ничтожная декадентская пьеска без изящества и с какими-то типиками — неудавшимися картонными фигурками живых людей.

Мои «хроники» в «Руне» суть *рассуждения* на известные темы. Никаких *синтетических* задач не имел, ничего *окончательного* не вы-

сказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, может быть, никому не нужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет на *то ни* образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем *войске* (войске людей с отточенными мировоззрениями) *действовать* я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое *по-прежнему* лежит ближе к Вам, чем к факельщикам. Вот почему мне бывает больно, когда Вы или лица из Вашего кружка относятся ко мне как к совершенно чужому. Среди факельщиков (неуловимых, как я с Вами совершенно согласен) стоит особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубоких ума и души — не пустышка. Мы оба — лирики, оба любим колебания друг друга, так как за этими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую, мы расходимся с Вяч. Ивановым. К пунктам расхождения, очень важным, принадлежит,

например, Л. Андреев, или мистический анархизм.

Если я кощунствую, то кощунства мои с *избытком* покрываются *стоянием на страже*. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же сомнения и страхи находят и на часового. Если мы *действительно* расходимся с Вами «в глубине глубин», то, значит, основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной маски» (впрочем, кое-что *И Я ПОДОЗРЕВАЮ* в «Снежной маске», но и *ЗДЕСЬ* кощунство тонет в ином — высоком).

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы *верить лирику*, каков я, т. е. в худшем случае — слепому, с мирозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит *нет*, чем *да*. Примите во внимание, что речь идет *обо мне, никогда не изменявшемся по существу*. В таком случае, если и Вы — неизменны, — нет причин *не верить* теперь, или не было причи-

ны *верить* тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, *не изменяет Вас по существу*; Вы — все тот же, каким я Вас знал, и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уже я наверно знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: *надоело* Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы — перед Вашим делом, что *во мне есть то*, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в *идейном* смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е. *не сходиться так*, как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я *храню* его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда. Вы, я *допускаю*, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыблемой и неверной, чем Ваша. НО тут я и

спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы — *вернее* меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я *верен*. Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу, — слова, слова, слова. Но, *право*, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит *не Балаганчик*, *клянусь*. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажают символа на пароход», которые опять-таки — поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать — чорт с ним.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании из литературы мистического анархизма, которому он потекает, да и еще кое о чем более важном». Хорошо, я буду *отвечать* Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы



мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еще хаотичнее. Потому, может быть, лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». *Теперь*, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву, может быть, это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю как могу.

Да, мистический анархизм, соборный индивидуализм, эротизм, мистический реализм — я анализировать также не считаю возможным в том виде, в каком они существуют или не существуют в книгах Чулкова и Гофмана. Да, я разделяю Ваши опасения относительно «зари мистического хулиганства». Да, я признаю себя виновным в «потакательстве», которое выразилось в том, что я допускаю *такие* заявления, как в «*Mercurie de France*». Не оправдываюсь. Потому сочту своим долгом сказать нет этим теориям в письме в редакцию «Весов». Считаю, что должен это сделать скорее, потому обращаюсь с просьбой к Вам; не имею в Москве другого источника.

«Mercure de France» я не имею возможности видеть, Вы же бываете в «Весакх». Если бы Вы выписали мне точно ту *фразу*, в которой я причисляюсь к мистическим анархистам, я был бы Вам очень обязан. Подписана ли статья Семеновым или кем-нибудь другим? Это — первое. Впрочем, прибавлю все-таки: неужели я *литературно* подавал повод причислять меня к мистическому анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весы» и Вы имеете лишь *формальные* поводы причислять меня к этому направлению (на основании статей Чулкова и пр.), но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня.

Мое письмо в редакцию будет иметь для меня значение развязыванья рук и окончательного разрыва с теми тенденциями, которые желают поставить на *первый план* мою *зыблемость* (мистический анархизм и, значит, — адогматизм, иррационализм и т. д.), между тем как я *сам* ставлю на первый план — мою *незыблемую* душу, «верную,

сквозь всю свою неверность».

Далее: при всей неточности своего мировоззрения я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Потому я издавна отношусь к вышеуказанным теориям как к лирике — и никогда не возвожу их в теории, принципы, пути. Но зачем Вы говорите о карьеризме и т. п. Всем нам приходит это в голову. Но, ради бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или склонностей к порокам — раздувает их, треплет и губит человека, а не писателя. Можно ли, например, писать, как З. Н. Гиппиус: «Чулков пристал к Блоку». Ведь это — неуважение к самой себе.

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним, из всего остального. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. Может быть, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинно-

сти друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом — невозможно. Ну так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое. Пока же примите мое уверение в уважении к Вам.

*Александр Блок.*

Забыл сообщить: пишу Тастевену, что, по моему личному мнению, Ваше письмо в редакцию «Золотого руна» с возражением Вольфину — следует поместить. Если же в этом письме содержатся «резкие выходки», как утверждает Рябушинский, то пусть редакция оговорит их в примечании.

136. Г. И. Чулкову. 17 августа <1907>.  
Шахматово

Дорогой Георгий Иванович.

Письмо Ваше получил, а когда приеду, — совсем не знаю. Дела по горло. Вот в чем дело. «Весы» меня считают «мистическим анархистом» из-за «Mercure de France». Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом Андрей Белый, с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму, по существу, я совсем не имею никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою зыблемость, неверность. Я же

*неподвижность не нарушу  
И с высоты не снизойду,  
Храня незыблемую душу  
В моем неслыханном аду.*

Это — первое. Второе — это то, что я не относился к мистическому анархизму никогда как к теории, а воспринимал его лирически. По всему этому не только не считаю себя ми-

стическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатно, в письме в редакцию, например, «Весов». Пока это не сделаю, меня все будут упрекать в том, к чему я не причастен.

О Вас я соскучился. Думаю, что все-таки скоро приеду.

Пожалуйста, поклонитесь от меня Надежде Григорьевне.

Ваш Ал. Блок.

P. S. Если знаете, напишите мне, пожалуйста, адрес Л. Андреева.

## **137. Андрею Белому. 26 августа 1907. <Шахматово>**

**Г**лубокоуважаемый и дорогой Боря. Всегда буду помнить ночь и утро, которые мы провели с Тобой в Москве. Чувствую ясно, какой тишиной и печалью великой важности они были овеяны. Не думай, что я забуду. Мы разны живем, совсем разны, но у нас взаимно нет и не должно быть ничего нарушающего и оскорбляющего нашу роковую близость. Помни меня и Ты, как я буду помнить Тебя. Уезжаю отсюда с чувством про-

стым и ясным к Тебе.

Прошу Тебя — отдай сам в «Весы» прилагаемое «Письмо в редакцию» (*и поставь № «Mercure de France»*). Письмо Твое получил, и цитата из Семенова побуждает меня решительно к определенному действию. Хочу только, чтобы это было именно в такой форме, — и не упоминаю имени гонимого бедняги Чулкова. Ввиду того, что письмо опровергает Семеновскую статью, нахожу невозможным тут же упоминать «соборный индивидуализм» и «мистический реализм». Мне, конечно, приятнее всего, чтобы дело это шло через *Твои* руки, потому прошу Тебя. — Адрес мой сообщу Тебе, когда найду квартиру (уезжаю отсюда 28-го). Когда вздумается — напиши мне.

Глубоко преданный Тебе Александр Блок.

138. Г. И. Чулкову. 26 августа 1907.  
Шахматово

Дорогой Георгий Иванович. Я и отказываюсь решительно от «мистического анархизма», потому что хочу сохранить «душу незыблемой». Точно так же откажусь от «мистического реализма», «соборного индивидуализма» и т. п. — если меня туда потянут. Я прежде всего — *сам по себе* и хочу быть все *проще*. Если Вы будете возражать Семенову, это хорошо, потому что — что может значить: «*L'anarchisme mystique n'est pas une ucole, mais un courant de la nouvelle pousie russe*»? [19] Что *ucole*, что *courant* — все единственно, и это доказывается даже немедленно приводимой схемой, в которой все — оспоримо. В частности, *поэты*, самые замечательные, по-моему, и такие, к которым я был всегда близок и не имею причин не быть близким, — разбросаны по разным рубрикам. Это — Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, Андрей Белый. Из них — *Брюсова* я считал, считаю и буду считать своим ближайшим учителем — после Вл. Соловьева. Вот почему мне необходимо опроверг-



нуть г. Семенова печатно. Второе — я сделаю это в «Весах», потому что глубоко уважаю «Весы» (хотя во многом не согласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с «Новым путем». «Весы» и были и есть событие для меня, а по-моему, и вообще — событие, и самый цельный и боевой теперь журнал. Если бы я пренебрегал «Весами», т. е. лицами, с которыми я связан или лучшими литературными традициями (как Брюсов), или Роком (как А. Белый), то это было бы «душа клеточка, а отца — в рыло». А я не хочу так.

В программе «Весов» будет отстаиваться символизм и будет сказано, при каких условиях *только* его можно преодолеть. № 8 — последний с полемикой (против «мистического анархизма»). Если «нечистое» может быть в статейках Гиппиус, то неужели Вы думаете, что и в статьях А. Белого? Вот какое я послал письмо в «Весы»: «М. Г., г. редактор. Прошу Вас поместить в Вашем уважаемом журнале нижеследующее: в № (таком-то) „Mercur de France“ этого года г. Семенов приводит какую то тенденциозную схему, в которой современ-

ные русские поэты-символисты — рассажены в клетки „декадентства“, „неохристианской мистики“ и „мистического анархизма“. Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, — я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вяч. Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с „мистическим анархизмом“, о чем свидетельствуют мои стихи и проза. Примите и пр. Александр Блок. 26 августа 1907».

Имени Вашего в «письме» этом не упоминаю, как видите. Подчеркнуть мою несолидарность с мистическим анархизмом в такой решительной форме считаю своим *мистическим долгом теперь*. Мистическому анархизму я никогда не придавал значения, и он был бы, по моему мнению, забыт, если бы его не раздули теперь. Что касается этого раздувания его («Весами»), то на это есть *реальные* причины у них, которые я могу уважать, хотя

и не совсем согласен с ними. Об этом поговорим при свидании. Приеду на днях и буду искать квартиру. Спасибо за адрес Л. Андреева.

Любящий вас Ал. Блок.

## 139. Матери. 20 сентября 1907. Петербург

Петербург совсем переменялся, мама. Того, чего я боялся, нет пока. Даже Кузмин скрывает свою грусть. Ауслендер говорит, что если жизнь станет «серьезной», Кузмин опять уйдет совсем от людей и будет жить, как прежде, в раскольничьей лавке. — Народу я видел много, и все это было грустно: все какие-то скрытные, себе на уме, охраняющие себя от вторжения других. Кажется, я и сам такой. Появился на моем горизонте новый тип подобострастных людей: сейчас ушел приходивший второй раз редактор нового журнальчика «Луч» (я пришлю тебе первый No), который кланяется чуть не в пояс, говорит на каждую фразу «спасибо» и оставляет денежные авансы. — За «Балаганчик» только в Москве, и притом кроме союза, — я получил 72 р. 6 коп. (за четыре спектакля собрали око-

ло 5500 р.). Так что денежные дела благополучны, хотя «Золотое руно» до сих пор не посылает гонорара.

Третьего дня возобновилась «Жизнь Человека». Некто в сером — деревянный; Бравич говорит за сценой (кроме Пролога). Играют похуже, чем в прошлом году, в игре отражается настроение всех актрис — тяжелое, подавленное и переходное. Андреева вызывали после третьего акта, он выходил. Он очень милый, хотя слишком простоватый. Ругает всю постановку, кроме третьего акта (Бала). К Мейерхольду я как-то все не иду в уборную. Закулисная жизнь прекратилась.

Наталью Николаевну я вижу не часто.

Был у Городецкого. Он — простой, славный, здоровый, не топит комнат и делает гимнастику. Ходит в тумане в белой рубашке. Вокруг его дачи пахнет желтым листом и такая тишина, что мне захотелось уехать надолго в Шахматово с Любой. Но не могу главным образом из-за «Руна».

В квартире нашей очень хорошо, сейчас (утром) — яркое солнце. Полируют ширмы, вешают занавески. — Вчера был Леман — мы

с ним говорили часа три. Он очень серьезен, интересен и совершенно не соответствует своему виду. — Драмы я продал «Шиповнику». Буду получать 150 р. с тысячи (сразу напечатают только 1000, но сохраняют так называемую «матрицу», т. е. нечто вроде стереотипа) и немедленно приступят к изданию второй тысячи, как только на складе останется 200 экземпляров. 150 р. — это очень мало, но по крайней мере это будет книга, по которой и буду видеть наглядно, как относится ко мне публика (ведь если бы раскупили 10000 — я получил бы 1500 р.!). Так вот — это все дни денежных расчетов, а внутри — тихо и грустно.

Хочу заниматься русским расколом.

Обложка Сомова к драмам восхитительно пестра (красная, желтая и черная). Крепко целую тебя и Францика.

*Саша.*

Я получил твое письмо с квитанцией, а Люба — два.

**140. Андрею Белому. 23 сентября  
1907. <Петербург>**

**М**илый Боря.

Отзовись. Мне кажется, что впечатления от «Балаганчика» на сцене вновь подтвердили Твои опасения относительно меня. «Утра России» я не мог достать, потому что оно не продается здесь, и не читал Твоего фельетона, о котором только слышал от чужих. Пришли.

Дело не в «Балаганчике», которого я не люблю, не в том, что физиономия Петербурга этого сезона — совершенно иная, чему способствует уже и будет способствовать Л. Андреев (я с ним познакомился; он уж очень простоват и не смотрит прямо). Дело в том, что растет какое-то тяжкое беспокойство. Я боюсь за будущее всех нас. При всей сложности и запутанности здешних отношений и «вопросов» — во мне преобладает бодрая печаль. Мне очень надо услышать слово от Тебя. Если бы я был уверен, что мне суждено на свете поставлять только «Балаганчики», я постарался бы просто уйти из литературы (мо-

жет быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления. Могу и один, хотя бы меня травили со всех сторон. Но мне нужно знать теперешнее Твое отношение ко мне. Наше московское свидание оставило на мне глубокий след. Мне нужно или Твоей дружеской поддержки, или полного отрицания меня. Только — не подозревай, потому что я всеми силами хочу признаться в своей вине перед всеми, насколько и как только сознаю ее. Я допускаю, что я имел дурное влияние на Чулкова (в чем он упрекает меня), что я — то и есть настоящий мистический анархист (что утверждают Чулков и Философов), что я был настоящим элементом разложения. Но все это — не подлинный я. И мое «письмо о мистическом анархизме» (в «Весах») исходило от меня подлинного, но, может быть, благодаря своей печатной и широковещательной форме приняло *форму* «сверхчеловеческой мании величия» и т. п. Но я не страдаю манией величия, я не провозглашаю никаких черных дыр, я не приглашаю в хаос, я ненавижу кощунство в жизни и литературное крово-

смесительство. Я презираю утонченную ироническую эротику. Поскольку все это во мне самом — я ненавижу себя и преследую *жизненно и печатно* сам себя (например, в статье «О лирике»), отряхаю клоки ночи с себя, по существу светлого.

Ответь.

Любящий тебя глубоко *Саша*.

М. И. Сизов передал мне Твое письмо. Мы говорили с ним, но еще не довольно, и он не совсем ясен мне. Он привез с собой много Москвы.

## **141. Матери. 28 сентября 1907. <Петербург>**

**М**ама, я долго не пишу и мало пишу от большого количества забот — крупных и мелких. Крупные касаются жизни — Любы, Натальи Николаевны и Бори. Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен.

Мелкие заботы — литературные. Страшно много надо писать: критику в «Руно», фельетон в «Свободные мысли», всюду рассылать стихи — и при всем этом находить время за-



ниматься расколом и историей театра, да еще не быть в состоянии написать драму и таскать ее в себе.

Последнее впечатление от Андреева — очень хорошее. Мы с Любой были на первой его «среде» (26-го), на которой я избран «действительным членом». У Андреева болел зуб, потому новый рассказ его читал вслух я. Были там все Юшкевичи, Чириковы, Сергеев-Ценский, Волынский, Тан, и пр., и пр. Из декадентов выбраны пока только Сологуб, я и Чулков. Новый рассказ Андреева большой, называется «Тьма», написан на тему «стыдно быть хорошим», не из лучших для Андреева. Есть великолепные места. Будет в 3-м альманахе «Шиповник». Андреев — простой, милый, серьезный и задумчивый. С Чулковым вижу изредка, всегда неприятно и для него и для себя. Отказался от участия в 3-й книге «Факелов». — Лучшее, что появилось за это время, — фельетон Бори «Символический театр» (я тебе со временем его перешлю, с тем чтобы ты мне возвратила). — Ходят ко мне поэты за советами, редакторы и гости (Ауслендер, Нина Ивановна Петровская с

ним). Электричество получено, но еще не устроено. Мало времени думать о своем. Хулиганства больше нет, чулковские попытки тщетны. — Люба сейчас у своих. — Завтра — «Балаганчик», и еще — 7-го. Денег хватает, квартира хорошая. Я сейчас еще не поеду к вам, когда поеду, то, вероятно, неожиданно и для вас и для себя. А ты когда думаешь приехать? — Еще приходит иногда Борин друг — Сизов, который переселился сюда (здесь его невеста), — очень серьезный и значительный человек. Пишут обо мне страшно много и в Москве и здесь — и ругают и хвалят. Почти все озадачены моей деятельностью в «Руне», и, вероятно, многие думают обо мне плохо. Приготовляюсь к тому, что начнут травить. Печаль и бодрость все по-прежнему. Стихов еще не пишу. Целую Вас обоих. Вероятно, написал далеко не все, да не могу сейчас собрать мыслей.

*Саша.*

## 142. Андрею Белому. 1 октября 1907. Петербург

**М**илый и дорогой Боря.  
Спасибо Тебе за письма и фельетоны. «Символический театр» (твоя статья) для меня имеет значение объемистой книги, собираюсь писать о ней.

Внимательно и тихо слежу за всеми Твоими словами. Никогда не упускаю Тебя из виду. Слышу, как Ты мучаешься в Москве. И чувствую Твою мнительность (и по отношению ко мне также), потому что для меня она имеет значение бесконечно больше, чем литературное. Жду Тебя здесь с нетерпением, как только приедешь, дай мне знать. Пока же говорю Тебе, что я не забываю Вечности даже среди «темных душ современников». Многого трудно мне, может быть я до сих пор кое в чем срываюсь. Но все глубоко серьезно в жизни моей и в жизни близких мне, и все так трудно, что нет больше места, куда бы ворвались плясать и паясничать скоморошьи хари. Очень странно, иногда дико, но всегда значительно слагаются события моей жизни. И на

то, что могут думать и говорить обо мне знающие меня поверхностно, я совсем махнул рукой — до полного игнорирования их несоблюдения «приличий» и т. д.

«Горение» мое, должно быть, иное, чем Твое, но оно — горение. До тления, на границе которого я прошел в прошлом году (что Ты почувствовал болью сердца), я не допущу себя. Оно далеко от меня теперь — и соответственно отошли от меня люди, которых я могу подозревать в поддержании тления.

Я редко тоскую и унываю, чаще — бодр. Передо мною плывет новое, здоровое, надеюсь, сильное. *Как человек с желанием здоровья и простоты*, я и пишу или стараюсь писать. Например, «О лирике»: я верю в справедливость исходной точки: я знаю, что в лирике есть опасность *тления*, и гоню ее. Я бью *сам себя*, таков по преимуществу смысл моих статей, независимо от литературных оценок, с которыми можно не соглашаться сколько угодно (да я и сам признаю неправильность кое в чем). Бичуя себя на лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупредить и других. Но, ценя высоко лириче-

ский *лад* души, который должен побеждать лирическую распущенность, я не люблю, когда стараются уладить всё средствами, посторонними лирике, хотя бы — «градом, обещанным религиями». Отсюда — моя статья о Сереже, в которой Ты, как знающий и меня и Сережу, можешь прочесть между строк бесконечные ненаписанные примечания — о моем отношении к Сереже, о моей осторожности, хотя бы относительной. Наконец, там прямо высказано мое бережное и тихое знание о «рыцаре-монахе, что закован в железо», о том, на что я в жизни моей только раз, в тоске и отчаянье, поднимал бессильную руку: в «Балаганчике». Но рука упала, и я не осквернил ни святого, ни себя.

Ты можешь счесть то, о чем я говорю, смешением понятий. Можешь сказать, что «не весна виновата», что «лирика» самое по себе так же безразлична, как весна. Но я говорю о лирике как о стихии собственной души, пусть «субъективно». Будут несколько людей, которые почувствуют истинное в этом и, может быть, воздержатся от того, от чего не воздержались бы иначе хотя бы по тому одному, что

против лирики говорит лирик. Я не определяю подробностей пути, мне это не дано. Но я указываю только устремление, которое и Ты признаешь: из болота — в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе — ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни.

Напиши мне пока несколько слов, а потом приезжай, я буду глубоко рад увидеть Тебя.

Любящий Тебя *Саша*.

### **143. Матери. 9 октября 1907. <Петербург>**

**В**чера утром мы вернулись из Киева с Борей. Я получил твое письмо, мама, и узнал, что приезжал Францик и говорил, что ты очень тоскуешь. Хорошо бы тебе приехать сюда поскорей. Много интересного. Я в настроении очень бодром и очень серьезном.

Приехал я в Киев 4-го утром. На вокзале встретили, усадили в коляску и примчали в лучшую гостиницу и поселили в номере рядом с Борей, Соколовым и Ниной Ивановной, которые приехали накануне. Сейчас же по-

шли пробовать голоса, так как вечер был в оперном театре, почти с Мариинский, — и полном (3500 человек). Потом накормили в гостинице, бродили по Киеву. Вечер сошел очень хорошо. Приходилось читать на высокой эстраде, на месте дирижера, среди оркестра, но акустика недурная. Успех был изрядный, на следующий день газеты подробно ругали и хвалили (прилагаю программу). После вечера повезли нас на раут в ресторан, где все участвующие пили, ели и произносили тосты (я не произносил, впрочем). — На следующий день приходили визитеры, толпилась всякая киевская литературно-музыкальная «знать» — басы, тенора, студенты, журналисты, и все мы (четверо) делали некоторые визиты. Неотступно водили нас по городу и не позволяли купить даже ветчины, а сейчас же вели в ресторан; вообще заплатили по всем счетам и за проезд. Лучшее всего в Киеве — Днепр — гоголевский, огромный, обмелевший, чужой и зараженный холерой (пока мы были в Киеве — в день заболело до 100 человек — «пир во время чумы»). Но Малороссия — чужая. Пески и степи, желтые листья

крутятся за вагоном, пирамидальные тополя облетают, хотя в октябре стоит почти лето. Еще великолепен Киев издали: можно стоять в сумерки на высокой горе: по одну сторону — загородная тюрьма, окопанная рвом. Красная луна встает, и часовые ходят. А впереди — высокий бурьян (в нем иногда находят трупы убитых — в это глухое место заводят и убивают). За бурьяном — весь Киев амфитеатром — белый и золотой от церквей, пока на него не хлынули сумерки. А позже — Киев весь в огнях, и далеко за ним — моря железнодорожного электричества и синяя мгла. — Зато внутри — Киев скучный, плоский, несмотря на гористость, хорош только «Подол», спадающий в Днепр, и бесконечные железнодорожные мосты и пароходы.

Мы почти не спали: днем не отставали люди, а по ночам мы говорили с Борей — очень хорошо. 6-го была его лекция («Искусство Будущего»). Накануне ночью он разбудил меня в нервном припадке, и все ночные часы мы с ним просидели вдвоем, ожидая холеры с часу на час. К утру прибежали редакторы, вызвали докторов, решено было, что я прочту лекцию,



так как недостаточные курсистки уже собрали 800 рублей и отменить было нельзя. Но к вечеру Боря поправился и великолепно прочел лекцию сам, и мы с ним (Соколовы уехали раньше), провожаемые восторженными взорами курсисток, расхватавших все мои и его туберозы, умчались на вокзал и проспали до двух часов следующего дня. С двух до девяти совершенно незаметно просидели в вагоне-ресторане, а вчера утром уже были здесь. Большую часть дня Боря провел у нас. Сегодня мы его еще не видали, но сейчас он придет. Они с Любой пойдут в кинематограф, а я на собрание к Андрееву — читать свои стихи. Завтра «премьера» у Коммиссаржевской — «Пеллеас», сейчас я получил телеграмму от Брюсова: «Прошу принять среду полдень». За мое отсутствие получили рассыпающееся письмо от него же, очень трогательное письмо от крестьянина Олонецкой губернии и дамское письмо (я тоже получаю их в последнее время). Завтра после «Пеллеаса» у нас — собрание, по поводу нового театра, который желают устроить Люба, Наталья Николаевна, Веригина (она — больная и мы посылаем ей

обеда), Иванова и Мусина. Кроме перечисленных — будет Боря. Из всего этого ты можешь видеть, какие у кого с кем отношения. Но, чтобы это видеть как следует, надо тебе приехать к нам, и я надеюсь, что ты это сделаешь. Все в конце концов так сложно, что описывать не стоит и приниматься. Есть еще, конечно, много, о чем я не пишу по крайней незначительности или, наоборот, по большой значительности. Вот приезжай и увидишь. Крепко целую тебя. Как здоровье Ф<ранцика>? Я хотел заехать из Киева в Ревель, но 1) ехал с Борей, 2) надо было бы без конца пересаживаться. Приезжай.

*Саша.*

У нас не только бездны новых книг, но и бездны новых событий, мыслей и чувств. И груды денег.

## 144. Андрею Белому. 18 октября <1907. Петербург>

Милый Боря.

Спасибо Тебе за письмо и за сведения. Знаю, что мы близки с Тобой, а то, что мы во многом не похожи друг па друга, я думаю, только хорошо. Пожалуй, что очень тонкие и слишком поразительные сходства и ведут к химеризму. Надо, чтобы в каждом оставалось нечто, для другого неизвестное, по-хорошему неизвестное не возбуждающее сомнений и вопросов. Надеюсь, что мы с Тобой достигнем этого. Жду Тебя, милый, и люблю. На всякий случай — вот адрес мамы: Ревель, Малая Батареиная, 10. Но она на днях приедет на несколько дней в Петербург, потому не пиши ей сейчас.

Любящий Тебя *Саша*.

Вот наконец моя карточка. Мне хочется послать ее Тебе до Твоего приезда в Петербург.

**145. В. Я. Брюсову. 20 октября 1907.  
Петербург**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Спасибо Вам за обстоятельные сведения, которые Вы мне дали в Вашем письме. Пока посылаю Вам для «Голоса Москвы» только два своих стихотворения, из которых первое («Она пришла из дикой дали») прошу Вас передать для помещения в первом Но приложений, а второе («Пожар») — в следующем, или как Вам заблагорассудится. Возможно, что до 1 ноября я не пришлю ни одной прозаической рукописи, потому что к 1-му должен перевести для старинного театра целый миф XIV века в 600 стихов («Miracle de Morphile»). В ближайшем будущем мне хочется на страницах «Голоса Москвы» возвратиться подробно к театру Коммиссаржевской в особенности и к некоторым другим петербургским постановкам (как, например, «Электри» Гофманстааля и «Грозы»). Дело в том, что я написал настолько решительную и резкую заметку о постановке «Пеллеаса» (она появится в 3-м Но здешнего еженедельного жур-

нальчика «Луч» — в воскресенье 28 октября), что чувствую потребность не забрасывать этого дела и тянуть всеми силами Мейерхольда из болот дурного модернизма. Это тем более, что, прочтя свою заметку предварительно самому Мейерхольду, я увидел, что он почти во всем согласен с ней. Быть может, удастся и мне сказать хоть несколько ценных слов о театре — столь близкой и родной для меня издавна стихии.

При первой возможности я начну писать в «Голос Москвы» и улавливать чужие рукописи, какие понравятся. Радует меня и прельщает та общая и довольно широкая почва, на которой мы будем сходиться с Вами. Спасибо за Ваш отзыв о трех стихотворениях для «Весов». «Весы» очень, очень дороги и близки мне, сейчас это единственное место, где я чувствую себя «не в гостях» — и в этом смысле они для меня — продолжение «Нового пути» — моей литературной родины.

Преданный Вам *Александр Блок*.

P. S. Еще попрошу Вас: передать «Голосу Москвы» мою просьбу присылать мне листы наших приложений в количестве 7-10 экзем-

пляров. Живя в Москве, я, конечно, мог бы обойтись без этого, но здесь — другое дело: купить негде, а между тем один, другой, третий экземпляр непременно растащат.

## 146. Матери. 29 октября <1907. Петербург>

**М**ама, пишу тебе пока только несколько слов, чтобы ты не беспокоилась. Настроение отвратительное, т. е. было бы совсем мерзкое если бы я не был постоянно занят, — это спасает. Кончаю мистерию, кажется, удачно.

Шуба вышла великолепная. Хоронили Л. Д. Иванову — трогательно — в Лавре. Был «Балаганчик», разные люди, разные дела и прочее. Пишу хорошие стихи. Но подлинной жизни нет и у меня. Хочу, чтобы она была продана по крайней мере за неподдельное золото (как у Альбериха), а не за домашние очаги и страхи (как у Жени). Чем хуже жить — тем лучше можно творить, а жизнь и профессия несовместимы.

*Саша.*

Напиши, очень ли скверно ты чувствуешь

себя?

## 147. Матери. 27 ноября <1907. Петербург>

**М**ама, сейчас вот ночь, и я вернулся рано, по редкости случая — трезвый, потому что Наталья Николаевна не пустила меня в театральные клубы играть в лото и пить. Сажу и жду Любу, которая уехала куда-то с Чулковым, потому что могу тебе написать спокойно — есть время. Сейчас мы были вместе на концерте Алениной. 30-го мы с Натальей Николаевной читаем в концерте, 1-го она играет фру Сольнес, 5-го мы втроем на Дункан, 6-го читаем «Незнакомку» в «Новом театре» по ролям: Н. Н. (Незнакомка), Мунт, Веригина, Будкевич; я (Голубой), Мейерхольд, Давидовский и др.; 10-го опять Дункан. Днем я теперь пишу большую хронику в «Руно», а Наталья Николаевна занимается ролью, а по вечерам мы видимся — у нее, в ресторанах, на островах и прочее. Снег перепадает, и резкий ветер. Я чувствую себя бодро и здорово, ко мне приходят, помимо приглашателей на концерты, от которых я стал отказываться, — начинающие

писатели. Я даю им советы, чувствую, что здоровые и полезные, они рассказывают о публике, о провинции: люди иногда простые, всегда — бездарные.

Я почти поверил тебе, что стихи мои плохи. Люба и Наталья Николаевна уверяют меня в противоположном, но мне кажется, что с лета я не написал *ничего* ценного, и вообще ценность моя — проблематическая; но мода на меня есть (пока мы были в Ревеле, устроила публика скандал на концерте из-за того, что я не «прибыл»).

На днях Мунт притащила к нам Собинова, я обошелся с ним неласково, что он, кажется, почувствовал: ужасный лакей — толстенький, живчик; знаешь ли ты, что Люба едет с Мейерхольдом на пост и на лето в поездку (с труппой) <...>, потом — на Кавказ, потом, может быть, в Крым с Натальей Николаевной (летом). Она уже условилась с Мейерхольдом. Будет играть в провинции Коломбину, выходные роли и хочет — Клитемнестру. Наталья Николаевна останется первый месяц поста здесь, а потом присоединится к труппе (на Кавказе). Может быть, и я поеду?



Я очень осведомлен в современной литературе и сделал выводы очень решительные: за этот год, в конечном итоге: 1) переводная литература преобладает над оригинальной; 2) критика и комментаторство — над творчеством. Так будет еще лет 50-100, а потом явится большой писатель «из бездны народа» и уничтожит самую память о всех нас. Забавно смотреть на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение *десятка* лет сменила кучу миросозерцания и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, который с *XV* века несет одну и ту же однообразную и упорную думу о боге (в сектантстве). Письмо Ключева окончательно открыло глаза. Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не сохранит «играющий случай», разве ту большую красоту, которая теперь может брезжить перед нами в похмелье, которым поражено *все* русское общество, умное и глупое.

Жду от тебя письма и целую тебя крепко.

*Саша.*

148. Ф. К. Сологубу. 2 декабря 1907.  
<Петербург>

Дорогой Федор Кузьмич.

За надпись на книге Верлена и за книгу — спасибо Вам от всей моей печальной души. Вы знаете ли, что последнее стихотворение (второй вариант: «Синева небес над кровлей») попало мне очень давно и было для меня одним из первых острых откровений новой поэзии. Оно связано для меня с музыкой композитора С. В. Панченко, моего давнего и хорошего знакомого. С тех пор ношу это стихотворение в памяти, ибо оно неразлучно со мною с тех дней, «как постигал я первую любовь». И в эти дни, когда я мучительно сомневаюсь в себе и вижу много людей, но, в сущности, не умею увидеть *почти* никого, — мотив стихотворения и слова его со мной.

Любящий Вас неизменно Александр Блок.

**149. В. Я. Брюсову. 8 декабря 1907.  
<Петербург>**

Дорогой Валерий Яковлевич.  
Спасибо Вам за книгу. Перелистываю стихи, давно запечатлевшиеся в памяти, и опять пленяюсь ими. Многое отсюда я узнал первым в новой русской литературе. Многое — всегда со мной, и так знакомо и привычно, что мне кажется, что Вы испортили строки переделкой; например: «Как узник, брожу близ окон» для меня лучше. Также: «И ждал вершающего дня... И снова ныне вы зрите в суете меня». И другое многое, например в Ревельской поэме. Стихи Ваши — всегда со мной.

Душевно преданный Вам *Александр Блок.*

## 150. Матери. 9 декабря <1907. Петербург>

**М**ама, я получил твои ноябрьские только письма и сам давно уж не пишу тебе. Жить становится все трудней — очень холодно. Бессмысленное прожигание больших денег и полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море (да и морозы теперь стоят по 20 градусов, почти без снега, с пронзительным ветром). На остров люди с душой никогда не приходят, а приходят всё по делам — чужие и несносные. На всем острове — только мы втроем, как-то странно относящиеся друг к другу, — все очень тесно. Я думаю, что, если бы ты была в этом городе, то присоединяла бы к этим трем тоскам свою четвертую тоску. Все мы тоскуем по-разному. Я знаю, что должен и имею возможность найти профессию и надежду в творчестве и что надо взять в руки молот. Но не имею сил — так холодно. Тем двум — женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чем-то

неимоверно похожим, — тоже страшно и холодно. Погода у всех нас в душе точно такая же, как на улице. — Напрасно ты не пишешь мне иногда, я думаю, что теперь очень способен тебя понимать. Твое письмо о ненужности чтения на концертах совпало с большим вечером «Нового искусства», после которого все мы втроем решили, что я больше читать не стану. Я отказываюсь категорически и с 30 ноября нигде не читал. Только в январе и феврале прочту, потому что чувствую обязанность помочь. Все мне здесь надоело — старинные и нестаринные театры и даже Дункан, перед знакомством с которой я уже забастовал. Напиши мне, как ты себя чувствуешь и когда приедешь? Моя тоска не имеет характера беспредметности — я слишком много вижу ясно и трезво и слишком со многим связан в жизни. — Сейчас я сижу один — вечер, через час воротятся Люба и, вероятно, Наталья Николаевна из Старинного театра (они там вдвоем, я был на премьере, а теперь мое «действие» идет там каждый день — довольно забавно). У меня новая бархатная куртка и огромная книжная полка, и я вышел из ван-

ны — так что предаюсь грустным мыслям с комфортом. Но вины не чувствую. Целую обоих вас. О литературных делах лучше расскажу устно.

*Саша.*

**151. Л. Я. Гуревич. 21 декабря 1907.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемая Лидия[20] Яковлевна. Спасибо Вам за Вашу книгу от всей души. Сейчас, ночью, я прочел ее, не отрываясь, с большим напряжением. Хочу сказать Вам, что услышал голос волн большого моря; все чаще вслушиваюсь в этот голос, от которого все мы, интеллигенты, в большей или меньшей степени отделены голосами собственных душ. Сейчас моя личная жизнь напряжена до крайности, заставляет меня быть рассеянным и невнимательным к морю. Но, верно, там только — все пути. Может быть, те строгие волны разобьют в щепы все то тревожное, мучительное и прекрасное, чем заняты наши души.

Искренно преданный Вам *Александр Блок.*

P. S. «Действо» получил-спасибо.

**152. Андрею Белому. 28 декабря  
1907. <Петербург>**

**П**оздравляю Тебя с Новым годом, милый Боря. Не приеду в Москву, очень не хочется. Я и вообще перестал совсем читать на вечерах и почти не вижу людей. У меня очень одиноко на душе, много планов, много тоски, много надежды и много горького осадка от прошлого. По всему этому хочется быть одному, там, где холодно и высоко.

Твой *Ал. Блок.*

**153. В. Ф. Коммиссаржевской. 7  
января <1908>. Петербург**

**Г**лубокоуважаемая Вера Федоровна.  
Извините, что, вследствие простуды, не могу лично принести Вам эти четыре томика драм Грильпарцера. К. А. Сомов указывал мне именно на первую его юношескую драму «Die Ahnfrau» (1817 года); между тем большей известностью пользуются его драмы «Сафо» и «Золотое руно». Пьесы же «Krnig Ottokar», «Glbck und Ende» и «Ein trener Diener seines

Нергн» (все это есть в прилагаемом томике) находились под запретом немецкой правительственной цензуры. На русском языке существует только «Сафо» (напечатанная, если не ошибаюсь, в журнале «Артист» 1895 г. в переводе Арбенина; роль эту играла Ермолова). Я не знаком ни с одной пьесой Грильпарцера, но по тому, что знаю о нем, представляю себе, что его героический (может быть, даже мелодраматический) романтизм мог бы воскреснуть на русской сцене. Потому, если Вы найдете это возможным, я с большой охотой возьмусь за перевод.

Примите уверение в моем искреннем уважении и душевной преданности Вам.

*Александр Блок.*



## 154. Матери. 8 января <1908. Петербург>

Твое письмо, мама, получил.

Очень тебе сочувствую, также и потому, что самому мне жить нестерпимо трудно. Особенно тосковал я перед Новым годом и в праздничные дни. Такое холодное одиночество — шляешься по кабакам и пьешь. Правда, пью только редкими периодами, а все остальное время — холоден и трезв, злюсь и оскаливаюсь направо и налево — печатно и устно.

Чем холоднее и злее эта неудающаяся «личная» жизнь (но ведь она никому не удастся теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намеренья. У меня их столько, что руки иногда опускаются — столько надо сделать: ближайшее — это пьеса. Я уже набросал три акта, т. е. дошел до перелома: самое трудное сделано, и теперь остается только последнее напряжение всех сил и много черной и упорной работы. Тут я не ленюсь (целиком, например, выбрасываю хорошо написанный, но идейно неудовлетворительный 5-й акт).

Дальше — я должен установить свою позицию и спую разлуку с декадентами путем ряда статей (о театре, о критике, об Ибсене) хотя бы в «Золотом руне» (в первом Но будет мой портрет и 25 стихотворений старых).

Это — на первом плане; теперь: мне заказаны: 1) книга Метерлинка и 2) «Книга песен» Гейне (переводы, статьи и пр.). Кстати, тебе скоро будет перевод; *напиши мне поскорей*: 1) Кого бы ты прежде всего хотела переводить? 2) Что ты считаешь самым характерным у Додэ, Золя, Стендаля и Эркмана Шатриана (это — на первый случай). Что-нибудь из этих мы здесь выберем сообща, и ты сейчас же получишь перевод под моей «редакцией» на большой срок.

На днях меня вызвала Коммиссаржевская. Часа IS мы с ней переговорили обо всем очень мило. Она просит, кроме моей пьесы (относительно которой я ответил уклончиво, по известным тебе причинам), перевод какой-то немецкой пьесы для будущего сезона. Кроме того, я предложил ей драму Грильпарцера.

Вот это всё — большие планы, а кроме того, очень много мелких дел и делишек. Денег

опять довольно много, сейчас лежит рублей 250 уже в столе.

Наталья Николаевна уедет на днях на неделю с Коммиссаржевской по городам. Они с Любой все время берут уроки танцев и пластики (у Преснякова и у Мусиной). — Пока ничего больше не пишу. Целую.

*Саша.*

## **155. Матери. 17 января 1908. <Петербург>**

**М**ама, я не пишу тебе только потому, что между ответа от Гржебина, которому написал подробно еще 11 января. Но он, кажется, теперь в Москве, потому до сих пор не отвечает. А Люба тебе сейчас тоже написала.

Драма подвигается, теперь пишу четвертый акт. Это — целая область жизни, в которой я строю, ломаю и распоряжаюсь по-своему. Встречаюсь с хорошо уже знакомыми лицами и ставлю их в разные положения по своей воле. У них — капризный нрав, и многое они открывают мне при встрече.

Наталья Николаевна уехала 13-го ночью. В дни ее отсутствия я увижусь с разными лите-

раторами, с которыми еще теплятся какие-то отношения. К чему неизвестно. Больше — это дела и политический акт вежливости. Но живу я в своем мире, и друзья больше не суют сюда своих лоснящихся носов.

Много было «происшествий», но такие мелочи — что не стоит описывать. Люба, верно, написала кое о чем. Ходят, ходят, приглашают, звонят, требуют, оставляют записки, приносят свои произведения и излагают события своей жизни. Целую крепко вас.

*Саша.*

Переписывать «Клеопатру» до того лень...  
А тебе очень надо?

156. А. Н. Чеботаревской. 19 января  
1908. <Петербург>

Дорогая Анастасия Николаевна.

Действительно, одно время я соглашался устроить вечер. Но сейчас, право, чувствую, что, несмотря на всю симпатию мою и к цели и к устроителям, не могу этого сделать. Я переживаю очень трудный кризис и мучительно пишу большую вещь, потому не только не могу больше читать на вечерах свои вещи, к которым отношусь очень скептически, но и людей вижу мало и почти не выхожу никуда. Надо сначала покончить с тем, что засело внутри и лежит тяжелым камнем. Потому прошу Вас от всей души, помогите Вы устроить вечер. Как Вы думаете, если бы И. С. Рукавишников дал свое имя? Мне кажется, устроителям это было бы очень выгодно и полезно.

Преданный Вам Александр Блок.

Р. С. С Кузминым я не говорил по этому поводу и не знаю, согласен ли он. Может быть, устроители уже просили его.

## 157. Матери. 30 января <1908. Петербург>

**Т**ы права, мама: не пить, конечно, лучше. Но иногда находит такая тоска, что от нее пьешь.

Сейчас приехала Наталья Николаевна. Я пойду к ней через 1 час.

Напиши мне о «Факелах». Стихи я получил.

Писала ли тебе тетя о моей драме? Я читал ей, потому что трудно найти человека, который сказал бы мне правду: литераторы отнесутся односторонне, а близкие люди — сами действующие лица. Тетя сделала мне несколько реальных замечаний, которые я принял к сердцу. Проклятие отвлеченности преследует меня и в этой пьесе, хотя, может быть, и менее, чем в остальном. Злюсь за это на своего отца (!) (кстати, я до сих пор не ответил ему, очень трудно). Он — декадент до мозга костей, ибо весь яд декадентства и состоит в том, что утрачены сочность, яркость, жизненность, образность, не только типичное, но и характерное. Последнее письмо отца свиде-

тельствует о его избитости задними мыслями отвлеченного, теоретического, филологического, какого угодно характера — только не жизненного. А в жизни еще очень много сочности, которую художник должен воплощать.

Занятный ты видела сон.

Факт «существования матери» я помню и очень ценю.

Целую крепко.

*Саша.*

Переписываю тебе новое, ненапечатанное стихотворение Кузмина. По-моему — очень замечательно:

*Издалека пришел жених и друг.*

*Целую ноги Твои.*

*Он очертил вокруг меня свой  
круг. Целую руки Твои.*

*Как светом отделен весь внешний  
мир. Целую латы Твои.*

*И не влечет меня земной кумир.*

*Целую крылья Твои.*

*Легко и сладостно любви ярмо.*

*Целую плечи Твои.*

*На сердце выжжено Твое клеймо.*

*Целую губы Твои.*

*М. Кузмин (из цикла «Вожатый»)*

Обрати внимание.

Скорей всего я приеду, когда уедут все: во второй половине февраля.

**158. Е. П. Иванову. 31 января 1908.  
<Петербург>**

**М**илый Женя, жаль, что не застал ты. Я тогда читал мою пьесу Марии Андреевне. Когда напишу еще, попрошу и тебя прослушать. Вчера Чулков принес фельетон Розанова. Я машу рукой, и без того дела много. Это — литературно неприлично. Всю ругань я, конечно, принимаю к сердцу и думаю, что ругаться можно и должно. Хочется выворачивать наизнанку свою душу, чтобы разругались все до конца, наконец. Но когда при этом сочиняются легенды, очень стыдно за авторов и не хочется быть с ними знакомыми. Потому за Розанова я действительно покраснел: ничего он не понимает здесь, полагая, что мне «так» весело. Не теряя к нему уважения вообще, не хотел бы подавать ему руки.

Любящий тебя Ал. Блок.



## 159. Л. Д. Блок. 20 февраля <1908. Ревель>

**Ч**то же ты мне не пишешь, моя милая. Послезавтра я уеду отсюда и в субботу буду в Петербурге.

Пишу тебе с ревельского вокзала. По вечерам бываю тут или в кабачке и пью пиво. А днем — занимаюсь. Вообще — невесело. Результат — мы с мамой приготовили сборник стихов. Пусть он называется — «*Земля в снегу*». Первый цикл — «Подруга Светлая», первое стихотворение — «Люблю тебя, Ангел-Хранитель».

Второе дело — я кончил вчерне «Семь принцесс».

Чувствую себя грустно и пусто, хотя разговариваю с мамой. Должно быть, вообще я сильно устал. Как-нибудь бы отдохнуть, нежить иначе и в новых местах.

Меня очень занимает как ты играешь, довольна ли ты игрой и можешь ли сделать какие-нибудь заключения.

По тому, что ты не пишешь, я заключаю, что ты очень поглощена. Но не расстроена ли,

беспокоюсь.

**160. Л. Д. Блок. 23 февраля 1908.  
<Петербург>**

**М**илый друг мой.

Вчера в Ревеле я получил твое письмо, а сегодня пишу тебе уже из Петербурга. Прилагаю записку, которую не послал из Ревеля.

И здесь и в Ревеле — весна. Я чувствую ее.

Я очень много думаю о том деле, которым ты занята. У меня очень широкие и определенные планы в будущем. Вкратце — вот в чем дело:

Интеллигентный театр приходит к концу. Та интеллигенция, для которой играете теперь вы и остальные, одинаково не может быть показателем реальности театрального дела. Современный репертуар от Шпажинского до Метерлинка — может быть подвергнут критике и подлинному суду — не перед лицом этой интеллигенции, для которой все равно, забавно или скучно, а только перед лицом будущего: 1) отдаленного; тогда нужно слушать Вагнера, Ницше, Ибсена, социалистов, философов и т. д., 2) перед лицом бли-

*жайгиего* будущего, в котором единственно реальным и имеющим почву учреждением по части театра будет *народный театр*. Только народ покажет истинную ценность той драматургии, о которой умирающая интеллигенция может судить только случайно и необоснованно. Вот почему так остро стоит вопрос о *мелодраме*, о *пользе* (русский утилитаризм), о *содержании*.

Статистика показала с очевидностью, что 1) театр необходим для народа, и в России развивается очень успешно народный театр, 2) что народу чужды и отвратительны какие бы то ни было тенденции и поучения со сцены, 3) что народ способен воспринимать и ценить именно тот пафос высокой драмы и трагедии (например, «Гроза») и высокой комедии (например, «Женитьба»), который более не воодушевляет современную театральную публику, но о котором мечтают передовые люди эпохи.

Только в том театре, который имеет реальную почву под собой, 1) *сам собою* разрешится совершенно спорный для нас вопрос о нужности или ненужности Метерлинка, Гофман-

стааля, Ведекинда и т. д., 2) сами собой отпадут *модные* и *тоже* неразрешимые теперь вопросы о первенстве режиссера или автора, об актерских соревнованиях и интригах, доходящих до абсурда, и т. д.

Реальную почву может иметь теперь, конечно, только *народный* театр в самом широком смысле (фабричный, сельский, солдатский и т. д.), потому что только *свежая* публика достойна уважения, а без публики — нет театра (независимо от всех возможных «студий», которым можно предоставить самое широкое развитие). Потому необходимо приглашать всех вас (стоящих) к этой работе, в которой место нудных вопросов о количестве таланта, техники, голоса и т. д. — занимает *живая работа*.

На эту тему я, вероятно, и прочту лекцию... Мне очень интересно бы знать, что думает об этом Мейерхольд и знаешь ли ты всю *нереальность* теперешней вашей работы (независимо от техники, навыка, учения и т. д.). Поговори с Мейерхольдом об этом и напиши мне свое и его мнение. То, что я говорю, более чем реально и, по-моему, истинно *празднично*. В

вашей труппе я считаю очень важными для дела *народного* театра — Наталью Николаевну, тебя (по всей вероятности) и (очень возможно) — Мейерхольда, изобретательность которого можно направить по очень хорошему руслу.

Ты довольна своей игрой в «Электре»? — Я сейчас не могу еще прислать тебе 30 рублей, но, когда получу, пришлю. Мама, верно, напишет тебе. Напиши ей несколько слов. Я в Ревеле купил у букиниста великолепный театральный журнал (старый немецкий) и картинки (между прочим — Электра, Медея и мн. др.).

Милая, я бы очень хотел обо всем этом с тобой поговорить. А что же декоратор?

161. Л. Д. Блок. <27 февраля 1908.  
Петербург>

**М**илая. Я сейчас получил твое второе письмо. Солнечное утро (27). Мне хочется тебе писать не о событиях, а о тебе и себе. Дело в том, что зима была страшно тяжелая. Я чувствую, как весеннее солнце лечит какую-то глубокую, долго не заживавшую рану в душе. Иногда бывает восторженно, как в ранней юности. Я чувствую, что у меня опять станет свежей душа. Я постоянно думаю о тебе, и по-настоящему, до глубины, т. е.: «В царство времени все я не верю...» Для меня с новой силой необходим Вл. Соловьев. Меня вдохновляют все мои глубокие исторические воспоминания — Лидо, Германия и все, что я пережил когда-то. Мое знание очень углубляется. Мое знание о тебе — с особенной силой. В прежних столетиях я вспоминаю тебя. Но твое происхождение теряется в каких-то глухих тропках времен — приблизительно на тех дорожках, где случайный народ ставил на горных подъемах для случайных путников изображение богов, и они были для путешественников

алтарями и вехами. Глубже мои исторические воспоминания не идут и медлят здесь в нерешительности, так как — следующие предки твои непосредственно касаются астральных областей. И там твои пути уже совершенно скрещиваются с другими и других цветов и сущностей, — но там такая сложность, что я еще не могу сделать выводов, хотя имею много подозрений о линиях, цветах и направлениях. Тебе, вероятно, сейчас это чуждо? Если нет, напиши. А. А. Юшкевич знает в этой области чрезвычайно много — для женщины даже слишком.

Завтра — вернисаж Союза. Сегодня мы идем с Натальей Николаевной на выставку Нового общества и Борисова-Мусатова. На днях — выходит «Руно» с портретом и стихами. В конце третьей или начале четвертой недели я читаю лекцию о театре. Вышли пьесы (пришлю скоро). Конверты и пр. привезет Наталья Николаевна. Перевожу Метерлинка («Алладин и Паломид» — очень замечательная вещь). — Все, что ты пишешь о своем отношении к театру и его атмосфере — мне близко и понятно. Нужны ли тебе деньги? Я

могу скоро прислать. — Городецкий женился 15 февраля. — Сборник моих стихов почти подготовлен. Таков «календарь писателя».

Получила ли ты письмо о народном театре? Напиши репертуар, числа и города и вообще, когда не трудно, всегда пиши.

**162. Н. Н. Русову. 29 февраля 1908.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Николай Николаевич. На вчерашнем же вернисаже мне удалось выяснить вопрос о постановке «Die Ahnfrau». К. А. Сомов, как и надо было ждать, не согласился — он не хочет брать на себя теперь таких больших работ; А. Н. Бенуа выразил живейшее желание не только писать декорации, но и принять участие в постановке. Мне кажется, участие Бенуа было бы необыкновенно ценно, потому хорошо было бы как можно скорее получить ответ из Америки для того, чтобы сообщить ему. Очень прошу Вас, напишите и Вы со своей стороны Вере Федоровне или ее брату. Бенуа может поставить пьесу до осени, если только ответ будет скоро. Напишу со своей стороны и я. Черкните два



слова, что думаете об этом Вы. Жму Вашу руку.

Ваш Ал. Блок.

**163. Л. Д. Блок. 21 марта 1908.  
<Петербург>**

**Я** сейчас только получил твое письмо. Очень давно не получал — и беспокоился. Ты пиши мне чаще, хотя бы и коротко.

Я думаю о тебе каждый день. В твоих письмах ты точно что-то скрываешь. Но мне можно писать все, что хочешь. И даже — должно.

Я радуюсь принципиально вашему провалу. Может быть, хоть кто-нибудь из вас очнется от сна. Беспочвенности и усталости я *одинаково* не принимаю к сердцу — им нет места среди нас — художников. И потому многим из вас я только могу пожелать: «что делаешь — делай скорее».

О тебе я до сих пор не знаю — можешь ты или не можешь служить искусству. Может быть, да.

Моя лекция имела, и сущности, большой успех. Читал я хорошо. Получаю всё любовные письма. Очень широкие планы на буду-

щее и много реального дела. Живу очень замкнуто — не пью уже давно ни капли.

Прошу тебя писать мне, потому что я думаю о тебе больше, чем о ком бы то ни было. О тебе и о *долге*. Не забывай долга — это единственная музыка. Жизни и страсти без долга нет.

## **164. Андрею Белому. 25 марта <1908. Петербург>**

Спасибо Тебе за письмо, милый Боря. Живу совсем тихо, один. Хорошо. Усиленно работаю — перевожу старую романтическую трагедию Грильпарцера со страхами и привидениями, с героиней совсем с кипсека. Мою драму наконец кончил почти совсем, очень переболел ею, и, пожалуй, вышло что-то лучшее, чем предыдущие. Очень хотелось бы, чтобы Ты ее узнал.

Читал лекцию о театре — успешно. Во многих мыслях мы с Тобой сходимся.

Напиши, ради бога, прилично ли дать стихи в «Белый камень»? Тут приезжал какой-то его хулиганский издатель, в чем-то полуизвинялся, обещал, что там сотрудничает Бунин.

Будет ли сотрудничать кто-либо из Вас?

Трижды звали меня в Москву — читать (спасибо в том числе за Твое письмо, переданное мне дамой), но не могу и как-то не хочется; опять растеряешься. А теперь я ужасно отдыхаю за работой, собираю себя и коплю силы, забываю тяжелую зиму и просто радуюсь весне. Убеждаюсь, что не «примелькались еще ночи и дни», хотя и «нет никого на земле...» и т. д.

Очень, очень понимаю Твое письмо. Но мы долго еще будем живы и сильны. Еще все не исполнилось.

Досадное чувство возбуждают во мне парижские книжники. Бывает, что собака, совсем чужая, и так, чорт ее знает, почему и за что, — облает. И собака-то ничего не сторожит, и хвост-то у нее куцый, а все-таки — досадно. Так вот теперь для меня — Мережковское. — Напиши мне еще, милый. У Вас теперь Вяч. Иванов, я как-то опять его почувствовал и полюбил.

Любящий Тебя *Ал. Блок.*

## 165. Л. Д. Блок. 4 апреля 1908. <Петербург>

**М**илая, ты знаешь сама, как ты свободна. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала. Может быть, не понимаю от своего теперешнего равновесия. Но чем больше я в равновесии, тем больше знаю реальное.

Что тебе написать, совсем не знаю. Ты пишешь мне как чужая — не так ли? Знаешь ли ты, насколько важно для меня твое письмо и имела ли ты какое-нибудь отношение ко мне, когда его писала? Ты пишешь, что я могу спрашивать. Я спрашиваю прежде всего, представляется ли тебе все будущее совершенно вне меня или ты просто можешь судить теперь только о близком будущем?

Только эти вопросы. И то — слишком трудно задавать их в письме. А что — письмо твое написано из самой глубины? Или — ты не

знаешь теперь своей глубины?

Я пишу очень сухо. И стараюсь только простейшее. Я не знаю, как ты можешь понять меня «там»? И можешь ли понять.

Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о «честности» и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня.

Писать это письмо мне трудно.

Куда писать?

## **166. Андрею Белому. 5 апреля 1908. Петербург**

Спасибо Тебе, милый Боря, сейчас получил я «Кубок метелей». Ты, пожалуй, не можешь сейчас представить, с каким чувством я приступлю к нему. Теперь моя жизнь как-то совсем по-необычайному поворачивается. Извне — необычайная тишина, в глубине — просветленная, чистая совесть. Живу по-прежнему совсем тихо, один, много работаю, и глубоко просто. Музыку неслыханную слушаю.

Ты спрашивал у меня адрес мамы, — вот он: Ревель, Малая Батарейная, 10. Я знаю, как

она оценила бы, если бы Ты прислал ей Симфонию. Сделай это, если у Тебя еще есть.

Крепко целую Тебя и люблю.

Твой *Ал. Блок.*

**167. В. Я. Брюсову. 8 апреля 1908.  
Петербург**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Горячо благодарю Вас за второй том «Путей и перепутий». Хочу писать об обоих томах, книгах, сыгравших такую большую роль для меня, и надеюсь написать в «Золотом руне».

Ваш *Ал. Блок.*

**168. Л. Д. Блок. 14 апреля 1908.  
<Петербург>**

Сегодня пришла твоя телеграмма, и беспокойство прошло. А боялся я почему-то страшно. В пасхальную ночь томился и блуждал около факелов Исакиевского собора и Петра. Конечно, именно в двенадцать часов, когда я должен был быть один, меня поймали на улице совершенно чужие люди — и стали разговаривать о пустяках. Дул ветер, всю ночь шел ладожский лед, было холодно и некуда деваться. И вчера и сегодня тоже блуждал днем. По ночам — ужасные сны какие-то были. Я на праздниках как чорт перед заутреней, и до сих пор не прошло это ужасное чувство. Точно и в самом деле происходит что-то такое, чего душа чужда. Я жду от тебя письма.

Твой.

## 169. Матери. 15 апреля 1908. <Петербург>

Как ты провела это время, мама? Я только что отошел. Эти два больших христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто и в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен.

В страстную субботу в 10 часов вечера уехала в Киев Люба, а я за полночь бродил по улицам. Кажется, начнись светопреставление, никто, даже самый непокладливый человек, не согласится оставить надежду на розговенье. Все чему-то радуются и наполняют темные и холодные улицы.

В полночь смотрел я на Петра. Дул ветер (осыпались розы), ладожский лед пошел густой белиной, памятник на фоне пасхальных факелов Исакия (что мрачнее их?) был внушительен.

Тут-то, конечно, когда я пожелал остаться один, пристали посторонние люди и затеяли разговоры. Ушел домой и видел отвратительные сны. Обе ночи. А сегодня опять весело, и



весна теплая, магазины открылись, и животы у горожан осоловели. Сегодня ко мне придут разные люди, более и менее приятные, рассуждать. Очень много работаю, перевожу уже четвертый акт «Ahnfrau» и кончаю второй акт «Песни Судьбы» (сильно переделывая и шлифуя). Люба телеграфировала, что доехала очень хорошо. Она очень бодра; из поездки вывезла настоящую русскую песню о черном море и белом пароходе.

Ах да! Приехал Александр Львович и подарил мне 100 рублей. Он будет у меня в четверг. Целую.

*Саша.*

## 170. Матери. 21 апреля 1908. Петербург

Поздравляю тебя с именинами, мама. Сон твой мне очень понравился романтически, но на действительность не похож. Действительность была гораздо лучше. И вовсе эта женщина — не почитательница; упаси меня боже, мне все эти почитательницы омерзительны и более ничего.

Сегодня я зол с утра и мечтаю, когда я пойду на «Жизнь Человека» к Станиславскому, вечером, и расстанусь с Александром Львовичем и Спекторским, которые сейчас придут ко мне обедать. Поистине, радостно мне будет посмотреть «Жизнь Человека» именно сегодня и напитаться тою злобой теперь благодушного Леонида Николаевича, который спокойно женится в Крыму на дебелой и приятной брюнетке.

Я зол на Москву. Боря пишет мне встревоженные письма (обещает, между прочим, прислать тебе Симфонию), а я ему не в силах ответить. Ибо неуловимо хамские выходки есть в этой Симфонии против меня, а в толь-

ко что вышедшей книге Сережи — целая очень уловимо хамская статья обо мне. Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп. Чорт с ними.

Чтобы не заключать так письма, сообщаю, что перевожу уже последний акт «Die Ahnfrau». Бенуа придумал назвать ее «Покойницей» (в скобках — немецкое заглавие) и так поставить на обложке книги и на афише. Я согласен.

Целую.

*Саша.*

**171. Андрею Белому. 24 апреля 1908.  
<Петербург>**

**М**илый Боря.

Я долго не отвечал на Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел «Кубок мете-лей» и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу. С моей точки зрения, там очень много кощунственного, но, так как Ты находил, со своей стороны, кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что Симфония эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не поймет. Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту Симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю (но и никто не понимает). К этому присоединяется ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гишпиус, «обозной сволочи». Я не могу

не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чем-то большем, чем мы, потому что за это всегда говорили и говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина» мистического порядка, и с точки зрения этой истины я принужден признать Твою Симфонию враждебной мне по существу.

Что касается Сережиной «полемики» (?), то я должен сказать, что он понял меня и то, что я писал, столь же тонко, сколько может понять любой высокомерный директор департамента. Мог бы сказать много, но не хочется.

Твой Ал. Блок.

## 172. Матери. 28 апреля 1008. <Петербург>

**М**ама, ты совершенно напрасно беспокоишься.

Ты не бойся, что темно: Слушай, я тебе открою: Все невинно, все смешно, Все божественной игрою Суждено и создано.

Для божественной забавы Я порою к вам схожу. Собираю ваши травы И над ними ворожу И варю для вас отравы.

Эти стихи (Сологуба) были лейтмотивом всех походов (и снялись мы на этом основании: Сологуб, я, Сюннерберг и Чулков). — Эти дни тоже было не без пьянства. Под мутно-голубыми и дождливыми рассветами пили мы шампанское, я почему-то (?) наелся устриц — и т. д. Но — «все невинно». Главное, что это не надрыгает меня. Моя жизнь катится своим чередом, мимо порочных и забавных сновидений, грузными волнами. Я работаю, брожу, думаю. Надоело жить одному. «Праматерь» кончена (вчера), «Песню Судьбы» на днях кончаю.

Отчего не напиться иногда, когда жизнь

так сложилась: бывают минуты приближения трагического и страшного, ветер в душе еще свежий; а бывает — «легкая, такая легкая жизнь» (Сологуб).

Может быть, ты и не можешь этого понять, — но неужели ты не можешь согласовать это со мной? Ведь *путь* мой прям, как все русские пути, и если идти от одного кабака до другого зигзагами, то все же идешь все по тому же неизвестному еще, но, как стрела, прямому шоссевному пути — куда? куда? И потом —

Друзья! Не все ль одно и то же: Забыться вольною мечтой В нарядном зале, в модной ложе, Или в кибитке кочевой?

Целую.

*Саша.*

### 173. Матери. 3 мая <1908. Петербург>

**М**ама, ты, верно, не получаешь всех моих писем? На днях я писал тебе, что Люба приедет около 7-го (была телеграмма). Я уж и не знаю, как тебе остановиться на Галерной? Дело в том, что тетя уедет 6-го, не остановишься ли ты там после ее отъезда? Впрочем, вероятно, Аннушки не будет. Очень может быть, что можно и у нас, но я не знаю, какая Люба теперь, на сколько времени она приезжает, и т. д. *Во всяком случае, конечно, приезжай с вокзала прямо на Галерную.* Я надеялся, что ты приедешь на этих днях. И жду тебя каждый день.

А я здесь один — кую свою судьбу и в прежней атмосфере влюбленности, укрепляю мускулы духовные и телесные. Я живу «Песней Судьбы», которую на днях читал маленькому кружку (человек десять) и остался очень доволен впечатлением и отдельными критиками (всех безнадежнее относится по-прежнему тетя, она как-то внутренне не признает, и я совсем не верю ей относительно этого своего любимого детища). Завтра читаю «Песню



Судьбы» у Чулковых. Будут слушать: Л. Андреев с женой, Чулковы, Сологуб, Вольнский, два издателя («Факелы» и «Шиповник»), Налепинский, Вяч. Иванов, Сюннерберг, Лансере с женой, Волошин, Кузмин, Щеголева, Жилкин с женой и многие другие. Потом, может быть, буду читать труппе Станиславского. Я собираю и тщательно выслушиваю все мнения как писателей, так и неписателей, мне очень важно на этот раз, как относятся. Это — первая моя вещь, в которой я нащупываю не шаткую и не только лирическую почву. Так я определяю для себя значение «Песни Судьбы» и потому люблю ее больше всего, что написал. Очень хочу прочесть ее себе в новом, отделанном виде. Жду тебя. Целую.

*Саша.*

174. М. А. Кузмину. 13 мая <1908.  
Петербург>

Милый Михаил Алексеевич.

Вчера я всю ночь не спал, а днем бродил в полях и смотрел на одуванчики, почти засыпая, почти засыпая. Потому Вы и не застали меня. А сейчас проспал 13 часов без снов и встал бодрый; ясный воздух, читаю Вашу книгу вслух и про себя, в одной комнате и в другой. Господи, какой Вы поэт и какая это книга! Я во всё влюблен, каждую строку и каждую букву понимаю и долго жму Ваши руки и крепко, милый, милый. Спасибо.

Любящий Вас Александр Блок.

P. S. Если увидите еще Hans Guenther'a, поклонитесь ему от меня.

175. М. И. Пантюхову. 22 мая <1908.  
Петербург>

Разве я не откровенен с Вами, дорогой Михаил Иванович? Нет, я не скрываю ничего и не «оберегаю». Но я чувствую все больше тщету слов. С людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и др., — я разошелся; отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической «лжи изреченных мыслей». И я совершенно не умею сказать прозой лучше, чем говорю стихами.

Одиночество не победить сравнением мистических переживаний, я глубоко уверен в этом. Может быть, одиночество преодолимо только ритмами действительной жизни — страстью и трудом. Остальное — сны. Но неужели Вы думаете, что я отказываю в реальности Вашим снам? Это было бы равносильно моему отказу от собственного сна. Я только не хочу говорить, лучше — *не могу* говорить.

На днях уезжаю отдохнуть в деревню неде-

ли на две.

Ваш А. Блок.

**176. В. А. Щеголевой. 24 мая 1908.  
<Петербург>**

**П**ростите меня, ради бога, многоуважаемая Валентина Андреевна. Если бы Вы знали, как я *не могу* сейчас, главное — внутренне не могу: так сложно и важно на душе. Сегодня получил Ваше письмо и думал; но — не могу, право, поверьте. И еще — я, должно быть, уеду на той неделе в деревню. Не сердитесь на меня, пожалуйста. Целую Ваши руки. Я хотел писать Вам совсем не о том.

Преданный Вам Александр Блок.

177. Л. Д. Блок. 9 июня 1908.  
Шахматово

**М**илая моя. Я приехал сюда 4-го, а твое письмо получил только на днях. Странно, ты пишешь, что тебе показалось, что я думаю о тебе. Я думаю каждый день — в Петербурге и здесь.

Странно жить здесь без тебя в пустом доме. Наши деревья всё пышнее, сирень покрыта цветами, будут сильно цвести жасмины, ирисы и лилии. Только розы замерзли. Но отходят.

Очень часто я хочу писать тебе. Но ты так далеко, и я многого не могу понять в твоём письме. Что значит, что ты все лето будешь одна?

К 1 июля я думаю все-таки опять вернуться в С.-Петербург. Большею частью я в очень бодром настроении. Но очень бесплодна жизнь.

Когда ты думаешь вернуться, и есть ли у тебя зимние планы?

Господь с тобой.

*Саша.*

Что и как ты играешь? — Бывает у тебя когда-нибудь желание приехать в Шахматово? Эти два письма я получил еще в Петербурге, — 150 р. Подгорному послал. — Получила ли ты 50 р., которые я послал в Грозный 29 мая по телеграфу (до востребования)? Больше и раньше послать не мог, потому что Рябушинский надувал и Ваня дал только Лизе 100 р. Если тебе надо еще денег, напиши; у меня скоро будет — много.

**178. Л. Д. Блок. 14 июня 1908.  
Шахматово**

**М**илая, только сегодня утром пришла твоя телеграмма, я ответил на нее. А твое письмо (второе) я получил третьего дня и ношу с собой. На него я могу ответить тебе только, что думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день, и я живу все время тем, что жду тебя. До сих пор я не могу определить, должен ли я жить один; я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна — другого слова не придумаешь. Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь

мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но не знаю. Здесь очень тихо — жарко, сыро и пышно. Наш сад растет. Я бываю много один. Переделываю «Песню Судьбы». Может быть, даже и кончу ее к 1 июля, когда вернусь в Петербург. Туда меня тянет. Здесь трудно жить без тебя. Я думаю о том, что ты вернешься в августе и мы вместе будем жить здесь осенью. Что ты думаешь об этом? Я не знаю, когда ты вернешься. Досадно получать письма, которые идут около недели, и самому досадно писать. Но у меня очень постоянная надежда на то, что мы могли бы прожить здесь золотую осень, Меня тянет теперь опять в Петербург. У меня очень дружеские и настоящие, даже трогательные отношения с Чулковым (и, конечно, с Женей). И хорошие отношения с Сюннербергом. Может быть, устроим журнал (!). Кроме того, Ф. Ф. Коммиссаржевский будет в Петербурге, надо обсудить «Праматерь». У Бравича — оспа. Петербург необыкновенно красив теперь. Там привлекательно то, что легче переживать это какое-то *переходное* в жизни время — от встречи до встречи с тобой. Очень много

средств забывать о времени и произвольно устанавливать дни и ночи. А здесь нет этих средств — без тебя. Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов. А вообще письма писать я умею, по-прежнему.

«Песня Судьбы» все так же важна для меня. Но теперь еще по-новому, точно я еще больше ее пережил и смотрю на нее объективнее и свободнее. — С Натальей Николаевной я так и не простился, не писал ей и не получал от нее писем. Теперь ты видишь, как я живу? Читала ли ты «Корабль» д'Аннунцио? Прочти — это очень искусная трагедия.

А что же сцена? Это очень важно для тебя?

Получила ли ты деньги из Грозного? Там лежат 50 р., посланные по телеграфу в конце мая. Надо ли тебе еще? Если надо, я пришлю из Петербурга.

Твои письма мне получать важнее всего, хотя и досадно, потому что — запоздалые. Настанет ли когда-нибудь время, что мы перестанем разлучаться?

Твой.



## 179. Л. Д. Блок. 24 июня <1908>. Шахматово

Моя милая.

Время ползет без тебя какое-то тусклое, бесплодное. Здесь почти не перестает дождь — серый, осенний. Я начал сильно тосковать. Беспокоюсь о тебе, думаю постоянно о тебе. Жизнь тащится зачем-то, — и ты зачем-то в каком-то Боржоме; я совершенно уверен, что тебе там делать нечего. Эти дни я немного ждал тебя, думал, что ты оттуда уедешь. Что за охота проваливаться где-то на краю света с третьестепенной труппой? Не люблю я таких актеров, ох, как не люблю, заодно с Гете и Ибсеном.

Беспокоюсь о тебе, моя милая. Тебе все еще грустно? Если бы ты вернулась сюда, я не возвращался бы в Петербург. А теперь — ворочусь через шесть дней, а зачем — нетвердо знаю; больше потому, что без тебя не сидится в тишине. И что писать тебе, — не знаешь, интересно ли тебе вот в эту минуту, когда ты читаешь то, что я писал десять дней назад.

«Песня Судьбы» кончена вчера. — Почему

ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, что ты сомневаешься в том, как я тебя встречу. — Получаешь ты мои письма? — Это, кажется, уж шестое — и последнее из Шахматова.

Я как-то тоже устал. Мне во многих делах очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочел тебе ничего. Давно чужие люди зашаркали нашу квартиру. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. Ко многим людям у меня в душе накопилось много одинокого холода и ненависти (Мережковские, разные москвичи с г. А. Белым во главе и некоторые другие). Мне надо, надо быть с тобой. А ты — хочешь ли быть со мной? То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого из этого я как-то не говорю даже маме. А если ты не поймешь, — то и бог с ним — пойду дальше так. Ты не имеешь потребности устроить нашу жизнь так, чтоб и комнаты ожили? Или ты все еще не поймешь «быта»? Есть ведь на свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью. Беспокоюсь о тебе.

Твой.

Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что, если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже «актерского» быта мало на свете ям. Коммиссаржевская играет мою (т. е. Грильпарцерову) Бертю.

**180. Л. Д. Блок. 18 июля 1908.  
Петербург**

Сегодня пришло твое первое письмо от 11 июля. Какое мрачное для меня письмо. Все то, о чем я думаю, оно подтвердило. Мне жить становится все невыносимее. То, как я теперь живу, ненужно, холодно и пусто. Неужели же и ты такая же, как я? Ты пишешь уже так привычно о «волне своего сумасшествия». И в письме этом — прежде всего — «Марья Ивановна» Чирикова (поздравляю вашу труппу с победой искусства), а потом — все остальное. Да, так, вероятно, и должно быть. А что же значит — «верю в себя и тебя»? Тоже — по привычке? Если тебе больно читать все это, то я пишу это не для твоей боли, а от своей. Знаешь ли, что я тебе скажу? Если я буду про-

должать жить так, как теперь, — без особых событий, выпивая иногда, веря до глубины одному только человеку — Евг. Иванову, не имея подле себя живой души, — этого не надолго хватит: душа становится старой и седой. Из этого совсем не следует, что тебе нужно предпринимать что-нибудь.

Что же, действительно — плод всех прошлых горьких красивых и торжественных годов — «Марья Ивановна», Боржом, Гельсингфорс, захудалая провинция, «зеленая скука» с «покучиваньем», актерство, развязность, «свобода» от всего «рабского»... и от всего свободного? — Или это все — только временная крошечная тьма, и настанет другое?

Целый день я ехал по сияющим полям между Шахматовым, Рогачевым и Бобловым. Только недавно. В лесу между Покровским и Ивлевым были все те же тонкие папоротники, сияли стоячие воды, цвели луга. И бесконечная даль, и шоссейная дорога, и все те же несбыточные, щемящие душу повороты дороги, где я был всегда *один* и в союзе с Великим и тогда, когда ты не знала меня, и когда узнала, и теперь опять, когда забываешь. А то —

все по-прежнему, и все ту же глубокую тайну, мне одному ведомую, я ношу в себе — *один*. Никто в мире о ней не знает. Не хочешь знать и ты. Но без тебя я не узнал бы этой тайны. И, значит, к тебе относил я слова: «За все, за все тебя благодарю я...», как, может быть, все, что я писал, думал, чем жил, от чего так устала душа, — относилось к тебе.

Пойми же, с каким чувством я посылаю тебе это письмо. Чувствовать я еще не совсем разучился.

## **181. Матери. 18 июля 1908. <Петербург>**

Действительно, мама, удивительная вещь — «Не могу молчать». Толстой благодарил здешние газеты за напечатание (потому что во всей России газеты, напечатавшие статью, — притом это еще не вся, а только [22]/з часть, остальное — в иностранных газетах, — оштрафованы или закрыты, и казна наживет на этой статье тысяч 10–15). В мае Толстой получил статью Леонида Семенова (тоже о казнях), и был очень взволнован ее концом (говорил, что ему давно не приходи-

лось читать ничего подобного, это рассказал мне Женя), и написал, очевидно, под влиянием Семенова.

Приехали Мережковские, ходят втроем по редакциям. Боюсь встретиться где-нибудь с ними.

Читал «Песню Судьбы» Городецким и Мейерхольду. Мейерхольд сказал очень много ценного — сильно критиковал. Я опять усумнился в пьесе. Пусть пока лежит еще. Женя по-прежнему относится отрицательно. А в Царском Селе очень хорошо. Пушкиным пахнет, и огромная даль. Сегодня ночью увидели мы из Царского пожар, думали, что близко. Когда же я вернулся в Петербург, оказалось, что это огромное зарево на Крестовском острове. Я поехал туда. Горела лесная биржа — невиданный костер. Описание прочти в «Речи».

Люба играет много, ее хвалят.

Я чувствую себя необыкновенно скверно, ты права.

Все опостылело, смертная тоска. К этому еще жара непрерывающаяся, днем обливаюсь потом. Пью мало, с Чулковым вижусь реже.

Написал несколько хороших стихотворений. Ужасное одиночество и безнадежность; вероятно, и эта полоса пройдет, как все. Пью все квас.

Целую.

*Саша.*

## **182. Л. Д. Блок. 23 июля 1908. Петербург**

**П**ишу тебе совершенно больной и измученный пьянством. Все это время меня гложет какая-то внутренняя болезнь души, и я не вижу никаких причин для того, чтобы жить так, как живут люди, рассчитывающие на длинную жизнь. Положительно не за что хватиться на свете; единственное, что представляется мне спасительным, — это твое присутствие, и то только при тех условиях, которые вряд ли возможны сейчас: мне надо, чтобы ты была около меня равнодушной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей работе; чтобы ты нашла средство исцелять меня от безвыходной тоски, в которой я сейчас пребываю. Кажется, ни один год не был еще так мрачен, как этот про-

клятый, начиная с осени. Пойми, что мне, помимо тебя, решительно *негде* найти точку опоры, потому что мамина любовь ко мне беспокойна, да я и не могу питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью; если этого никогда не будет, то мне ничего не останется, кроме пустой и зияющей темноты, когда я растрачу все свои жизненные силы. — Только на такое опускание по наклонной плоскости я сейчас способен, потому, может быть, что не имею твердой веры в то, что ты придешь ко мне.

Едва ли в России были времена хуже этого. Я устал бессильно проклипать, мне надо, чтобы человекдохнул на меня *жизнью*, а не только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как это все время делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам — тем больше я втайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний



можно и с ума сойти. — Но неужели же и ты такова?

Посмотри, какое запустение и мрак кругом! Посмотри трезво на свой театр и на окружающих тебя сценических деятелей. Мне казалось всегда, что ты женщина — с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился. Помоги мне, если можешь. Я даже работать не могу, не вижу цели. И эти дни все похожи один на другой, ужасно похожи. И если подумаешь, что еще много таких, совсем тошно. Лечь бы и уснуть и все забыть.

Я тебе писал в остром припадке отчаянья, лег отдохнуть. Сейчас у меня, по-видимому, жар, должно быть — простудился. Серьезного ничего не чувствую. Посылаю тебе это письмо бог знает зачем, ведь меньше чем через неделю не получишь. Я вышлю тебе денег, как только меня перестанет надувать вся издательская и театральная сволочь, а сейчас у меня — ни копейки. Если ты не решила совсем бросить меня, приезжай как только можешь скорее. Никогда в жизни я не испытывал *таких* чувств одиночества и брошенности. Верно, предположения мои правильны,

ты перестала помнить обо мне.

Перечитал письмо и все-таки посылаю. Телеграфируй, когда получишь. Я совсем измучен. Только бы поговорить с тобой скорее, что дальше — не знаю. Могу говорить и о сцене.

**183. В. А. Пясту. 24 июля 1908.  
Петербург**

**М**илый Владимир Алексеевич.  
Много раз я собирался к Вам и на скачки и утром, как Вы писали. Но все не собрался, потому что продолжал вести свою идиотскую бродяжническую жизнь (почему-то милую мне!). Теперь наконец у меня лихорадка, чему я очень рад, потому что последнюю неделю уж очень отвратительно и безвыходно тоскливо чувствовал себя. Ну, до свиданья. Если обстоятельства сложатся лучше, чем я думаю, я уеду в деревню августа 10-го, а до тех пор мы увидимся, может быть, с Вами. Хотелось бы прийти к Вам или видеть Вас у себя. Пожалуйста, поклонитесь от меня Нонне Александровне.

*Любящий Вас Александр Блок.*

## 184. Л. Д. Блок. 2 августа <1908. Петербург>

Может быть, правда, твои письма закрывают тебя от меня. Ведь я не упрекал, и ты не обижайся, ты знаешь ведь, что я не хотел тебя обидеть. Я все время полон мыслями о тебе и только на тебя и надеюсь. Правда, что я не вижу твоей сцены я говорю о ней, может быть, слишком легкомысленно. Но все это — от боли, которая была очень мучительна долгое время, а теперь я надеюсь, что не очень долго осталось ждать, что ты уедешь раньше 17-го, и буду стараться ждать тебя тихо и сосредоточенно. В тот месяц я жил такой растрепанной, бестолковой и скверной жизнью; мне казалось часто, что ничего уже не осталось в мире, за что можно ухватиться. Но, может быть, и есть еще? И ты вернешься ко мне?

Ты расскажешь мне все о себе и о театре. Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве.

Я просмотрел «Песню Судьбы» еще раз. Отдам ее переписать и, кажется, пошлю наконец в Художественный театр. Будь что будет. Мне жаль только, что ты не прочтешь ее целиком и в новом виде до посылки. А может быть, я и подожду с этим тебя. Приезжай, ради бога, скорее, как только сможешь, скорее. Мне пусто и холодно без тебя. А тебе не нравятся те стихи, которые я посылал тебе? Получила ли ты деньги? Господь с тобой, моя единственная.

Твой.

Я думал опять уехать в Шахматово, но теперь уже не стоит; ты ведь скоро приедешь? Знай, что каждый день для меня важен, без тебя точно жизнь проходит зря. И пиши мне чаще, насколько можешь, хоть по два слова. День приезда напиши. Я надеялся, что август мы проведем в Шахматово, и совсем пришел в отчаянье, когда узнал, что ты не приедешь 1-го, как писала. Ну хоть сентябрь проведем, может быть, землю копать будем. Земля ведь многое объясняет.

## 185. З. И. Гржебину. <Сентябрь 1908. Шахматово>

Дорогой Зиновий Исаевич. Отвечаю Вам так скоро, как могу, здесь почта редко. Дело в том, что у меня *нет дубликата*, и что делать, я решительно не знаю. Придется ждать. Неужели нельзя выхлопотать, чтобы эти животные освободили хоть книгу, ничего «политического» в себе не заключающую?

А я ждал давно корректуры и беспокоился. Со всех сторон приходит столько известий о конфискации, обысках, арестах и т. д. Просто — негде работать больше, хоть ничего не пиши. А тут еще университетские дела грозят опять, чего доброго, избиениями.

О пьесе Станиславский все еще не пишет мне — они ждут Метерлинка Приеду я 4 октября. Поправляйтесь, жму Вашу руку.

*Ваш Ал. Блок.*

186. Е. П. Иванову. 3 сентября <1908.  
Шахматово>

**М**илый Женя, в Шахматово хорошо, хотя дождь. Хотелось бы здесь жить подольше. Во-первых, прочел я «Вампира — графа Дракула». Читал две ночи и боялся отчаянно. Потом понял еще и глубину этого, независимо от литературности и т. д. Написал в «Руно» юбилейную статью о Толстом под влиянием этой повести. Это — вещь замечательная и неисчерпаемая, благодарю тебя за то, что ты заставил наконец меня прочесть ее.

А во-вторых — перед отъездом из Петербурга получил я письмо от Андреева, очень замечательное. Покажу его тебе при встрече. Отвечаю ему только сейчас; очень важное письмо — достоевщины в нем не оберешься.

Эхо — два главные впечатления (кроме мрачных юбилейных газет). Живем хорошо — копаюсь в земле, строю забор, рублю лес. Пишу тебе уже в город, думаю, что вы переехали. Иногда грушу по велосипеду. Кажется, надо покупать. Всем твоим от меня, пожалуйста, передай приветствие и низкий поклон.

Крепко целую тебя.

Твой Ал. Блок.

**187. Е. П. Иванову. 13 сентября <1908.  
Шахматово>**

**М**илый Женя, да, знаю все, что пишешь ты Мо Мережковских, о их «обасурманенье». Мне сейчас интереснее их Философов, а ко всем троим остается все-таки какое-то постороннее отношение, уже не враждебное, но чуждое. Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Ключева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов). По приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах. Сейчас много планов, соображений и видов на будущее у меня. Между прочим, я получил письмо Андреева, опять хорошее, правда — хуже первого (не бойся, я о водке писал ему даже отрицательно, как об «отвлеченности» своего рода), но он пишет об «одиноких». Да и ты писал о том же. Мне начинает казаться, что можно бы там кое-чем позаняться, и хочется

поискать среди них людей и написать для них статью, если состоится газета или сборник. Ведь человек, сознавший одиночество или хотя бы придумавший его себе, — более открыт душою и способен воспринять, может быть, чего другой не воспримет.

Разговоров для нас с тобой предстоит целая бездна, потому я и не стараюсь писать все, что сейчас думаю, сколько-нибудь полно. Между прочим (и, может быть, главное) — растет передо мной понятие «гражданин», и я начинаю понимать, как освободительно и целебно это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной душе.

У нас ясно и холодно, сегодня ночью были заморозки, и георгины почернели. Не делаю почти ничего (кроме как топором, лопатой и пр.), но думаю много и хорошо. Гуляем.

Посылаю тебе «Землю в снегу» — третий сборник стихов своих. Ну-ка, как он тебе покажется? Хуже или лучше «Нечаянной Радости»? Хочу, чтобы ты получил его до нашего приезда, который состоится, вероятно, в первых числах октября.

Ах да, *velociped Dux* очень хочу купить, но



вот что: не могу заплатить 1 октября 40 рублей. Если бы можно было назначить первый взнос не *позлее 15-го*, то куплю непременно. А по приезде сразу денег не будет: все уже пропито. Как хорошо не пить ни капли — все совсем по-новому. Хотя признаюсь, что иногда не прочь.

Приветствую всех вас от души и желаю вам всем быть здоровыми, чтобы миновала вас эта страшная холера (Чулков пишет мне о ней хотя и юмористически, но с большой буквы). Крепко целую тебя, милый, и имею сообщить тебе много и крупного и мелкого.

Твой Ал. Блок.

**188. В. И. Стражеву. 14 сентября 1908.**  
**<Шахматово>**

**М**ногоуважаемый Виктор Иванович. Спасибо Вам за Ваши милые слова — первый отзыв о «Земле в снегу», какой я слышал, очень приятно для меня.

Посылаю Вам маленькое стихотворение для «Северного сияния», которое очень меня интересует. Жалею только, что «без политики», знаю, впрочем, что теперь за всякую политику сцапают. И все-таки очень мечтаю о большом журнале с широкой общественной программой, «внутренними обзорами» и т. д. Уверен, что теперь можно осуществить такой журнал для очень широких слоев населения и с большим успехом, если бы... не правительство.

Конечно, спрашиваю Вас о гонораре и о том, будете ли присылать мне журнал?

Я сейчас в деревне (Николаевская ж. д., ст. Подсолнечная, с. Шахматово), а к 1 октября примерно вернусь в Петербург (Галерная, 41, кв. 4). Если успеете, напишите мне два слова сюда.

Искренно уважающий Вас Александр Блок.

**189. Г. И. Чулкову. 18 сентября <1908.  
Шахматово>**

Дорогой Георгий Иванович, ну вот скоро мы и увидимся. Около 1 октября мы уезжаем. Земляной диван вырос, порублено много деревьев, земля изрыта и т. д. Леса все в золоте — хорошо и не хочется уезжать, да и нет особенной надобности, но так уж — пора.

У Станиславского — Метерлинк, потому он все еще не пишет мне о «Песне Судьбы» решительного ответа.

Зачем Вы в Москве? Хорошо ли, что Вы послали телеграмму Рябушинскому? Не было ли ему от этого тяжело? Зин. Гиппиус написала мне очень милое письмо, хотя в нем есть что-то неискреннее. Приглашает в «Образование» и «Утро». Я отвечаю очень пространством изложением своей платформы, упреками за прошлое (и за Вас в том числе) и вопросами. Интересно, какой последует ответ.

Продолжают ли «Весы» заниматься своей дрянью? Если попробуют меня оседлать, я уйду, ибо ничем, кроме прекрасных воспомина-

ний, не связан.

Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспонденцию из Олонецкой губернии от Ключева. Хочу прочесть Вам.

Перечитываю Толстого и Тургенева. Изумляюсь. Написал о Толстом в «Руно» и в сборник, издаваемый в Петербурге, — маленькие заметки.

Приветствуйте от меня Надежду Григорьевну. Скоро ли вернетесь в Петербург? Напишите мне, если успеете.

Желаю Вам уберечься от холеры. Как хорошо не пить водки. Я Вас люблю.

*Александр Блок.*

Я исполнен новых планов!..

190. Г. И. Чулкову. 4 октября 1908.  
<Петербург>

**М**илый Георгий Иванович, Ваше письмо получил я на станции, уезжая. Не беспокойтесь о долге, пожалуйста, и отдайте его лишь тогда, когда Вам будет не трудно. Я пишу Вам уже из петербургской квартиры. Куда и почему Вы забрались? Я у этой Счастливой болтался дня три. Подозреваю, что стены того закутка, в котором стоит кровать, наполнены клопами; да и холодно в этих номерах. Отчего Вы так долго в Москве? Вы один или с Надеждой Григорьевной?

Я еще на улицу носа не показывал, забыл город.

Приезжайте скорей, у меня накопилось и дум и дел — пропасть. В деревне начитался я Тургенева и Толстого, много хорошего узнал у них. Сейчас тихо, немного грустно.

Есть ли что-нибудь хорошее или таинственное в Вашем пребывании в Москве? Или только дела? Возвращайтесь, не пропадайте.

Любящий Вас Александр Блок

Напишите мне еще, пожалуйста.

## 191. Матери. 26 октября <1908>. Петербург

Вчера получил твое письмо, мама. Пишу тебе пока кратко. Самое лучшее пока событие — то, что вчера выпал снег. Остальные события — всё разговоры, иногда с утра до вечера. Во всем этом не хватает чего-то самого существенного. Вижу Мережковских часто, и еще многих других.

Ездили мы с Женей целый день на велосипедах в Царском и в Павловске. Там тишина, сквозные леса, снег запорошил траву. В сквозных парках едут во все стороны очень красивые конвойцы в синих кафтанах на стройных лошадях. Разъезжаются и опять съезжаются. Ни звука. Только поезда поют на разных ветках железной дороги:

Так лет мимотекущих бремя Несем безропотнее мы,  
Когда железным зубом время Нам взрежет бархат вечной тьмы.

Мережковский говорит много и красноречиво о самоограничении, о том, что надо полюбить что-то больше себя. Знаю это прекрасно. Когда придет время, это случится и со

мной. Пока же я говорю со всеми тоже много и красноречиво и волнуюсь, но все кругом темно и скудно.

Кинематограф занимает тоже — лучшая замена покойного театра.

На кладбищах интеллигенции уже не пахнет даже осенней прелью, а стало просто холодно, ясно и далеко слышно.

Мне надо сочинять лекции и статьи в «Русскую мысль» и «Речь». И вообще — проявлять себя часто, красноречиво и с сомнительными результатами. Впрочем, я не теряю присутствия духа.

Чулкова еще нет, и ресторанов почти нет тоже.

Целую.

*Саша.*

192. А. М. Ремизову. 31 октября 1908.  
<Петербург>

Дорогой Алексей Михайлович.

Не отвечал Вам потому, что думал увидеть Вас вчера у Вячеслава Иванова. А туда не попал потому, что пишу об Ибсене для утренника Коммиссаржевской в воскресенье и страшно устал вообще. «Принца Иуду» все-таки надеюсь услышать, если где-нибудь будете еще читать.

Знаю, почему Вы упрекаете меня в «сочиненности» (относительно вечеров), но и Вы знаете, почему я с этим не соглашусь. Это — только — *логический* способ доказать в газете то, что я чувствую, а не то только, о чем я размышляю. А стихи в газете — это совсем другое для меня, и тут я не чувствую «нельзя», потому что я вовсе не «культурный» человек и всегда *далее презираю* всяких Стефанов Георге.

Как не знать мне вашу любовь к русскому языку! — Вы знаете, что Вы испортили себя для меня «Прудом» года на два. Только этим летом я *поистине* зачитался «Чортовым ло-



гом» и «Часами», к которым боялся приступить после «Пруда».

У меня есть для Вас «Земля в снегу», которую я вам передам, если увидимся скоро, или пошлю, если не скоро.

Ваш Ал. Блок.

## 193. Матери. 2 ноября <1908. Петербург>

Вся неделя была деловая, мама. Писал я об Ибсене и бывал в десяти местах: на генеральной репетиции «Саломеи», в религиозно-философском собрании, у Мережковских, у С. Маковского на учредительном собрании нового большого журнала, — и везде говорил.

А сейчас иду в театр — читать об Ибсене. Все это ты, вероятно, знаешь — из тетиного письма и из газет.

Какие-то великие будни.

Надеюсь, что к весне пойдет иначе. Октябрьская тьма тоже способствует усталости.

Не стоит писать подробно о делах, все это уже не интересное, а только должное.

Всего важнее для *меня* — то, что Ключев написал мне длинное письмо о «Земле в снегу»,

где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за «Вольные мысли»). И я поверил ему в том, что *далее* я, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом. Может быть, это и хорошо даже, но еще лучше, что указывает мне на это именно Ключев. Другому бы я не поверил так, как ему.

Письмо его *вообще* опять настолько важно, что я, кажется, опубликую его.

Видел я опять десятки людей. Долго говорил с Л. Андреевым. Поеду к нему в Финляндию.

Кончаю письмо, потому что надо надевать сюртук и идти. Женя будет в театре.

Целую.

Саша.

Пиши мне. Мне твое последнее письмо было очень нужно.

Такие портреты продаются у Аванцо.

## 194. Матери. 5–6 ноября 1908. <Петербург>

Сегодня получил, мама, твое письмо.

Клюев мне совсем не только про последнюю «Вольную мысль» пишет, а про все (я прочту тебе его письмо, когда приеду я или ты); и еще про многое. И не то что о «порнографии» именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце концов, в себе еще люблю. Не то что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе. *Следовательно* (говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но и многих других моих мыслей): между «интеллигенцией» и «народом» есть «недоступная черта». Для нас, вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли. Чем ближе человек к народу (Менделеев, Горький, Толстой), тем яростней он ненавидит интеллигенцию.

6 ноября

На эту тему приблизительно я и пишу се-

годня реферат для религиозно-философского собрания 11 ноября, во вторник.

Мне было очень долго страшно тяжело и скучно, как, вероятно, тебе бывает. Последние дни полегчало. Одна из причин этого — Розанов, который страшно просто и интимно рассказал мне свою жизнь и как-то показался мне близким (хотя и непонятным) человеком.

Оттепель. Петербург и кинематографы мне опять нравятся. Не пью я давно.

Чтение об Ибсене было, по-моему, очень серое (по крайней мере для меня). Сказать мне удалось мало. Как же это тете понравилось?

Я сейчас очень устал от статьи и потому больше ничего не пишу.

Целую.

*Саша.*

У Мережковских бывает хорошо.

Я все забываю сообщить, что тебе обещан перевод — Мопассана листа четыре на месяц. Пока еще нет.

**195. Г. И. Чулкову. 7 ноября 1908.  
Петербург**

**М**илый Георгий Иванович.

Целую Вас нежно за «Снежную Деву», за книгу и за надпись, написанную дрожащим почерком. Давно уже ждет Вас здесь маленькая «Земля в снегу», но с некоторых пор — и большая, настоящая земля в снегу.

Должен сказать Вам, что мне без Вас скучно, и было одно время даже остро скучно. Людей много, и люди хорошие, но Вашего начала очень недостает.

Я неустанно вижусь с Мережковскими, строчу статью за статьей и, наконец, буду читать во вторник на обновленном религиозно-философском собрании! Как это Вам покажется?

Милый Георгий Иванович, возвращайтесь в мрачный город, любимый Вами; свидимся опять; может быть, как всегда, немного не людски и немного странно; но видеться и вместе шататься по миру судила нам Судьба.

Московские северные сияния слишком общедоступны, а московские лебеди — какие-то

кривоносые. Ведь ибсеновские «королевские мысли» рождаются все-таки в Петербурге, и настоящая северная чума свирепствует здесь. В Москве ужасно, должно быть, уютно, а поистине неприятно — здесь.

*Любящий Вас Александр Блок.*

**196. К. С. Станиславскому. 7 ноября  
1908. Петербург**

**Г**лубокоуважаемый Константин Сергеевич. Простите, что тороплю Вас с ответом относительно моей пьесы: дело в том, что мне сейчас предлагают печатать ее, да и надо бы напечатать по денежным соображениям, а я чувствую себя и в этом отношении в зависимости от Вашего решения.

Если Вы успели прочесть мою переделку, напишите мне, пожалуйста, находите ли ее приемлемой для театра и хотите ли поставить? Если да, то можно ли все-таки печатать ее теперь, или Вы хотите, чтобы она осталась ненапечатанной до постановки?

По всем причинам, и внутренним и внешним, очень важен для меня Ваш ответ.

Не знаю сейчас, надо ли еще работать над

«Песней Судьбы». Теперь по крайней мере не умею к ней подступиться, еще слишком она близка. А недостатки, кажется, есть, и большие. Но только ли это недостатки, или целый порок?

Искренно преданный Вам *Александр Блок*.

## **197. Матери. 16 ноября 1908. Петербург**

Сижу и чувствую, что мне 28 лет. От Любы получен в подарок кошелек, в который нечего класть, тетя обещала заранее подарить Тургенева, сделав вид, что 30 августа она уже его не подарила, а от маменьки даже поздравления нет! Не очень-то все это почтительно!

«Речь» ты, должно быть, сегодня читаешь, а вот вырезка из сегодняшнего «Слова». Все газеты ежедневно рассуждают об «инциденте». Писала ли тебе об этом тетя?

Станиславский телеграфирует: «В этом сезоне пьесу поставить не успеем. Подробности письмом через неделю. Приходится советовать печатать пьесу». На этот сезон я и не рассчитывал, но можно ли рассчитывать на бу-

душций?

Получил я очень хорошее письмо от Вячеслава Иванова о «Земле в снегу».

После религиозно-философского собрания мы с Женей пришли пить чай к нам, а через полчаса позвонила очень милая девушка — из публики... русская, дочь священника. Очень глубокая и мрачная. 18 лет. Сидела она у меня до третьего часа ночи. Она знает все, что я писал, не только стихи, но все статьи. Хорошо знать, что есть такие читательницы. Важнее всего, что, по всему судя, она пришла с тем, чтобы спросить (не прямо, а косвенно, больше не у меня, а у моей «силы», которую она во мне видит) — стреляться ей или нет. Ушла, кажется, светлее, чем пришла.

На собрании слушали меня очень хорошо, после собрания обступили сектанты — человек пять, и зовут к себе. Пойду.

А к Мережковским приходил Струве, совершенно возмущенный моим рефератом. И намекал, что он, как редактор, имеет право не пропустить такой «наивной» статьи «только что проснувшегося человека» в «Русскую мысль». Ближайшим последствием этого мо-



жет быть разрыв Мережковских и с «Русской мыслью», они говорят, что будут стоять за мою статью, как за свою. Я говорю, что им необходим свой журнал. Философов говорил со мной о положении их очень откровенно.

Вчера мы с Женей пошли от Мережковских на представление новой пьесы Л. Андреева «Любовь студента» («Дни нашей жизни»). Это — ужасающая плоскость и пошлость, систематическая порча людей. Отныне для меня заподозрен и весь прежний Андреев. «Любовь студента» — плоская фотография, наглый пессимизм. Всё в совокупности (с актерами, играющими, в общем, *хорошо*, и с размазанными проститутками из партерного бонда) — вонючий букет, который портит душу. И тут же — эти вечные девушки, полукурсистки, полушвейки, с русско-еврейскими испуганными и похотливыми глазами; Шалпин, стреляющий глазами из ложи; стареющие актрисы, около которых почему-то зажимаешь инстинктивно нос, как будто от них должно пахнуть потом.

У меня самое лучшее впечатление от моего реферата. Я увидел, что были люди, кото-

рым я нужен и которые меня услышали.

Во вторник — собрание религиозно-фило-софского общества для обсуждения инцидента. Там я встречу с А. Белым (ты получила «Весы»?).

Жаль, что тебя здесь нет. Здесь интересно. Я опять деятельно настроен.

21-го повторю лекцию об Ибсене в театре.

Г. И. Чулков очень мил, хотя и половинчат в своей «нескромной насмешливости».

На днях приходил бедняга Мейерхольд. Смотрит вопросительно, как-то затравлен. Очень уж его, по-видимому, третируют александрийские мастодонты. Однако он занят «Тристаном» для Мариинской сцены.

Ну вот. Целую тебя.

*Саша.*

Не хочу я ехать к Андрееву. — Эркмана-Шатриана я еще не прочитал. — «Прама-терь» выйдет, верно, во вторник. — Читала ли ты о том, как один из наших «кавалергардов» (барон Врангель) дал пощечину М. П. Боткину? — На вернисаж «в присутствии Елисаветы Маврикиевны» я не пошел, хотя и получил приглашение! А выставка замечательна,

говорят, надо пойти.

**198. С. А. Венгерову. 24 ноября 1908.  
<Петербург>**

**Г**лубокоуважаемый Семен Афанасьевич.

Спасибо Вам от всей души за Вашу книгу и за Ваш отзыв обо мне, для меня — драгоценный.

По поводу доклада моего «Россия и интеллигенция» завтра в религиозно-философском собрании будут прения. Тем не менее вчера я уже сговорился с Е. Д. Кусковой и повторю с великой готовностью доклад у Вас в Литературном обществе 12 декабря.

Д. С. Мережковский передавал мне то, что Вы просили его напомнить, — относительно заметки для Толстовского сборника. Дело в том, что я уже давно (в сентябре) послал такую краткую заметку по адресу: Невский, 92 (в «Комитет съезда представителей русской печати»). Если она пропала (хотя я послал за казным), то у меня есть черновик.

Искренно преданный Вам *Александр Блок.*

**199. К. С. Станиславскому. 29 ноября  
1908. Петербург**

**Г**лубокоуважаемый Константин Сергеевич. Телеграмму Вашу я получил и очень жду письма. Вы знаете, конечно, как мне важно иметь от Вас определенный ответ: примете ли Вы пьесу для будущего сезона? От этого зависят условия печатания. Если бы Вы ответили мне, что пьеса пойдет в будущем году наверное, я бы не стал ее печатать сейчас и ждал бы постановки.

Если бы была какая-нибудь возможность, я бы приехал в Москву переговорить с Вами. Но сейчас я в работе по горло.

Простите меня за то, что так пристаю к Вам с пьесой; но меня очень заботит ее участь.

Если что-либо в пьесе Вас не удовлетворяет, напишите мне, пожалуйста. Разочаровались ли Вы в ней после переделки? Или она представляет слишком большие трудности для театра? Ведь сам я тут совсем не судья. А между тем душа моя просит сцены для этой пьесы — в противоположность всем осталь-

ным, какие я до нее писал.

Вы понимаете, глубокоуважаемый Константин Сергеевич, как неприятно оставаться в неопределенном положении в таком важном для меня деле; потому не осудите, прошу Вас, искренно преданного Вам *Александра Блока*.

**200. С. А. Венгерову. 4 декабря 1908.**  
**<Петербург>**

Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич. Сегодня, получив Ваше письмо, я заходил к Вам. Я хотел только предупредить Вас о следующем: доклад мой очень невелик — всего минут на 20–25; собственно литературная часть его — о Горьком — для меня дело десятое. На первый план я ставлю вопрос о том, как интеллигенции найти связь с народом. Не делая никаких выводов, я высказываю только соображения, определяющие постановку вопроса. Таким образом, тема моя, может быть, слишком выходит за пределы литературы, и каждым словом своим я стремлюсь подчеркнуть свой панический страх перед словесностью в *этом* именно вопросе. При-

няв все это во внимание, найдете ли Вы такой реферат подходящим для Литературного общества?

Я, со своей стороны, готов прочесть и этот доклад, но, может быть, Вы будете иметь что-либо против?

Страничку о Толстом я переписал и приложил к последней своей работе, которую занес Вам сегодня.

Преданный Вам *Александр Блок*.

## **201. К. С. Станиславскому. 9 декабря 1908 Петербург**

**Г**лубокоуважаемый и дорогой Константин Сергеевич.

За письмо Ваше — спасибо Вам горячее и от души. Как можете Вы думать, что оно для меня досадно, обидно или неинтересно. Оно мне и важно и дорого, со всем, что Вы пишете, я считаюсь глубоко, принимаю к сердцу. И, конечно, мне дорого прежде всего Ваше внутреннее отношение ко мне и к этой моей пьесе, Ваше внутреннее «да» и «нет», — потом только вопросы принятия, постановки и т. д.

Ведь тема моя, я знаю теперь это твердо,

без всяких сомнений — живая, реальная тема; она не только *больше меня*, она больше всех нас; и она всеобщая наша тема. Все мы, *живые*, так или иначе к ней же придем. Мы не пойдём, — она сама пойдёт на нас, *уже пошла*. Откроем сердце, — исполнит его восторгом, новыми надеждами, новыми силами, опять научит свергнуть проклятое «татарское» иго сомнений, противоречий, отчаянья, самоубийственной тоски, «декадентской иронии» и пр. и пр., все то иго, которое мы, «нынешние», в *полной мере* несем.

*Не откроем сердца — погибнем* (знаю это как дважды два четыре). Полуторастамиллионная сила пойдёт на нас, сколько бы штыков мы ни выставили, какой бы «Великой России» (по Струве) ни воздвигли. *Свято нас растопчет*, будь наша культура — семи пядей во лбу, не останется от нее камня на камне.

В таком виде стоит передо мной моя тема, *тема о России* (вопрос об интеллигенции и народе, в частности). Этой теме я сознательно и бесповоротно *посвящаю жизнь*. Все ярче сознаю, что это — *первейший* вопрос, самый жизненный, самый *реальный*. К нему-то я

подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и *знаю*, что путь мой в основном своем устремлении как стрела, прямой, как стрела — действенный. Может быть, только не отточена моя стрела. Несмотря на все мои уклонения, падения, сомнения, покаяния, — я *иду*. И вот теперь уже (еще нет тридцати лет) забрезжили мне, хоть смутно, очертания целого. Недаром, может быть, только *внешне* наивно, *внешне* бессвязно произношу я имя: *Россия*. Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или гибель. К возрождению национально-самосознания, к новому, *иному* «славянофильству» без «трех китов» (или по крайней мере без китов православия и самодержавия) и без «славянства» (этого не предрешаю, но мал ведь и мало реален вопрос хотя бы о Боснии и Герцеговине) влечет, я *знаю*, *всех нас*.

Ибо мера нашей утонченности исполнилась, т. е. утонченность уже вошла в плоть и кровь, всегда с нами, мы уже не трепещем за нее (конечно, я говорю «мы» лишь в предчувствии новых людей, пока их, несомненно, мало); и потому мы *вправе* стать *реалистами* в новом смысле. Все эти слова мои — в ответ на



1) Вашу тревогу о том, что в пьесе моей я все твержу: Россия; 2) в знак полного моего согласия с Вашим утверждением, что все «измы» в искусстве включаются в «утонченный, облагороженный, очищенный реализм».

Теперь: что касается в частности, «Песни Судьбы», то сам я о ней мало знаю, лучше сказать, жива она для меня самого до сих пор *настолько*, что и Вашими словами я не убеждаюсь до конца.

Может быть, Вы правы, сами лица неживые (за исключением некоторых). Но всех их я нежно люблю, большую часть — ясно перед собою вижу.

Что касается Ваших исследований о «математической точности человеческой природы» (вообще это место Вашего письма), то тут, и по намекам Вашим, я догадываюсь о чрезвычайной ценности Ваших наблюдений.

Понимаю Вас, понимаю это стремление художника к «математике» в высшей степени. С этой точки зрения в «Песне Судьбы» *наверное* сделано много ошибок.

Хочу, чтобы Вы услышали меня, чтобы Вы знали, что нет в моем «народничанье», что

ли, — тени публицистического разгильдяйства, что я ни в каком случае не хочу забывать «форму» для «содержания», пренебрегать математической точностью, строжайшей шлифовкой драгоценного камня. Но *камень-то*, который я, может быть, не сумел отшлифовать в «Песне Судьбы», — он драгоценен. Сам-то я — плохой мастер, кощунствующий «лирик», — и не моя заслуга, что камень попался мне в руки. Но раз он — в руках у меня, я поражен его сиянием, я *каюсь* в своем кощунстве, я *должен* найти в себе силу, терпение и жертвенность мастера.

Вы лично и дело Ваше всегда были и есть для меня — пример строжайшего художника. В Вас я чувствую и силу, и терпение, и жертвенность, и *право строжайшего суда*. Верю Вам глубоко; потому, возвращаясь к пьесе, я вовсе не тревожусь о судьбе ее по существу; знаю, что, если надо, Вы ее полюбите, если не надо — отвергнете, руководясь математикой искусства, любовью к строгим истинам его. Вижу в Вас художника, которому мало *только* красоты и *только* пользы, которому необходимо покрывающее и исчерпывающее то и

другое — *Прекрасное*. И, по всему этому, верю в Ваш *реализм*. Конечно, Вы знаете это.

Прилагаемую статейку просмотрите, когда будет свободная минута, если интересно. Я посылаю ее только в дополнение и разъяснение моих мыслей о России, набросанных в этом письме.

Всего не написать, конечно. Может быть, надо поговорить. А я боюсь слов ужасно, в их восторге легко утонуть. Потому-то я и хочу принципиально постановки пьесы, если не «Песни Судьбы», то какой-либо иной (теперь той новой, которая уже сидит во мне, сладко мучает меня вновь); ибо *театральное действо* уже больше слова. Надо, чтобы тема моя, в жизненности которой я убежден, проникла не только в уши слушателей, но в очи, в сердце, в волю *зрителя*. Если слово — *смутное предчувствие*, то — театральное представление может стать настоящим, пробуждающим от спячки и бросающим в блеск и муть живой жизни ударом бича.

До свидания, дорогой Константин Сергеевич. Если придете к какому-либо выводу в дальнейшем, напишите мне. Вы знаете те-

перь, как я Вас слушаю и как мне важно Ваше слово.

Преданный Вам *Александр Блок*.

Р. С. Думаю печатать «Песню Судьбы» в альманахе «Шиповник», когда — еще не сговаривался.

## **202. Матери. 14 декабря 1908. <Петербург>**

**М**ама, я не пишу тебе без конца потому, что все дни очень полны, постоянный наплыв дум и дел.

«Иронию» я все забываю взять из «Речи», но скоро возьму и пришлю. — Буду опять писать дневником, я сохраняю календарные листки.

Прежде всего — длинейшее письмо Станиславского. Суть его в том, что он полюбил меня и «Песню Судьбы», но не полюбил ни одного из действующих лиц. Перечитывал пьесе раза четыре, пишет массу соображений — очень скромно, очень хорошо. Я ответил ему длинейшим письмом, главным образом о том, что для меня — Россия, относительно которой он недоумевает. Впечатление и у меня

и у Любы, что пьесы он не поставит, и я об этом не горюю, потому что верю в Станиславского. Если действительно нет причин обходиться без театра, он поставит, если — хоть одна против театра, — не надо. Мережковский предлагает в Александринку, но я прошу подождать, да и не очень хочу Александринки, от нее все хуже пахнет. — 18-го буду читать «Песню Судьбы» нескольким человекам у нас.

7 декабря был я у Жени на рождении его. Тогда же связался опять с Либерсон (основательница кружка одиноких) и г-жой Санжарь (казачка, сегодня буду слушать ее пьесу; она — типа людей, случайно не самоубившихся, вроде Свенцицкого или Брюсова).

9-го был у Мережковских, которые в ужасе от Москвы, «Русской мысли», булгаковских кружков и многого другого.

10-го спорил с Чулковым не на жизнь, а на смерть — о «России и интеллигенции».

11-го объяснялся по тому же поводу с Городецким, который просит тебе поклониться. Он — очень хороший, все такой же, но мы с ним не согласны.

12-го, как ты читаешь, вероятно, в сегодняшних газетах, читал в Литературном обществе. Об этом подробно напишет Люба. Оживление было необычайное.

Всего милее были мне: речь Короленко, огненная ругань Столпнера, защита Мережковского и очаровательное отношение ко мне стариков из «Русского богатства» (Н. Ф. Анненского, Г. К. Градовского, Венгерова и пр.). Они кормили меня конфетами, аплодировали и относились как к любимому внуку, с какою-то кристальной чистотой, доверием и любезностью. Зал был полный. Венгеров говорит, что на заседании Литературного общества никогда не было такого напряжения. Я страшно волновался хорошим внутренним волнением, касающимся темы, а не публики. К публике я окончательно привык. — В «Правде жизни» мой доклад не будет, потому что — длинен. 30-го читаю еще, вероятно, «Культуру и стихию» в религиозно-философском обществе (после Вяч. Иванова о «Русской идее»). Где напечатаю «Россию и интеллигенцию», — еще не знаю.

13-го отдыхал от чрезмерных разговоров

разговорами несложными и купался в ванне. Зато сегодня днем буду у Мережковских, ранним вечером слушаю Санжарь, а поздним — у Сологуба. Завтра — у Копельмана, послезавтра — религиозно-философское собрание (доклад Мейера).

Отчего ты мало пишешь?

Целую.

*Саша.*

Тетю не вижу давно. О комнате для тебя думаю, тетя уж говорила об этом.

## **203. С. К. Маковскому. 23 декабря 1908 Петербург**

**М**ногоуважаемый Сергей Константинович. Вот Вам любимый мой цикл, пожалуй, лучшее, что я писал в этом году (из лирических стихов). Нравятся ли Вам эти стихи?

Здесь 120 строк. Больше не посылаю Вам, потому что хочу, чтобы этот цикл появился отдельно, ничем не разбавленный. Буду очень Вам признателен, если сможете перевести мне гонорар за него до выхода. Крепко жму руку.

*Ваш Александр Блок.*

## 204. С. А. Венгерову. <1908. Петербург>

**Г**лубокоуважаемый Семен Афанасьевич.  
Прошу Вас, примите Якова Анисимовича Горувейна по неотложно важному общественному делу. Если Вы не сможете помочь ему сейчас (помощь необходима сегодня же, как он расскажет Вам), то, может быть, сможете указать ему, куда он мог бы обратиться. Лично я не обращаюсь к Вам только потому, что сам сейчас отправился хлопотать по этому делу. Прошу Вас извинить нас с Я. А. Горувейном за то, что беспокоим Вас в неурочные часы, но, как Вы узнаете из рассказа его, помощь действительно неотложна, так как людям, о которых хлопочет Я. А. Г., грозит смертная казнь.

Преданный Вам *Александр Блок.*



205. А. Н. Чеботаревской и Ф. К.  
Сологубу. 22 января 1909. <  
Петербург>

**М**илые Анастасия Николаевна и Федор Куз-  
мич.

Получив сейчас письмо, хотел зайти погово-  
рить, да боюсь, что мы совсем бесплодно  
будем говорить и Вы не убедитесь. Право, не  
обращайтесь ко мне с такими просьбами. Я  
говорю совершенно прямо: если бы я умел  
быть легким и веселым, я бы непременно  
принял участие в затее постановки «Ночных  
плясок». Это совсем не то, о чем Вы пишете,  
Анастасия Николаевна, и не соответствует  
чтению на эстраде; против таких затей я ни-  
чего не имею. Но зато я и не умею. Мое вы-  
ступление в роли очень большой, трудной,  
требующей грации и развязности, в роли иро-  
нической, — будет очень безвкусной пароди-  
ей на «юного поэта» и на самого себя, даже ес-  
ли бы я загримировался и долго репетировал.

Если Вы *меня* любите, не настаивайте. Ес-  
ли будете настаивать, значит Вы любите не

меня, а мою тяжелую и неповоротливую маску, которая *мне* всегда доставляет мучение.

Кроме всего этого, мне теперь очень трудно вообще Вы знаете, что мы с Любовью Дмитриевной со дня на день ждем ребенка.

Вы думаете, что у меня нет искушения опять поддаться Маскараду? Преодолеть его гораздо труднее.

В Маскараде — большой квиетизм и *laissez faire*[23], когда Маскарад *временный*.

Страшно играть масками и подмостками. Можно пойти на такую игру, только зная с уверенностью, что после нее уже не проснешься. Или — так легко, как Бенуа. Но у меня нет такой легкости; не сердитесь на меня.

Любящий Вас *Ал. Блок*.

**206. Ф. Ф. Коммиссаржевскому. <29  
января 1909. Петербург>**

<...> Сейчас вернулся из театра и приношу мою глубокую и искреннюю благодарность глубокоуважаемой Вере Федоровне и Вам за постановку «Праматери». Представьте себе, что я не только наслаждался, но интересовался тем, что будет дальше, хотя знаю трагедию наизусть... Хотелось бы лично передать Вам это и многое еще, но не мог прийти за кулисы потому, что переживаю очень трудные для себя дни и прячусь от людей. Часы после поднятия занавеса были самые лучшие, так отрадно было смотреть на Вашу работу, на декорации Бенуа и слушать свои стихи, которые я люблю, но которые сегодня показались мне слишком интимными для сцены и для Грильпарцера. Пожалуй, он грубее и страстнее. Но это впечатление Вы восстановили своим ритмом <...>

207. А. Н. Чеботаревской. 30 января  
1909. <Петербург>

Дорогая, глубокоуважаемая Анастасия Николаевна, не надо, не надо, прошу Вас. Вы не можете себе представить, как мне трудно и тяжело — не только сейчас, но весь этот сезон. Даже когда вижу людей, которых люблю, хочу от них прятаться. А это доказывает уже, что пришли очень черные дни. Когда я говорю шутливо, мне ужасно не до шуток, страшно тяжело. Думаю, что эта тревога имеет совсем не одни личные основания. Вы слышали, что делается с А. Белым? Право, я понимаю его и только не хочу распускаться.

А можно бы.

Может быть, все мои основания и доводы кажутся Вам бездоказательными. Это *только* оттого, что мы такие разные, разных темпераментов. Но ведь и у Вас останавливается сердце перед некоторыми явлениями. И скоро придет время, когда у всех нас сердце сожмется перед одним и тем же (и это куда *важнее* землетрясений).

А теперь вот что: И. И. Ясинский редакци-

рует журнал «Новое слово», издаваемый Прошпером.

Журнал с гонорарами, но будет в течение года рассылаться бесплатно при «Биржевых ведомостях» по всей провинции в количестве 150 000 экз. И. И. ездил к Федору Кузмичу на Широкую улицу, там узнал, что он переселился, а потом встретил меня и очень просит передать Федору Кузмичу, что он хотел бы получить от него рассказы и стихи. За стихи платят 50 коп., а относительно гонорара за рассказы можно условиться с издателем. Пожалуйста, передайте это Федору Кузмичу, которого приветствую горячо.

Преданный Вам *Ал. Блок.*

**208. В. В. Розанову. 17 февраля 1909.  
<Петербург>**

**Г**лубокоуважаемый Василий Васильевич.

Прочитал я обе заметки Ваши в «Новом времени», в которых Вы говорите обо мне. Хочу написать Вам сейчас только так — несколько слов, потому что надеюсь ответить подробно на все в печати, если дадут место в «Речи». Мне очень легко возразить Вам по каждому пункту, но, пожалуй, не могу сговориться с Вами в одном: т. е. точно так же, как Вы останетесь совершенно собою, так я останусь в *этом* одном — представителем разряда людей, Вам непонятных и даже враждебных, представителем именно *интеллигенции* (так как Вы говорите обо мне, в сущности, как о представителе группы, а упоминая о «декадентстве», «индивидуализме» и т. д. метите мимо меня). Я очень рад именно тому, что я имею право возразить Вам именно как представитель *группы* лиц; и потому возражать я буду меньше всего — глубокому мистiku и замечательному писателю Розанову, больше всего — «нововременцу» В. В. Розанову. Вели-

кая тайна, и для меня очень страшная, — то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливости и дух... «Нового времени».

Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского «гуманизма». Дед мой — А. Н. Бекетов, ректор СПб. университета, и я по происхождению и по крови «гуманист», т. е., как говорят теперь, — «интеллигент». Это значит, что я могу сколько угодно мучиться одинокими сомнениями как отдельная личность, но как часть целого я принадлежу к известной группе, которая *ни на какой компромисс* с враждебной ей группой не пойдет. Чем более пробуждается во мне сознание себя как части этого родного целого, как «гражданина своей родины», тем громче говорит во мне кровь. Я не отрицаю, что я повинен в декадентстве, но кто теперь в нем не повинен, кроме мертвецов? Думаю, что и Вы его не избегли, потому что оно — очень глубокое и разностороннее явление.

Так вот, не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя

кровь говорит мне, что смертная казнь и всякое уничтожение и унижение личности — дело страшное, и потому я (это — непосредственный вывод, заметьте, тут ни одной посылки для меня не пропущено) не желаю встречаться с Пуришкевичем или Меншиковым, мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская епитрахиль или поповская ногайка. Все это мне *по крови* отвратительно. Что *старому* мужику это мило — я не спорю, потому что он — уже давно раб, а вот молодым, я думаю, всем это страшно, и тут — что народ, что интеллигенция — вскоре (как я чаю и многие чают) будет *одно*.

Очень заговорился, хотел бы еще много сказать Вам, но лучше оставлю до статьи. Только вот еще: Вы неверно меня цитируете в обоих случаях; кроме того, знаю я эту любовь к мелочам быта, люблю ее в Вас лично ужасно и боюсь ее в Вас как писателе. Позвольте мне, в числе многих других и как бы уже не



от своего лица, сказать Вам, что этой любовью, этой прелестью и нежностью невольно прикрываются самые страшные ямы — сентиментальность и жестокость — родные сестры. Уж лучше, я думаю, быть «бесчувственным».

Искренно Вас уважающий *Александр Блок.*

**209. Л. Я. Гуревич. 19 февраля 1909.  
Петербург**

**Г**лубокоуважаемая и дорогая Любовь Яковлевна.

Спасибо Вам за письмо. Ужасно жалею, что Вы не были вчера, у меня осталось самое радостное впечатление: очень хорошо и внимательно слушали, и потому сам я читал лучше, чем обыкновенно. Посылаю Вам драму, когда прочтете — перешлите ее, пожалуйста, мне. Если напишете несколько слов о ней, — спасибо, но я знаю, как это трудно и досадно иногда; если не захочется, не пишите.

Преданный Вам *Алекс. Блок.*

**210. В. В. Розанову. 20 февраля 1909.  
<Петербург>**

Спасибо Вам за письмо, дорогой Василий Васильевич. Не могу я судить о Ваших личных отношениях с Мережковскими и не хочу знать о мотивах Вашего взаимного расхождения: просто — не интересуюсь, и не могу интересоваться тем, во что не имею возможности проникнуть: ведь эти отношения — страшно глубокие и давнишние, основание их — идейное, следовательно, и оценит их будущий историк литературы. Я просто не хочу оценивать сейчас, очень ценя лично как Вас, так и Дмитрия Сергеевича и Зинаиду Николаевну.

А я хочу сейчас только сказать Вам в ответ свои соображения по важнейшему для меня пункту Вашего письма: о терроре. Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем «дай полизать крови». Но вот:

Сам я не «террорист» уже по тому одному, что «литератор». Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных, будь то Пле-

ве, Трепов или Игнатъев. И, однако, *так сильно озлобление* (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террора *сейчас*. Ведь именно «литератор» есть человек той породы, которой суждено всегда от рожденья до смерти волноваться, ярко впечатлеть в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени. Для писателя — мир должен быть обнажен и бесстыдно ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского. Оттого — нет ни минуты покоя, вечно на первом плане — «раздражительная способность жить высшими интересами» (слова Ап. Григорьева). Ничего «утомительнее» писательской жизни и быть не может. Теперь: как осужу я террор, когда вижу ясно, как при свете огромного тропического солнца, что: 1) революционеры, о которых стоит говорить (а таких — десятки), убивают, как истинные герои, с сияньем мученической правды на лице (прочтите, например, 7-ю книжку «Былого», недавно вышедшую за границей, — о Каляеве), без малейшей корысти, без малейшей надежды на спасение от пыток, каторги и казни, 2) что

правительство, старчески позевывая, равнодушным манием жирных пальцев, чавкая азефовскими губами, посылает своих несчастных агентов, ни в чем не повинных и падающих в обморок офицериков, не могущих, как нервная барышня... из Медицинского института, видеть крови, бледнеющих солдат и геморроидальных «чинов гражданского ведомства» — посылает «расстрелять», «повесить», «присутствовать при исполнении смертного приговора».

Ведь правда всегда на стороне «юности», что красноречиво подтверждали и Вы своими сочинениями всегда. Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость, семидесятилетний сифилитик, который пожатием руки заражает здоровую юношескую руку. Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица. Пускай даже она не созрела, пускай часто отрочески не мудра, — завтра возмужает. Ведь это ясно, как божий день.

Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во

вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России. Если где эти заветы хранятся, то, конечно уж, не в сердцах «реальных политиков» (хотя бы реальнейших из них и живейших — кадет), не в столыпинском, не в романовском, — но только в тех сердцах, которые тревожно открыты, в мыслях, которые вбирают в себя эту концепцию, как свежий воздух.

Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то, уж конечно, — только в сердце русской революции в самом широком смысле, включая сюда русскую литературу, науку и философию, молодого мужика, сдержанно раздумывающего думу «все об одном», и юного революционера с сияющим правдой лицом, и все вообще непокладливое, сдержанное, грозное, пресыщенное электричеством. С этой грозой никакой громоотвод не сладит.

Преданный Вам Ал. Блок.

## 211. Матери. 23 февраля 1909. <Петербург.>

<...> Мы хотим ехать в Венецию и Флоренцию сначала.

Розанову я не стану отвечать.

Вообще подумываю о том, чтобы прекратить всякие статьи, лекции и рефераты, чтобы не тратиться по пустякам, а воротиться к искусству. В этом меня убеждают Люба и разные другие лица.

Думаю, что на это крайне вознегодуют Мережковские, к которым я не иду все — не хочется. Ужасно они отвлеченные люди. А к их речам о Христе, которые теперь, судя по фельетонам, возобновились (и постоянно способны возобновляться, как холера), я отношусь опять со скукой и досадой.

Можно писать разве изредка для народа и очень изредка — фельетоны, — и то если это не повредит ощутительно. Кроме того, и вообще писать надо бы поменьше, чтобы не впасть в андреевскую стряпню.

Болтливая зима и все прочее привели меня опять к опустошению, у меня не хватает

творчества на четыре стиха. Надеюсь — не навсегда.

Самое трудное при этом, конечно, заработок. Если печататься реже, он будет меньше. Надо что-нибудь изобрести. А что ты об этом думаешь?

Целую крепко.

*Саша.*

**212. Л. Н. Андрееву. 4 марта 1909.  
<Петербург>**

Дорогой Леонид Николаевич.

И у меня сейчас затянувшийся бронхит, так что я безвыходно сижу дома. Потому сообщаю Вам письмом все свои соображения о «Песне Судьбы».

После многих перечитываний, переделок, разговоров и переписки со Станиславским я пришел к убеждению, что пьеса еще не доведена до той отчетливости, когда ее можно ставить на сцене. Может быть, она не прошла еще и полдороги. Не говорю даже о явственных теперь для меня самого недостатках в целых диалогах (которых у меня, однако, нет еще сил исправить), есть в целом какая-то

несвязность. То, что все это я сам все яснее вижу, очень меня утешает, но вместе с тем убеждает, что не надо еще производить над пьесой никаких манипуляций, кроме печати. Печатать пора, хотя бы впоследствии возникли новые варианты и переделки, потому что я хочу, чтобы услышали то, что для читателя уже сказалось. Но преподносить в таком виде зрителю через лапищи актера — все равно что посыпать солью незатянувшуюся рану: только хуже будет болеть.

Все это Вы, конечно, поймете. Пока же только хочу поблагодарить Вас — за приглашение и в дело и к Вам. Сейчас я ужасно изнервлен и опустошен зимними событиями, пуще всего хочу выбраться из Петербурга.

Крепко жму Вашу руку.

*Александр Блок.*



## 213. Матери. 13 марта <1909. Петербург>

**М**ама, я вкладываю в Любино письмо только эту записочку. Всего все равно не описать. — Мы уже послали за заграничным паспортом и вывесили объявление о сдаче квартиры. — На Гоголевском вечере не буду читать, что-то расстроилось. Вчера очень хорошее впечатление оставил у нас Вал. Брюсов. Я чувствую к нему какую-то особенную благодарность за его любовь к стихам, он умеет говорить о них, как никто. И я с ним говорил, как давно уже не говорил ни с кем, на языке, понятном, вероятно, только поэтам. Он очень оценил мои переводы из Гейне.

Чтение «Песни Судьбы», по-видимому, тоже не состоится. — Сегодня мы идем наконец в «Зигфрида». — Толстой поправляется. На днях, однако, Зинаида Николаевна получила от него письмо — совсем старческим почерком. Карточки его я знаю. Целую крепко.

*Саша.*

Завтра буду у Зинаиды Николаевны — с В. Г. Успенской.

«Песня Судьбы» выйдет в IX альманахе в апреле, а «На поле Куликовом» — в X-м — в мае. — Андреев написал мне обиженное и злое письмо — за мой отказ. Но я отказал уже и Мейерхольду, который, по-видимому, был совершенно уверен, что он будет ставить пьесу на будущий сезон в Александринке.

Новых стихов нет пока. А вот, я думаю, в Венеции, Флоренции, Равенне и Риме — будут.

В Петербурге — серо, то снег, то ливень. Мрак и слякоть. Иногда весна похожа на осень.

Немножко подвинулась пьеса. Тернавцева не слушал.

Получила ли ты Зайцева — в подарок? (мне он прислал).

## 214. Матери. <12–13 апреля 1909. Петербург>

**М**ама, ты пиши нам приблизительно так: с 18–23 IV–Venezia, poste restante, A. Block. Следующую неделю — Figerize, р. г., потом — Roma, р. г. Впрочем, мы это напишем точно отсюда. Наш круговой билет взят.

Имей в виду, что дворник предупрежден, что ты и тетя можете всегда приехать на нашу квартиру. Объявление о сдаче ее снято до нашего возвращения. Французский ключ у дворника. Посылаю тебе «Итальянский сборник», в котором ты обрати внимание на Толстого и Гиппиус. Сегодня иду к Мережковским прощаться.

В Шахматово с сегодняшнего числа переведены «Речь», «Слово» и «Наша газета». Если найдешь на моем столе интересные для тебя журналы, читай их.

*13 апреля*

Вчера днем мы с Любой были у Мережковских, простились и перецеловались. Я их люблю все-таки всех трех: в них есть вкус, злоба и

воля. — А вечером я воротился совершенно потрясенный с «Трех сестер». Это — угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся, каким-то чудом не заплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины, которую я завтра, слава тебе господи, покину. И даже публика — дура, — и та понимает. Последний акт идет при истерических криках. Когда Тузенбах уходит на дуэль, наверху происходит истерика. Когда раздается выстрел, человек десять сразу вскрикивают плаксиво, мерзко и искренно, от страшного напряжения, как только и можно, в сущности, вскрикивать в России. Когда Андрей и Чебутыкин плачут, — многие плачут, и я — почти. Я не досидел Метерлинка и Гамсуна, к «Ревизору» продирался все-таки сквозь полувековую толщу, а Чехова принял всего, как он есть, в пантеон своей души, и разделил его слезы, печаль и унижение; и, должно быть, всех все-таки искреннее в театре, хотя и сидел на великолепном казенном месте. Тут же болтался Л. Андреев, который, несмотря на свою картонность, все-таки трогательно волновался и злился.

Несчастливы мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву — для злобы и ссоры друг с другом. Все живем за китайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий враг наш — российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники — не показывают своего лица, а натравливают нас друг на друга.

Из всех сил постараюсь я забыть начистоту всякую русскую «политику», всю российскую бездарность, все болота, чтобы стать человеком, а не машиной для приготовления злобы и ненависти. Или надо совсем не жить в России, плюнуть в ее пьяную харю, или — изолироваться от *унижения* — политики, да и «общественности» (партийности).

Сейчас пришло твое злое тоже письмо. На квартиру приезжай непременно, все распоряжения сделаны. Тетина квартира все еще не сдается, оказывается, это не так легко. Целую крепко. Завтра уедем.

*Саша.*

Я считаю теперь себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях.

## 215. Г. И. Чулкову. Апрель 1909. <Петербург>

Милый Георгий Иванович.

Наконец-то собираюсь Вам написать. Никогда еще не переживал я такой темной полосы, как в последний месяц — убийственного опустошения. Теперь, кажется, полегчало, и мы уедем, надеюсь, скоро — в Италию. Оба мы разладились почти одинаково. И страшно опостытели люди. Пил я мрачно один, но не так уж много, чтобы допить до крайнего свинства: скучно пил.

А Вы продолжаете жить один и не видеть людей? И хорошо?

Напишите мне в Шахматово. Из заграницы мы вернемся туда — месяца через 2–3 теперь. Квартирu сдаем — пока тщетно. Пишется вяло, и плохо, и мало. Авось все это летом пройдет.

Ну, целую Вас, милый. Надежде Григорьевне поклон. Осенью увидимся — не правда ли?

*Ваш Ал. Блок.*

## 216. Матери. 7 мая 1909. Венеция

Получила ли ты, мама, от меня карточку? Не удивляйся, что я долго не пишу, здесь очень трудно и читать и писать. Даже сейчас не знаю, о чем писать. Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно. Наши комнаты выходят на море, которое видно сквозь цветы на окнах. Если смотреть с Лидо, весь север окаймлен большими снежными вершинами, часть которых мы проехали. Вода вся зеленая. Это все известно из книг, но очень ново, однако, — новизной не поражающей, но успокоительной и освежающей. Дня через три мы уедем в Падую. Жить спокойно, просто и дешево. Очень многие мои мысли об искусстве здесь разъяснились и подтвердились, я очень много понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии за Беллини и Боккачио Боккачино, окончательно отвергнув Тициана, Тинторетта, Веронеза и им подобных (за исключением некоторых деталей).

Здесь открыта еще международная выставка, на которой представлена вся современная живопись (кроме России). Общий уровень совершенно ничтожен, хотя выставлен почти весь Штук, Цорн и Дегаз. Но итальянская старина ясно показывает, что искусство еще страшно молодо, что не сделано еще почти ничего, а совершенного — вовсе ничего: так что искусство всякое (и великая литература в том числе) еще все впереди. Здесь хочется быть художником, а не писателем, я бы нарисовал много, если бы умел. Среди итальянских галерей и музеев вспоминается Чехов в Художественном театре — и не уступает Беллини; это — тоже предвестие великого искусства. Несчастную мою нищую Россию с ее смехотворным правительством <...>, с ребяческой интеллигенцией я бы презирал глубоко, если бы не был русским. Теперь же я знаю, что все перечисленное, и даже все видимое *простым* глазом, — не есть Россия; и даже если русские пентюхи так и не научатся не смешивать искусства с политикой, не поднимать неприличных политических споров в частных домах, не интересоваться Третьей ду-



мой, — то все-таки останется все та же Россия «в мечтах».

Вчера приехала Анна Ивановна, которая совершенно нам не мешает, а мне даже развлекательно и легко болтать с ней о пустяках. Люба ходит в парижском фраке, я — в венском белом костюме и венецианской панаме. Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Все очень тихо, лениво и отдохновительно. Хотим купаться в море. Наконец-то нет русских газет, и я не слышу и не читаю неприличных имен Союза русского народа и Милюкова, но во всех витринах читаю имена Данта, Петрарки, Рескина и Беллини. Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидеть свою другую родину — Европу, и Италию особенно.

Ну, пойду бродить опять. Крепко целую тебя. Напиши во Флоренцию.

*Саша.*

## 217. Матери. 13 мая <н. ст.> 1909. Флоренция

**М**ама, сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны. Сегодня я получил твое первое письмо, адресованное сюда, предыдущие два, очевидно, пропали, хотя я велел переслать их из Венеции.

В Равенне мы были два дня. Это — глухая провинция, еще гораздо глуше, чем Венеция. Городишко спит крепко, и всюду — церкви и образа первых веков христианства. Равенна — сохранила лучше всех городов раннее искусство, переход от Рима к Византии. И я очень рад, что нас туда послал Брюсов; мы видели могилу Данта, древние саркофаги, поразительные мозаики, дворец Теодориха. В поле за Равенной — среди роз и глициний — могила Теодориха. В другую сторону древнейшая церковь, в которой при нас отрывали из-под земли мозаичный пол IV–VI века. Сыро, пахнет как в туннелях железной дороги, и всюду гробницы. Одну я отыскал под алтарем, в темном каменном подземелье, где вода стоит на

полу. Свет из маленького окошка падает на нее; на ней нежно-лиловые каменные доски и нежно-зеленая плесень. И страшная тишина кругом. Удивительные латинские надписи. Флоренция — совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают. Я пишу из хорошего отеля, где мы уже взяли ванны. Может быть, потом переселимся подешевле, но вообще — довольно дешево все. Во Флоренции надо засесть подольше, недели на две. Мы были уже у Porta Romana и у рынка, я очень смутно помню направления только и, пожалуй, — Арно, а все остальное — ничего не напоминает. Потом поедем в Перуджию и в Рим. Я сейчас прибежал домой от грозы, но она уже прошла, и опять жарко.

Люба напишет тебе скоро. Твоему письму сегодня очень обрадовался, так как уже начал беспокоиться. Больше ни от кого нет ничего. Сегодня я просмотрел в первый раз «Речь», увидел, что закрыта «Наша газета». Ты пиши тоже почаще — во Флоренцию, потом в Рим, все — р. г. Сегодня, а может быть, и завтра — ничего осматривать не буду, приятнее — слоняться и узнавать город. Те два для

меня — как на ладони, а Флоренция велика, и с ней труднее освоиться.

Самочувствие все еще не слишком хорошее. Мы оба еще не совсем окрепли, хотя уже теперь гораздо лучше. Я покупаю картинки, а Люба — древности. Целую крепко тебя и тетю.

Пиши. Сейчас уйду опять.

*Саша.*

Очень бы хотел, чтобы с Шахматовым у вас все устроилось благополучно.

**218. В. Я. Брюсову. 25 мая <н. ст>  
1909. <Флоренция>**

Дорогой Валерий Яковлевич. Приветствую Вас из Флоренции. И здесь, и в Венеции, и в Равенне по-новому и с особенной значительностью вспоминаю Ваши стихи. В Риме, кажется, не буду, потому что и здесь до сумасшествия жарко.

Любящий Вас Александр Блок.

## 219. Матери. 25–26 мая <н. ст> 1909. Флоренция

Мама, послезавтра мы уезжаем из Флоренции, не знаю еще куда: едва ли в Рим, потому что здесь уже нестерпимо жарко и мушкетеры кусают беспощадно. Но Флоренцию я проклинаяю не только за жару и мушкетеров, а за то, что она сама себя предала европейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все свои дома и улицы. Остаются только несколько дворцов, церквей и музеев, да некоторые далекие окрестности, да Боболи, — остальной прах я отрясаю от своих ног и желаю ему подвергнуться участи Мессины.

Так же, как в Венеции — Беллини, здесь — Фра Беато стоит на первом месте, не по силе, — а по свежести и молодости искусства. Рафаэля я полюбил, Леонардо — очень, Микель-Анджело — только несколько рисунков. Мы привезем с собой массу снимков.

От тебя давно нет писем, а за все время — только два (во Флоренции). Из Венеции не переслали, из Рима — тоже не надеюсь. Получила ли ты наши карточки?

Ближайшая цель — Перуджия, потом — скорее всего — прямо Пиза, т. е. море около нее.

В нашем пансионе — очень неуклюжий лакей. Хозяин, заранее рассчитывая на его неловкость, называет большинство кушаний: сгите *renversft*, *fraise ecrasft*, *boeuf brisft* etc[24]. Мы сыты, хотя с одной стороны сидит английская художница с расстегнутой спиной, с другой — *m-me von Lebedeff*, упражняющаяся в английском и французском языках, с третьей — громко хрюкающий англичанин, с четвертой — внушающее уважение немецкое семейство. У меня страшно укоротился нос, большую часть съели мускиты. Папиросы мои вышли, а здесь каждая стоит около тысячи лир, так что я курю только десяток в день. Перед одним окном хозяин насадил сад для четырех кошек, а перед другим — маляры стараются один перед другим засыпать пылью мою кровать, спеша достроить изящную виллу к приезду английского короля. Арно высохло, так что вместо воды мы умываемся черным кофеем, а мороженое привозят только раз в месяц из Стокгольма.

Все это несколько преувеличено. Я беспокоюсь о том, где вы и что с Шахматовым. Напиши об этом *поскорее в ПИЗУ*. Решительно, после Перуджии, Ассизи, Сиенны (это всего несколько дней) мы будем там и поселимся, по-видимому, в устье Арно (Восса сTArrio), чтобы купаться в море. Я ничего не знаю о России, не вижу газет, напиши, если что-нибудь произошло. Пишут ли что-нибудь о «Песне Судьбы», и вышла ли она? Не написал ли кто-нибудь чего-нибудь хорошего? — Целуем вас с тетей крепко.

*Саша.*

Отныне не хочу терпеть больших городов — довольно и Петербурга. В Рим надо ездить зимой.

**220. Е. П. Иванову. 7 июня 1909.**  
**Сиенна**

**М**илый Женя, крепко целую тебя. Мы в Сиенне, это уже *одинадцатый* город. Воображение устало. На душе еще довольно смутно. Завтра уедем к морю, может быть, купаться. Из итальянских газет я ничего, кроме страшно мрачного, не вычитываю о России. Как вернуться — не понимаю, но еще менее понимаю, как остаться здесь. Здесь нет земли, есть только небо, искусство, горы и виноградные поля. Людей нет. Но как дальше быть в России, я не особенно знаю. Самым страшным и царственным городом в мире остается, по видимому, Петербург. Мы поедем на Рейн, когда иссякнут деньги, а это случится скоро. Ну, до свидания, всех твоих от души приветствуем мы оба. Хорошо ли служит велосипед?

Твой Саша.



## 221. Матери 19 июня 1909. Милан

**М**ама, мы в Милане уже третий день и послезавтра уезжаем во Франкфурт. Там проведем несколько дней (в Nauheim'e), потом поедем по Рейну до Кельна, а из Кельна, осмотрев его, прямо в Берлин и Эйдкунен. В Шахматово надеемся быть в конце июня, значит. Надо признаться, что эта поездка оказалась совсем не отдохновительной. Напротив, мы оба страшно устали и изнервничались до последней степени. Милан — уже 13-й город, а мы смотрим везде почти все. Правда, что я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь — ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, вообще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа.

Я написал несколько хороших стихотворений. Получил от тебя в Пизе (мы уехали из ее Марины и от моря, не купаясь, от скуки и от неприятностей с хозяйкой квартиры) три письма — одно из Флоренции и два из Рима. Я им особенно обрадовался, но теперь опять

давно уже — ничего нет. Меня постоянно страшно беспокоит и то, как вы живете в Шахматово, и то, что вообще происходит в России. Единственное место, где я могу жить, — все-таки Россия, но ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно — всё хуже и хуже.

Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто *некуда* вернуться — на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, — цензура не пропустит того, что я написал. Пишу я мало и, вероятно, буду еще долго писать мало, потому — нужно найти заработок. Обо всем этом я очень хочу поговорить с тобой. Теперь, слава богу, мы наконец скоро объездим все, что полагается по билету. Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма.

Сняться — мы так и не снялись. Как-то не собрались, и не нашли таких фотографий. Да

и как-то глупо теперь сниматься. И я и Люба с этого года слишком мало любим свои лица. Мне иногда мое лицо бывает противно.

Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: — чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей. Всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклиная Флоренцию, люблю Сполето. Леонардо и все, что вокруг него (а он оставил вокруг себя необозримое поле разных степеней гениальности — далеко до своего рождения и после своей смерти), меня тревожит, мучает и погружает в сумрак, в «родимый хаос». Настолько же утишает меня и ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много. Перед Рафаэлем я коленопреклоненно скучаю, как в полдень — перед красивым видом. Очень близко мне все древнее — особенно могилы этрусков, их сырость, тишина, мрак, простые узоры на гробницах, короткие надписи. Всегда и всюду мне близок и дорог, как родной, искалеченный итальянцами латин-

ский язык.

Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет.

Я давно уже читаю «Войну и мир» и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует.

Напиши непременно в Петербург, так, чтобы мы там получили известие. Я перевел все письма на Франкфурт, но не надеюсь получить там ничего. А мне особенно важно иметь от тебя известия о том, как вы там живете.

Целую я и Люба крепко тебя и тетю.

*Саша.*

222. Е. П. Иванову. 9 августа 1909.  
<Шахматово>

Милый Женя, я тебе не пишу и не отвечаю исключительно из-за своего свинства и лени. Между тем твое письмо о «Песне Судьбы» сохраняю я в душе. Пожалуй что критика твоя с точки зрения «мистики» — исчерпывающая. Всему, что ты пишешь, я говорю «да», и соответственно с этим самой «Песне Судьбы» говорю, после многих оговорок, «нет». Ну и бог с ней.

Житье здесь пока что хорошее. Исключительно тяжела была неделя в 20-х; числа июля, когда я возил Любу в Москву в больницу. Не знаю, знаешь ли ты об этом? У Любы сделался нарыв от гланд, опасный, как говорили доктора, и пришлось прорезать его, к счастью — изнутри.

Теперь живем тихо и хотим все жить подольше. Я больше, чем когда-нибудь, строю заборов, копаюсь, рублю дрова и пр. (отсюда и почерк, но и мускулатура и общая бодрость).

Все еще собираюсь с мыслями, потому не хотел бы писать ни о чем по существу.

В последней книжке «Весов» Вал. Брюсов очень хорошо, по-моему, похвалил «Стереоскоп».

Сообщи об этом Александру Павловичу.

Почитываю, подумываю. Собираюсь пописывать стихи. Главное, внутренне готовлюсь к «сезону». Какой-то будет. От Зинаиды Николаевны получил короткую записку, из Швейцарии (впрочем, давно уже), пишет, что собираются вернуться в Петербург раньше чем думали.

Кончаю письмо, что-то стало тяжело на душе.

Всем вашим поклоны, будьте здоровы.

Целую крепко тебя.

Твой *Саша*.

**223. Е. П. Иванову. 20 августа 1909.**  
**<Шахматово>**

**Ж**еня милый, поздравляю тебя с отпуском и радуюсь за тебя — только бы не сгладить! Решительно ничего не лезет в голову, потому опять ничего не пишу по существу. Уже два дня кошу траву вроде Калибабы, и руки дрожат. Сегодня пришла наконец гроза после жарких двух недель.

Езди, пожалуйста, почаще на Ваське и не особенно за ним ухаживай, чтобы он хоть недаром стоял у тебя.

Может быть, к лучшему, что ты не приехал, хотя мы все этого хотели бы очень: но ежедневно ссоры с Кублицкими, натянутые отношения, которые, конечно, хуже всего отражаются на маме.

Целую тебя крепко и низко кланяюсь всем. Наверно, ваши привезли немецких фотографий, очень хотел бы посмотреть — ведь готика!

Я все читаю книги о Возрождении и вычитал много замечательного. Не пишется ничего, хотя иногда тужусь.

Крепко целую тебя и люблю.

Твой *Саша*.

Большая часть времени все-таки уходит на рубку дров и косьбу. Учусь с Любой немецкому языку, авось выучусь.

**224. В. А. Пясту. 20 августа 1909.  
Шахматово**

Дорогой Владимир Алексеевич. «Лучше поздно, чем никогда». Не удивляйтесь такому началу, оно хоть и не оригинально, но глубоко справедливо. Позвольте Вас поцеловать за подарок. Ваша книга еще не вся ясна мне, хотя я читал ее не раз, но уже дорога мне, как знакомым, так и неузнанным.

Надеюсь свидеться с Вами будущей трудной зимой.

Я очень много пережил, передумал, узнал и понял нового в Италии и Германии. Теперь кошу траву и рублю дрова.

«Укрепляюсь». Многое возвращается. Нонне Александровне низко кланяюсь.

Любящий Вас *Ал. Блок*.



225. Е. П. Иванову. 3 сентября 1909.  
<Шахматово>

Милый Женя, пишу тебе так себе, писать решительно не о чем. У нас уже целый месяц — настоящее лето. Я почти еще не думаю о возвращении в город, и не хочется; но скоро (в конце сентября?) придется ехать. Очень много работаю руками и брожу, писать вовсе разучился. Мы вспомнили с сожалением, что твой отпуск кончается. Воспользовался ли ты им, как хотел?

Хочу тебе сказать, что все больше ценю «Стереоскоп» (хотя и не перечитывал его). Еще больше понял его через рецензию Брюсова и через чтение Уэльса. Очень много думаю об этом. Думаю, что это, вместе с Брюсовской прозой, принадлежит к первым в русской литературе «научным» опытам искусства, и глубоко приветствую это. Среди старых писателей намек на эти методы и на этот язык был только у Пушкина. После него наша литература как бы перестала быть *искусством*, и все, что мы любили и любим (кончая Толстым и Достоевским), — гениальная путаница. Этого

больше не будет и не должно быть (говоря преимущественно о «разлитом море» бесконечной «психологии»).

Искусство есть только космос — творческий дух, оформливающий хаос (душевный и телесный мир). О том, что мир явлений телесных и душевных есть *только* хаос, нечего распространяться, это должно быть известно художнику (и было известно Эсхилу, Данту, Пушкину, Беллини, Леонардо, Микель-Анджело и будет известно будущим художникам). Наши великие писатели (преимущественно о Толстом и Достоевском) строили все *на* хаосе («ценили» его), и потому получался удешевленный хаос, т. е. они были плохими художниками. Строить космос можно только *из* хаоса. — Вздумалось написать тебе это из числа бесчисленных моих мыслей такого порядка (о строгой математичности искусства). Напиши, целую тебя крепко.

Твой *Саша*.

Мама последние дни чувствовала себя пре-скверно, особенно по утрам и вечерам. А что у вас?

## 226. В. Я. Брюсову. 2 октября 1909. Петербург

Дорогой Валерий Яковлевич.

Не знаю, в Москве ли Вы теперь, но все-таки хочу Вам писать. Я только что вернулся в Петербург из деревни, где находился под постоянным обаянием третьего тома Ваших «Путей и перепутий». В Италии и в Германии, где я очень много увидел и многому научился, постоянно звучали мне Ваши прежние стихи (не только венецианские или кельнские) — и совсем по-новому. Здесь уже второй день читаю ефроновского Пушкина, особенно — Ваши статьи о «Домике в Коломне» и «Медном Всаднике».

Посылал я Вам открытку из Флоренции, которая полюбилась мне меньше всего, что я видел. Любимыми местами стали Равенна, этрусские могилы, Умбрия (особенно Сполето и Перуджия) и Кельн. Венеция поместилась как-то на особом месте, даже почти вне Италии; ее можно любить примерно как Петербург; как Петербург к России, так Венеция относится к Италии.

Любимыми художниками стали Беллини, Фра Беато и несколько менее плодовитых — венецианской и умбрской школы. Впрочем, и флорентийской и сиенской. Да всего не перескажешь.

Хотя я и собирался в Равенну, но, может быть, не поехал бы туда, если бы Вы не соблазнили. Чувствую, что прилагаемые стихи внушены не только Равенной, но и Вашей поэзией. Потому прошу у Вас позволения посвятить их Вам, если они Вам понравятся. Я их люблю, несмотря на то, что море ушло от Classis'a, кажется, до Теодориха, а «Галла» и «Планида» — одно лицо; но я не мог не посвятить двух строф царице, поныне властвующей над Равенной незримо. Думаю, что она походила на ту египетскую девушку, изображение которой хранится на доске в Александрийской комнате Флорентийского археологического музея. Впрочем, в Уффициях есть картина Карло Дольчи — Плацидия с крестом. Но здесь она — более римлянка, а я думаю, что тип ее — греческий и брови византийские — дугами, как у той египтянки. И была она именно Плакида, а не Плацидия.

Едва ли Равенна изменилась с тех пор, как Вы были там. По-видимому, она давно и бесповоротно умерла и даже не пытается гальванизироваться автомобилями и трамваями, как Флоренция. Это очень украшает ее — откровенное отсутствие людей и деловой муравьиной атмосферы.

Старый храм Аполлинария (в поле — in Classe fuori) ремонтируют с головы до ног. Пол снимают и на глубине около полуаршина открывают куски мелкой римской мозаики, по-видимому IV века.

Совершенно понятно, почему Дант нашел пристанище в Равенне. Это город для отдыха и тихой смерти.

Преданный Вам *Александр Блок*.

P. S. Здесь еще никого не видел. На днях свижусь с Мережковскими, которые уже здесь. Зима предстоит трудная.

A. B.

P. P. S. Не будете ли Вы в Петербурге? Если да, я очень хочу видеть Вас.

**227. А. А. Измайлову. 27 октября  
1909. Петербург**

**М**ногоуважаемый Александр Алексеевич. Всего приятнее было бы мне перевести «Викторию» — любимую мою вещь Гамсуна. Если же она занята, то попрошу один или несколько рассказов из «Рабов любви» или «Голоса жизни» (по изд. Саблина — т. I и III); а именно: «Голос жизни», «Завоеватель», «Уличная революция», «Гастроль» (она же — «Лекция»), «Отец и сын», «Рабы любви».

Будьте так любезны, сообщите мне, могу ли я получить экземпляр поручаемой мне вещи на немецком языке, и если могу, то где? Также — срок.

Если возможна все-таки «Виктория», то я бы особенно настаивал на ней.

Искренно уважающий Вас Александр Блок.

## 228. С. К. Маковскому. 3 ноября 1909. <Петербург>

Дорогой Сергей Константинович.

Болезнь заставляет меня высидеть дома еще с неделю, так что, к величайшей досаде, я не попаду в среду на собрание «Академии».

Вот все мои «Итальянские стихи». Мое личное желание увидеть их напечатанными целиком и в таком же порядке в январской книжке «Аполлона». Черкните мне два слова о том, можно ли это и не имеете ли Вы каких-нибудь возражений против отдельных стихотворений? В частности, я заранее вступаю за первую «Флоренцию», которую, вероятно, никто не одобрит. Но, право, это — не кощунство, а «выстраданное» переживание, так что мне оставалось только вычеркнуть несколько совсем остервенелых строф.

Маленькие примечания, которые я бы сделал, если бы печатал эти стихи в разных журналах «для всех», для «Аполлона», думаю, излишни?

Я колеблюсь в заглавиях четырех стихо-

творений о мадонне — из-за цензуры.

Да пропустит ли она «Благовещенье»?

Душевно Ваш Ал. Блок.

## 229. Матери. 10 ноября <1909. Петербург>

**М**ама, посылаю тебе «Песнь Ада», но непременно верни мне ее, а то невозможно переписывать столько. Я думаю, что тебе она не понравится, как и мне нравится ограничительно, так что ты и для себя переписывать не станешь.

Я поправляюсь медленно, все еще температура повышается, хотя мало. Губа проходит, десны больше не болят. Может быть, позовем еще доктора. Я начинаю думать, что, может быть, тут не без итальянской лихорадки. Но, что бы ни было, всякая болезнь в проклятом Петербурге естественна и разрастается в неопределенные «инфлуэнцы», лечить которые как следует нельзя.

Во всяком случае, я уже третью неделю сижу безвыходно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное «утешение» — всеобщий ужас, который господствует везде,



куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут ее и себя к гибели. Теперь окончательно и несомненно в России водворился «прочный порядок», заключающийся в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко — у каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение (в сфере какой бы то ни было) ведет лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни. Советую тебе, не забывая о своей болезни, всегда, однако, принимать во внимание, что ты находишься в положении не лучшем и не худшем, чем *все остальные сознательные люди*, живущие в России. Потому чувствовать себя *сносно* можно только в периоды забвения об окружающем. На Ревель особенно жаловаться нечего, эта яма не поганее других. Все одинаково смрадно, грязно и душно — как всегда было в России: истории, искусства, событий и прочего, что и создает единственный фундамент для всякой жизни, здесь почти не было. Не удивительно, что и жизни нет.

Я пока ничего не делаю и много сплю.

Спать приятно. Играю в шашки и шахматы, разговариваю и молчу. То и другое бывает сносно.

Для того чтобы забывать о том жалком состоянии, в котором находишься ты, я и все остальные жители России, нужно иметь одну «подкожную» идею или мечту, которая протекает вместе с кровью то спокойно, то бурно, то в сознании, то подсознательно. Такой ты обладаешь, и я тоже, следовательно, еще можно жить.

Целую.

*Саша.*

«Песнь Ада» пришли поскорей, у меня могут ее взять на днях.

**230. С. А. Венгерову. 19 ноября  
1909.<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Семен Афанасьевич. Позвольте предложить Вам для «Сборника Литературного фонда» этот мой перевод знаменитой «Лорелей». Решаюсь остановиться именно на этом стихотворении, так как в нем мне удалось, кажется, передать все тонкости размера, и, насколько я знаю, впервые.

Глубоко Вас уважающий и преданный  
*Ал. Блок.*

**231. Матери. 29 ноября 1909.  
<Петербург>**

**М**ама, на этот раз пишу тебе коротко, потому что устал. Лучшее, что было за эти дни, — обед, который мы устроили Аничкову. Хотя люди собрались не слишком подходящие, ссорящиеся и ссорившиеся, однако была минута очень трогательная, и притом по-настоящему, а не по случаю выпивки, которой тоже было много. Это было 27-го, а 28-го я встал в 6 часов дня. Оттого сегодня и чув-

ствую себя усталым. Утром мы были с Любой в Эрмитаже, а вечером я пойду на совещание новой секции религиозно-философского общества, где встречу, кроме Мережковских, вероятно, с Женей и Ге.

Я не могу относиться к Л. Андрееву так, как ты, потому что иначе люблю искусство или, может быть, больше тебя его люблю. Оно очень жестоко, «хлеба» в нем искать нечего. Это — старые российские заблуждения — об «идейности», «хлебности» и т. д. Оттого Л. Андреев и т. п., -выдающие себя за художников и подражающие художественным методам, — меня все более злят. Впрочем, «Анафемы» я и не читал, да едва ли и буду — не хочу. Когда хочешь хлеба, в искусстве его не найдешь, иначе все было бы гораздо проще и легче. Думаю, что тебе от смешения искусства с другим трудно отделаться, но надо же! Целую.

*Саша.*

## 232. Матери. 4 декабря 1909. <Варшава>

Мама, сегодня были похороны, торжественные, как и панихида. Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. Чувствую нежность к Спекторскому, который тоже впервые является как-то по-новому. Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула.

Как ты? Пиши. Получила ли ты мое первое письмо? Разбор квартиры и дел задерживает меня здесь на неопределенное время. Все это я буду рассказывать тебе в Ревеле с подробностями. Приехать ли мне в Ревель на Рождестве?

Я страшно утомлен физически, а нравственно мне скорее лучше, чем осенью в Петербурге. Пока это отчасти — сильное нерв-

ное возбуждение.

Ну, господь с тобой. Напиши поскорее. Целую крепко.

Саша.

## **233. Л. Д. Блок. 9 декабря 1909. Варшава**

**Л**юба, ты моя милая, я ужасно скучаю по тебе. Постоянно хватает за сердце. Между тем придется, вероятно, пробыть здесь еще не менее недели. Очень много дел и вещей. Большая часть времени уходит на разборку и укладку квартиры. Хорошо, что ты мне пишешь, я получил уже три письма. От мамы только сегодня первое, она пишет, что ей опять хуже. Ты ей напиши и поддержи ее.

Разрешилась ли чем-нибудь твоя история с Ваней? — Смерть Анненского, о которой я узнал только из твоего письма, очень поразила меня. На нем она не была написана — или я не узнал ее. Только что у Дризена он произнес большую и, как всегда, блестящую речь о театре, бодро и громко, как всегда. У него была готова публичная лекция и две книги стихов. — Я везу много вещей, нам надо будет,

думаю, в январе переселиться на хорошую квартиру. Везу и тебе и себе старинные и очаровательные вещи. — Моя сестра и ее мать настолько хороши, что я даже чувствую близость к ним обеим. Ангелина интересна и оригинальна и очень чистая, но совсем ребенок, несмотря на 17 лет. Мария Тимофеевна удивительно простая и добрая. Я не прочь от знакомства с ними. А ты? — Я живу как-то по-новому, вижу много «обыкновенных» людей и к удивлению — очень интересуюсь ими. Чувствую себя большей частью молодым.

Подумываю о том, что мы с тобой скоро поедem, например, в Рим. Я пишу маме, что на Рождестве поеду в Ревель, — я думаю — и ты? Пиши мне. Денег у меня больше, чем у тебя, но ты этого пока не рассказывай.

Зайди к Розанову, если захочешь, с ним может быть уютно. Скажи Жене, что я его целую.

**234. С. К. Маковскому. 23 декабря  
1909. <Петербург>**

**М**ногоуважаемый Сергей Константинович. М. А. Кузмин принес мне сегодня корректуру моих стихов с Вашими замечаниями, и я просил его передать Вам, что я прежде всего принципиально не согласен ни на какие изменения. Сверх того, я должен прибавить, что не согласен и с текстом корректуры, так как я уступил Вам только первую «Флоренцию», но не вторую. Сверх того, внимательно просмотрев Ваши замечания, я должен прибавить, что ничего не имею против некоторых из них (по преимуществу грамматических) внешним образом (но не внутренним); зато одно меня поразило: рядом со словами о «Марке» и о «лунной лагуне» Вы пишете: «Неверно. Лагуна далеко от Марка». Таким образом, Вы подозреваете меня в двойном грехе: в незнании венецианской топографии и в декадентстве дурного вкуса (ибо называть лагуну, освещенную луной, «лунной лагуной» — было бы именно «бальмонтизмом» третьего сорта). Уверяю Вас, что я гово-



рю просто о небесных лагунах — именно о тех, в которых Марк купает свой «иконостас» (в данном случае портал) в лунные Разумеется, это частность, и я перехожу к делу. Этими стихами (вместе со второю «Флоренцией»), каковы бы они ни были, я доволен, готов печатать их и отвечать за них, а исправлять я не могу и не хочу, потому что они мне дороже именно в таком виде. Если же Вы не согласны печатать эти стихи так, как я представлю их в корректуре, мне остается только сожалеть о том неудобстве, которое я доставляю Вам как раз перед выходом очередного номера, и о неловкости по отношению к Н. К. Рериху, которую я всеми силами постараюсь загладить.

Жму Вашу руку.

*Душевно Ваш Александр Блок.*

235. С. К. Маковскому. 29 декабря  
1909. Петербург

**М**ногоуважаемый Сергей Константинович. Сейчас я как раз опять уезжаю из Петербурга — в Ревель и получил Ваше письмо. Хочу только ответить Вам на Ваше недоумение относительно моего несогласия исправлять стихи. Я писал Вам, что ничего не имею против некоторых Ваших замечаний «грамматических» внешним образом. Больше того, разумеется, я признателен Вам за них, но именно только *внешне*. Для меня дело обстоит вот как: всякая моя грамматическая оплошность в этих стихах не *случайна*, за ней скрывается то, чем я *внутренне не* могу пожертвовать; иначе говоря, мне так «поется», я не имею силы прибавить, например, местоимение к строке «вернув бывалую красу» в «Успехе» (сказать, например, «вернув *ей* прежнюю красу» — не могу — не то). Далее: я не говорю, что это так *навсегда*; очень может быть, что, отойдя от стихотворения на известное расстояние, я смогу без жертвы найти эквивалент некоторым строкам — более «грамот-

ный»; может быть, при этом воспользуюсь именно Вашими указаниями, потому и благодарю Вас, и знаю, что Вы относитесь и отнеслись в данном случае к стихам с особой тщательностью и вниманием. — Но *сейчас-то* не могу ничего сделать *от себя*, все дело в этом. Вот причина моего Вам ответа — почти чувство молодой матери, когда ей говорят, что у ребенка такие-то, хоть и мелкие, недостатки; почти физиологическая досада: «ну хорошо, я знаю, а все-таки он и так хорош, и даже *единственно* так хорош — „принципиально“, мне другого не надо». Ну, тут уже пошла «розановщина», поэтому — кончаю письмо. Желаю Вам скорого и окончательного выздоровления и крепко жму Вашу руку.

Душевно преданный Вам Александр Блок.

236. П. И. Карпову. 27 января 1910.  
<Петербург>

**М**ногоуважаемый Пимен Иванович, спасибо за письмо и книжку, которые я только что получил. «Мое дело почти что пропащее», — пишете Вы; следовательно, в Ваше отношение к своему писанию закралось нечто злободневное. Это противоречит моему представлению о Вас (хотя книжки я еще не читал). Зачем Вам заботиться о том, чтобы о книжке писали, и зачем Вам «ценить» мое мнение, когда Вы верите прежде всего в отнюдь не «злободневный» «говор зорь»? Или и Вас уже спутал «город»?

Я бы хотел отнести к Вашей книжке совершенно свободно и, значит, прошу Вас не настаивать на том, чтобы я писал о ней сейчас же. Может быть, напишу и скоро, может быть, и не напишу; главное же, верю, что книжечка эта не пройдет для меня бесследно. Главное — не суетиться около больших дел, в противном случае около них заведутся неправды, обиды, полуискренние речи и т. п.

Я сейчас погружен в суету по поводу дел

маленьких, потому и не уверен, что напишу о книге сейчас. — Зачем «интеллигентам» «браться за плуг»? Вы только представьте себе всю несуразность и уродство положения: какой-нибудь человек с вялыми мускулами плетется по борозде! И поля не допашет, и себя надорвет. Зачем же он в ущерб физической силе развивает силы духовные? Не затем ли, чтобы *победить ложь* в конце концов? Тут уже дело не об «интеллекте» и «народе», а о гораздо большем: пусть всякий человек *какими может и хочет путями* (а пути у всех разные) побеждает *зверство* (уродство) — и государственное, и интеллигентское, и народное, и душевное, и телесное. Зверство повсюду есть. — Это — только мое «крайнее» возражение на одно из Ваших «крайних» мнений.

*Александр Блок.*

237. С. Н. Куликову. 8 марта 1910.  
<Петербург>

**М**ногоуважаемый Сергей Николаевич. Разве можно говорить «вообще» в назначенные часы. Такие разговоры редко удаются. Если бы даже удалось, — у Вас прибавился бы один лишний хороший разговор и у меня один. А это только подчеркивает одиночество и печаль. Если нам с Вами надо говорить, пусть будет это случайно, если где-нибудь встретимся.

*Александр Блок.*

## 238. Матери. 1 апреля 1910. <Петербург>

Мама, сегодня я получил твое письмо. Бодришься и лечишься, что же делать. Я тоже буду бодриться. Хочу в Шахматово. Плотников просит скорей приезжать и посылать Владислава, он уже приготовляет доски и тес. Вчера были Францик и тетя, а также — Ангелина с Марией Тимофеевной. «Речь» не посылаю тебе — там нет ничего интересного, а с 1 апреля все равно будут высылать.

Пришли «Весы» с окончанием «Серебряного голубя». Я еще не дочитал. Там есть такое место: «Будто я в пространствах новых, будто в новых временах», — вспоминает Дарьяльский слова когда-то любимого, им поэта: и тот вот измаялся: если останется в городе, умрет; и у того крепко в душе полевая запала мысль. И невольно слова любимого поэта напоминают другие слова, дорогие и страшные:

*В бесконечных временах  
Нам радость в небесах,  
Господи, помилуй!  
Мы, оставя всех родных,*

*Заключись в полях пустых,  
Господи, помилуй!*

Действительно, во мне все крепче полевая мысль. Скоро жизнь повернется — так или иначе, пора уж. Кошмары последних лет — над ними надо поставить крест.

По тому, что ты пишешь, доктор Соловьев — милый человек. И гораздо лучше, в конце концов, что он — антимистик, не всем же и не вечно видеть изнанку мира и погружаться в сны.

Ах да! Мы с Любой недогадливы. В столе нашлись три тысячи, о которых мы совсем забыли. Ими и покроются все расходы до осени, т. е. до новых получек. — Сейчас Люба у Таты. В субботу она пойдет к докторше.

Господь с тобой.

*Саша.*

Сегодня «Зигфрид», так что я не иду в Академию. Еще более, чем музыки, я хочу, однако, земли, травы и зари.



**239. В. И. Кривичу. 2 апреля <1910.  
Петербург>**

**М**ногоуважаемый Валентин Иннокентьевич.

Конечно, Вы правы. Не в том беда, что она не владеет размерами, рифмами, цезурой, а иногда и русским языком, а в том, — что ее чистая, девическая душа похожа на десятки других. Ее роль в жизни, а не в поэзии, пусть вдохновляет нас, нам слишком нужна чистота.

Спасибо Вам за обещание «Кипарисового ларца». Если найдете экземпляр «Тихих песен», присоедините их, пожалуйста: достать невозможно, а у меня кто-то стянул, кому все не нужно. К счастью, надписи не было.

Жму Вашу руку.

*Ваш Ал. Блок.*

## 240. Матери. 8 апреля 1910. <Петербург>

**М**ама, сегодня пришло твое письмо. Я и хочу жить и собираюсь еще; но чтобы она без надрывов; это не значит — благополучна, потому что благополучия и не нужно; но чтобы не было досадных и внежизненных препятствий, к каковым относятся сейчас преимущественно: твое нездоровье и моя словесность, которая отвлекает меня от творчества. Потому — поправляйся, жить еще можно.

Сегодня я буду говорить в Академии — довольно пространно, не особенно живо, и надеюсь потом замолчать надолго, т. е. не писать статей и не теоретизировать. Мне нужно будет еще только развить свою речь о Врубеле, но это не относится к статьям. Она пойдет в очень хорошем киевском журнале, редактируемом Яремичем, который весь год будет посвящен Врубелю. С Врубелем я связан жизненно и, оказывается, похож на него и лицом (вчера Яремич приносил много рисунков и автопортретов его).

Плотников просит скорее присылать Вла-

дислава, и я опять пишу об этом Францику. Ефим пишет, что рекомендованный им — его двоюродный брат, что он за него вполне ручается, что этот человек знает немного садовое дело и готов прийти для переговоров когда угодно.

Я тебе пошлю на днях «Сборник Литературного фонда».

Главное я, по обыкновению, забыл: Люба была вчера у О. Ю. Каминской, которая сказала, что она совершенно здорова и лечить нечего; так что и это не задержит нашего отъезда в Шахматово, на которое я надеюсь.

На днях у нас очень долго просидел Скалдин — совершенно новый и очень интересный человек. Подозревать его в чем бы то ни было было очень нехорошо.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 241. Матери. 12 апреля 1910. <Петербург>

**М**ама, я вчера получил твое письмо и весь день печалился. Не стоит говорить об этом. Ты прекрасно знаешь мои мысли, и всякие теоретизированья — только вредны. Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил, утром видишь утро, а вечером — вечер, и я тоже буду об этом стараться изо всех сил в Шахматово — первое время, чтобы потом наконец увидеть мир. Я читал в Академии доклад, за который меня хвалили и Вячеслав целовал, но и этот доклад — плохой и словесный. От слов, в которых я окончательно запутался и изолгался, я, как от чумы, бегу в Шахматово. Вероятно, и в моем письме к тебе были какие-нибудь живые слова, которые тебя расстроили, ты бы им не верила.

Вчера Владислав уехал в Шахматово. Я велел ему смирить все комнаты и написать, тогда мы привезем с собой обои. Я купил тебе полотьник и совок, также Любе совок, а себе — пилу, которой можно пилить сучья и

низко и высоко. Пожалуйста, пиши мне, не думай, что я отношусь к тебе строго. Я вовсе не жду, что ты совершенно поправишься, но на некоторое излечение очень надеюсь. Пока еще рано судить. — Господь с тобой, целую тебя.

*Саша.*

Получила ли ты «Сборник Литературного фонда» и еще одну дрянь — красненькую? Может быть, я еще пошлю тебе на днях книжку. Я тут разделался с фельетонами. У нас была уже «Гибель богов» — Ершова чувствовали, и он был рассеяннее, чем обыкновенно. — Если тебе не нужно, пришли мне назад речь о Врубеле, и Женя хочет ее иметь. Или — пошли ему прямо, как хочешь. Я ее совершенно переделаю и напечатаю у Яремича в киевском журнале, который весь будет посвящен Врубелю в этом году.

Я хочу наверху, как мы говорили, сделать во всю стену — книжную полку и хранить там все книги настоящие и будущие, и из дома и из флигеля, оставляя внизу только необходимые и часто читаемые; пусть ни в столовой, ни в гостиной не будет полок (или —

только одна в гостиной). Наверху сухо, это будет и красиво и сохранно.

**242. Е. А. Зноско-Боровскому. 12  
апреля 1910. <Петербург>**

**М**ногоуважаемый Евгений Александрович. Мое сообщение никак не следует печатать. Ведь это — «дела домашние». Публике решительно не должно быть дела до того, как мы живем, ей нужны результаты; и напечатанное — потеряет последнее, что было; для меня — это сухой Бедекер, а для публики — тарабарская грамота. Другое совсем дело — доклад Вяч. Ивановича, на который я ведь только отвечал; там математическая формула, здесь — ученический рисунок. Я хочу мужественного ученичества, а факт напечатания будет свидетельствовать о «женственном (т. е. ни к чему не обязывающем) поучении». Право, не надо печатать.

*Ваш Ал. Блок.*

## 243. В. И. Кривичу. 13 апреля 1910. Петербург

**М**ногоуважаемый Валентин Иннокентьевич.

Спасибо за «Кипарисовый ларец», за надпись и за письмо. Книгу я сейчас просматриваю. Через всю усталость и опустошенность этой весны — она проникает глубоко в сердце. Невероятная близость переживаний, объясняющая мне многое о самом себе. О книге надо писать не рецензию, а статью, да и не в «Речь», а куда-нибудь почище. С «Речью» я все равно разделался до осени, бог с ней. Лучше, когда приду в себя, буду думать о статье для какого-нибудь журнала, если не поставлю креста над статьями вообще, в чем чувствую большую потребность, теперь по крайней мере. — Как жаль, что мы вчера не посидели с Вами мирно у меня; я вернулся ночью от Вячеслава Ивановича после очень серьезного разговора и нашел на столе Ваши траурные каймы. Мне не удастся побывать у Вас в Царском, скоро уезжаю в деревню, — до свиданья, до осени. Жму Вашу руку крепко.

*Ваш Ал. Блок.*

**244. Л. Я. Гуревич. <9–14 апреля 1910.  
Петербург>**

**М**ногоуважаемая и дорогая Любовь Яковлевна.

Винюсь перед Вами: я до такой степени заболтался и недоволен всеми своими писаниями, особенно в прозе, что мне страшно и приступить к воспоминаниям о В. Ф. Коммиссаржевской, которые Вы мне заказали для альманаха. Если напишу, будет непременно ложь, т. е. словесность, т. е. кощунство. Лучше не писать. Я и вообще забрасываю статьи на долгое время и расплачиваюсь в этом отношении с последними долгами, чтобы как можно скорее уехать в деревню. Проклятый город и проклятые слова.

Простите меня за то, что не исполняю Вашего поручения.

Вы избраны в Академию (т. е. в Общество ревнителей художественного слова). Не знаю, посылают ли Вам повестки? Теперь заседания на Страстной, может быть, и не будет.

*Преданный Вам Ал. Блок.*



245. Н. В. Дризену. 16 апреля 1910.  
<Петербург>

**М**ногоуважаемый Николай Васильевич.  
Спасибо Вам за вторую корректуру, я нашел порядочно много ошибок, которые и исправил. За слово «рыдучий» я держался бы, как за народное (в заговорах «Три тоски тоскучие, три рыды рыдучие»); но, если Вам не нравится вычеркните его.

Желаю Вам светлой Пасхи. Я скоро уеду в деревню.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

## 246. Матери. 18 мая 1910. <Шахматово>

**М**ама, ремонт очень затягивается, так что дай бог чтобы кончился к Петрову дню. Надо уж все делать как следует. Выходит, конечно, дорого, зато хорошо и удобно, дом будет совсем отделан. Приехав, ты увидишь крышу зеленую, балкон белый, печи изразцовые и нашу пристройку — двухэтажную! Я очень много этим занимаюсь, а Люба — хозяйством. Теперь работает много народу, Николай пашет, посадили картофель, сею вику, будем чинить загоны, Владислав чистит двор, гумно и пр. после ушедшего наконец Егора, с которым поступлено непреклонно, насколько я только способен.

Пожалуйста, позови себе непременно психиатра со стороны и не скупись на деньги. Об этом пишет мне и Франц. Деньги (есть ли еще у тебя что-нибудь?) мы доставим тебе скоро: или пришлем, или Люба, которой надо лечить зуб и покупать разное для дома в Москве, привезет тебе -300 рублей. Я думаю, если ты пролечишься еще до 1 июля и позо-

вешь постороннего доктора, — это принесет довольно существенные результаты. Ремонт почти немислимо кончить раньше, а жить во время постройки тебе здесь будет неудобно.

Лошади работают хорошо, только у Вороного оказалась та же болезнь, что у вашей ревельской лошади, — мокрец — мокнет около копыт. Люба каждый вечер моет ногу и перевязывает, а также — палец плотнику. Мы наладили почти весь инвентарь уже — и колеса, и сбруи, и пр. — Не пишу я пока ничего — страшно хлопотно с ремонтом. Все рабочие — разных губерний и профессий — интересны, я с ними очень много разговариваю. Каменщики — тверские, печники, плотники и маляры — здешние. Тверские развитее и с идеями.

Напиши мне, как ты относишься к продолжению леченья? — То, что ты пишешь об интересе разных людей к моим стихам, мне довольно приятно, но как-то глухо — не в этом дело. Пусть хоть кто-нибудь переживает теперь то, что я переживал, оплакивал, воскресал и опять хоронил десять лет тому назад. Немножко смешно.

Пиши. Господь с тобой. Целую тебя.

*Саша.*

## **247. Матери. 31 мая 1910. <Шахматово>**

**М**ама, работы подвигаются, главная за-  
держка — за печами. Печник поехал в  
Москву искать еще рабочих.

Вчера приехали Ирина (жена Николая) с  
двумя детьми — славная, и дети славные, и  
Аннушка. Тетя проехала в Сафоново. Сегодня  
Ефим привез летники и сам их сажает — на-  
стоящим садовничьим способом. Обещает на-  
учить этому весной Николая. Я все время на  
постройке. Очень мне нравятся все рабочие,  
все разные, и каждый умнее, здоровее и кра-  
сивее почти каждого интеллигента. Я разго-  
вариваю с ними очень много. Одно их гу-  
бит — вино, — вещь понятная. Печник (стар-  
ший) говорит о «печной душе», младший —  
лирик, очень хорошо поет. Один из маля-  
ров — вылитый Филиппо Липпи и лицом, и  
головным убором, и интересами: говорит все  
больше о кулачных боях. Тверские каменщи-  
ки — созерцатели природы. Теперь работают  
14 человек, и еще придут новые. — Пристрой-

ку мы подождем обшивать (и переход к ней с комнатой), только потолки обошьем. В доме уже стелют полы, которые были склеены раньше (в посту).

Люба хозяйничает, завтра привезут капусту. Все уже в цвету на лугах, что может цвести — пестрое. Жарко, готовится, пожалуй, засуха, в саду на нижней дорожке блекнет трава. Луг под садом зарос такой травой, что пни пропали. — Пиши, в воскресенье от тебя не было письма. Не почувствовала ли ты себя хуже после отъезда Любы? Господь с тобой, целую.

*Саша.*

**248. Е. П. Иванову. 29 июня <1910.  
Шахматово>**

**М**илый Женя, я все время хочу тебе писать и отвечать на два письма; но и сейчас не отвечаю. У меня совсем не поворачивается язык; почти все время я в полном оцепении и если вижу сны, то только от «множества забот». Два месяца неотлучно следил за каждым гвоздем «Валгаллы», она страшно разрослась и до сих пор не кончена. Поеду за мамой в Москву 6-го, будет готова ее комната или нет. Мы выстроили сбоку второй этаж, всё покрыли железом, подняли всё на фундамент, поставили 4 новых (и страшно дорогих) печи и всё красим. Одно время работало 30 человек. Люди всё великолепные («народ», а не «интеллигенция»), но... если куда спасешься, то на Запад? Не знаю и этого. Оцепение происходит вовсе не от Валгаллы и даже не от маминой болезни, которая все время беспокоит очень, — а от всего вместе — с водкой и «безумными ночами». Сообщу тебе, что очень мало чувствую относительно «новой жизни». Может быть, и это вздор, впрочем. Что-то во

мне сорвалось.

Тебя часто хочу видеть. Я был в Петербурге 14 июня, провел 7 часов (от 8 до 3) (по собственной глупости, из-за денег и банков), хотел прийти на службу к тебе; но махнул рукой вдруг и уныло забрался в вагон; не хватило и на это; было очень холодно и скучно, перепархивал снежок. Я сидел один в спальном купе II класса (последнее тоже по глупости — деньги совершенно бросил считать, что-то они не идут впрок). Какая тупая боль от скуки бывает! И так постоянно — жизнь «следует» мимо, как поезд, в окнах торчат заспанные, пьяные, и веселые, и скучные, — а я, зевая, смотрю вслед с «мокрой платформы». Или — так еще ждут счастья, как поезда ночью на открытой платформе, занесенной снегом.

Все это — замечания от праздности. «Своего дела» как-то больше нет, я стал каким-то выжатым лимоном.

Крепко целую тебя и очень кланяюсь всем твоим, милый мой друг.

Твой *Саша*.

**249. В. Я. Брюсову. 3 сентября 1910.  
Шахматово**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Только на днях я получил Ваше письмо и с удовольствием посылаю Вам для «Русской мысли» маленький цикл стихов (под заглавием «Страшный мир»). Как я мог до сих пор сотрудничать в «Русской мысли», где преобладала политика и дамские психологические романы? Вся редакция состояла из людей, слишком для меня чужих.

На Вашу статью в «Аполлоне» я могу ответить Вам по всем пунктам, но ведь не стоит затягивать печатные споры. Такие статьи, по моему, всегда роковым образом догматичны, а вписанные между их строками личные правды убедительны для постороннего читателя только один раз, когда он делает выбор между тем или иным мироотношением. И уже этот выбор — навеки. Петербургского адреса у меня пока нет совсем, сколько проживу в деревне — не знаю. Потому прошу Вас, если что понадобится, писать мне сюда. Если можно, поместите стихи поскорее, потому



что я думаю собрать новую книгу.

Преданный Вам Александр Блок.

## 250. Андрею Белому. 6 сентября 1910. Шахматово

Милый и дорогой Боря.

Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече (впрочем, и Тебе). Но внутренне я давно с Тобой, временами страшно близко, временами — с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе.

Недавно где-то близко от нас с Тобой прошла Минцлова и покачался Вячеслав. Мне от этого было хорошо, тут было со стороны их обоих — много нежности и... такта.

Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого.

Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что есть, за что прощать друг друга; потому что действительно то, что было, — *было*, это *НЕ* пустое место, это «бес всех нас попутал».

Еще — мне очень дорого Твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренне, почти бессознательно, справлялся у Тебя, отсутствующего: «Так ли? не так ли?» Да, по-братски.

Ну так правда торжествует. И я скажу: аминь.

Конечно, я с огромным удовольствием пришлю стихов для альманаха «Мусагет». Могу прислать на днях, но хотел бы узнать сначала, сколько можно? Можно ли цикл (небольшой), или лучше — отдельное стихотворение? Сообщи мне об этом, пожалуйста, или Ты, или попроси А. М. Кожебаткина написать. Жаль, что он не застал меня, но я давно уже в деревне и не знаю, когда вернусь в

Петербург. Может быть, долго не вернусь, там нет теперь и квартиры.

Люблю Тебя до дна души и уже совсем без слов.

Твой Ал. Блок.

## **251. А. Д. Скалдину. 17 октября 1910. Шахматово**

Дорогой Алексей Дмитриевич.

Не отвечаю я Вам потому, что нахожусь совсем в другом круге идей и переживаний, чем те, о которых говорит Ваше письмо, для меня дорогое. Дорогое потому, что в нем заключено «да», которого я ни от кого не ждал. Сам себя я или мало, или — скорее — слишком подробно знаю. Не ясно сознавал и свою статью (о символизме), которая только в печати прозвучала для меня неожиданно важно.

Мог бы прибавить много «но», «если» и т. д., но не стоит, будущее покажет; пока только благодарю Вас искренно за очень нужную поддержку.

А «Пан» мне больше нравится, чем «Памяти Врубеля». Не знаю, когда и где буду, ско-

рее — все-таки вернусь в Петербург. Нас уже заметает снег, мы среди лесов и деревень скоро шесть месяцев. Очень хорошо.

Не попадалась ли Вам статья Мережковского из «Русского слова», где он, кажется, пробирает меня за «символизм»? Если она у Вас есть случайно, пришлите, пожалуйста, я Вам возвращу в целости; старался письменно добыть у Зинаиды Николаевны, но безрезультатно.

Ваш Ал. Блок.

## 252. Андрею Белому. 22 октября 1910. Шахматово

Милый Боря.

Продолжаешь ли Ты относиться к моей статье о символизме с прежним доверием? Спрашиваю Тебя об этом сейчас по нескольким причинам. Во-первых, если бы *теперь* могла возникнуть между нами хоть тень недоразумения, это было бы просто *нелепым* фактом, не могло бы иметь ни малейшего внутреннего значения; во-вторых: я уверен, что Ты понял статью, как никто, взвесил все выводы из нее, как только возможно; и, одна-

ко, достаточно ли ясно она написана, и, следовательно, *достаточно* ли ясна она для Тебя? Т. е. учел ли Ты то обстоятельство, что я остаюсь самим собой, тем, что был всегда, т. е. статья *не есть покаяние*, отречение от своей *породы*; я бы мог назвать ее «исповедью», если бы то мое лицо, от которого она исходит, *могло* исповедаться. Но *там* я не исповедуюсь, потому что это *больше* «кающегося дворянства», «интеллигенции и народа» и т. д. Это — я сам, неизменный, и *никогда не противоречивший себе*. Исповедь есть размягчение душевное, желание «исправиться»; но *там* я говорю холодно, жестоко (и к самому себе), прямолинейно, без тени психологии: «Вот что произошло со мной, в частности, и, по моему наблюдению, также и с теми, о ком я могу сказать „мы, символисты“». Происшедшее — совершившийся факт, хорошо или плохо — другой вопрос (т. е. лучше сказать — *более чем плохо*, вне категории „плохого“ и „хорошего“). Но это „более чем“ (или эту *гибель*) я *лично люблю*».

Так вот, учел ли ты то, что я *люблю гибель*, любил ее искони и остался при этой любви.

Настаиваю на том, что я никогда себе не *противоречил в главном*. Мне остается только подчеркнуть в данный момент и для Тебя то свойство моей породы, что я, *любя и понимая*, может быть, более всего на свете людей, собирающих свой собственный «пепел» в «урну», чтобы не заслонить света своему живому «я» (Ты, Ницше), — сам остаюсь в тени, в пепле, любящим гибель. Ведь вся история моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также — последующие книги, «Балаганчик», «Незнакомку» и т. д. Указать, что они *мои*; я могу отречься от них как угодно, но не могу не признать их своими.

Ближайшим поводом к упорному задаванию Тебе этих вопросов о себе служит следующее: недавно <...> я прочел выдержки из фельетона Мережковского о статьях Вяч. Иванова и моей. К сожалению, могу только догадываться о том, что пишет Мережковский, но, кажется, я прав: Мережковский *ничего не захотел понять* (или действительно не понял?) оттого я спрашиваю, ясно ли написана ста-

тъя). Сверх того, Мережковский решил, что статья суть проявление «мании величия» на почве больной русской общественности. Если это так, то мне больно, что Мережковский отнесся так именно к той статье, которая наиболее исходит от *меня — человека*; пока я «получеловечно» писал о промежуточном — об «интеллигенции», например, или о Л. Андрееве и Городецком, — Мережковский принимал; когда заговорил человек, он закричал о мании величия. Но это — уклонение в сторону; дело в том, что я заподозрил на основании фельетона Мережковского ясность своей статьи.

Другой повод — Твое предложение от «Музагета» прочесть лекцию на тему, смежную с *Тобой*, чтобы было «программное выступление». Я упорно «искушаю» Тебя в видах дела. Зная пафос «дела», отношение к нему Твое, я спрашиваю Тебя начистоту: может ли у Тебя *до сих пор* возникнуть опасение, что я могу *повредить делу!* Право, я спрашиваю Тебя без тени психологии и ложного стыда. Спрашиваю потому, что верю в Твой путь; спрашиваю *во имя дела*. Без Твоего ответа, *самого*

*прямого*, у меня связаны: руки и в решении о лекции.

Еще иначе формулирую свои вопросы: я всегда был *последователен* в основном (многие, заводя обо мне речь *серьезно*, т. е. не касаясь «собутыльничества» и т. п., считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным); я последователен и в своей любви к «*гибели*» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д. — свойства моей природы, более чем психологические). Теперь: Ты знаешь меня давно, между нами прошло многое, что *больше* нас обоих, что *должно* было часто заслонять нас друг от друга. Теперь, когда мы можем стоять лицом к лицу, веришь ли Ты мне, *ВСЕМУ* моему «я», или только тому, от которого исходит статья о символизме, понятая Тобой лишь *частично* — (так как, может быть, она написана неясно, и в ней не видно всего, хотя она и исходит от *всего* меня — человека)?

На этом заканчиваю это тяжеловесное письмо. Извини меня за тяжеловесность, исходящую от того, что я совсем разучиваюсь



говорить и особенно затрудняюсь говорить о том, что может оказаться излишним (как все мои вопросы этого письма). Я верю, что Ты меня *любишь* и *знаешь*, но хочу еще знать, можешь ли Ты мне во всем *верить!* Отчасти расчищаю эту дорогу так *особенно* старательно, потому что озлоблен и утомлен (как, вероятно, и Ты и все «мы») бесконечной сетью кляуз, обманов, передергиваний и сплетен, которые вьются вокруг нас всех все последние годы (исходя и от семитов, и от арийцев, и от друзей, и от врагов, и даже — от самих себя). Особенно существенно и *сейчас*, когда Мережковские кивают на *mania grandiosa* <...> прессы радуется, что «декаденты избавили себя от общестственности», и т. д. и т. д., - чтобы *наш* путь друг ко другу был по крайней мере расчищен до конца.

Прилагаемый цикл стихов, который я хотел бы увидеть в «Мусагете», посылаю Тебе после долгих колебаний. Напиши мне свое откровенное мнение. Если Тебе очень не нравится, я мог бы заменить отдельными стихами (не циклом).

Прошу Тебя, ответь мне поскорее. Во-пер-

вых, Твой ответ для меня существенно важен, во-вторых, я скоро уеду (куда, еще не знаю пока, — почти наверно в Петербург).

Любящий тебя глубоко *Александр Блок*.

## **253. Матери. 22 октября 1910. Шахматово**

**М**ама, два твои письма пришли с прошлой почтой. У нас был два дня сильный ветер, дом дрожал. Сегодня ночью дошел почти до урагана, потом налетела метель, и к утру мы ходили уже по тихому глубокому снегу. До сих пор было нехорошо и нервно, снег все украсил. Сейчас, к вечеру, уже оттепель. Капает с крыш и с веток; мы слепили у пруда болвана из снега, он стоит на коленях и молится, завтра от него, пожалуй, не останется уже ничего.

Однако прожить здесь зиму нельзя — мертвая тоска. Даже мужики с этим согласны. Мы рано ложимся спать. Я за это время переписал наполовину сборник стихов, написал массу писем и читал Ницше, который мне очень близок.

В колодце нет перемен, но это ничего, по-

тому что идет только четвертая сажень. Пруд кончен, с Федором мы рассчитались. В начале ноября, вероятно, уедем. Теперь, говорят, пойдет дождь на неделю, а к ноябрю уже встанет настоящая зима.

Господь с тобой.

*Саша.*

Мы ходим в валенках. Сильных морозов еще не было.

## **254. Матери. 10 ноября 1910. <Петербург>**

**М**ама, я эти дни читаю все газеты. Ты говоришь оскорбительно. Конечно, все известия и мнения оскорбительны, но я не знаю, чьи более — правые или левые. Пожалуй, левые: они лежат на животе и пищат. «Новое время» — холодно и малословно, а это для меня — всего важнее.

Относительно семьи я тоже не совсем с тобой согласен. Иначе говоря, *эта* пошлость не так вредна, как другие некоторые (например, Милюков и Родичев, едущие на автомобиле на похороны). Кроме того, никто из семьи не соврал, что у Толстого было намеренье раска-

яться. Все-таки это много.

Да, Боря женится, вероятно, через год, а теперь, через месяц, уезжает отдыхать на год на какой-нибудь южный остров. Пожалуйста, не говори никому об этом и о том, что я тебе пишу. Я видел двух барышень, но, по обыкновению, не уверен, которая. Если одна — то мне нравится, а другая — очень не нравится. Впрочем, может быть, не могу судить.

В Москве все близкие люди (т. е. «Мусагет») производят трогательное и сильное впечатление (Боря, Эллис, Метнер, Рачинский, Петровский, Сизов и — другие некоторые). Сережу не видал — он с ними далек.

Об издании моих книг лучше тебе рассказать. Вообще писать обо всем этом почти невозможно. Приеду в Ревель, только не знаю еще когда.

Сегодня я иду к барону Дризену. Очень хороший портсигар, спасибо. — Квартира молодая и хорошая, мы почти устроились. На углу Большой и Малой Монетной — новый дом, деревянный этаж (верхний). Мебель красивая.

Мне грустно. Господь с тобой. Целую крепко.

Саша.

**255. Матери. 22 ноября 1910.  
<Петербург>**

**М**ама, я решил отвечать Мережковскому на его гадости. Лучше хоть поздно. Написал письмо и буду опровергать печатно. Когда сделаю это, пришлю тебе его фельетон. Занимаюсь очень много составлением I тома стихов. Живем мы очень тихо и скромно. Были раз в цирке около нас. Вчера вечером приходил Верховский. Сейчас Люба с визитом у Аничковых. «Тристан» тебе выписан. Я вообще чувствую себя уравновешенно, о сегодня изнервлен этими отписками Мережковскому. Это просто противно.

Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие по наследству символизм с Запада (Мережковский, Минский), растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием. К тому же они мелкие люди — слишком любят слова, жертвуют им людьми живыми, погружены в настоящее, смешивают все в одну кучу (религию, искусство, политику и т. д. и т. д.) и пре-

даются истерике. Мережковскому мне просто пришлось прочесть нотацию. Они уже больше, кажется, ничего не чувствуют и не понимают.

Я рад тому, что ты пишешь о моей детскости. Господь с тобой.

*Саша.*

Еще мы были у Анжелины и Марии Тимофеевны. Последняя — не мешает и, кроме того, довольно несчастна, больна. Они подарили мне очень хорошую книгу — «Niebelungenlied»[25] привезли из Берлина.

## **256. Б. А. Садовскому. 6 декабря 1910. <Петербург>**

**М**ногоуважаемый Борис Александрович. На днях получил я Ваше письмо, а сейчас окончил чтение «Русской Камены». Хочу написать Вам свое мнение: по-моему, эта книга настраивает душу лучше многих прекрасных стихов тем именно, что возвращает чистейшие юношеские переживания любящим поэзию, в частности — русскую. Вы как бы нашли фарватер среди мелей истории литературы и литературной истории. Для этого мало

любви к истории только или любви к архивам и библиографии, но необходима живая любовь. Потому я думаю, что Ваша книга, при всей своей целомудренной сдержанности (или, скорее, именно потому, что она этим целомудрием исполнена), — входит прямо в жизнь; оценки Ваши в большинстве случаев должны стать «классическими». Меня эта книга и научила, и вдохновила, и многое мне напомнила. Ее свойство — напоминать не страшные песни «про древний хаос, про родимый», но шевелить те струны, которые поют: «О нет, нам должно жить! Лучом и светлой пылью...» (следующую строку опускаю намеренно); за это последнее хочу поблагодарить Вас специально.

Очень запоминаются отдельные афоризмы и замечания (аналитически-острые), например: о творцах эпохи, эпиграфом жизни которых служит: «береги честь смолоду»; о добродушии второстепенных талантов; замечание о *поэте* на стр. 145.

При всем этом для меня стоят под знаком вопроса: *решительное* предпочтение Державина Ломоносову; гениальность задатков Ве-

невитинова; *резкое* вычеркивание гражданственности Полонского (защитить ее хоть одним *цельным* стихотворением я не возьмусь, но — она связана у него даже с «Царь-Девичей», не говоря об «Улеглася метелица». Это — трудный вопрос, может быть, Вы здесь на минуту уступили свою живую любовь — любви к отчетливости книжной); — наконец, *злой* пафос статьи о Фете; *эту* злобу я люблю и понимаю, но она опасна: по ее пути легко дойти до абсурда; это — абсурд священный, но он выбрасывает за пределы жизни. А «должно жить». «Человеческое самолюбие» — говорите Вы о Фете. Эпитет легко может отпасть и замениться другим. Впрочем, и это последнее замечание — для меня под вопросом: может быть, хорошо, что Вы так *заострили* именно заключительные слова книги — так ей легче врезаться в жизнь.

Сердечно преданный Вам Александр Блок.



## 257. Андрею Белому. 19 декабря <1910. Петербург>

Милый Боря.

Я не знаю, куда писать Тебе; думал, что Ты уедешь скоро из Палермо. Получил и Твое московское письмо и итальянскую открытку.

В Петербурге трудно и туманно. Живу тихо и жду лучшего.

Приезжал Э. К. Метнер. Соловьевский вечер здесь не удался — лучше было бы совсем не устраивать. В Москве, надеюсь, будет лучше и строже.

Пиши мне иногда. Часто думаю о Тебе. Я перечитывал «Кубок мятежей» — совсем по-новому; но когда-нибудь буду перечитывать его еще иначе и еще лучше.

Я написал Д. С. Мережковскому несколько резких писем. Он отвечал так, что лучше бы и совсем не отвечать. Больше не буду делать попыток к сближению; для меня неприемлем Мережковский, как его сверстники — Розанов и Минский. Бог с ними.

Завидую Тебе, что Ты в Италии; впрочем,

вероятно, и сам там буду.

Хочу списаться об издании с Э. К. Метнером.

Мне окончательно ясно, что не надо издавать «Собрания сочинений», а только — «Собрание стихотворений» (3 тома); «Стихи о Прекрасной Даме» разрослись. Да, прибавляются и «Эллины», о которых Ты говорил на вокзале. Люблю Тебя, пиши.

Твой Ал. Блок.

**258. А. М. Ремизову. 10 января 1911.  
<Петербург>**

Дорогой Алексей Михайлович.

Получил Ваше письмо, очень взволновался им, понимаю и люблю Вас. Да, Вам пока не надо видеть Городецкого, я этого не рассчитал — по остатку прежнего легкомыслия или — не знал подробностей Вашей болезни. Просто я сейчас здоровее Вас, хотя понимаю очень хорошо, как от раздражения делается физическая боль, и о «неправильных положениях», и все это.

Городецкому написал, не передавая точно, а по поводу Вашего письма к нему — на-

встречу Вашему письму. Мне и передать ему было бы нетрудно, я давно и много неприятного говорил ему и письменно и устно. Конечно, еще буду говорить с ним. Но и он будет другим и сам идет навстречу. Я его знаю ведь гораздо прежде и лучше, чем Вы. Он был тихим и задумчивым мальчиком. Ему еще нужны всякие встряски, но и он уже много пережил. И хорошо, что вы ему написали, все-таки надо. А я Вас за Ваше письмо очень благодарю и целую и люблю.

*Ал. Блок.*

Вы сказали несколько хороших слов о Мережковском. Потом я читал повесть Зинаиды Николаевны в «Русской мысли». Потом увидел ее во сне — очень хорошо. Из всего этого понял ясно, что напишу и Дмитрию Сергеевичу и Зинаиде Николаевне опять и по-другому. Верно, у Серафимы Павловны есть их теперешний адрес. Напишите мне его просто, на открытке, пожалуйста.

**259. Н. С. Архиповой. 11 января 1911.  
Петербург**

**Б**лагодарю Вас за Ваши письма. Хочу ответить Вам то, что Вы, вероятно, слышите от своих близких: Вы молоды и мало пережили. «Хаос в душе», беспредметная тоска и «любовь к безликому» должны пройти. Все это — только цветы, цветение юности, и рядом с ее радостями, которых Вы, может быть, не замечаете и не цените, — неизбежно. Если с этой тоской Вы справитесь, — то вспомните ее с благодарностью. Тогда — слава богу, что Вы тоскуете. Все это очень просто для тех, кто пережил что-нибудь в жизни (простое и трудное). Вы, может быть, пока этого не поймете, пишу Вам это только потому, что почувствовал в Вашем письме возможность это понять, хотя бы позже. — Вспоминайте Толстого. Возвращайтесь иногда к его книгам, даже если это будет Вам иногда скучно и трудно. Толстой всем нам теперь помогает я светит. «Декадентство» любите поменьше. Если любите мои стихи, хочу Вам сказать, что я прошел через декадентство давно, прошел только пото-

му, что человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Это я Вам пишу потому, что Вы адресуете письма в «Аполлон» и, вероятно, читаете его; там рядом с хорошим — слишком много мертвого, вырожденного декадентства. — Берегите себя, Вы самой себе будете нужны.

*Александр Блок.*

## **260. А. М. Ремизову. 11 января 1911. Петербург**

Дорогой Алексей Михайлович. Городецкий прислал Ваше письмо и свое, с просьбой переслать Вам. Не пишите Вы ему больше, он все скоро поймет, и все будет хорошо. На моих глазах тает его хулиганство и упрямство с быстротой сверхъестественной. Вы, милый, озлобились наполовину от боли. Еще мы с Вами поговорим об этом — приду к Вам. Городецкому еще пишу и подтверждаю, чтобы он больше с Вами не объяснялся.

*Ваш Ал. Блок.*

Я сегодня думаю: все, что так выходит, очень хорошо. Когда люди в первый раз показывают друг другу лица, — конечно, прежде всего злые; скалят зубы и огрызаются. До сих

пор ведь мы все по отношению друг к другу были более или менее цветами. Когда встречались, все между нами было сдобрено розовым маслом — стилями, масками, шутками и стишками. Но самые плоды — впереди. Многим из нас воистину суждено быть вместе и называться: «МЫ».

Ваш А. Б.

## **261. Андрею Белому. 17 января 1911. <Петербург>**

**М**илый Боря.

Пришло Твое прекрасное письмо, я очень радуюсь за Тебя. Давно знаю то, что Ты пишешь. Давно уже живу в Петербурге, как в деревне, мало с кем вижусь. Все, что растет во мне сызнова, должно закрепиться где-нибудь далеко, вне Петербурга, или даже совсем вне города. Вероятно, и я со временем «уюду за границу». — В феврале еду в Москву — читать на Соловьевском вечере. Послал уже в «Мускет» первый том.

Сообщаю Тебе большую просьбу заранее. Здесь затевается журнал. Ближайшие сотрудники: Вячеслав Иванов, Аничков, Пяст, Вер-

ховский, Ремизов, Княжнин и я. «Редакционная комиссия» — Пяст, Аничков и я. Затеяно все Пястом. Все это — проба, и притом с внешней точки зрения — очень непрактичная, потому что денег почти нет. Я лично считаю, что этот журнал будет только бескорыстным застрельщиком — наметит главные точки и расчистит место для будущего. Все мы принципиально изгоняем литературщину, «декадентство» <...>, хулиганство, и т. д., и т. д. Нумера (маленькие — листа три — 12 раз в год) будут состоять из 1) рассказа, 2) нескольких стихотворений, 3) трех — четырех статей.

Перечисленные сотрудники — только «ближайшие». Рядом с ними, конечно, желательны еще некоторые — прежде всех — Ты. Совещаясь с Пястом, мы решили не звать в число этих «ближайших» Тебя, потому что: 1) Ты — в Африке и 2) о Тебе предполагается писать, если же Твое имя будет в числе наших, то выйдет, что мы сами себя хвалим. Если же Ты дашь нам — или рассказ, или статью, или стихотворения, или даже просто несколько страниц тунисских впечатлений, — мы будем Тебе особенно благодарны. До лета должно

выйти 6 №№ (каждые двадцать дней с 15 февраля). Поддержи нас. Целую Тебя крепко. Будь светел.

Твой Ал. Блок.

**262. В. А. Пясту. 23 января 1911.  
<Петербург>**

Дорогой Владимир Алексеевич.  
Вчера Вы, верно, были у Аничковых. Мы с Любовью Дмитриевной тоже хотели быть, но это не состоялось «мистически».

Все эти дни я искал «в себе» журнала — и не нашел ни следа. Прочной связи нет. Из всех сотрудников (исключая Вячеслава Ивановича, который окончательно против, — сегодня я опять получил от него письмо) связаны *только* мы с Вами — но *не* журнально (о Княжнине не знаю). Рассказы Ремизова, Зиновьевой-Аннибал, Ивана Странника могут быть везде. В Верховском мы уже возбудили несвойственные ему чувства. С Аничковым нам не связаться никак.

Знаете, я восстановился против Аничкова. Не против Евгения Васильевича, а против «Аничкова». Итак — бесконечно холодно в че-



ловеческих сердцах. Когда на площади попадают люди задумчивые и углубленные в себя и их лица освещаются светом костра, — с ними мороз терпим или даже — радостен. Когда же у костра появляется «некто» похохотывающий и побрякивающий, — сразу пропадает всякое сопротивление, мускулы падают, воля умирает; мороз начинает колотить иглами «несчастных и усталых бедняков». — Отчего Аничков и в революции и без революции всегда одинаково выкидывает с кафедры слова, как пух из перины? — Он ужасно, *ужасно* доволен собой...

Давайте опять жить, тихо гуляя по беспросветной и белоснежной стуже. Каждый из нас любит уже многих людей, но все еще видно только пол-лица.

Любящий Вас Ал. Блок.

Пишу А. Белому отказ.

**263. В. А. Щеголевой. 28–29 <января  
1911. Петербург> Ночь**

**Н**ичего не знаю. Я думаю о Вас давно. Я давно кружу около Вашего дома. Теперь — второй час ночи. К Вам нельзя. И никогда — нельзя. Сейчас я хотел идти к Вам и сказать Вам: сегодня — все, что осталось от моей молодости, — Ваше. И *не иду*. Но услышьте, услышьте меня — сейчас.

*Ал. Блок.*

**264. Матери. 14 февраля 1911.  
<Петербург>**

**М**ама, у меня эти два дня, что я не писал тебе, были очень полные. 12-го вечером пришел Чулков, мы пошли с ним в цирк. Пришел, конечно, как всегда, в решительную минуту. Перед его звонком у меня начались какие-то острые мысли, и я сел писать письмо Метнеру — с отказом от издания моих книг в «Мусагете». Письма этого, впрочем, я до сих пор не послал — может быть, и не пошлю, — описать, почему так думал, не могу. — Вече-

ром с Чулковым вернулись и пили чай. Когда он уходил, я почувствовал вдруг, что он бесконечно несчастен и болен, и мне стало остро жаль его. После его ухода — опять писал и читал. Потом — без конца не мог заснуть и тосковал, как давно не бывало (от трех до пяти часов ночи на 13 февраля. Не чувствовала ли ты себя скверно?). Утром все прошло, но я вдруг решил искать себе отдельную квартиру (об этом мы давно говорили с Любой). Пошел — и сразу нашел: на 8-й линии (угол Набережной) — дверь в дверь с моим массажистом: три меблированных комнаты с ванной и телефоном — «для одинокого» — 55 р. Грязновато, хозяйка — купчиха, старая. Есть должны носить из ресторана (в том же доме). Я решил отложить решение до сегодняшнего дня. — Вернулся домой к обеду. Пришел Верховский приглашать меня участвовать в третейском суде между ним и гр. А. Н. Толстым (это — очень давняя и грязная история, в нее замешаны многие писатели (*секрет!*) — но мы будем разбирать только часть — инцидент с ни в чем не повинным Верховским). Я согласился. Не успел уйти Верховский, при-

шли Мейерхольд и Сюннерберг. Мы очень оживленно говорили до ночи, ели блины. — Сегодня утром мы с Ангелиной были в банках, устраивали дела, получив наконец все деньги (еще тридцать одна тысяча с лишним). Разделили на этот раз по закону, по настоянию Ангелины и Марии Тимофеевны — мне  $5/8$ , то есть девятнадцать с половиной тысяч. Итого, у меня опять тридцать тысяч с лишком. — Пришел домой — и не уезжаю. — Решил остаться. Солнце светит, весна, хоть и мороз. — Весь мой несостоявшийся уезд связан с тяжелыми мыслями третьего дня ночью, а все — с отношением Любы к тебе, которое меня постоянно мучает (мы почти не говорим об этом). Но отъезд не разрешит дела. Иногда я думаю, что все разрешится как-нибудь, когда придет время. А ты что думаешь? В Любе эти дни есть светлое. Кризис с моим отъездом миновал, может быть, и это повлияет.

Я чувствую себя, в общем, очень бодро. А ты? Пиши. Господь с тобой.

*Саша.*

**265. М. П. Ивановой. 17 февраля  
1911. <Петербург>**

**Г**лубокоуважаемая Мария Павловна.

Во-первых, хочу послать Вам рукопись того стихотворения, которое Вы позволили мне посвятить Вам. Во-вторых, хочу Вам сказать, что ни вчера и никогда я не хотел Вас переубедить в чем-нибудь, а хотел только рассказать, как сам чувствую и думаю; ведь я люблю то, что Ваше, и всегда Вас слушаю и у Вас учусь.

Преданный Вам *Ал. Блок.*

## 266. Матери. 21 февраля 1911. <Петербург>

**М**ама, вчера получил твое письмо. Я действительно надеюсь на *время*; — что все уладится. А теперь нужно сделать просто перерыв — к обоюдному улучшению отношений. Мне (и Любе) представляется так: когда ты приедешь сюда, не знаю, как лучше — видеться или не видеться тебе с Любой. Люба говорит, что она может очень хорошо с тобой видеться, но что в этом все-таки будет неправда. Это мы увидим потом. Что же касается Шахматова, то лучше всего сделать так: весной я должен ехать достраивать скотный двор; может быть, лучше — с Любой; мы приготовим и наладим хозяйство (огород и пр.). Потом Люба хочет ехать в Erdsegen (около Мюнхена) на все лето, считает, что ей это будет очень полезно, — там нечто вроде санатории — с массажем и т. д. Я думаю, что для меня пожить без Любы будет тоже полезно; но пока мне самому не хочется жить в Шахматове долго (без перерыва) в этом году. Это уж мои собственные стремления, независимые

от тебя и Любы. Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока — неопределенных. Может быть, поехать купаться к какому-нибудь морю, может быть — за границу, может быть, куда-нибудь в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны — я «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — все более по существу. С другой — я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление

мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) — с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов. Все это — совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом — мой *европеизм*. Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее содержание, которым исполнена всякая русская душа. Отсюда — постоянное требование формы, мое в частности; форма — плоть идеи; в мировом оркестре искусств не последнее место занимает искусство «легкой атлетики» и та самая «французская борьба», которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме.

У меня есть очень много наблюдений (собственных) над искусством борьбы, над качествами отдельных художников (которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало — больше ремесленников), над способностью к



этому искусству разных национальностей (всего бездарнее, разумеется, русские и итальянцы — и это при большом богатстве внешних данных! Это — падение искусства до «передвижничества» и до современной итальянской живописи). Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной — голландец Ван-Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно) может возникнуть только тогда, когда 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужими (для меня лично — с музыкой, живописью, архитектурой и гимнастикой)

Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность *расширить* круг своей жизни, которая до сих пор была *углублена* (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что-нибудь в этом направлении. Пока, во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой. В

конце концов, я только что оправился (мускульно) после того, как надорвался в третьем году в Шахматово. Теперь (даже до гимнастики) я скорей сильнее, чем был тогда.

Масленица прошла очень бодро. Приехала Веригина, которая вышла замуж. Она очень хорошо рассказывает и говорит по-русски, вообще — в ней есть милая русская женщина. Скользкость пропала. В сущности, она гораздо умнее и живей. Вчера я без конца проводил время с \*\*\*. \*\*\* — прирожденная «гетера», беснуется не переставая. Мы шатались втроем по городу, были и в цирке и в разных местах. \*\*\* — очень милый, тихий и печальный, я думаю, что им придется разойтись, она его замучит. Впрочем, я пока советую им не расходиться. Ведь почти все «наши» женщины таковы, может быть, еще переменятся и станут серьезнее — хоть некоторые.

Таает, идет дождь и мокрый снег. Потому молодого месяца я еще не видел.

В посту попробую опять писать. У нас будут всю первую неделю лампадки. Господь с тобой.

*Саша.*

## 267. Матери. 28 февраля — 1 марта 1911 <Петербург>

Мама, ко мне вчера пришла Гильда. Меня не было дома, когда пришла девушка, приехавшая из Москвы, и просила меня прийти туда, куда она назначит. Я пошел с чувством скуки, но и с волнением. Мы провели с ней весь вчерашний вечер и весь сегодняшний день. Она приехала специально ко мне в Петербург, зная мои стихи. Она писала мне еще в прошлом году иронические письма, очень умные, но совсем не свои. Ей 20 лет, она очень живая, красивая (внешне и внутренне) и естественная. Во всем до мелочей, даже в костюме — совершенно похожа на Гильду и говорит все, как должна говорить Гильда. Мы катались, гуляли в городе и за городом, сидели на вокзалах и в кафэ. Сегодня она уехала в Москву.

А я получил сегодня письма — от тебя и от Бори — из Каира. Квартиры посмотрю, думаю, что очень дороги. К массажисту пойду завтра, сегодня из-за Гильды не пошел. Чувствую себя бодро и спокойно. *Денщик необходим* — и

чтобы жил в доме. Можно — в девичьей.

*1 марта*

Сейчас иду смотреть квартиры. Получил от Жени очень хорошее письмо. Все думаю о Гильде. Господь с тобой.

*Саша.*

## **268. Андрею Белому. 3 марта 1911.** **<Петербург>**

**М**илый Боря.

Ну вот — *китайская война*.

Поздравляю Тебя со всеми новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро. Все-таки возвращайся в Россию. Может быть, *такой* — ее уже недолго видеть и знать.

А наши письма — все еще натянутые. Пусть так, это еще необходимо должно быть; все, что было, нелегко.

Живу сосредоточенно. Пишу поэму. Открытки из Кэруана не получал. «Мусагет» что-то не дает о себе никаких вестей.

У меня много планов. Не знаю еще, как и где проведу лето.

Целую Тебя крепко. Господь с Тобой.

Твой Ал. Блок.

**269. Андрею Белому. 12 марта 1911.  
<Петербург>**

**М**илый Боря, сегодня узнал из Твоего письма о сфинксе. Да, есть и это. Я бы, может быть, испугался сейчас. Сейчас — грустная минута: после напряжения многих дней — чувство одиночества. Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем. Уже «меня» (того ненужного, докучного, вечно самому себе нравящегося или не нравящегося «меня») — мало осталось, почти нет; часто — вовсе нет; чаще и чаще. Но за плечами — все «мое» и все «не мое», равно великое: «священная любовь», и 9-е января, и Цусима — и над всем единый большой, строгий, *милый, святой* крест. Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце, — и *один*: бодрый, здоровый, не «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловеченье».

Может быть, мы не вместе сейчас, но из будущего гляжу на Тебя взглядом нежного друга; в настоящем целуюсь при встрече с Тобой,

но в глазах у нас — *дело*: более, чем когда-нибудь, мы на «флагманском корабле»; не знаю, какую работу исполняю я, — но исполняю, как-то каждый день готовлюсь к сражению.

Крепко целую Тебя и жму Твою руку, милый друг.

Твой Ал. Блок.

P. S. Получаю корректуры из «Мусагета».

## **270. Андрею Белому. 11 апреля 1911. Петербург**

**Х**ристос Воскрес, милый друг Боря. От Тебя четыре письма, а я все не пишу Тебе; сначала было слишком напряженно хорошо и по-весеннему; на Страстной, напротив, обрвалось что-то, и до сих пор не могу поправиться и стать собой. Все — «семейное»; боюсь *этого* больше всего; здесь всего страшнее, потому что *здесьние* призраки умеют нанести удар, откуда не ждал; бывает, что ждешь отовсюду — только не оттуда, откуда приходит внезапное и непоправимое. Становлюсь все злее, потому что ни в чем, кроме злобы, иногда нельзя найти защиты.

Через 1–2 недели поеду в деревню, а отту-

да, если бог поможет, за границу.

Привет Асе Тургеневой, Я не знаю ее отчества, потому очень извиняюсь перед ней, что так называю. Но, право, приветствую от души и Вас обоих вместе и Вас порознь. Если Вам хорошо, тихо приветствую Вас.

Конечно — да будет флагманский корабль.

Ничто этому не помешает, кроме смерти. Другого смысла жизни и нет.

Любящий Тебя А. Блок.

## **271. В. Я. Брюсову. 11 апреля 1911. Петербург**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Благодарю Вас от души за письмо и за Верлэна, которого я еще не читал: для настоящих книг всегда жду несуетных часов. — Моя книга задержалась, пришлю Вам, как только получу; очень поддержали меня Ваши слова о предисловии. — Относительно второго стихотворения я так и думал; пошлю непременно еще, когда будет новое.

Через 1–2 недели уезжаю в деревню (Николаевская ж. д., ст. Подсолнечная, с. Шахматово), а оттуда, если удастся, за границу.

Преданный Вам душевно Ал. Блок.

**272. Андрею Белому. 8 мая 1911.  
<Петербург>**

Милый Боря.

Ты уже в России, а я писал Тебе после Пасхи в Афины; впрочем, письмо было печальное и угнетенное, лучше, что Ты его не получил- У меня планы: около половины мая еду в Шахматово, а в июле поеду по Европе — много куда, если удастся. Сейчас чувствую себя плохо, у меня цынга, возобновившаяся с позапрошлого года.

Видел ли Ты мою книгу? Пошлю Тебе ее в Луцк, я еще не получил ее (все экземпляры). По-моему, издано превосходно — скромно, книжно, без всякого надоевшего декадентства. И Кожебаткин очарователен — в нем, какая-то мягкая человеческая нежность.

До ужаса знакомо то, что Ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: морозящий дождь — и стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувство, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция



«Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер). — В этих глубоких и тревожных снах мы живем и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — все больше.

Все дело в том, есть ли сейчас в России *хоть один человек*, который здраво, честно, наяву и *по-божьи*, (т. е. имея в себе в самых глубинах скрытое, но верное «ДА») сумел бы сказать «НЕТ» всему настоящему; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой не оставляю. Пишу и хочу писать об этом, но в письмах — не стоит и не выйдет. — Мы виделись с Сережей. Он прекрасен. Крепко целую Тебя.

Твой Ал. Блок.

**273. В. А. Пясту. 24 мая 1911.  
Шахматово**

**М**илый Владимир Алексеевич.  
Здесь, по обыкновению, сразу наступила полная оторванность от мира. Письма и газеты приходят два раза в неделю. Знаете что? Если бы Вы могли приехать сюда на несколько дней? Много места, жить удобно, тишина и благоухание. Вам было бы интересно и нужно, я думаю, увидеть эту Россию: за 60 верст от Москвы, как за 1000: благоуханная глушь, и в земном раю — корявые, несчастные и забитые люди с допотопными понятиями, сами себя забывшие. — Если Вы можете приехать, напишите приблизительно, чтобы сюда попало к среде или субботе (почтовые дни); тогда мы пошлем за Вами лошадей. — Я «ничего не пишу и ничего не читаю» — пока. Чувствую себя еще тяжело и неловко; а скотный двор приближается к концу.

*Ваш Ал. Блок.*

**274. К. А. Сюннербергу. 24 мая 1911.**  
**Шахматово**

Дорогой Константин Александрович.  
Очень хорошее Вы мне написали письмо, спасибо. Кроме приятности, оно еще очень ценно. Зная Вас, я во всем, что Вы отметили, нашел единство, которого не замечал прежде.

«Бессмертная пошлость», конечно, в кавычках; иногда так привыкаешь к образу или идее, что считаешь их своими; вероятно, то же случилось со мной и тогда, потому я и не поставил кавычек. А теперь пропустил по рассеянности. — Опечаток, к сожалению, еще больше, чем Вы отметили. Неправильных ударений тоже больше; последних я нарочно не менял: их там как бы целая система (в этой книге), и они часто нужны: через них я родился с некоторыми, часто слабыми, но дорогими для меня поэтами семидесятых — восьмидесятых — девяностых годов.

Мы, во многом такие разные, всё чаще сходимся с годами: это — залог движения; я все больше верю в будущее: чем меньше в лич-

ное, тем больше в общем.

Любящий Вас Ал. Блок.

**275. Л. Д. Блок. 27 мая 1911.**  
**<Шахматово>**

Люба, я не могу отвечать на твои интересные письма такими же из Шахматова. Мир, как всегда, удален, неизвестно, что делается в нем, а мы тихо живем с мамой и тетей. Мужики нищие и несчастные, большей частью холодный май, дни тянутся долго, пушистая собачка плачет на цепи, постройка тянется, но мало беспокоит.

Все это ты знаешь. Я брожу, занимаюсь много дописываньем старых стихов, которые мне почти все надоели; хочу скорей развязаться со II и III книгой. Почти ничего еще не чувствую. Ем массу яиц и пью молоко.

Захожу каждый день в твою комнату.

Написал Пясту просьбу, чтобы он приехал.

А книги тебе надо? Что, кроме «Грозы» и «Гамлета»?

Твои два письма о параде и о «Гамлете» — очень хорошие и умные. Пиши еще такие, когда тебе будете время. Мне очень нужно полу-

чать такие известия. Мне захотелось в Берлин после твоего письма.

Господь с тобой, милая.

Саша.

## 276. В. А. Пясту. 29 мая 1911. Шахматово

**М**илый Владимир Алексеевич. Не думайте, что наши души вели такой разговор, как Вы описываете. Это — Ваша поэтическая вольность. Я совсем не так, как Дмитрий Сергеевич, а напротив, звал Вас даже эгоистически. Так образовалось за эту зиму, что я имею постоянную потребность сообщить Вам о каждом повороте «колесиков моего мозга» (как говорит Стриндберг, к которому я Вас все более ревную: зачем Вы его открыли, а не я; положительно думаю, что в нем *теперь* нахожу то, что *когда-то* находил для себя в Шекспире).

При всем этом мама страшно испугалась (за меня, конечно), когда я рассказал о Вашей свинке. Пожалуй, она права: у меня все не проходит цинга, и потому гланды все время в неестественном состоянии, сражаются с цын-

гой; так как и со свинкой сражаться пришлось бы им же, то и я опасаюсь за их участь: они выдержали много сражений, и боюсь, как бы их совсем не пришлось удалить с поля битвы (за выслугой лет) оперативным путем. А без гланд, согласитесь, человек уже не жилец на этом свете: всякий будет над ним издеваться, и уличные мальчишки будут бегать за ним по улице и тыкать пальцами.

Прежде всего, конечно, мама будет беспокоиться очень. Я же боюсь заразы, главное, потому, что она меня может задержать здесь надолго; а я все время стараюсь чувствовать себя на отлете и не уходить с головой в грязные сапоги и рваные красные рубашки, как всегда это здесь случается, если поселишься надолго. Я думал ехать до 14 июля, даже много прежде в конце июня. Любви Дмитриевне Берлин очень не понравился, и она уже в Париже. Мне же нужно догнать ее в Quimper'e, а до тех пор побывать в Швеции (Норвегии), Дании, Бельгии, Голландии, Париже... очень захотелось и в Берлин после письма, в котором сказано, что немцы вычистили все старые полотна (в Берлине), и краски действительно

такие, каких во всем мире не увидишь; и что очень хороша греческая скульптура в Берлине.

Я твердо надеюсь показать Вам Шахматово и окрестности, если не теперь, то в будущем году. По многим причинам хочу этого. Сегодня, например, как было бы хорошо бродить нам вместе. Я целый день бродил по холмам и долинам: ясный, холодный Троицын день.

А не можете ли Вы продлить карантин на несколько дней после 13 июня? Вот бы было хорошо.

Если не приедете, поеду в Москву скоро; не сидится на месте; начинаю отдыхать от зимы, одолевает беспокойство, мозг работает, как пропеллер, хотя и не особенно хороший: с перебоями. Питаюсь преимущественно яйцами и молоком (и миррой), мяса нельзя.

Сейчас всходит большая луна; в деревнях издали слышно: «Последний нонешний денечек».

Хотя мы с Вами в Сестрорецком курорте и бодрствовали, пока Верховский спал под сосной, — все-таки мы, как я вспоминаю, не перемудрили его: и Вы и я наговорили друг дру-

гу вещей неправдоподобных; вспоминаю, именно, разговор о *savoir vivre*;[26] у меня его, право, недостаточно, надо бы побольше; так же, как Вы в упорном полусне утверждали мой *savoir vivre*, я упорно утверждал Вам, что я состарился, и намекал, что жизнь кончена; если сопоставить то и другое и многое, что Вы и я обо мне тогда рассказывали, можно легко представить себе картину: Вы идете за гробом почтенного действительного статского советника, который умел покушать и пожуировать и вообще взял от жизни все, что мог, полной мерою. Это вовсе не соответствует действительности, уверяю Вас.

Ну, зовут пить чай, целую Вас крепко. *Продлите карантин.*

Ваш Ал. Блок.



277. Л. Д. Блок. 30 мая 1911.  
<Шахматово>

Духов день

Люба, вчера я был очень бодро и деятельно настроен и понял очень много в своих отношениях ко многим. Прежде всего — к тебе.

Собирался писать тебе большое письмо, но сегодня уже не могу, опять наступила апатия. Уж очень здесь глухо, особенно в праздники некуда себя девать. И это подлое отсутствие даже почты, что теперь прямо тягостно, когда тебя нет.

Я хотел тебе писать о том, что все *единственное* в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определит мою связь с тобой. Все, что во мне осталось для других, — это прежде всего ум и чувства дружбы (которая отличается от любви только тем, что она множественна и не теряет от этого); дальше уже только — демонические чувства, или неопределенные влечения (все реже), или, наконец, низкие инстинкты.

Все это я мог вчера сказать еще определеннее, но я думаю, что ты и из этого поймешь то, что я хотел только точнее определить.

Накануне Троицы под вечер я зашел в нашу церковь, которую всю убирали березками, а пол усыпали травой.

Ты спрашиваешь все, нравятся ли мне твои письма. Да, почти целиком нравятся, иногда особенно. Мне интересно все, что ты думаешь, когда ты можешь это выразить в сколько-нибудь ясной форме. А в письмах выражаешь. Господь с тобой.

*Саша.*

Я поставил около постели два твоих портрета: один — маленький и хитрый (лет семнадцати), а другой — невестой.

Н. Н. Скворцова прислала мне свой большой портрет. Вот девушка, с которой я был бы связан очень «единственно», если бы не отдал всего тебе. Это я также совершенно определенно понял только вчера. Конечно, я знал это и прежде, но для всяких отношений, как для произведения искусства, нужен всегда «последний удар кисти».

Я чувствую себя все время на отлете. Как

ты думаешь, когда мне ехать, и встретиться ли нам именно в Quimper'e или в другом месте. После твоих писем мне захотелось также и в Берлин.

## 278. Андрею Белому. 6 июня 1911. Шахматово

Милый Боря.

Я получил Твое большое письмо, только не успеваю Тебе ответить. Во-первых — большое спасибо за приглашение обоим Вам; но не могу приехать: во-первых еду очень скоро за границу, во-вторых — не через Границу, а через Стокгольм. И сейчас — я совсем не здесь, а уже *там*, и там надеюсь утвердиться в том, что зреет во мне. Очень, очень многое изменилось во мне (во внутренней жизни; во внешней перемен нет, и я не хочу их). Между тем я чувствую, что мы с Тобой друг друга очень давно не видали как следует; что наши так странно сходные во многом и радикально несходные в меньшем, но тоже существенном, жизни должны встретиться *как-то* по-особому, совсем не так, как Встречались даже в прошлом году в Москве (не го-

воря уже о прежнем). Вы вдвоем теперь; и это опять знаменует, что мы должны встретиться *совсем, совсем* по-новому. Передай, пожалуйста, Асе Тургеневой, что я радуюсь тому, что она мне пишет и что Ты пишешь о Вашем отношении ко мне; ведь всем нам необходимо знать друг друга не только вместе, но и каждому каждого. И тут я боюсь всегда, что другие (родные) могут помешать; Ты прекрасно знаешь, как это бывает при самых лучших отношениях. Вот почему еще я боюсь к Вам теперь приехать; а совсем не от «плохой комнаты, собаки» и пр.

Милый друг, между нами стояли и наши матери и бесконечные друзья и враги, не говоря о самом важном; и все это еще тогда, когда мы оба по-разному, но и чудесно сходно, были так далеки от «воплощения» или «вочеловечения»; когда мы оба вступали в ночную глушь, неизбежную для увидавших когда-то слишком яркий свет. Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески несказанное, иди не по-людски ужасное, страшное, иногда — уродливое. Теперь все меняется для нас обоих

(опять-таки), мы выходим из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы; по разным дебрям — и по-разному выходим; долгие годы не слышали голоса друг друга, а если и доносился иногда голос, то лесные дебри преломляли его, делали иным. Все это я чувствую за плечами, точно прожито сто лет; но для меня это были годы, умерщвляющие душу, но освежающие дух, и я их всегда благословлю. Верно — и ты. *Сходились* не по-человечески, *сходно* переживали этот долгий и страшный поединок души и духа, *сходно* окончившийся (частичным) поражением души; должны выйти из ночи — *ЧУДЕСНО РАЗНЫЕ*, как подобает человеку. Сходствует несказанное или страшное, безликое; но человеческие лица различны. Сходны бывают «счастливицы» («счастливичики»), осужденные *НЕ* воплотиться, носясь по океану удач и легких побед. Воплощенный — всегда «несчастливец», лик человека — строгий и сумрачный (Вольфинг) — «нуждой и горем вдаль гонимый». Думаю, что Ты согласен со всем этим; пишу Тебе, потому что думаю об этом давно.

Не думай, что я могу сердиться на полеми-

ку, перепечатанную в «Арабесках» (я их получил от Кожебаткина). Во-первых — я почти под всем, что обо мне тогдашнем (полемиического), подписываюсь; единственно, что мне необходимо ответить Тебе, как самому проникновенному критику моих писаний, — это то, что таков мой *путь*, что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «*трилогия вочеловечения*» (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес[27] — к отчаянью, проклятиям, «возмездию» и... — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души). Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда, неопытным юношей, задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя. Потому отныне *Я не лирик*. Кстати: получил «Антологию» «Мусагета»: *зачем она!* Время альманыхов прошло; я думаю, что это — лишняя книга. *Талантливое* движение, называемое «но-

ВЫМ ИСКУССТВОМ», КОНЧИЛОСЬ; т. е. маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло чем могли, влились в него. Теперь уже есть только хорошее и плохое, искусство и не искусство. Потому, я думаю, и «смотров» довольно (Ты говорил, что антология «Мусагета» есть *смотр*). И зачем вдруг — Потемкин или Л. Столица? Это уж какая-то нестройная рота. — Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта (по имени Мандельштам)? Таких замечаний я бы сделал много, но, по-моему, главное — вся книга лишняя и совсем не мусagetская.

Ты пишешь о журнале (*не поэтов* отнюдь, а писателей!). Это — инициатива Вячеслава — конечно; мы столько говорили об этом в последние месяцы (притом о журналах не одного, а трех уже типов), что в письме не изложить и, конечно, надо говорить об этом лично. В частности, я не уверен в необходимости журнала, состоящего из нас троих. Все еще так висит в воздухе, так во многом нужно стовориться.

Еще хочу сказать Тебе в ответ на Твои слова о «Мусagете», что у меня с ним связано все-

гда некоторое беспокойство, которого я не умею преодолеть: я боюсь Эллиса, что-то в нем чужое — ужасное, когда не милое, и *только милое*, когда я его увижу и он повернет ко мне одно из своих многих лиц. Глубоко уважаю, ценю и чувствую тайную нежность к Э. К. Метнеру (*Волфинг*) — и дичусь его. Сережа — он, конечно, «не у дел». К Сереже особенное отношение, но совсем не связанное с «Мусагетом»: милый Сережа, блестящий человек, будущей ученый филолог, брат по духу и по крови, великолепный патриарх, продолжатель рода (а я — истребитель) и т. д.

Ну, кончаю письмо — все еще недоговоренное, по обыкновению.

Спасибо Асе Тургеневой и Тебе за приглашение и Софии Николаевне Кампиони за гостеприимство. Крепко Тебя целую и люблю.

Твой Ал. Блок.

Отсюда уеду, вероятно, в 20-х числах июня. Может быть, побываю в Москве. Может быть, успеешь написать еще сюда или в Петербург (Малая Монетная, 9, кв. 27) — до 1 июля?



## 279. В. А. Пясту. 6 июня 1911. Шахматово

**М**илый Владимир Алексеевич. Прежде всего — поправляйтесь. — Я бродил по лесам и полям и почувствовал себя вправе дать Вам один большой совет и одно маленькое предостережение.

Совет:

За Вами — публицистические долги в большом количестве (и вовсе не «трамваи» или «действительные статские советники»). Так как Ваши воля, темперамент и интересы зовут Вас к изучению социологии и к публицистической деятельности, то Вы обязаны перед самим собою узнать русскую *деревню*, хотя бы отдельные места: во-первых, те, без которых нельзя узнать Россию вообще (т. е. Великороссию); во-вторых, те, среди которых жил и образовывался Ваш собственный род; от него Вы получили в наследство демонизм и волю, настроенную на европейский лад. Это — Западная Россия.

Вы это, я думаю, знаете; но недостаточно ярко представляете себе, что может дать по-

знание деревни, до какой степени оно может изменить врожденный демонизм (о котором мы говорили с Вами, помните, перед моим отъездом на спектакль Рейнгардта); изменить в двух направлениях: или — убить его, т. е. разбить всякую волю, сделать человека русским в чеховском смысле (или Рудинском, что ли); или — удесятерить его, т. е. обострить волю, настроить ее, может быть, на свертсьевропейский лад.

Я все чаще верю, что ошибки хоть бы социал-демократов в недавние годы происходили от незнания и нежелания знать деревню; даже не знать, может быть (говорю так потому, что *нам ее, может быть, и нельзя уже узнать*, и начавшееся при Петре и Екатерине разделение на враждебные станы должно когда-нибудь естественно окончиться страшным побоищем) — даже не знать, а *только* видеть своими глазами и любить, хотя бы ненавидя.

Из всего этого, конечно, надо заключить, что Вы должны приехать для примера в Шахматово, хотя бы в «следующую сессию».

*Предостережение:*

Зная по себе увлекательность Амфитеатрова (т. е. ему подобных), дружески советую не злоупотреблять им. Такие вещи не всегда проходят безнаказанно: можно совершенно незаметным образом испортить (на время, но не всегда краткое) часть души. Это касается, разумеется, тех душ, на которых господь «играл эфирно-легкими перстами». Такую душу, между прочим, необходимо иметь не только поэту, но и историку и социологу.

Знаете чудесную замену Амфитеатровых и К°? Это не менее легко, не менее увлекательно и вместе с тем невыразимо очищает душу! «История французской революции» Карлейля.

Думаю приехать в 20-х числах.

Целую Вас крепко.

Ваш *Ал. Блок*.

**280. Л. Д. Блок. 10 июня 1911.  
<Шахматово>**

Люба, сегодня я очень устал: ездил через Аладьино и Ивановское в Михалево и вернулся домой мимо Боблова. Все думаю о тебе. Очень скучаю без тебя; кроме беспокойства — всегда пустое место в жизни. Ты не получаешь моих писем; я получаю их — их возвращают из Германии. Но, главное, все еще не вернули.

Прошрое письмо к тебе я написал в очень нервном состоянии. На следующий день пришли опять два письма от тебя, — одно хорошее — о Версале, и без Ремизова и Чулкова. Напиши мне, когда оставишь магазины в покое. Пойми наконец простейшую вещь: что все современное производство вещей есть пошлость и не стоит ломаного гроша, а потому покупать можно только книги и предметы первой необходимости.

Я читаю гениальную «Историю французской революции» Карлейля.

Может быть, ты и этого письма не получишь, потому что уедешь в Бретань? — Пишу

кое-как. Я хочу ехать отсюда в 20-х числах в Петербург. Не могу решить, ехать ли прямо к тебе или проехать все предположенные страны. Скучно без тебя, милая.

Господь с тобой.

Не знаю, поеду ли в Москву.

А. Б.

## **281. Л. Д. Блок. 13 июня 1911.** **<Шахматово>**

**Л**юба, что за странность, что не получаешь моих писем? Я посылаю это заказным, хотя едва ли ты его получишь: вероятно, дошло хоть одно, и ты едешь в Бретань.

Я еду около 25-го в Петербург, хотя не получил от тебя ответа на свои вопросы. Завтра еду в Москву на несколько дней. Жара страшная. Везу Кожебаткину рукописи второй и третьей книги.

Приблизительно с нашего 23-го числа (т. е. с 6 июля) пиши мне в Петербург, — и до 1 июля (13-го).

Твои письма доходят. Прошрое большое письмо опять меня встревожило; но, так как я не надеюсь, что это письмо дойдет, не пишу

так (отдельные места, Ремизов, Чулков и пр. — не заграничное).

Беспокоюсь о тебе постоянно. Происходит совершенно неестественная и нелепая вещь; ты едешь и смотришь, не имея времени углубиться и найти себя; я сижу на месте и питаюсь мыслями, находя и тебя, и себя, и то, что нас обоих кроет и соединяет.

Уезжай на океан, купайся, смотри на воду и думай. Мне временами невыносимо тяжело, что ты с Ремизовыми, а особенно — что тебя видел Чулков и что ты, вероятно, слушала его двусмысленности. Когда я думаю о тебе особенно хорошо и постоянно, как *теперь*, мне особенно больно видеть тень легкомыслия в тебе.

В сущности, я пишу тебе так нервно, потому что уже потерял терпение от нелепости положения (что ты едешь, а я сижу). Кроме того, проклятые письма мои не доходят, и ты теряешь связь со мной. Господь с тобой.

А. Б.

## 282. А. В. Гиппиусу. 13 июня 1911. Шахматово

**М**илый друг Александр Васильевич, целую тебя крепко за твое нежное письмо. Много хочу тебе сказать и обо многом говорить, всегда люблю тебя и надеюсь, что мы когда-нибудь будем жить в одном городе. Что тут писать, все равно всего не напишешь. Вот в общих чертах наши дела: живу здесь с мамой и тетей — до 27 июня. В начале июля еду к Любе в Бретань (где она будет на днях; побывала уже в Берлине и в Париже, а расстались мы только 19 мая). Мой путь, вероятно, такой же, хотя я рассчитывал ехать через Стокгольм и проехать Данию, Голландию, Бельгию и северо-восток Франции (соборы!). В Бретани (где-нибудь в Тристановских местах) мы проживем, потом один я или мы оба поедem к югу: я хочу купаться где-нибудь около Пиренеев в океане — для «обмена веществ». Впрочем, все, чем я болен, — нервы, гиперэстезия и т. д. — Из Испании через знакомые итальянские места — в Петербург. На эту зиму я надеюсь: во-первых, предполагается ра-

но или поздно журнал. Во-вторых, я хочу дописать большую поэму, которую начал давно и которую люблю. — Мама будет жить в Петербурге, потому что нельзя же ехать, наконец, в *Полтаву*, где Франц Феликсович получил бригаду. — С лирическими стихами расстаюсь — до старости. Ты получишь осенью все остальное: и новый сборник и два последних тома «Собрания стихотворений».

Все это — одни голые факты, и дело, конечно, не в них.

Много в жизни всего — и *хорошо жить, да*.

Если бы я мог, я бы посвятил тебе стихи о юности; но они посвящены одной давней и милой тени, от которой не осталось и связки писем. Других же тыне знаешь.

Кланяйся Юлиании Ксенофоновне, если она меня помнит. До свиданья, верю в это.

Любящий тебя *Ал. Блок*.

Ну да, мы не юноши, но это *хорошо*, милый друг, пора, пора!



## 283. В. А. Пясту. 3 июля <1911. Петербург>

Милый Владимир Алексеевич.

В прежние времена я писал бы стихе в такое утро, как сегодня; а теперь пишу письмо Вам <...>

Дело в том, что Петербург — глухая провинция, а глухая провинция — «страшный мир». Вчера я взял билет в Парголово и ехал на семичасовом поезде. Вдруг увидел афишу в Озерках: цыганский концерт. Почувствовал, что здесь — судьба и что ехать за Вами и тащить Вас на концерт уже поздно, — я остался в Озерках. И действительно: они пели бог знает что, совершенно разодрали сердце; а ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала мне поцеловать руку — смуглую с длинными пальцами — всю в броне из колючих колец. Потом я шатался по улице, приплелся мокрый в «Аквариум», куда они поехали петь, посмотрел в глаза цыганке и поплелся домой. Вот и все — но сегодня все какое-то несколько другое и жутковатое. Ну,

до свиданья.

Ваш А. Б.

## 284. Матери. 5 июля 1911. <Петербург>

**М**ама, сегодня уезжаю, вчера получил паспорт.

Вчера был у доктора, он оказался умнее, чем я думал; выслушал, исколол и выстучал меня всего; сердце оказалось в полном порядке, так что купаться я могу, где вздумаю, только не более ¼ часа раз в день, зато хоть целый месяц, вообще — как понравится. Нервы в таком состоянии, что «на них следует обратить внимание», но через два-три месяца правильной жизни все должно пройти. Правильной жизнью он называет — совсем не пить вина и принимать два раза в день пилюли с новым средством (Арреноль — там есть и бром). Купанье он советует.

Вчера был у Пяста в Парголово, а третьего дня — в Царском. То и другое было совершенно разное и очень хорошо. С Женей мы носились на велосипедах два часа — в Баболово, а с Пястом долго гуляли и сидели в Шувалов-

ском парке.

В субботу я поехал в Парголово, но не доехал; остался в Озерках на цыганском концерте, почувствовав, что здесь — судьба. И действительно, оказалось так. Цыганка, которая пела о множестве миров, потом говорила мне необыкновенные вещи, потом — под проливным дождем в сумерках ночи на платформе — сверкнула длинными пальцами в броне из острых колец, а вчера обернулась кровавой зарей («стихотворение»).

Господь с тобой. Целую. Напиши в L'Abervrach.

*Саша.*

## 285. Матери. 7 июля <н. ст.> <1911. Берлин-Кельн>

**М**ама, я уже в Берлине, пью кофей. Спал скверно, потому что был увлечен полетом поезда и ультрафиолетовыми лучами ночника.

Удивительный и знакомый запах в Германии. Ясное и прохладное утро, под Берлином прогуливают скаковых лошадей, цветут цветы, рябины в ягодах. — Уже сегодня вечером я буду в Париже, представь себе! Из одной столицы в другую — 16 часов. Поезд пойдет в Бельгии до 100 километров в час. Это меня так увлекает, что я хочу даже миновать Кельн и Аахен.

Господь с тобой.

*Саша.*

Между Берлином и Кельном — жнут рожь, — все машинами. Есть красивые горы, туннели и старые замки. Люблю Германию. Мой поезд летел с быстротой, которая всякий раз удивляет.

**286. Матери. 20 июля <н. ст> <1911.  
Кельн>**

**М**ама, я остался здесь ночевать, сижу в кафе и ем мороженое, помогает от жары. Собор опять показался издали — в голубом тумане. Завтра поеду в Париж в 8 час. утра.

Во-первых, я устал от вагонной духоты; во-вторых, пришлось пересест в первый класс (из Hannover'a до Coln'a), потому что на Фридрихштрассе сели в мое купэ французские буржуа и австрийский лакей и стали ругать Россию с таких невообразимо мещанских точек зрения, что я бы не мог возразить, если бы и лучше говорил по-французски.

В Париже буду завтра в 4 часа дня; попробую сейчас же уехать в Брест. Господь с тобой. Целую.

*Саша.*

## 287. Матери. 21 июля <н. ст.> 1911. <Париж>

**М**ама, вчера еще утром я был на Unter den Linden, а вечером я стоял на мосту Гогенцоллернов над Рейном и был в Кельнском соборе, а сейчас пришел из Notre Dame, сижу в кафэ на углу Rue de Rivoli против Hotel de Ville, пью citronnade,[28] поезд мчался еще быстрее, чем в Германии, жара, вероятно, до 40°, воздух дрожит над полотном, ветер горячий, Париж совсем сизый и таинственный, но я не устал, а, напротив, чувствую страшное возбуждение. Париж мне нравится необыкновенно, он как-то уже и меньше, чем я думал, и оттого уютно в толпе. — А вот и химеры (но их ведь 60 — всех не пошлешь).

Сейчас хочу купить купальный костюм, это почти рядом, в Лувре. Все вообще под рукой и все ясно и просто, проще даже Кельна и вообще любой германской сложности. Страшно весело — вокруг гремят и кричат, я сижу почти на улице.

Около Льежа я разговаривал с тамошним студентом, мы обменялись карточками, я ему

рассказывал, как французы вчера ругали русских (около Берлина), он уверял, что французы вообще любят русских, что ему нравится мороз, и т. д.

Показывал мне Бельгию (Ниу). Бельгия очень хороша, вся холмистая, с водяными резервуарами и с тучей фабрик. А Франция — Belle France,[29] в ней есть дали, каких нет и в Германии, и не так все с иголочки, как там.

Сейчас везут передо мной розы.

Завтра утром еду в Брест, где придется переночевать, и только послезавтра утром доеду. Господь с тобой.

*Саша.*

## 288. Матери. 24 июля <н. ст.> <1911. Аберврак>

**М**ама, я здесь уже третий день. Третьего дня — выехал из Парижа, было до 30°, все изнемогали в вагоне, у меня уже начало пучиться в голове; так было до вечера. Вдруг поезд пролетел два коротких туннеля и все изменилось, как в сказке: суровая страна со скалами, колючим кустарником и папоротником и густым туманом. Это — влияние океана — уже за час до Бреста. В Бресте — рейд полон военных кораблей. Я подумал — и вдруг решил ехать на автомобиле, а не ночевать в гостинице. 36 километров мы промчались в час. Очень таинственно: ночь наступает, туман все гуще, и большой автомобиль с фонарем несется по белым шоссе, так что все шахраются в стороны. И черные силуэты церквей. — Наконец появились маяки, и мы, проблуждав некоторое время в тумане, нашли гостиницу и въехали во двор. Люба только что засыпала.

Гостиница очень уютная, красивая и удобная. Вчера утром и сегодня солнце. Мы на бе-



регу большой бухты, из которой есть выход в океан, и океан виден за группой скал и островов. Живем окруженные морскими сигналами. Главный маяк (за 10 километров от нас в море) освещает наши стены, вспыхивая каждые 5 секунд. Рядом с ним — поменьше — красный. На берегу — красный и зеленый. Кроме того — значки на берегах — всё для обозначения фарватера. Вчера был легкий бриз, и мы выезжали на парусной лодке в океан, а потом — в порт Аберврака, где стоит угольщик. Этот угольщик — разоруженный фрегат 20-х годов, который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Melromene». На носу — Мельпомена — белая статуя, стремящаяся вперед в море. Пустые люки от пушек, а в окнах видны дети. Нет ни брони, ничего, мачты срезаны наполовину, рей сняты. А когда-то воевал.

Еще мы заезжали на праздник «Le Pardon de S-te Marguerite», [30] но не дождались процессии. Толпа бретонцев в национальных костюмах должна была сопровождать крестный ход — маленькую часовню носят по дюнам, а потом — танцуют и пьянствуют.

А сейчас я купался, но не выдержал и двух минут — от холода и непривычки. Приятно, однако. Вообще все здесь хорошо, и мы будем жить, вероятно, здесь. Очень хорошая еда — и все.

Пиши сюда. Идем гулять. Господь с тобой.  
*Саша.*

Большая Медведица на том же месте. На юго-востоке — звезда, похожая на маяк. Совершенно необыкновенен голос океана.

## **289. Матери. 27 июля <н. ст> 1911. Аберврак**

**М**ама, вчера я получил твое письмо. Здесь так хорошо, что мы остаемся до половины августа (st. п.). Вчера я купался второй раз — в дюнах. Надо идти за два километра, но это искупается теплотой моря и мягким песком. Можно уйти чуть не за полверсты в море. Я не мог вылезти минут десять, так было хорошо.

Мы живем в доме XVII века, который был церковью. Рядом с моей комнатой прячут обломки кораблей. Здесь самое красивое — дворик нашего отеля со старой смоковницей, с

воротами в сад, где груша посажена еще монахами, и со св. Марком на столбе — без головы (ее отрубили в революцию). Когда поднимешься на гору рядом с нами, — видна карта северо-западной Франции — от самого западного острова Ouessant — до входа в Ламанш. На горизонте постоянно большие корабли, но они не заходят к нам, мы — в большой и уютной бухте, из которой выход в открытое море мимо старого форта (Saizon) на полуострове, который очень дешево продается, можно бы его купить, обработать землю, посадить деревья и покрыть крышей. Все стоило бы 25 000 fr.

Бретонцы — все моряки и рыбаки, редко хорошо говорят по-французски. Прилив и отлив — каждые 6 час. 20 минут, отлив такой, что третья часть бухты остается свободной от воды и можно пройти пешком; тогда поднимают креветок и морскую траву. Еда каждый день в 12 часов и в 7 часов — по 5 блюд, не считая ежедневных креветок, артишоков, малины и груш. Все это стоит с двумя комнатами — по 6 fr.

После купанья мы хотим ехать в Париж и

скорее всего останемся там недели три — т. е. до Петербурга. Впрочем, до Парижа с неделю поездим по Бретани, главным образом в Quimper и на тристановские острова.

Недавно в одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного Легиона. Я думаю, русские сделали бы то же самое.

Аберврак — я думаю — лучшее место в Бретани. «Альбион» — на севере, но наши окна выходят на запад, так что прямо перед глазами конец Старого Света, и за океаном (здесь как раз нет ни одного острова, только буруны) — Новый Свет. В бурунах года три назад погиб английский пароход, выбросившись на камни в тумане. Можно представить себе ужас океана, только увидев его; пароходы крошечные. Между тем только на днях мимо нас прошла японская эскадра в Шербург. Постоянно ходят военные корабли. Наконец, есть корабли «Hamburg — Amerike Linie», *втрое* больше самого большого броненосца

(до 8000 человек и груз). И все это кажется маленьким и должно зорко следить за маяками и сигналами только при входе в Ламанш.

Пиши мне сюда, господь с тобой.

*Саша.*

Получила ли ты мои письма из Вильно, Ковно, Вержболова, Берлина, Кельна, Парижа и Аберврака?

## **290. Матери. 2 августа <н. ст> 1911. Аберврак**

**М**ама, сейчас мы пили чай с вареньем под смоквой, и почтальон принес твое веселое письмо. — Мы проводим время так: пьем кофей в 10-м часу, потом гуляем недалеко, потом купаемся (когда прилив бывает перед завтраком). Потом завтракаем — в 12 часов — с англичанами, которые живут с нами. Семейство простое, мы постоянно разговариваем и купаемся вместе. После завтрака ходим гулять далеко. Вчера были в форте Saizon'e, о котором я тебе писал, что он продается. Там разрушенные подъемные мосты, казармы, пороховой погреб, будка для часового, места для пушек, караульная комната. Среди валов

можно развести хороший сад. Так как это остров, туда можно пройти только во время отлива. На дне ловят креветок и крабов с кулак величиной (а рядом с нами разводят лангустов, а на фабрике делают йод и соду из морской травы; очень вкусные свежие омары, бывают часто). — Сидя около форта на скалах, мы видели большие пароходы далеко в море. — Возвращаемся до обеда, обедаем в семь часов, потом гуляем всегда на гору над морем. Очень разнообразные закаты, масса летучих мышей и сов, и чайки кричат очень музыкально во время отлива. На всех дорогах цветет и зреет ежевика среди колючих кустов и папоротников, много цветов. — Сегодня видели высокий старый крест — каменный, как всегда. На одной стороне — Христос, а на другой — Мадонна смотрит в море. Кресты везде. На одной дороге — маленький крестик какого-то Ives, — написано — priez pour lui, [31] очевидно — самоубийца или убитый. — Спать ложимся около 10 час. вечера. Купался я сегодня 9-й раз, уже дольше V4 часа, не могу от удовольствия вылезти из воды, учусь плавать. Всю кожу жжет, вода холодная обыкно-

венно. — Все это (кроме купанья) иногда однообразно и скучновато. Развлечение — единственно когда бывают les Pardons,[32] свадьбы (постоянно), песни и когда в порт к нам приходят яхты. Вчера на закате вошел в бухту великолепный трехмачтовый датчанин — на всех парусах, — он привез лес, который здесь страшно дорог, — все каменное и железное. — Очень хорошие собаки, к нам пристаёт и иногда гуляет с нами хозяйский щенок Фело, сеттер породы спота. Раз, когда я купался, он считал своим долгом плавать за мной, страшно уставал, у него билось сердце, и приходилось брать его в море на руки. Во время отлива по дну ходят свиньи, чайки, кормораны. «La canaille»[33] пожинает

великолепную пшеницу, тяжелую, точно вылитую из красного золота. В общем же жизнь, разумеется, как везде, убога и жалка настолько же, насколько пышно ее можно описать и нарисовать (т. е. — вечное торжество искусства). Разумеется, здесь нет нашей нищеты, но все кругом отчаянно и потно трудится. Этот север Франции, разумеется, беднее, его пожрал Париж, торгуют и набивают

брюха на юге. Зато здесь очень тихо; и очень приятно посвятить месяц жизни бедной и милой Бретани. По вечерам океан поет очень ясно и громко, а днем только видно, как пена рассыпается у скал.

Господь с тобой, целую тебя.

*Саша.*

## **291. Матери. 12 августа <н. ст> 1911. Аберврак**

**М**ама, сегодня суббота, а мы уезжаем отсюда, слава тебе господи, во вторник — прямо в Quimper. Впоследствии будет приятно вспоминать эту гиперборейскую деревушку, но теперь часто слишком заставляют страдать — скука, висящая в воздухе, и неотъемлемое качество французов (а бретонцев, кажется, по преимуществу) — невылазная грязь, прежде всего — физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать; говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции. Я купаюсь каждый день в море и чувствую себя, однако, опаршивевшим. Грязь копили веками, la saignée вся провоняла от жирной гря-



зи <...> Душевная грязь изобличается прежде всего тем, что во Франции не существует мужчин и женщин. Французская женщина — существо, не внушающее никаких чувств, кроме брезгливости — и то в том случае, если она очень красива и изящно одета. Со мной рядом купаются две таких величайшие по смешища природы: безукоризненные фигуры, тонкие молодые лица, девически-нежный цвет лица — и холодный, любопытный и похотливый взгляд. Они высовывают из воды все части своего тела, на земле задирают юбки почти на голову; на юбки при этом истрачено ровно столько материи, чтобы они могли лопнуть лишь в крайнем и исключительном случае; и все — тщетно; они вызывают такие же чувства, как свиньи, ежедневно с восторженным хрюканьем носящиеся мимо нашего колодца и поганящие двор.

Занимательны здешние жители: в них есть чеховское, так как Бретань осталась в хвосте цивилизации, слишком долго служа только яблоком раздора между Англией и Францией. Например, единственный здешний доктор; всегда пьяный старик с длинной

трубкой; у него зеленые глаза (как у всех приморских жителей), но на одном — багровый нарост. Он мягок, словоохотлив и глубоко несчастен внешне, но, кажется, внутренне счастлив; всегда ему кажется, что его кто-то ждет и кто-то к нему должен прийти; с утра до вечера бегает взад и вперед по набережной. Его давно уже заменил горбатый доктор из соседнего села, приезжающий в маленьком автомобиле; но он не смущается, всегда в повышенном настроении (от аперитивов), рассказывает иностранцам историю соседних замков (все перевирая и негодуя одинаково на революцию и на духовенство это через 122 года!) и таскает толстую книгу — жития бретонских святых; очень интересная книга — я из нее кое-что почерпнул. — Он просит похоронить себя в море, потому что предпочитает быть съеденным крабами и лангустами, чем земляными червями.

Другой — был когда-то архитектором и рисует в свободное время; но с горькой иронией рассказывает, что не выдержал экзамена в Ecole des beaux arts[34] (хотя и прожил 11 лет в Париже; Париж предстоит им всем как обе-

тованная земля — всегда и неизменно в виде «Москвы» для трех сестер) — и принужден был жениться на дочери фабриканта и заняться выработкой йода и соды. — Он предложил свою карточку для осмотра одного из замков; когда мы пришли туда, то управляющий сказал сурово, что, хотя он знает Monsieur GlKzaux, так как продает ему овощи, но предпочел бы иметь карточку самого M-г 1e Marquis (впрочем, замок мы осмотрели).

Третий — *propriettaire*, [35] — удит рыбу, охотится и вспоминает с восторгом, как его напоили в Петербурге, где он был с эскадрой адмирала Жерве (это было в 1891 году, но для всех них -20 лет как одна минута, потому что все без исключения полжизни пьяны).

Хозяин наш — республиканец, соврет все, что ни скажет; рассказывает о природе Флориды, о своем пребывании в Америке, об умении боксировать и о том, что герб св. Марка — собака, а не лев (последнее — с ожесточенной уверенностью). Он представляется всем смелым мореплавателем, но, кажется, он был поваром на пароходе; это бывает заметно по воскресеньям, когда он сам готовит кушанье.

Супруга его — монархистка и добрая католичка, а потому уморительно ссорится с мужем. Потому же (я думаю) — она отвратительно обращается с маленьким пасынком, который всегда печален и бледен; по ночам плачет в темном коридоре от страха, когда его посылают спать одного.

Даже собаки не бывают грязнее, чем во Франции. Когда щенка Фело искупают, он немедленно бежит спать в навозную кучу, старательно поливаемую фермером навозной жижей; через полчаса любезно приходит и лезет на колени.

Мы живем с англичанами и проводим с ними много времени — даже слишком много, они изрядно надоели. Англичанин — «страна». У него глухой голос, тонкие ноги и густые седеющие усы; он — аргентинский корреспондент из Лондона; сообщает по подводному кабелю и посредством фельетонов, написанных под грушей в Абервраке, но помеченных Лондоном, — все, что может интересовать аргентинских фермеров, — от политики до спорта (особенно — спорт). Однажды в жаркий день сообщил он в Америку из-под

груши о том, что в Лондоне на съезде дантистов дебатировался вопрос о челюстях Габсбургов.

Чтобы эти вести долетели до Америки по подводному кабелю, сооруженному международными компаниями, через весь Атлантический океан, — требуется 1–1/2 часа. Но так как американское время — на 4 часа разнится от европейского, то Новый Свет узнает на 1/2 часа раньше все, что случается в Старом. Так, например, за 1/2 часа до падения авиатора в Европе Америка уже осведомлена о том, убит он или ранен.

У англичанина — семья: жена, которая одна из первых получила высшее женское образование в Англии; сын двенадцати лет — очень веселый, шаловливый и здоровенный мальчик, великолепный клоун; и рыже-красная дочь лет семнадцати, которая играет на рояле, танцует на всех балах и предпочитает оксфордских и кэмбриджских студентов — блазировавшимся лондонским.

Все семейство — ярые велосипедисты, спортсмены и великолепно плавают. Мы всегда вместе и едим и купаемся, часто вместе

осматриваем достопримечательности. Раз пригласили мы их ехать в море, но только что миновали последние скалы, пришлось вернуться: у меня приключилась морская болезнь, и они же отпоили меня коньяком. С тех пор я уже на эту удочку не ходил.

Купаться хорошо, а также пить чай после купанья под смоквой. Сегодня буду купаться 19-й раз. С англичанами нас сближает в большой степени критика французской грязи и горничной; ей пятнадцать лет, но она уже явно предпочитает своим обязанностям корявого матроса.

Есть еще немало интересных жителей, о которых можно бы написать. Сайгонский жандарм с обжорливой и злою женой; разные морские волки, пьяные ловцы креветок, *demi-vinrges*[36] от шести до двенадцати лет, которые торчат целый день полуголые на берегу и кричат друг другу голосами уже сиплыми: «*Tas tes gareons pour jouer!*»[37] Все это даже не удивительно: по-видимому, это обычный способ «формирования» французской «девы» (*puselle* — уменьшительное от блохи).

На днях вошли в порт большой миноносец

и четыре миноноски, здороваясь сигналами друг с другом и с берегом, кильватерной колонной — все как следует. Так как я в этот день скучал особенно и так как, как раз в этот день, газеты держали в секрете совещание французского посла в Берлине с Киндерлэн-Вехтером (немецкий министр иностранных дел), то я решил, что пахнет войной, что миноносцы спрятаны в нашу бухту для того, чтобы выследить немецкую эскадру, которая пройдет в Африку через Ламанш (разумеется!), и т. д. Сейчас же стал думать о том, что немцы победят французов (а они действительно действуют все время с истинно цивилизованной стремительностью и наглостью от Агадира до Конго целая пропасть!), жалеть жен французских матросов и с уважением смотреть на довольно корявого командира миноноски, который проходил военной походом по набережной. Думаю, что все абервраковские чеховцы были одних мыслей со мной, так что, когда миноносцы через несколько часов снялись с якоря и отправились к Шербургу, наступило всеобщее разочарование. Всем, собственно, скучно до послед-

ней степени, и все втайне хотят, чтобы что-нибудь стряслось. Впечатление такое, что все ничего не делают. Даже garde champetre[38], скучает, потому что здесь не воруют, la canaille сера и честна; сера, как честна, а честна, как сера.

Плод цивилизации налицо: в деревушке есть почтовое отделение для посылания открыток на латышско-бретонском наречии со стихами чудовищного пошляка Ботрейля (бретонский Ростан); но стихов и открыток обращать не к кому; разве стоит написать матери о том, что сын утонул (потому что океан топил этих вошек так же, как топил когда-то норманнов и бриттов, по-прежнему опасны его, хотя и промеренные, cailloux,[39] и по-прежнему густые туманы; ни один корабль не может войти даже в этот порт без лоцмана, который в этом веке — отец нашей горничной и получает по 12 франков с корабля). -Но решительно нечего больше писать, потому что faire Гатоиг[40] — привычное и необязательное занятие (кстати, население во Франции уменьшается; в Англии — еще в равновесии: 15% рождений и смертей; в Гер-



мании — прирост колеблется, рождения уменьшаются).

Я, как истинный русский, все время улыбаюсь злорадно на цивилизацию дреднаутов, дантистов и rucelles. По крайней мере над этой лужей, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду, можно умыть руки. Над всем этим стоит культура, неудачно и неглубоко названная этим именем. Ее я и поеду посмотреть — начиная с покачнувшегося иконостаса Quimper'a.

Господь с тобой. Пиши в Париж.

*Саша.*

## 292. Матери. 20 августа <н. ст> 1911. Кэмпер

Мама, Quimper очень красив и стар, но я, к сожалению, мало вижу его. У меня жаба («le sgarreau»), которая только что кончается. В Абервраке последние дни побаливало горло, но я мало обращал на это внимания, да, кроме того, там нет аптеки и доктора. Когда мы приехали сюда, пришлось пойти к доктору, который велел сидеть два-три дня дома. Горло сильно болело, температура поднималась до 37,5, полтора дня я лежал в постели. Дни очень жаркие, так что окна открыты, комната удобная. Сегодня последний день праздников, начавшихся с Assomption.[41] Я сижу у окна, только что прошла сильная гроза; вижу, как балаганщики выбиваются из сил, чтобы заработать напоследок. Передо мной — узкая набережная канала, в который заходят морские приливы (море отсюда только 18 km). На набережной — старые каштаны, листья которых уже желтеют и осыпаются, по-видимому, от сильной и долгой жары (в Париже все еще продолжается жара, так что с

этой стороны мы ничего не потеряем, оставаясь здесь еще несколько дней). — За каналом — песчаная площадь, вся застроенная балаганами, а за площадью — высокая гора, поросшая старыми деревьями. Там — парк. Перед моим окном — две карусели, паровая и простая, кончик балагана фокусника и половина цирка с фургонами, где живут: 1) слоненок, отлично умеющий представлять полицейского, а также возить собаку на голове и хозяина на спине; он ревет в разные часы дня очень громким и убедительным голосом; 2) принц Альберт (обезьяна, которая умеет пить кофей, курить, садиться на горшочек, завертываться в одеяло, ездить на велосипеде и на автомобиле и многое другое); 3) зебр, который умеет делать все, что делают цирковые лошади, и 4) собаки, кошки, попугаи, обезьяны и горбатый бычок, которые умеют делать меньше слоненка, принца и зебра, но, однако, все исполняют свои обязанности исправно. Хозяин всех их любит и хорошо с ними обращается. Иногда видно, как слоненка обливают водой и подвозят ему сено. — Полдня (а сегодня — весь день) — у балаганов толпа. Около

уборной слоненка почти всегда теснится группа поклонников. Карусель свистит, музыка играет во всех балаганах разное, в поющем кинематографе воеет граммофон, хозяева зовут, заглушая музыку криками, на улице орет газетчик, а к отелю подлетают бесчисленные автомобили со свистом, воем и клокотаньем: здесь не только масса французов en vacances,[42] но и богатые американцы и англичане; то пролетит огромный автомобиль с развевающимся американским флагом, разорванным от ветра; то — автомобиль, на котором сидит огромный черный лев с разинутой пастью — очень талантливо сделанный (оказывается — просто «чудо-вакса» под маркой «Lyon noir»[43]). Раз подъехал элегантный автомобиль; из него выскочил здоровенный старик, изящно одетый, со страшно развитой нижней челюстью; у него шофер, которому страшно взглянуть в глаза: такая безмерная наглость и что-то еще худшее написано на его лице; в автомобиле — три девушки, почти девочки, с измученными и униженными лицами, похожие на русских. Кроме того — молодой человек и красавица-мулатка. Очень

интересная и жуткая компания.

Я читаю всевозможные «Je sais tout»[44] и до десяти газет в день (парижских и местных). Пью до пятнадцати чашек чаю и съедаю до десяти яиц. Все это уже надоело, и я хотел бы поскорее поправиться и ехать прямо в Париж, потому что Бретань, при всей прелести, например, Quimper'a, а также некоторых костюмов, которые мы видели, наконец, благодаря праздникам, во всей пышности и во всем разнообразии — все-таки какая-то «латышья»; отвратительный язык, убогие обычаи и какая-то не грандиозная и не много говорящая (за некоторыми исключениями) старина (я не знаю, впрочем, их легенд).

Стихотворение Брюсова «К собору Кэмпера» могло бы относиться к десятку европейских соборов, но никак не к этому. Он не очень велик и именно не «безгласен». Все его очарование — в интимности и в запахе, которого я не встречал еще ни в одной церкви: пахнет теплицей от множества цветов; очень уютные гробницы, много утвари, гербов, статуй, сводиков, лавочек и пр. Башни его не очень давно перестроены, готика — прекрас-

ная, но не великая, и даже в замысле искривления алтаря нет величия, хотя много смелости — талантливо, но не гениально.

В улицах Quimper'a — в старом городе — много итальянского, милого и уютного. Особенно напоминают Италию — каналы и мостики. Здесь — слияние двух рек (Kerper и значит по-бретонски «слияние рек»).

Несмотря на то, что мы живем в Бретани и видим жизнь, хотя и шумную, но местную, все-таки это — Европа, и мировая жизнь чувствуется здесь гораздо сильнее и острее, чем в России [отчасти благодаря талантливости, меткости и обилию газет (при свободе печати), отчасти благодаря тому, что в каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны («и рвет укроп — ужасное занятие!» — как говорит Эдгар, вода слепого Глостера по полю) и лихорадочно изо всех сил живет «в поте лица»]. «Жизнь — страшное чудовище, счастлив человек, который может наконец спокойно протянуться в могиле», так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до

которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса — продажная, талантливая, свободная и голосистая.

Сегодня английские стачки кончаются (по-видимому), но вчера бастовало до 250 000 рабочих. Это — «всемирный рекорд», говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров *в самой демократической стране!* При этом одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия — нечего и говорить, потому что 60% английской промышленности сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На сотнях *больших* пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было *хлеба*, не было *света*. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у которых только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что *все благополучно*, — и кончая обществом эсперантистов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперан-

то. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране», где рабочие доведены до иступления *двенадцатичасовым* рабочим днем (в доках) и низкой платой и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дреднаутов». Именно *все* силы — в последние годы, когда Европе *НЕКОГДА* тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли времена романтизма.

— В Германии и Франции — нисколько не лучше. Вильгельм ищет войны и, по-видимому, *будет* воевать. Он сулит нам какие-то выгоды в Персии, чтобы мы не совались в мароккский вопрос. Газеты уже исчисляют флоты, военные гавани в Ламанше мобилизуются, французы поминают лихом Наполеона III и собираются «mourir pour la patrie».[45] Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и втайне для этого нет никаких причин более, потому что все прошло. Если бы у людей не было животов, то они бы все протянулись и заснули с такой яростью, с какой теперь бастуют, пред-



ставляют и воюют.

Во всем этом интересно еще то, что все в Европе — свои. Газеты интересуются не только «великими державами», но не оставляют и Италии и Испании; у всех на языке всегда все части света. В Африке у всех колонии, в Америке — деньги. Реже упоминается Азия, к ней Европа относится как-то холодно; но меньше всего положительно думают и говорят о России, лучше сказать, вообще о славянском. Славянское никогда не входило в их цивилизацию и, что всего важнее, пролетало каким-то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне особенно интересно. Я надеюсь наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса (его отрасли, самой существенной для меня теперь) в одном уголке Парижа: на задворках Notre Dame, за моргом, есть островок, где жили Бодлэр и Теофиль Готье; теперь там в старом доме — польская библиотека и при ней — маленький музей Мицкевича (который читал в Париже лекции в 40-х годах). Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак; это —

один из ферментов будущего — волшебное зеркало, в котором можно видеть духов Байрона, Мицкевича, революции французской и славянской, и т. д. и т. д. Ну, надоело писать. Господь с тобой.

*Саша.*

А вот карточки Кэмпера.

## **293. Матери. 24–25 августа <н. ст> 1911. <Кэмпер>**

**М**ама, мы всё еще сидим здесь и, может быть, просидим еще несколько дней из-за моей жабы. Горло болит уже мало, но все не может зажить. Надеюсь, во всяком случае, хоть в воскресенье быть в Париже.

Итак, мне не суждено увидеть Джиоконду. Не знаю, описаны ли в России все подробности ее исчезновения, — здесь газеты полны этим.

22-го утром я лежал в постели и размышлял (или мне полуснилось — не помню) о том, как американский миллиардер похищает Венеру Милосскую. Через час Люба приносит газету с известием о Джиоконде.

Она была на месте в понедельник в семь

часов утра. В этот день Лувр закрыт для публики, пускают только художников и прочих известных лиц. Народу, однако, было много. Требовалась огромная смелость и профессиональная ловкость, чтобы улучшить время снять картину (самый опытный рабочий употребляет на это две минуты), пройти через две залы, спуститься по маленькой лестнице и снять раму и стекло, нисколько их не испортив (это было сделано в ватерклозете). Потом надо было нести картину по улице — она довольно велика и на деревянной доске. — В десятом часу ее хватились, в двенадцать уже Лувр был закрыт (и до сих пор не открыт). — Вся парижская полиция на ногах, по последним сведениям предполагают, что нашли след в Бордо, откуда уже ушел пароход в Южную Америку. «Мона Лиза» была куплена у Леонардо Франциском 1-м за 12 000 ливров. Если капитализировать эту сумму — то теперь (с 1510 года) это будет 45 миллиардов франков. Всеми этими выкладками и весьма остроумными догадками заняты газеты земного шара. Удивительна все-таки история этой картины. Джиоконда получала письма,

хранители Лувра и сторожа наблюдали перед ней всевозможные нервные волнения. Теперь печатают портрет ее мужа вместе с портретами Леонардо.

Во всем этом есть не только трагическое, но что-то болезненное и изнервляющее. Рядом с этим во всем мире происходит нечто неописуемо уродливое — приготовление этой войны, от которой несет не только кровью и дымом, но и какой-то коммерческой франко-немецкой пошлостью (одни физиономии дипломатов приводят в уныние). Лига под председательством Ришпена борется с преобладанием технического образования, и, кажется, Франция действительно готова вернуться к классицизму, но — не слишком ли поздно? — Я ежедневно вижу эти скучающие, плюгавые и сытые лица автомобилистов всех стран. Каждый день где-нибудь им выпускают внутренности, но число их неудержимо растет. Недавно автомобиль пропорол брюхо «молодому академику» Ростану, но он от этого только удвоился: остался жив сам и обнаружил своего «знаменитого» сына — плюгавый хамик пятнадцати лет, стишки которого

уже тоже печатают в газетах.

25 august.[46]

Горло улучшается, завтра, надеюсь, уедем в Париж. Господь с тобой.

*Саша.*

## **294. Матери. 30 августа <н. ст> 1911. Париж:**

**М**ама, пока я очень устаю от Парижа. Жары прекращаются, но все деревья высохли, на всем лежит печать измученности от тропического лета. Я шатаюсь целые дни; и когда присядешь в кафэ, начинаешь почти засыпать от тысячи лиц, снующих перед носом, непрекращающегося грохота и суматохи и магазинных выставок. Париж — Сахара — желтые ящики, среди которых, как мертвые оазисы, черно-серые громады мертвых церквей и дворцов. Мертвая Notre Dame, мертвый Лувр. В Лувре — глубокое запустение: туристы, как полотеры, в заброшенном громадном доме. Потертые диваны, грязные полы и тусклые темные стены, на которых сереют — внизу — Дианы, Аполлоны, Цезари, Александры и Милосская Венера с язвительным выражени-

ем лица (оттого, что у нее закопчена правая ноздря), — а наверху — Рафаэли, Мантеньи, Рембрандты — и четыре гвоздя, на которых неделю назад висела Джиоконда. Печальный, брошенный Лувр — место для того, чтобы приходиться плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растет каждый год, а бюджет Лувра остается прежним уже 60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Джиоконды — дреднауты. — Впрочем, парижанам уже и это весело: на улицах кричат с утра до ночи: «A tu vu la Joconde? Elle est retrouvte! — Dix centimes!»

[47] Или: «La Joconde! Son sourire et son enveloppe — dix centimes ensemble!»[48]

Тюльери — иссохшая пустыня, где прикармливают воробьев и фотографы снимают буржуа. Такова же — эспланада Инвалидов. Только могила Наполеона — великолепно, там синий свет и благоговейная тишина.

Еще были мы в Jardin des Plantes,[49] где звери совсем провоняли, и в нескольких церквах, и в музее Carnavalet, и много где. Скучно на свете! Пойду обедать — вкусно и дешево. Господь с тобой.

*Саша.*

**295. Матери. 4 сентября <н. ст> 1911.  
Париж:**

**М**ама, жара возобновилась, так что нельзя показывать носа на улицу. Кроме того, я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел.

Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда — Париж не меньше, чем провинция. Бретань я полюбил легендарную, а в Париже — единственно близко мне жуткое чувство бессмыслицы от всего, что видишь и слышишь: 35° (по Цельсию), нет числа автобусам, автомобилям, трамваям и громадным телегам — все это почти разваливается от старости, дребезжит и оглушительно звенит, сопит и свистит. Газетчики и продавцы кричат так, как могут кричать сумасшедшие. В сожженных скверах — масса детей — бледных, с английской болезнью. Все лица или приводящие в ужас (у буржуа), или хватающие за сердце напряженностью и измученностью. — В Лувр я тщетно ходил и второй раз: в этих заплеванных коро-

левских сараях только устаешь от громадности расстояний и нельзя увидеть ни одной картины — до того самый дух искусства истребили французы. Очень хорошо в двух местах: в подземелье Пантеона — у могилы Вольтера, Руссо, Зола и В. Гюго. Почти полная тьма, холод, пустые серые коридоры; от времени до времени сторож впускает толпу — буржуа, англичан, солдат, женщин, детей и захлопывает за ними дверь; тогда интересно смотреть из темного коридора, как в полосе света вдали эта толпа носится за сторожем с визгом, как воронье над трупами.

Потом — вершина Монмартра: весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем: купол Пантеона, крыши Оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж — не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра — картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего Девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза — во главе Москвы; и ни одной крупинки московского золота и московской киновари — все черно-се-



рое море — и его непрестанный и бессмысленный голос. Поднимаешься на Монмартр, и все это становится понятным. Спустишься — и сейчас же начинаешь дремать среди улицы и даже бульвара. Минутами — жара и бессмыслица становятся гениальными.

Разные кабачки и *caffi-concerts* — почти сплошная плоскость. Кошунство привычное, порнография — способная произвести впечатление на гимназиста от III до V класса. Иногда — очень смешной водевиль или вдруг — поразительная песня, всегда старая (провансальская, например) или повторенная тысячу раз (например, из песен *Ivette Gilbert*). Почти все новое — бесстыдно пошло — и наивно.

Вследствие всего этого я уезжаю сегодня или завтра в Брюссель, а Люба через неделю уедет прямо в Петербург искать квартиру. — От Бельгии я многого не жду, однако хочу увидеть 18 бегемотов в зоологическом саду в Антверпене — и Брюгге. Из Брюгге поеду на родину — в Амстердам и, может быть, еще по Голландии. Оттуда, надеюсь, через Гамбург — в Копенгаген, Эльсинор, а оттуда уже — в Берлин, куда ты и напиши мне (р. г.). В Берлине я

буду во всяком случае.

Господь с тобой.

*Саша.*

## **296. Матери. 6 сентября <н. ст> 1911. Антверпен**

**М**ама, вчера я жестоко наврал на Антверпен — он удивителен: огромная, как Нева, Шельда, тучи кораблей, доки, подъемные краны, лесистые дали, запах моря, масса церквей, старые дома, фонтаны, башни. Музей так хорош, что даже у Рубенса не все противно; жарко не так, как в Париже. Вообще — уже благоухает влажная Фландрия, не все говорят по-французски, город не вонючий, как Париж, слышно много немецкого говора, еще чаще — фламандский.

Завтра поеду в Брюгге или Гент.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 297. Матери. 8 сентября 1911. Брюгге

**М**ама, Брюгге что-то не очень мне нравится пока. Жара возобновилась.

Завтра я переправляюсь в Голландию через Флиссинген. Вчера в Генте нашел очень хорошие примитивы. Здесь местами целые улицы состоят из средневековых громад, но как-то в это не веришь, потому что мир стоит не на средних веках и не на Меммлингах.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 298. Матери. 10 сентября <н. ст> 1911. Роттердам

**М**ама, вчера я послал тебе карточки из L'Ecluse. Без конца ждал поездов, сидел на plage'e в Heust'e (около Остендэ и Бланкебергэ), переехал устье Шельды (полчаса на большом пароходе из Breskens'a в Флиссинген), но ни во Флиссингене, ни в Миддельбурге не остался, проехал всю Зеландию в буммельцуге[50] (вроде наших пассажирских) и остался ночевать в Дордрехте. Там наконец

умылся в ванне. Dordrecht — очень красивый город на разветвлении Мааса. Старый собор, а в музее — культ слащавого Ари Шеффера. Везде, как известно, каналы, большие парходы, польдеры и мельницы. Все это, кажется, напоминает пьесу из «Вестника» — «Путешествие в Италию». В Голландии не так уж весело, в конце концов, — мило, опрятно и водянисто, не оскорбительно.

Из Роттердама, куда я сейчас приехал, я поеду завтра в Гаагу, или в Утрехт, или в Лейден, или в Гарлем, или прямо в Амстердам, еще не знаю наверно куда. — Здесь всё мосты и воды — самое устье Мааса. А вот Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали «северную Венецию» (Venise du Nord), довольно отчаянная мурья. Лодочник полтора часа таскал меня по каналам. Действительно — каналы, лебеди, средневековое старье, какие-то тысячелетние подсолнухи и бузины по берегам. Повертывая обратно: «А теперь новый вид, — n'est pas?» Но ничего особенно нового: другая бузина, другой подсолнух и другая собака облаивает лодку с берега. «А что такое Minnewater?» «Ach, c'est anglais, n'est pas?»

„Water“ — c'est l'eau, et „Minne“ — c'est l'amour (лямяююррр) — n'est pas?»[51] — Меммлинг в Брюгге действительно замечательный. Завидно смотреть на остендские экспрессы, с таким грохотом и свистом они пролетают мимо Брюгге (это очень оживленная линия — соединяющая Париж и Кельн с Англией).

Вчера я попробовал читать приморскую газетку, но ничего нового не нашел: везде маневры, Конго все не решено, Джиоконду всё ищут, а в Ницце провалился театр и убил сорок рабочих. Все это очень характерно для Европы: она иногда любит отдохнуть (par ses chaleurs[52]) и раздавить несколько десятков человек частным образом. — Господь с тобой.

*Саша.*

**299. Л. Д. Блок. 12 сентября <н. ст>  
1911. Амстердам**

**Б**уся, я сегодня получил твое письмо и мамино. Франц получил бригаду, штаб которой в Петербурге, а полки — в Петергофе и Ораниенбауме, так что они будут жить в Петербурге. Мама страшно радуется этому, и я этому очень обрадовался, так что сегодня пришел в музей очень веселый.

А мне уже почти мучительно путешествовать. Во-первых, здесь меня окончательно сожрали мускиты, во-вторых — жара и грязь не прекращаются. Из Брюгге, который есть попойная яма, я тащился целый день по пропитанным пылью дорогам, ждал трамваев в разных клоаках — на пляже в Heyst'e, в L'Ecluse, на пристани в Bres-Kens, потом три часа полз в «буммельцуге» и остался ночевать в лучшем отеле Дордрехта, где по крайней мере взял ванну. Дордрехт — очень милый, но ничего замечательного нет. Следующий день провел в Роттердаме, который мне больше всего понравился. На следующий день сунулся в Гаагу и от отвращения не мог пробыть

там дольше двух часов. Вчера же приехал в Амстердам. Мечтаю вернуться домой как можно скорее, в Данию едва ли поеду, в Берлине буду ждать твоего письма. Давно бы пора нам обоим быть в Петербурге, все это путешествие ужасно мучительно.

Ну, господь с тобой, милая. Я не понимаю, как ты могла жить в этом чудовищном Париже? Вчера из «Matin» я узнал, что там было 36 градусов.

Напишу тебе еще из Берлина.

Господь с тобой.

А. Б.

**300. Матери. 12 сентября <н. ст> 1911.  
Амстердам**

**М**ама, сегодня утром я получил твое письмо (Люба переслала его из Парижа) о том, что ты будешь жить в Петербурге и что там получена бригада. Страшно обрадовался этому, и все утро у меня было хорошее чувство — единственная отрада здесь, кроме нескольких уголков картин. Мне почти мучительно путешествовать; надоело, мускиты кусают, жара, грязь и отвратительный дух этой опоганенной Европы. В Данию я теперь не поеду, а просто остановлюсь в Берлине и постараюсь как можно скорее быть в Петербурге. Уж не знаю, куда писать тебе, пожалуй, к началу сентября вы уедете? — Господь с тобой.

*Саша.*



## 301. Матери. 18 сентября <н. ст> 1911. Берлин

**М**ама, сегодня вечером или завтра утром я поеду наконец в Петербург. Надоели мне серый Берлин, отели, французско-немецкий язык и вся эта жизнь. Люба телеграфировала, что нашла квартиру и дала задаток. От тебя что-то нет писем — последнее (и единственное) — от 30 августа.

Вчера было очень хорошее впечатление в «Гамлете». Смотреть Александра Моисеи во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако он очень талантливый актер. Это — берлинский Качалов, только помоложе и потому — менее развит. Впрочем, нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было очень хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака? «Нет, — отвечает Горацио, — серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисеи отворачивается и тихо плачет.

Офелия была очень милая, акварельная.

Великолепный актер играл короля, такого короля в «Гамлете» я вижу в первый раз. Он был как две капли воды похож на Мартына, и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Гильденштерн, и Фортинбрас (!), и королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес и Марцелл стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только «Ein Stbck Horatio», [53] а Гамлет пришел в теплой шубе — все это очень хорошо.

Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это мне было не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин — и Офелия и Софья молчаливы; оттого приходится болтать принцам — Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам; но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральничают и этим угождают публи-

ке, которая того не стоит.

Немецкая публика, впрочем, лучше русской: слушает и кое-что понимает: известной части, конечно, кажется очень смешным Полоний; кроме того, толстая дама, сидевшая рядом со мной, сильно икала после обеда; но все это не особенно мешало мне: у немецкой буржуазии не такие заплеванные и заклеяменные лица, как у русской. Были и моиссиевские барышни с прическами модерн, и все московско-берлинское, весьма знакомое. Рейнгардт, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени: не то петухи вдали, а впрочем — неизвестно что, как всегда бывает в этих случаях. Господь с тобой.

*Саша.*

Буду ждать от тебя письма в Петербург.

Мне очень неприятно, что я не привезу никому ни одного подарка. Я тщетно торчал у всех магазинов в Париже, в Берлине и во всех больших городах, но, по-моему, в Европе продают исключительно всякую безвкусную дрянь или же полезные и солидные подштанники, клистиры и т. п., которых не принято

дарить.

Гамлет подарил Офелии такую отчаянную дрянь (по-видимому, альбом с видами Эльсинора), что ему пришлось притвориться, будто он ей никогда ничего не дарил.

Целую тетю и Франца и хочу их видеть.

**302. А. А. Измайлову. 5 ноября 1911.  
Петербург**

**М**ногоуважаемый Александр Алексеевич. Прилагаемая карточка, хотя ей четыре года, все-таки из лучших. Вот мое стихотворение — из старых и внутренне дорогих для меня (формат, кажется, такой?). Позвольте мне надеяться на получение статьи Вашей, а потом и книги, очень интересующей меня.

С искренним уважением *Ал. Блок.*

**303. Н. Н. Скворцовой. 16 ноября  
1911. <Петербург>**

**В**чера и сегодня я писал Вам длинные письма. Если нужно отвечать, я отвечу проще всего: унижения нет. Мне это очень, очень нужно. Целую Вашу руку.

*Александр Блок.*

**304. Л. Я. Гуревич. 17 ноября 1911.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемая и дорогая Любовь Яковлевна.

Спасибо за письмо, за ласковое отношение Ваше ко мне и за статью, в которой мне многое близко (пока особенно о «наивности художественных вкусов» — в начале), хотя я не со всем согласен (например, с Вашим пониманием «шести дней деланья» у Вяч. Иванова).

Кажется, опять наступает пора отметить кое-что пройденное вехами (с маленькой буквы). И хочу и боюсь писать статьи, до того они меня отбивают от «своего» писания. К сожалению, иногда «свое» не пишется и «чу-

жое» не пишется, а время летит... Но мир прекрасен — втайне.

Любовь Дмитриевна кланяется Вам сердечно. Спасибо еще раз. Если увидите скоро со Станиславским, передайте ему, прошу Вас, что всегда думаю о нем с нежностью и благодарностью.

Преданный Вам Ал. Блок.

**305. М. А. Ковалеву (Р. Ивневу). 17 ноября 1911. <Петербург>**

**М**ихаил Александрович. Прочтя написанное Вами, я убедился, что Вы не обладаете никакой *ценностью*, которая могла бы углубить, оплодотворить или хотя бы указать путь Вашим смутным и *слишком модным* в наше время «исканиям» «отравленных мгновений» или «одинокого храма» для молитв «несозданным мечтам непостижимых желаний». Все это устарело, лучше сказать, было вечно старо и ненужно. То, что Вы мне вчера рассказывали, живое и простое, неизмеримо лучше того, что Вы пишете. Это не только мое личное мнение, по моему, и другие должны так думать, желая

Вам добра.

Кто прозорлив хоть немного, должен знать, что в трудный писательский путь нельзя пускаться налегке, а нужно иметь хоть в зачатке «Во Имя», которое бы освещало путь и питало творчество. У Вас я не увидел этого «Во Имя», этой неразменной ценности. Потому, я думаю, не стоит говорить о частностях, о том, что стихи приличнее совершенно бесстильной, возмущившей меня беспочвенностью прозы, что *печатаются* стихи, разумеется, и хуже. Только я не советовал бы Вам печататься ни в каком случае; могу сказать с уверенностью, что лучшие из этих стихов пройдут незамеченными, в них не за что ухватиться.

Вы можете, разумеется, не поверить мне, но, право, у меня есть и внимание к Вам, и некоторый опыт, и любовь к литературе. Искренно желаю Вам добра, желаю, чтобы тревоги Ваши стали глубже и открыли Вам пути к воплощению.

*Александр Блок.*

## 306. В. А. Пясту. 27 ноября 1911

Милый Владимир Алексеевич.

Простите, что я сейчас вызывал Вас к телефону. Вы очень «мудро» сделали, что не идете в Варьетэ. Гораздо «алабернее» меня. А я чувствую себя отвратительно — даже сейчас. *Отвратительно* потому, что *не знаю*, что произошло на этой неделе.

Меня *держало* нечто всю эту осень, а теперь перестало держать. Хуже всего то, что я *не знаю*, который элемент умер.

Я не знаю, что, собственно, случилось.

*Потому* я и вызывал Вас сейчас.

Я продолжаю сидеть на Приморском вокзале — в нерешительности, что делать.

Сейчас ухожу — куда-нибудь.

Ваш Александр Блок.

Начинаются уже сны. — Много бы я дал, чтобы завтра выяснилось, *ЧТО* пропало. — Мимо меня ходит пьяный мерзавец.



## 307. Матери. 29 ноября 1911. <Петербург>

**М**ама, вчера я был зол оттого, что мне было очень тяжело еще. Сегодня сгладились все воспоминания об ужасах Мариинского театра, и осталась одна «Хованщина».

«Хованщина» для меня, оказывается, сыграла очень большую роль. Сегодня я совсем другой, чем вчера. Надеюсь, что начну опять оправляться от того удара, который был кем-то нанесен мне внутренне на той неделе. Источник я еще не знаю, но начинаю подозревать.

«Хованщина» еще не гениальна (т. е. не дыхание святого Духа), как не гениальна еще вся Россия, в которой только готовится будущее. Но она стоит в самом центре, именно на той узкой полосе, где проносится дыхание Духа. То, что она идет в придворном театре — правильно, она откровение только для нас, которым следует постоянно напоминать, у которых память еще детская, короткая. Мы еще этого не затвердили.

Для раскольников — это азбука, уже лиш-

няя, может быть даже докучная, как для народа — наши «народнические» волнения и мероприятия. Господь с тобой.

*Саша.*

**308. С. С. Петрову (Граалю  
Арельскому). Ноябрь 1911.  
<Петербург>**

**Д**орогой Степан Степанович.  
Не могу видеться с Вами сейчас (от усталости, от многих дел, от нервного расстройства), но давно имею потребность сказать Вам, что книжка Ваша (за исключением частных, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка. Вас мучат также звездные миры, на которые Вы смотрите, и особенно хорошо говорите Вы о звездах.

*Александр Блок.*

**309. К. А. Сюннербергу. 5 декабря  
1911. <Петербург>**

Спасибо за письмо, дорогой Константин Александрович.

Шрифт обложки, правда, отвратительный, но для меня в этом есть сладость. Все Ваши замечания люблю, как всегда; то, что Вы заметили о «бессмертной пошлости» (по поводу первой книги), — вставил в примечании ко второй, которая скоро должна выйти.

В венке Мейерхольду теперь (по поводу «Орфея») участвовать не хочу: в этом была бы фальшь с моей стороны, потому что я от театра отстал сильно, а последняя постановка Мейерхольда, виденная мной («Дон-Жуан»), мне страшно не понравилась. Я буду больше любить Мейерхольда, если не приму участия в венке.

*Ваш Ал. Блок.*

**310. А. Н. Чеботаревской. 12 декабря  
<1911. Петербург>**

Дорогая Анастасия Николаевна.

Спасибо Вам за письмо. У Вас общество собирается очень большое, а я боюсь большого общества, разрываюсь на части, не умею, как Федор Кузмич например, быть «со всеми и ни с кем». Эта моя общественная бездарность и есть главная причина, почему мне трудно прийти к Вам в воскресенье. Зайду лучше как-нибудь в тихий час. Я Федора Кузмича помню и люблю, не хочу, чтобы он огорчился. Книжку послал ему давно, разве Вы у него не видали? Посылаю ее Вам.

Большое спасибо, если пришлете мне сборник (Малая Монетная, 9, кв. 27) и до свиданья — пока.

Преданный Вам *Ал. Блок.*

**311. С. М. Михайловой и А. И.  
Романовой. <Начало 1912.  
Петербург>**

**С**овсем не надо Вам меня видеть. Мне радостно, что Вы в моих стихах читаете радость; это и есть лучшее, что я могу дать. Будьте счастливы, смотрите, наступает весна; если будете сильны и чисты, жизнь Вам откроется, Вы в нее войдете и поймете, что, *несмотря на все*, что было, что есть и что будет, она исполнена чудес и прекрасна.

*Александр Блок.*

**312. В. Я. Брюсову. 16 января 1912.  
<Петербург>**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Хочу высказать Вам мою признательность за ту заметку обо мне, которую Вы напечатали в «Русской мысли». Уже очень давно мне не приходилось читать о себе таких простых и так объективно выраженных мнений. Поверьте, что я умею ценить и сжатость и точность статьи, и то, что в ней не преобладают над всем ни хулы, ни похвалы, избыток которых обыкновенно только запутывает и критикуемого автора и читателя, ни в чем ни того, ни другого не убеждая.

Не тороплюсь посылать Вам Ваш экземпляр нового и здания «Нечаянной Радости» — в ней перемен немного, и я пошлю Вам ее одновременно с третьей книгой, которая скоро выйдет из печати.

Душевно преданный Вам *Александр Блок.*

### 313. Андрею Белому. <25 января 1912 Петербург>

**М**илый Боря. Я лежу в постели совсем больной и не могу видеть Тебя. Мое письмо разошлось с Твоим, это мне более чем досадно. Если бы я и был здоров, я сейчас не владею собой, мог бы видеть Тебя только совсем отдельно и особенно без Вячеслава Иванова, которого я люблю, но от которого далек.

Вы сейчас обсуждаете журнал. Я менее, чем когда-либо, подготовлен к журналу. Быть сотрудником, прислать статью я могу. Но я *один*, измучен, и особенно боюсь *трио* (с В. Ивановым). Впрочем, я много боюсь, я — *один*.

В письме в Москве я Тебе писал, почему мне страшно увидеться даже с *Тобой одним*, если бы я был здоров. Кроме того, писал, что нахожусь под знаком Стриндберга.

В осеннем письме, которого Ты не получил, я писал, что мне доступнее всего *второй* отдел. Он наиболее *вне* литературы. Я продолжаю писать очень мало, однако; но и сквозь тяжелое равнодушие, которое мной овладе-

ло эти дни, постараюсь написать. Потом будет виднее.

Главное, что я могу сказать Тебе сейчас неравнодушно, — это о том, что *Пяст*, по-моему, нужнейшее лицо в этом журнале. Пишу Тебе сухо *поневоле*, потому что Ты будешь читать письмо *вне* моего круга — в доме В. Иванова. Прошу Тебя, оставь *для меня* Твой след в Петербурге; это еще причина, по которой я хотел бы, чтобы Ты увиделся с Пястом. Через него Ты коснешься моего круга, что важно нам обоим. Атмосфера В. Иванова сейчас для меня немислима. Адрес Пяста...

Любящий Тебя А. Б.



314. А. И. Арсенишвили. 8 марта 1912.  
<Петербург>

Дорогой Алексей Ильич.

Спасибо Вам за Ваше любящее письмо. Не думайте, что оно мне безразлично; только вот что я думаю, читая его: для Вас стихи тех поэтов, о которых Вы пишете, (и мои), как «елисейские поля» — благоуханные цветущие поляны... прошлого. Сюда относится Ваше такое тонкое и такое *человеческое* выражение: «с ними мне не так грустно, т. е. грустней еще». Я это чувство очень хорошо знаю, временами подчиняюсь ему и не люблю его, или, выражаясь по-Вашему, «еще печальней люблю». В этом же смысле могу сказать: «не люблю я стихов» — т. е. «слишком, болезненно люблю», за то, что все прошедшие стихи (и мои в том числе) способны стать вдруг «полями блаженных», царством забвения. Чем меньше сил для жизни, тем слаще забвение.

Вы говорите: «Есть сладкая тоска стихов». «Без них — жить на свете тоска, просто дрянь». Я говорю Вам: понимаю Вас, но *не* хочу знать этого. Мы пришли не тосковать и не

отдыхать. То чудесное сплетение противоречивых чувств, мыслей и воли, которое носит имя *человеческой души*, именно оттого носит это *радостное* (да, несмотря на всю «дрянь», в которой мы сидим) *имя*, что оно все обращено более к будущему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже, — но поскольку в прошедшем заложено будущее. Человек есть *будущее*. Когда же начинает преобладать прошедшее, хотя бы в чистейших и благороднейших своих формах (именно эту сладкую ноту *прошедшего* прочел я в Вашем письме, может быть ошибся?), то человеку, младенцу, юноше и мужу в нас грозит опасность быть перенесенным в елисейские поля. Пусть все там благоуханно, пусть самый воздух синее блаженством, — одно непоправимо: *нет будущего*. Значит, нет человека.

Не видав Вас в глаза, хочу сказать Вам: Милый Друг, берегитесь елисейских полей; пока есть в нас кровь и юность, — будем верны будущему. Если в современной противоречивой и вялой жизни многое тонкое и высокое бессильно сказать нам о будущем, будем беречься его, будем даже любить более грубое и бо-

лее низкое (в культурном, что ли, смысле), если там голос будущего громче. Например: если в моих стихах для Вас есть свое утешение от тоски — тоскою еще более глубокой и тем самым более единственной, более аристократической, — то лучше не питайтесь ими. Говорю Вам по своему опыту — боюсь я всяких тонких, сладких, *своих*, любимых, медленно действующих ядов. Боюсь и, употребляя усилие, возвращаюсь постоянно к более простой, демократической пище. Чтение произведений, которые говорят мне о прошлом только (Вы понимаете, в каком смысле я говорю «прошлое»?), уже почти не занимает места в моей жизни, во всяком случае гораздо меньше, чем занимало когда-то.

Вот видите, почему мне, при всей близости Вашего письма, не хочется видеться с Вами. Может быть, я неверно понял Вас или Вы не сказали главного. Я сейчас пишу поэму и поглощен ею, кроме того, не слишком здоров, — это второстепенные причины, почему я теперь и вообще *почти никого* не вижу, давно уже: боюсь столь понятных мне *искушений* «сладкими звуками и молитвами».

*О, страшных песен сих не пой... и  
т. д.*

Объясните мне, прошу Вас, верно ли я понял Вас? Т. е. что для Вас мои стихи? Только ли «елисейские поля» или морфий? Если так, то виноваты мы оба: Вы, не прочитавший между строк *больше* того, чем сумел (но ведь *хотел!*) написать я; и я, не сумевший написать того, что хотел, засадивший в *тюрьму* сладких гармоний *юношу*, который у меня в груди (ведь это — вечное проклятие художников, и у меня давно *нет* «культы», как Вы говорите, даже великих художников мира, *только* художников). Последняя просьба к Вам: если Вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем.

*Александр Блок.*

**315. Н. С. Гумилеву. 14 апреля 1912.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Николай Степанович. Спасибо Вам за книгу; «Я верил, я думал» и «Туркестанских генералов» я успел давно полюбить по-настоящему; перелистываю книгу и думаю, что люблю и еще многое.

Душевно преданный Вам Ал. Блок.

**316. Андрею Белому. 16 апреля 1912.  
<Петербург>**

**Б**оря, милый! Я исписал много бумаги, чтобы изложить тебе свои впечатления о «Трудах и днях». Впечатления эти множатся, а цельности нет. Вот все общее, что могу сказать.

Первый № сразу заведен так, чтобы говорить об искусстве и школе искусства, а не о человеке и художнике. Этим обязаны мы Вячеславу Иванову. Мне ли не знать его глубин правд личных? Но мне больно, когда он между строк все время *полемизирует* (вспоминаю

твои слова о полемике) с... Гумилевым; когда он восклицает о кабарσιс'е[54] тем же тоном в 1912 году, как в 1905 году; и особенно когда он тащит за собой Кузмина, который на *наших* пирах не бывал... Какие-то «кони, стонущие с нежным ржанием», — ведь это мерзость.

Впечатление от статьи В. Иванова, несмотря на все ее глубины, — душное и тяжелое. Твоя статья, в большой части посвященная ограничению значения «символической школы», которую Вячеслав проповедует упорно и, я сказал бы, без музыкального слуха (помнишь, ты говорил об отсутствии музыкального слуха у Мережковского? — Рядом с этой статьей В. И. - и фельетон Мережковского — симфония), — Твоя статья производит впечатление форточки, открытой в накуренной комнате; но форточки узкой, потому что и Ты говоришь здесь, закрыв лицо. Ведь для «вочеловечивания» сходимся мы в «Трудах и днях»; а все, что есть пока в первом отделе, могло бы быть и в «Аполлоне». Первый № — номер Вячеслава Иванова; над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях он с приятностью громыхнул жестяным листом, —

только так я слышу это режущее мне ухо восклицание о кабарсиç'е. И потому бросаюсь я от этого жестяного грохота к умной и страстной статье Метнера, пускай — на тему, далекую мне: за ней я вижу это печальное *человеческое* лицо *гонимого судьбой*. Оттого-то я сам хочу говорить о Стриндберге (кстати, Пяст пишет об Э. По, главным образом, кажется, опираясь на «Еврика» и биографию).

Всю кашу заварил Вячеслав Иванов; можно повернуть оптимистически и сказать: Вяч. Иванов, грозно нападая на кого-то, потрясает манифестом о символической школе, — и горе тому, кто не с ней; Ты всячески стараешься свести эту «школу» к *minimum*'у, она, в конце концов, только «внутренний канон»; наконец, Пяст объясняет, что «внутренний канон» есть...  $2 \times 2 = 4$ . Завершив наконец, как бы по необходимости, этот круг, созданный не потребностями «Мусагета», но ивановским желанием властвовать над какой-то страной во что бы то ни стало, даже при отсутствии подданных, — «Труды и дни» переходят к делу в статье Метнера; здесь появляются имена, за именами — встают лица, а лица освещаются

вспышками человеческого духа, при свете которых открываются глубины времен; это и есть, я сказал бы, немеркнущий свет «общих начал», в котором мы все — разные, — одно, которые связывают нас так, как не свяжет никакая «литературная школа» в мире.

Раз «Труды и дни» — «внутренний двор казармы», из ворот которой должны выйти готовые к бою солдаты, — это стезя мужественная; а у Вячеслава, надо, кажется, понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его — женский. Кстати, я еще так и не видал его с Твоего отъезда; знаешь ли, когда прошли все эти годы «снежных масок», я опять стал дичиться Вячеслава; ведь в *лучшем* и заветном моем я никогда не был близок ему; есть любовь, есть дружба, но то, что между нами с В. И., надо назвать «романом», а «романическое» не во все периоды жизни одинаково привлекательно...

Вот мне удалось сказать тебе о «Трудах и днях» довольно определенно. Если ты сам не согласен с этим, то понимаешь, что для меня это так?

Я тебе так долго не отвечаю, потому что ра-



ботаю, (кроме того, что много «трудился» над своими впечатлениями о «Трудах и днях»). От этого — лучше чувствую себя: здоровая атмосфера «Запада»; свидания с милыми людьми, полу-деловые, полу-сердечные. Всё так, как будто маленькая капелла дана мне для росписи, и потому пахнет XIV столетием, весна, миндаль цветет где-то на горах. Не пишу, в чем дело, чтобы не выронить его из души.

В Брюсселе я не был, Св. Гудулу видел только из окна вагона. Теперь Вы были, вероятно, уже в Брюгге, которое мне не понравилось (хотя Меммлинг!). Вот в Антверпене удивительно: берег Шельды, пески и крепость на том берегу, средневековая типография и Масис в музее. Побывайте там!

О «Трудах и днях» (№ 2) — ни слуху ни духу.

Ты знаешь наши дела? Расстрелы на Ленских приисках, всюду стачки и демонстрации, разговоры о войне. Последние дни — опять волна тревоги.

Не досадуй на меня за мое «анти-Вяч. Ивановство», для меня его атмосфера тяжела *ненужно*, легче даже все то тяжелое и нудное,

что сейчас происходит вокруг Мережковских.

До свиданья, милый друг, поклонись от меня Анне Алексеевне.

Любящий тебя А. Б.

**317. Е. И. Х-ой. 24 апреля 1912.  
<Петербург>**

**Б**лагодарю Вас за цветы и за светлые слова в такие темные дни, когда все на всех насыляет мрак. Вы пишете о «просветлении»; я знаю, что просветление от каких бы то ни было стихов — жестоко, потому что может быть обманчивым и неверным; и все-таки мне это дорого, есть радость в таких чувствах, как ваше, и есть радость в том, что все мы и до сих пор *ничего не знаем*, и, значит, мир каждую минуту может стать неожиданным и прекрасным.

*Александр Блок.*

## 318. Андрею Белому. 26 мая 1912. <Петербург>

Милый Боря.

Я сам не понимаю, каким образом узнаю и верю во все то, что пишешь Ты, о чем говорится в «Inferno», и т. д. Вы говорите об этом там, за рубежом, а здесь об этом говорить почти не с кем, а с теми, кто знает это, почти невозможно. Когда я читал Пясту выдержки из первого твоего письма, то он просил меня читать только биографию Штейнера, отчет о лекции и т. д., пропуская места обличных встречах, трамваях, и пр. — не из-за Тебя, а *из-за себя*. Второе Твое письмо я читал совсем один в квартире, получив его поздно вечером, — и даже мне, при всей моей «уравновешенности», было чуть-чуть не по себе.

Итак, я почти молчу обо всем, что происходит с вами, молчу и для себя.

На днях я остаюсь совсем один в Петербурге, буду продолжать работу, может быть, поеду куда-нибудь в июне, тогда напишу Тебе.

При смерти Стриндберга присутствовали его сын (описанный в «Одиночестве»), две до-

чери (старшая — от первого брака, замужем за Смирновым, русским, — профессором Гельсингфорсского университета; другая — актриса) и зятя; самые минуты смерти не видали, он умер во сне; кажется, за несколько часов до смерти он всех позвал, сказал, что говорит в последний раз, просил хоронить без пастора на кладбище для бедных и положить в гроб на грудь крест и Библию, «так как только в этой книге есть некоторая правда». На похоронах, кроме тысячи рабочих и студентов, присутствовали представители правительства с министром-президентом. Путь на кладбище — обыкновенный путь многолетних утренних прогулок Стриндберга (тоже описан в «Одиночестве»), Пяст жил в Стокгольме около двух недель, но смерти не дождался. Передал Стриндбергу цветы «от русских поэтов». Его, конечно, не видал (никого не пускали), но видел часть квартиры: светло, и стены выкрашены масляной краской.

У меня мысли театральные, то есть хочу вернуться к драме. Отчасти потому опять я в недоумении от «Трудов и дней». Ужасно все «умно»! Чтобы проходить «тонкой иглой

сквозь студенистую массу», надо иметь свой собственный удельный вес, которого я совсем не чувствую в Степпуне и Яковенке. Они просто тяжелые, не хочу нести их бремени; потому и со вторым номером я как-то только рядом, не проникаюсь. Мне очень дорог тот лад, на который себя настроили «Труды и дни», но не исполнение.

Впрочем, и Ты далек теперь от этого. — Пишу вяло, многим озабочен. Крепко целую Тебя, милый, кланяюсь Анне Алексеевне, не забывай меня и пиши о дальнейшем, как писал.

Твой *Ал. Блок.*

## 319. Матери. 5 июня <1912. Петербург>

**М**ама, за эти дни у меня было много интересного. 2-го, написав тебе письмо, я пошел к Ремизову и просидел у него весь вечер. Ждем Терещенку. На следующий день поехал на открытие спектаклей в Териоки; и еще в Петербурге — что это никого нет (условились ехать компанией). Приезжаю, оказывается, открытие отложено до субботы 9-го. Впрочем, я не раскаивался. Сидели у них в даче, она большая и пахнет как старый помещичий дом, странно — столько разных людей живет вместе; все вместе ели, пили чай, ходили по их огромному парку. Так как ко мне все относятся хорошо и почтительно, мне было легко. Позже приехал Пяст, мы присутствовали на репетиции, я видел, как Люба танцует испанку — танцует свободно и легко, хотя и поученически. Трудно судить без декораций и костюмов. Хотя у них еще ничего не налажено и довольно богемно, но духа пустоты нет, они все очень подолгу заняты, действительно. Все веселые и серьезные, по крайней мере были

тогда; впрочем, уже кое-кто ссорится и определяют партии. У Мейерхольда прекрасные дети и такс.

За сосновым парком — море, очень торжественное, был шторм, кабинки все разбиты, на горизонте маяк. Ночью мы возвратились в Петербург с Любой (она уже уехала вчера опять) и Пястом. В субботу многие едут их смотреть (и я).

Почти каждый день я работаю помногу. Жить мне очень спокойно одному, и приятная печаль. Очень важно жить одному.

Сегодня заходил Городецкий, который завтра уедет с женой в Италию.

Сегодня пришло твое письмо с хорошими известиями. Шоссе меня очень радует, Господь с тобой. Поздравляю тетю с «Торiel»'ю.

*Саша.*

Жары давно не было — прохладно.

## 320. Матери. 10 июня 1912. <Петербург>

**М**ама, вчера я получил письма твое и тети-но и поехал в Териоки.

Ехали вместе с Пястом, Сапуновым, Садовским и еще одним, которого ты не знаешь, знакомый Ремизова. Самого Ремизова, к несчастью, не было — Серафима Павловна опять больна. Там нашли еще знакомых. Театр, хотя и небольшой, был почти полный, и хлопали много.

Мне ничего не понравилось. О Любе судить мне невозможно, особенно по вчерашнему спектаклю, где, в сущности, никому и ни в чем нельзя было проявиться. Правда, прекрасную и пеструю шутку Сервантеса разыграли бойко, — и Люба играла, держалась на сцене свободно, у нее был красивый костюм и грим, но она иногда переигрывала, должно быть, от волнения. Кроме того, были две пантомимы, из которых она участвовала в одной — танцевала; пантомима, по-моему, очень бессмысленная и необыкновенно банально придуманная и поставленная Мейер-



хольдом.

Спектаклю предшествовали две речи — Кульбина и Мейерхольда, очень запутанные и дилетантские (к счастью — короткие), содержания (насколько я сумел уловить) очень мне враждебного (о людях как о куклах, об искусстве как о «счастье»). Впечатление у меня было неприятное, и не хотелось идти на дачу пить чай, так что мы только немного прошли с Любой вдоль очень красивого и туманного моря, над которым висел кусок красной луны, — и потом я уехал на станцию, где встретил рецензентов (Венгерову и Василевского), одобряющих спектакль.

Люба серьезная, занята все время, сегодня будет играть «Трактирщицу» (я не еду), а через неделю — «Мнимого больного» и пьесу Стриндберга, — в обеих большие роли. Товарищи ее хвалят.

Назад ехали поздно ночью опять с Пястом и другими. Буду еще посмотреть, может быть, Люба и актриса.

Хорошо, что вы продали лес. — Я вспомнил, что на чердаке дома лежат оставшиеся изразцы, которые могут пригодиться, может

быть, для новой плиты.

Скажи тетиньке следующее: лист обыкновенно считается maximum 40 000 букв (а не 640 000, как она написала); — австрийская крона (полгульдена) стоит около 35–40 копеек (в зависимости от сильно колеблющегося курса). — Буквы в собственной рукописи (и везде вообще) следует считать так: сумму (среднюю) букв в строке помножить на число (среднее) строк в странице (когда это сделаешь несколько раз, то уж всегда знаешь приблизительно, сколько букв на странице привыкла оставлять рука). — И, наконец: выражение «ad aeternam rei memoriam» значит буквально — «на вечную память о вещи» (т. е., что ли, «об одном деле», «о моем деле» или просто «о деле») — в том смысле, чтобы читатель навсегда зарубил на носу.

А нельзя ли поставить эту «Торiel» в Териоках?

Сегодня душновато, а до сих пор было прохладно и дожди. Господь с тобой, тетиньку целую.

*Саша.*

## 321. Матери. 24 июня <1912. Петербург>

**М**ама, в нашей квартире уже работают. Неделю через три можно будет переехать. Вчера я был там долго, сама она мне уже не показалась такой грандиозной, зато вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эллингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергиевского монастыря (по Балтийской дороге). Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море закрыто домами. Воздух хороший.

Вчера в Исаакиевском соборе служили панихиду по Сапунове, народу было немного и было очень трогательно. Кузмин очень хорошо молился и крестился. После этого мы с Румановым завтракали на крыше Европейской гостиницы, он меня угощал; там занятно: дорожка, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем, так что одну минуту я ясно представил себе Gare

du Nord,[55] как он виден с Монмартра влево. — Сытин уже печатает мои книжки, вероятно с картинками.

Люба вчера не играла, а сегодня будет играть в пьесе Шоу главную роль (которую играла Савина). Я не поеду смотреть, она отсоветовала, а во вторник мы будем, вероятно, выбирать обои.

Господь с тобой.

*Саша.*

Териокская труппа будет играть в Оллиле (рядом) в народном театре, принадлежащем г. Репину и его супруге, которая жрет сено.

## 322. Матери. 27 июня <1912. Петербург>

**М**ама, вчера приехала Люба, мы были на квартире, а потом выбирали обои. Вечером я читал ей оперу, что готово, и ей понравилось. Сегодня к вечеру она уедет опять. В пьесе Шоу осталась собой довольна, чувствовала себя свободно и была красиво загримирована. Я не видал. Вырезки не догадываюсь присылать, их и немного, а в некоторых газетах, которых я не вижу, ругаются.

Кое-что из того, что ты пишешь, со слов твоих, о композиторах, я знаю. Судить, однако, не могу совсем и полагаюсь на судьбу; мало думаю о том, кто будет писать музыку и будет ли кто; сам для себя некоторые партии распеваю; одно время мне показалось, что выходит не опера, а драма, но выходит все-таки опера: меня ввело в заблуждение одно из действующих лиц, которое по характеру скорее драматично, чем музыкально; это — неудачник Бертран.

Сегодня пишу Терещенке.

А что, по-твоему, нужно исправлять в

«Незнакомке»? — В Териоках предполагается вечер памяти Сапунова, для чего вытащат, может быть, его декорации к «Балаганчику». Люба будет играть или «Смерть» (как ее привыкли называть актеры), или даму, которая разговаривает с рыцарем (третья пара); но это будет уже после Стриндберговского вечера. Там Пяст будет говорить вступительное слово и обтесывать актеров, из которых многие плохо понимают Стриндберга. — На Сапуновском вечере Люба будет еще читать — «Мужайтесь, о други» и что-нибудь лермонтовское. Сапунов очень любил стихи, особенно Лермонтова и Тютчева, и в нем самом было роковое и романтическое. Мейерхольд своим талантом покориł себе всю труппу, и Любу в том числе. Я плохо знаю его идеи, Люба говорит, что он очень развился и окреп в последние годы, когда мы с ним почти не виделись.

В труппе, конечно, раздоры, но надежды не теряются. Публики мало, но и это не смущает —

*Бедна моя дорога, —  
Но это не страшит,*

как говорил где-то Сологуб-

Может быть, устроив квартиру, я и поеду куда-нибудь отдохнуть. За границу — не хочу.

В Петров день еду смотреть Кальдерона, где Люба не участвует («Поклонение Кресту»).

Вероятно, с Верховским, к которому сегодня или завтра пойду (и с Пястом). Я совсем не знаю Кальдерона, но думаю, что встречу с ним скоро и притом — близко.

Жары опять давно нет.

Господь с тобой.

*Саша.*

Люба сейчас ходит по делам.

## 323. Матери. 3 июля <1912. Петербург>

Я думаю, мама, что тетя Соня спутала имя: сестру Аси зовут *Наташей*, а не Таней. Что это именно она, я почти не сомневаюсь. Она мне тогда очень понравилась — она тихая и русская, в ней есть старинное. Серезиной жизни я окончательно не понимаю — до такой степени, что даже не удивляюсь ничему; я думаю, что он все еще не определился, и судьбы, им играющие, — мальчишеские судьбы, так что события его жизни, хотя и очень разнообразные, можно смешать и поставить в другом порядке, и от этого ничего бы не переменялось. С ним не случилось еще чего-то основного и бесповоротного. Может быть, женитьба поможет ему не засиживаться в мальчишках. Впрочем, ему еще мало ведь лет.

У меня нет пока никаких событий с последнего письма. Стало опять очень жарко. На улицах опять фонари, прошли белые ночи. Я хожу иногда в Ботанический сад, там есть скверная простокваша и цветники, из которых многие огорожены заборами, чтобы



нельзя было приблизиться. Паровые конки и локомотивы стали топить каким-то особенно вонючим углем, вероятно, потому, что «чистой» публики в Петербурге не осталось. Большая часть мостовых разломана. Однако я хочу постараться дописать оперу здесь.

Это хорошо, что полы красить недорого.

Господь с тобой.

*Саша.*

Как только я написал, что нет событий, так они, конечно, явились. Сейчас прочел о Руманове в «Речи», он уже в тюрьме. На днях только он разошелся с женой, переехал, сделал то, что полтора года собирался сделать и что его мучило. Никаких подробностей еще не знаю.

Сейчас пришло твое второе письмо — с Сережиным. Значит, это третья сестра, которой я не знал. То, что пишет Сережа, мне необыкновенно близко именно сейчас. Когда все вокруг или убого, или ужасно, — остается жить только «последним». В последнем мы с Сережей всегда близки, настолько же, насколько далеки во внешнем. Напишу ему.

До сих пор я не был в Царском. Я соскучился о Жене, давно не видел его. Меня удержи-

вает только боязнь «вавилонских систем» и лень, а впрочем, я думаю, что перейду и через это; мне не хватает его чистоты и благородства среди этого мрака — петербургского зноя, гибели Сапунова, ареста Руманова, <...> припадков Верховского, нищеты Ремизова, беспокойства за Борю и за Пяста... и т. д., - всего не перечислить.

Вот стихотворение Тютчева.

Господь с тобой.

### **Два голоса**

*Мужайтесь, о други, боритесь  
прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безна-  
дежна!  
Над вами светила молчат в вы-  
шине,  
Под вами могилы, молчат и оне.*

*Пусть в горнем Олимпе блажен-  
ствуют боги!  
Бессмертье их чуждо труда и  
тревоги;  
Тревоги и труд лишь для смерт-  
ных сердец...  
Для них нет победы, для них есть*

конец.

*Мужайтесь, боритесь, о храбрые  
друзи,  
Как бой ни жесток, ни упорна  
борьба!  
Над вами безмолвные звездные  
круги,  
Под вами немые, глухие гроба.*

*Пускай Олимпийцы завистливым  
оком  
Глядят на борьбу непреклонных  
сердец:  
Кто, ратуя, пал, побежденный  
лишь роком,  
Тот вырвал из рук их победный ве-  
нец.*

Перед последней строчкой неожиданно приехала Люба! Скоро она будет играть мужскую роль (Лисардо) в «Поклонении Кресту». Сейчас едем на квартиру. Вечером она опять уедет.

## 324. Матери. 15 июля <1912. Петербург>

**М**ама, я приехал кстати: в пятницу уже звонил ко мне Терещенко, приехавший на два дня; вчера днем он приехал ко мне, мы долго сидели, я читал ему оперу, которая ему понравилась, он сделал несколько замечаний, которые я приму к сведению. Надеется все еще на Глазунова. Терещенко какой-то расстроенный и грустный, у него все больны и какие-то еще неприятности; это украшает его, согласно обычаям христианского мира, в котором вот уже 1912 лет людей украшают главным образом «неприятности».

Пока мы говорили с Терещенкой, пришел Женя, сидел в столовой и пил чай. Потом Терещенко отвез нас обоих на Финляндский вокзал, и мы успели к самому Стриндберговскому спектаклю. Спектакль был весь праздничный и, несмотря на некоторые частные неудачи, был настоящий. Прежде всего Пяст прочел большую речь за черным столом перед рампой, густо заложенной папоротником. Все первое действие Люба не сходила со сце-

ны и наконец по-настоящему понравилась мне как актриса: очень сильно играла. Действие происходит в церкви, Жанна (которую она играла) стоит среди церкви с ребенком на руках и произносит слова, полные страшных предчувствий (пьеса написана тогда же, когда «Inferno»); Люба говорила наконец своим, очень сильным и по звуку и по выражению голосом, который очень шел к языку Стриндберга. Впервые услышав этот язык сцены, я поразился: простота доведена до размеров пугающих: жизнь души переведена на язык математических формул, а эти формулы, в свою очередь, написаны условными знаками, напоминающими зигзаги молний на очень черной туче; в те годы Стриндберг говорил исключительно языком молний; мир, окружавший его тогда, был, как грозовая июльская туча, — *tabula rasa*, [56] на которой молния его воли вычерчивала какие угодно зигзаги.

Режиссер (Мейерхольд) и декораторы (с помощью режиссера), по-видимому, это если не поняли, то почувствовали, и потому — все восемь картин на сцене, не ярко освещенной, —

задний фон — сине-черный занавес, сквозь который просвечивают беспорядочные огни. Иногда появится на нем красное пятно; все время мелькают на нем то бутылки с вином (парижское кафэ), то лоснящийся цилиндр и узкий сюртук героя, которого математика Рокка загоняет в ужасное; то битая морда сыщика или комиссара; то красное манто кокотки и отсвечивающий рубином крест у нее на груди; вдруг среди кафэ, в сценическом положении, почти нелепом, проскальзывают черты софокловой трагедии; полицейский комиссар вдруг неожиданно и нелепо начинает напоминать вестника древней трагедии.

Ничего, кроме сине-черного и красного. Таковы Софокл и Стриндберг.

Среди публики, очень внимательной, довольно многочисленной и не похожей на русскую дачную шваль (много шведов и финнов), была дочь Стриндберга; Пяст представил меня ей, но я, к сожалению, не мог сказать ничего ни по-шведски, ни по-немецки; она очень высокая худая пожилая женщина в треуголке с белым пером, одета просто; некрасивостью и измученностью очень напо-

минает отца — напоминает самым лучшим образом; она говорила, между прочим, что Люба играет Жанну лучше, чем гельсингфорсская актриса.

Люба приедет на этой неделе, и мы переедем на квартиру, которая готова (я был там в пятницу). Жара в Петербурге, и все время, оказывается, была жара. — Из Териок мы ехали с Женей вдвоем (ему тоже понравилось все, и Люба), в вагоне клевали носом от усталости. Он переночевал у меня, а сегодня рано утром ушел, пока я спал.

Разбираю старые бумаги.

Господь с тобой.

*Саша.*

Опускаю только вечером: такая жара, что нельзя выйти. Сегодня прочел в «Речи», что Руманова освободили.

## 325. Матери. 21 июля 1912. <Петербург>

**М**ама, жара неслыханная, вчера я купался. Уже два раза больше ничего нельзя делать. Сегодня поеду в Царское вечером, вчера стоворился с Женей по телефону.

Раисова пела все-таки очень хорошо, к тому же несколько старинных цыганских песен, которые попадают в «Цыганских песнях в лицах». Она совсем старая и толстая, голос у нее надтреснутый, но большое искусство.

У цыган, как у новых поэтов, все «странно»: год назад Аксюша Прохорова пела: «Но быть с тобой сладко и странно», а теперь Раисова пела: «И странно и дико мне быть без тебя, моя лебединая песня пропета».

Озерковский театр на горе, и перед спектаклем все смотрели, как какой-то, кажется, Блерию, описывал над Петербургом широкие круги на высоте, которой я, кажется, еще ни разу не видел. Почти пропадал из глаз и казался чуть видимым коршуном, а когда пролетал над Озерками, доносился шум пропелле-



ра (кто-то в публике сказал: «А вот и голосок его слышен»). Господь с тобой.

*Саша.*

## **326. И. П. Брихничеву. 26 августа 1912. <Петербург>**

**М**ногоуважаемый Иона Пангелеевич. Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделен на клетки толстыми переборками: сидя в одной, не знаешь, что делается в соседней. Голоса доносятся смутно. Иногда по звуку голоса кажется, что сосед — близкий друг; проверить это не всегда можешь.

Пробиться сквозь толщу переборки невозможно. Делаешь, сидя в своей клетке, одинокое дело: иногда узнаешь, что это цело где-то, вне поля моего зрения, принесло плод. Точно так же узнаешь, что дело соседа, чей голос казался родным, принесло плод. Все эти узнавания отрывочны, недостаточны, скудны.

Все это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать *общее* дело с Вами, с кем бы то ни было.

Не говорю даже и «навсегда», — но теперь

так. Правда в том для меня (может быть, даже жестокая, но я не чувствую жестокости), что чем лучше я буду делать свое одинокое дело, тем больший принесет оно плод (как, где, когда — все это другое, сейчас не о том говорю). Это не значит, что в России, например, нет такого *четвертого* сердца, которое бы слышало биение трех сердец (скажем: клюевского, Вашего и моего) как одно биение. Ваша вера так велика, что из подобных фактов (а они существуют, я не сомневаюсь в этом) Вы можете делать немедленные заключения, строить на них. — Для меня же это только разрозненные факты, и я всегда могу думать *меньше*: Вы, Клюев, я, кто-нибудь четвертый с Волги, из Архангельска, с Волыни — все равно, — все разделены, все говорят на разных языках, хотя, может быть, иногда понимают друг друга. Все живут по-своему.

Может быть, я говорю так потому, что соединение и связь мыслю такими несказанными и громадными, какие редко воплощаются в мире. Но ведь все великое редко воплощается в мире. Все равно — это опять о другом. Во всяком случае, говорю Вам все это не с тос-

кой.

Говорю к тому, чтобы показать, почему, любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю «Нового вина») нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым и его, и Клюева, и меня. Все остаемся разными.

Теперь я, насколько умел, показал Вам «тенденцию» своей души. Все более укрепляясь в этих мыслях, я все более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для моего «я») она — единственная защита. Вы же (т. е. вся «Новая земля»), по-моему, пренебрегаете формой, как бы надеясь, что души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими. Я и об этом не сужу, — не знаю, может или не может быть так. Говорю это опять-таки для того только, чтобы показать, как различны наши приемы. Так же различны, как далеки друг от друга в *настоящее* время искусство и люди.

Делаю вывод: на художническом пути, как мне и до сих пор думается, могу я сделать

больше всего. Голоса проповедника у меня нет. Потому я один. Так же не с гордостью, как и не с отчаянием говорю это, поверьте мне.

Душевно Вас уважающий *Александр Блок*.

**327. Г. И. Чулкову. 14 сентября 1912.**  
**<Петербург>**

Дорогой Георгий Иванович.

Простите, что я сегодня не пришел к Вам: чувствую себя очень угнетенно все время, не могу говорить.

Ваш *Ал. Блок*.

**328. Д. В. Философову. 27 октября  
1912. <Петербург>**

Дорогой Дмитрий Владимирович.

Сейчас получил Ваше письмо и стыжусь и огорчаюсь тем, что обидел Вас невольно, — насколько умею стыдиться и огорчаться, и, конечно, недостаточно, потому что столько усталости и омертвелости в душе за последние годы. Неужели Вы могли думать хоть минуту, что я хотел Вас обидеть или относился пренебрежительно? Уверен, что не могли, и знаю, что было не так.

На Ваше последнее письмо я промолчал потому, что был уверен, что приду, а кроме того, сам же назвался к Вам прежде, а Вы этим письмом только ответили мне позволением. В телефоне Вашем я отчаялся, потому что пробовал звонить Вам еще в ответ на первое Ваше письмо (с приглашением на совет), но тогда — то трубка была у Вас снята, то няня отвечала, что Вас нет дома и она не знает, когда Вы будете. Если бы вчера надеялся дозвониться, я бы Вам сказал, что не приду, вчера же.

Это все — внешнее, я только объясняю, как было дело. Подкладка же всего этого — в том, что я год от году больше боюсь быть в тягость людям, так как много раз тупая тоска, на меня находящая, передавалась другим, о чем мне говорили, а когда не говорили, я сам чувствовал.

Бывало и бывает еще хуже, когда эта тоска даже не передается, а просто — парализует все отношения: с человеком видишься и говоришь, а потом — как будто ничего не было, беспросветная пустота. Не знаю почему, но как-то особенно остро и болезненно я чувствовали чувствую это всегда по отношению к Вам и к Мережковским; чем дальше — тем острее, потому что я становлюсь все подозрительнее и к себе и к другим.

Я не оправдываюсь перед Вами вовсе, поверьте только, что я не хотел обидеть Вас, а собирался к Вам с лучшими чувствами вплоть до вчерашнего дня, когда стало так гадко.

А чем я виноват, что недостаточно реально чувствую, что «гадко не мне одному»?

Может быть, виноват и в этом, но об этом

мы давно говорили все, и не стоит писать сейчас, потому что это — «другой разговор» и потому что, если это *только* разговор (а на почтовой бумаге только он и возможен), то от него всем станет еще хуже, ничего больше.

Не сердитесь на меня. Хочу сказать Вам ласковое слово, и не умею. Так вот всегда.

Я на Вас сердился, и брюзжал, и ругал Вас иногда, но хочу, чтобы Вы помнили только, что я Вас никогда не оскорблял по своей воле и *никогда Вас не предавал*.

А значит, *ЕСТЬ человеческие отношения*, значит, они — не призрак, и не все потеряно, как думается иногда, не все растворяется в проклятой слякоти и в тумане, и люди — все люди, хотя загромождены и отгорожены друг от друга какими-то проклятыми снами. Вы примите от меня цветы, пусть они означают, что я Вам все это говорю от сердца и прошу Вас простить меня от сердца.

*Ваш Ал. Блок.*

329. В. Н. Княжнину. 9 ноября 1912.  
<Петербург>

Дорогой Владимир Николаевич.

Я все думаю о том, что мы вчера говорили с Вами, меня сильно тревожат Ваши слова, из которых составилась целый «букет», и хочется «отругнуться» в ответ Вам, чего я не успел сделать вчера.

Если не запутываться в оттенках, затемняющих дело и, в сущности, второстепенных, то придется назвать Ваше теперешнее состояние полным *скептицизмом*, что ли. Вам кажется, что жизнь остановилась, литературная жизнь, в частности, беспросветна, людей нет, все более или менее трусливы, или подлы, или сыты, или корыстны, все быстро пропитывается хамством и самодовольством. Прежде всего: мне самому такое состояние глубоко знакомо, я не раз в жизни месяцами думал так; но — возненавидел это в себе и определил для себя вкратце это состояние — словом «эгоизм».

Если все таково, то ведь и я таков же, в самом деле, — это в лучшем случае. А в худ-



шем — я — «сторонний наблюдатель», какой-то вольнопрактикующий сатирик и белоручка; состояние — в полном смысле — обывательское. В том, что Вы вчера говорили, мне почуялись такие обывательские нотки: ничего меня не удивляет, все мне не нравится: высокомерие, презрение, брезгливость.

У Р<емизова> — «куриная душа» (кажется, так). Что это значит? Мы с Вами вчера оба соглашались, что Р<емизов> написал много произведений разного качества, из которых нам с Вами нравится многое, хотя бы и разное. Этих произведений, как-никак, — десять томов. Неужели, когда доходит до дела (хотя бы до советования с Т<ерещенко>), у человека, написавшего то, что написал Р<емизов>, окажется в итоге, в последнем выводе, — просто-напросто — «куриная душа»? Т. е.: «знай свой шесток», сиди, пиши рассказы, которые нам иногда нравятся, и не смей соваться в «дела»? Так, что ли?

«Мережковский на религиозно-философском собрании бахвалится — мы-де говорили с богом». Извините меня, это, по-моему, просто пошлость. И на это сказать можно только

одно: «Да, Мережковский, который прожил долгую мучительную жизнь и написал то, что написал, *говорил с богом*». Мережковский более одинок, чем кто бы то ни было, — и по сей день, и все мы знаем, что он нес и вынес на своих плечах. И, право, мне, не понимающему до конца Мережковского, легче ему руки целовать за то, что он — царь над Адриановыми, чем подозревать его в каком-то самовосхвалении, совершенно ему не нужном и его не касающемся.

Вас смущает то, что после заседания «враги» ходят под ручку и говорят друг другу любезности. Это буквально было с мужичком, который пришел в суд искать справедливости, и вдруг там прокурор с адвокатом ходят по коридору, обнявшись. Что и говорить — кому же это нравится? Вы думаете, Мережковскому нравится? А почему Вас смущает именно здесь эта «условность» нашей интеллигентской жизни, которая, как всем известно, полна лжей и условностей? А не смущает, например, то, что какой-нибудь студентишка... с бараньим носом и глазами выносит вместе с такой же дрянью, как он, громоглас-

ную резолюцию на сходке; а в жизни он что? В жизни он просто себе... какую-нибудь такую же, как он... «по Арцыбашеву» или без оно-го. — Вот на эти Ваши тайные «интеллигентские» симпатии я и намекал вчера; и это для меня «интеллигентство» в отрицательном смысле, потому что в этой закваске кроется тенденция всегда оправдывать бездарное и среднее — в ущерб талантливому и крупному.

Я нарочно сгущаю краски, потому что и Вы их сгущали — особенно тем, что за многими Вашими обвинениями слышится голос «личной обиды».

Милый Владимир Николаевич, знаю я, что это больно и тяжело, но, право, от этого *необходимо* отмахиваться, потому что этого может накопиться много (и накапливается у каждого), и это засоряет душу, и леса за деревьями не видать. Ей-богу, и я не раз не был принимаем у дверей, мне подавали полруки, а человеку, стоящему рядом, всю руку, и т. д. и т. д., и еще много хуже. Ну, и надо *уменьшаться*. Это страшное самолюбие во всех нас сидит, и все это — дурная интеллигентская за-

кваска. Вовсе это не гордость, а все — мелочи. А гордость в том, чтобы, отмахиваясь от дряни, вечно наползающей, делать то, на что способен или к чему призван.

Все главное, что я хотел сказать, я сказал Вам, хоть и коряво, а приводить другие примеры — только затемнять смысл того, что хочу сказать. Если резко многое, то верьте, что это — любя сказано. Еще хочу Вам сказать, что я нападаю не только на Вас, но и на себя, ибо во мне есть «шестидесятническая» кровь, и «интеллигентская» кровь, и озлобление, и — мало ли еще что. Только все это в нас — какие-то осколки и половинки, и не этими половинками мы сможем что-нибудь для чего-нибудь сделать, принести чему-нибудь пользу, — а только цельным, тем, что у каждого — свое, а будет когда-нибудь — общее.

Ваш Ал. Блок.

### 330. Андрею Белому. 15 ноября 1912. Петербург

Милый Боря.

Пишу только *деловое* письмо: в жизни произошло столько, что письмами не скажешь; да и дойдет ли оно до Тебя? — Если дойдет, прошу Тебя, ответь скорее, хотя бы *только* деловым письмом.

В Петербурге основывается новое большое книгоиздательство — «Сирин». Во главе его стоит Терещенко, человек очень милый и скромный, глубоко культурный и просвещенный. Обладая большими средствами, издательство хочет служить искусству и художественной литературе по преимуществу; хочет дать возможность русским писателям работать спокойно; хочет поставить дело (которое едва еще начинается) на реальную почву, не меценатствуя, но и не занимаясь эксплуатацией...

Разумеется, речь уже заходила о Тебе. М. И. Терещенко поручил мне просить Тебя прислать Твой новый роман, для того чтобы издать его отдельной книгой или включить в

альманах. Он особенно понимает и ценит «Серебряного голубя».

Если роман кончен, если Ты согласен выкупить его у Некрасова, которому Ты, кажется, его продал, — пришли его в «Сирин». Я, как ты можешь предполагать, особенно поддерживаю эту просьбу по многим причинам: первая — та, что издательство сразу отметится знаком, как Ты знаешь, заветным для меня; последнее — что это попросту будет для тебя всего легче и выгоднее: ты получишь, во-первых, ответ об условиях без промедления; во-вторых — гонорар, максимальный из возможных, во всяком случае не меньший, чем у Некрасова или в любом другом месте (сколько, кстати, Некрасов заплатил тебе?). — За благородство, бескорыстие и вкус издателей я могу Тебе поручиться от чистого сердца.

Милый Боря, ответь мне, прошу Тебя, поскорее, согласен ли Ты? Если да, присылай роман, проще всего — прямо ко мне, я сейчас же передам его. Боюсь, что ты не получишь письма. Крепко целую тебя и жду ответа.

Любящий Тебя *Ал. Блок.*

331. С. А. Богомолу. 5 декабря 1912  
<Петербург>

Простите, что долго не отвечаю Вам, зава-  
лен делами.

Много хорошего Вы написали в Вашем  
письме; о жизни — лучше, чем о поэзии.  
Впрочем, мне нравятся некоторые строки в  
стихах Ваших, особенно «Песенка Пьеро»  
(кроме конца). Все-таки Вы еще не умеете пи-  
сать, многое наивно и технически очень уж  
слабо.

Вы не думайте нарочито о «крошечном»,  
думайте о большом. Тогда, может быть, вый-  
дет подлинное, хотя бы и крошечное.

— Выражение «враз» — русское. Лесков его  
употреблял нередко; по-моему, только оно  
другого стиля, чем песенка Пьеро. Вас соблаз-  
нила рифма.

*Александр Блок.*

332. А. П... 11 января 1913.  
<Петербург>

Поэму Вашу я перечитал не раз; с первого чтения она мне и нравилась и не нравилась, потому надо было отложить и подождать. Кроме того, очень напряженно писал свое и чувствую себя больным; вот почему так долго не отвечаю Вам.

Теперь впечатление мое определено: думаю, что это — настоящие и большие чувства; это подчеркивается для меня тем, что Вы говорите об этом — не одна. Но и Вы перегружаете эти чувства словами, не умеете сказать так, чтобы по-настоящему было слышно. На один образ приходится десяток выражений «безобразных», вовсе нет художественной экономии.

К выражениям, недостойным того, что хотел сказать ими автор, относятся, например, все эпитеты в «Посвящении» или в 1 главе I части: «сладостно-стройная мечта»; «лучистое мгновенье»; «волшебный огонь»; и много таких; я думаю, Вы знаете, о чем я хочу сказать; это все — уже не говорящее, не слова, а тени



их.

Нравится мне, пожалуй, больше всего 1 глава IV части — почти целиком: очень просто и отчетливо, например: *сухи и холодны ночи*. Это я называю «экономией». Если бы все было так: чем тише, тем лучше у Вас; у Вас, мне кажется, нет силы изобразительности для трубных звуков.

Также нравится мне: «каждое в часе мгновение... — пятый в цветке лепесток», «на трудный, на святой... подвиг страсти» (видите, я все пропускаю места, которые мне не звучат).

Вывод из всего для меня тот, что печатать «Венок» я бы не стал, но то, что он существует, хорошо; для меня, например, он нужнее десятков «декадентских» стихов напечатанных, потому что автор его говорит о «настоящем».

Искренно Вас уважающий *Александр Блок*.

Р. С. Посылаю с посыльным, как Вы мне разрешили.

**333. Л. Я. Гуревич. 13 января 1913.  
<Петербург>**

Дорогая Любовь Яковлевна.

Кончаю пьесу — вот почему так настойчиво сижу дома и не пишу для «Русской молвы». Есть у меня я планы для статей, и я надеюсь осуществить их. Тогда заодно — и стихи (в «Русской молве» было уже три моих стихотворения).

Один из планов моих — написать об «Александре I» Мережковского, когда он выйдет отдельной книгой. Сверх того, Мережковский, кажется, собирается писать по поводу моего последнего фельетона (ответа Философову), так что спор может войти в новую фазу. Думал и о заметках кое-каких, писать хочется обо многом, только трудно это, особенно теперь, с пьесой.

Спасибо вам за письмо.

Преданный вам *Александр Блок*.

### 334. Л. Д. Блок. 20 февраля <1913. Петербург>

**М**илая, сейчас получил твое письмо. Спасибо тебе, что ты пишешь и что так пишешь. Нет-нет и забеспокоюсь о тебе, все думаю, где и как ты, часто думаю, скучаю иногда, каждый вечер хожу к тебе и скрещиваю твою кроватку. У тебя стало красиво, только очень холодно.

Оттепель полная, сильный ветер, пахнет весной. Я еще ничего своего не делаю, часто вижусь с Терещенкой и все больше его люблю. Эти дни были бы интересны для тебя. Третьего дня были на первом представлении «Электры» (в закрытом бенуаре, мама, тетя, Франц и я) — все неправда, как и ждали. Хорошо написал Философов (в «Русском слове»). На Мейерхольда я не сержусь, потому что Гофмансталя испортить нельзя (Штрауса не понимаю). Еще больше возмущаюсь этим венским..., чем четыре года назад. Но на очереди теперь — Мейерхольдова порча Софокла и Лермонтова. Он погибнет, если не опомнится, не бросит *вовсе* кукольное и не вернется к

человеку. Для последнего ему нужно, вероятно, *годы* поста, на что он не пойдет. — В последнем номере «Масок» Коммиссаржевский написал длинную статью о книге Мейерхольда. Там много личной злобы и мстительности, но, к сожалению, много и верного, *очень* верного, и, кроме того, — очень тяжкие улики. — Вчера были мы на открытии Зоновского театра. Так плохо, что говорить не стоит, только одна актриса подает кой-какие слабые надежды (конечно, не Дымшиц; фамилия ее — Фетисова, играла Русалку). Были там с Терещенкой, Волконским, Ремизовым и Философовым, — и все согласны.

Между прочим, играл брат Гнесина. Я не знал, кто это, и был в ужасе: старый, провинциальный, пошлый актер. Играют еще двое из Мариинского театра.

Много еще писем, планов, как всегда. — Не люблю я актеров, милая, постоянно мне больно, что ты хочешь играть. Тут *стыдное* что-то. Спасает *только генищ* нет гения — стыдно, скучно, не нужно. Гениальный театр — искусство, не гениальный — неблагодарное ремесло.

К Станиславскому поедем. Пьесы с тех пор, как ты была, так еще никому и не читал. Мама почти все время больна, у нее часто жар.

Господь с тобой, милая и единственная.

А.

Спасибо тебе, пиши.

Новый адрес напиши. Не думаешь ли вернуться вскоре. Наш абонемент начинается на второй неделе. — Время без тебя долго идет.

### **335. Л. Д. Блок. 25 февраля <1913. Петербург>**

**М**илая, сегодня пришло твое письмо. Пиши, милая, почаще. Теперь здесь тоже весна, часто солнце и тает, мне бывает хорошо. Думаю о поэме. Мы все сообща все время делали дела в «Сирине», многое налаживается. Я хожу иногда за город. Получаю много писем.

О тебе думаю сквозь все с последней нежностью, все меньше хочу для тебя театра (вижу, думаю каждый день, как это теперь трудно и еще долго будет трудно — театральное дело), все больше хочу, чтобы ты была со мной. По-прежнему мы оба не знаем, что ты

будешь делать, но все больше я знаю, что я — с тобой. Тебе, я знаю, теперь не во всем хорошо, так же, как и здесь, — не во всем. Но ведь бывает в чем-нибудь нехорошо, что же делать; «жизнь проходит, как пехота», но в шаге ее врывается мазурка (лейтмотив поэмы); и все этапы жизни нам с тобой суждено пройти вместе, чувствовать все вместе.

Мне много говорят и пишут обо мне, так что эти дни я стал сам себе нравиться. Это можно себе позволить ненадолго.

Господь с тобой, моя милая.

А.

Я тебе писал недавно — о театре («Электра» и Зонов).

**336. К. П. Цинговатовой. 25 февраля  
1913. <Петербург>**

Спасибо Вам за Ваше искреннее письмо. В нем много горького. Разве Вы не знаете, что в жизни происходит непрестанное чудо: сегодня мы плачем, а завтра нам будет светло и легко.

Вы пишете: «Я не умею жить». А кто умеет?

*Кто скажет нам, что жить мы  
не умели,  
Беспечные и праздные умы?  
Что в нас любовь и нежность не  
горели  
И красоте не жертвовали мы?  
(Фет)*

Детей я люблю все больше — с годами, и думаю, что мы — взрослые — должны бояться влиять на них. В детях — самое священное.

Пусть бог даст Вашему мальчику здоровья и сил, пусть он растет и мужает так, чтобы на всю жизнь в нем сохранилась чистота — от детства.

Александр Блок.

**337. С. А. Богомолу. 9 марта 1913.  
<Петербург>**

Ваше письмо меня серьезно обрадовало. Очень ярко бросается в глаза борьба, происходящая в Вас: борьба *старого*, нейрастенического, самолюбивого, узкого, декадентского — с *новым* — здоровым, мужественным, почувствовавшим наконец, что мир безмерно больше и прекраснее, чем каждый из нас. Что радостнее всего, мне кажется, — *второй побеждает*.

Самоосуждение строгое — только к благу. Только «половинное» самоосуждение может приводить к отчаянию. Осуждайте себя, ненавидьте, не бойтесь этого. Вы сами увидите, как из такого самоосуждения рождается новый человек. Под тем, что Вы пишете о Шекспире и Гоголе сравнительно с «новой драмой» и «Екатериной Ивановной», — я подписываюсь обеими руками.

Но разве можно рядом с этим говорить: «Я в своем таланте уверен»? Это говорит *старый* человек в Вас.



Присылайте стихи, если хотите. Дай бог, чтобы и в них чувствовалось пробуждение нового. И — смотрите, как много тут *просто-го*, даже *легкого*: только оттого, что мы перестаем «красоваться» и любоваться на самих себя, — мы сразу начинаем говорить человеческими голосами, и не теми «декадентскими», «нечестными», какими-то «муже-женскими», или — проще, бабьими, которые раздаются в таком обилии в современной литературе. Всего Вам хорошего.

*Ал. Блок.*

### **338. Л. Д. Блок. 23 марта 1913. Петербург**

**М**илая, вчера, чтобы разогнать тоску, пошел я к Мейерхольду — один (Терещенку и Ремизова не звали). «Любовь к трем апельсинам», составленная Мейерхольдом, Соловьевым и Воганом по сценарию Гоцци, не произвела никакого впечатления: сухо и пестро. Были там Валентина Петровна, Пяст, Мосолов, Соловьев, два Бонди, Ярцев, Юрьев, Ракитин, Пронин, Лозинский, Левинсон, какие-то актрисы декадентского вида и еще

многие. Сидели, болтали. Бутерброды были, как у нас. Главное — был двухмесячный медвежонок. Размер его — вершков шесть. На руках у меня визжал и свиристел; во время чтения ревел в кухне, потом пил молоко, стоя и держа бутылку в руках, ночью все не мог заснуть, играл с бумажкой. Вообще показал свою полную маленькость во всех отношениях.

Мейерхольды усталые, 28-го уезжают в Париж.

Вчера я получил очень замечательное письмо от какой-то дамы, оно меня поддержало.

А ты думаешь приехать? Господь с тобой, милая.

А.

Мне бы хотелось еще устроить одно чтение пьесы, чтобы ты присутствовала.

**339 Ф. Д. Батюшкову. 28 марта 1913.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Федор Дмитриевич. Спасибо Вам за приглашение участвовать на Некрасовском вечере. К сожалению, приходится мне опять ответить Вам отказом, на который меня вынуждают многие причины; главная же из них — отрицательное отношение к публичным выступлениям, чувство бесцельности их.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

**340. Л. Д. Блок. 5 апреля 1913.  
<Петербург>**

**М**оя милая, я получил твои письма. Господь с тобой, я много думаю о тебе, и что думаю, не сказать словами.

Вчера я читал «Розу и Крест» среди врагов, светских людей, холодных «нововременцев». Внутренне очень боролся и, кажется, победил. Мне помогало присутствие близких — мамы и тети, Терещенок, Ремизовых, Пяста — и некоторых людей, сочувствующих мне. Все-

го было человек до ста — в актовом зале Шестой гимназии. Думаю, что буду читать еще раз — в пользу курсов.

Столяр Гофман пишет, что стулья готовы. Если ты мне напишешь, сколько их, сколько за них платить и что с него требовать, я ему скажу, чтобы доставил, и заплачу.

Напиши мне. Может быть, я уеду куда-нибудь на часть Страстной и Пасхи, но, может быть, и нет; потому ты все-таки напиши мне.

Мне было тяжело эти дни, но сегодня я чувствую возбуждение от борьбы и думаю, что был вчера живым среди мертвых. Да, путь еще верный пока.

Господь с тобой, милая.

А.

**341. К. С. Станиславскому. 19 апреля  
1913. <Петербург>**

**Г**лубокоуважаемый и дорогой Константин Сергеевич.

Есть у меня пьеса «Роза и Крест». Если бы Вы согласились послушать ее, Вы доставили бы мне большую радость. Если есть у Вас желание прослушать пьесу и если найдется время, очень хотел бы я прочесть ее Вам одному, в присутствии Алексея Михайловича Ремизова только; с ним мы особенно подружились в этом году, и к нему, я знаю, и Вы относитесь хорошо.

В течение всей Фоминой недели в любой день и час, кроме вторника 23-го, я могу быть к услугам Вашим для прочтения пьесы. Если Вы назначите позже, — то и позже. Рад буду просить Вас к себе, а также с удовольствием приду к Вам, если это для Вас удобнее. Если же Вам теперь некогда или просто не до того, то Вы знаете, что я пойму это и не буду иметь никакой претензии, так как по-прежнему глубоко Вас почитаю и люблю.

Буду ждать ответа Вашего!

Неизменно преданный Вам Ал. Блок.

**342. Л. Д. Блок. 21 апреля 1913.  
<Петербург>**

**М**илая, сейчас я ждал Станиславского — читать «Розу и Крест». Он прихворнул и не пришел. На днях, может быть, завтра — придет. Это очень важно для меня и *внутренне* (а может быть, и внешне) решит *все*: я способен верить *только ему лично* (в театре), остальное меня просто бесит — и твой Мейерхольд в том числе. Если Станиславский найдет возможность *сам* поставить и играть пьесу, я буду спокоен за все окружающее его (он — центр). Если нет, я опять закопаюсь в свою мурью, как все последние годы, буду писать до времени для себя, про себя, один (хотя бы и пьесы).

Положение театральное — и мое в частности — очень тяжелое, но я ничего не скрываю от себя, ни на какие половины не пойду.

Если бы ты была сейчас здесь, мне было бы легче. Но ты вот уже 2 1/2 месяца «где-то», очевидно, меняешься, очевидно, вовсе забываешь *все*.

Три дня назад я получил твое письмо, хотел ответить, но очень волновался и не ответил. Волнуюсь и теперь. Но — все равно надо ответить.

Ты спрашиваешь о лете. Мало знаю об этом, это зависит от того, какая ты. Весь май я буду лечиться. В конце мая доктор велит ехать купаться в Средиземном море. Потом — в горы (Карпаты? Галиция?). Хорошо бы попасть в Шахматово. А впрочем, почему я знаю все это? *Осень* в Петербурге, начало того сезона, для меня — самое болезненное, самое неизвестное.

Видел я на днях твою Веригину (у мамы), слышал проекты о «студии» г-на Мейерхольда, который, не зная ни слова по-французски, поехал ставить французскую пьесу в Париже (*отношение к слову* — Nb!). Все, все грозит мне несчастием и бедой той осенью — и твои сухие и торопливые вопросы прежде всего, и то, что тебя окружает (здесь и в базарном тупике), и все, что может и будет меня отравлять в ту зиму.

Г-ну Всеволодскому отвечаю через прислугу. Г-ну Гофману ответил я.

Я думал, подожду несколько дней и отвечу спокойнее. Но нет, не выходит. Всё — живая рана, посыпаемая солью. Господь с тобой.

А.

**343. В. М. Отроковскому. 23 апреля  
1913. <Петербург>**

Дорогой Владимир Михайлович.

Спасибо Вам за письмо и за стихи. Стихи я перечитал несколько раз и много бы мог сделать частных замечаний, но, мне кажется, не стоит делать этого в письме. Стихи певучие, очень молодые и очень подражательные пока; пройдет несколько лет или даже один (в Ваши годы один стоит многих), и Вы будете писать совсем иначе, если это не временное увлечение, если Вам суждено писать именно стихи, а не уйти, например, в науку. Во всяком случае, Вы сами пока мне понравились больше стихов, а это, я думаю, всегда важнее. Без человека (когда в авторе нет «человека») стихи — один пар.

Главное, бойтесь печатанья, оно всегда может повлиять дурно. В стихах, Вашим почерком написанных, можно уловить 1/10 Вашего



сквозь 9/10 разных в подражательностей и шаблонов (до самого дурного — «декадентско-го» шаблона; кроме того, вижу в Ваших стихах немало от Анненского, кое-что от А. Белого и от меня, пожалуй). А в печати Ваша 1/10 пропадет, и Вы станете похожим «на всех». В заключение: прочтите замечательную книгу Розанова «Опавшие листья». Сколько там глубокого о печати, о литературе, о писательстве, а главное — о жизни.

Будьте здоровы, до свидания, жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*

## 344. Л. Д. Блок. 29 апреля 1913. <Петербург>

**М**илая, ты ничего мне не пишешь. Я ничего не знаю о тебе, думаешь ли ты возвратиться, как и чем ты живешь.

Третьего дня у меня был Станиславский. Он сидел у меня *девять* часов подряд, и мы без перерыва говорили. Он прекрасен, как всегда, конечно. Но вышло так, оттого ли, что он очень состарился, оттого ли, что он полон другим (Мольером), оттого ли, что в нем нет моего и мое ему не нужно, — только он *ничего не понял* в моей пьесе, совсем не воспринял ее, ничего не почувствовал. Он даже извинялся, боялся мне «повредить» и т. д.; говорил, что он не понял и четверти, что надо считать, что я ему рассказал только схему (я ему рассказывал уже после чтения все с начала, разжевывая, как ребенку, кое-что он понимал — холодно, — фантазировал, представлял — по-актерски, доходил даже до пошлости иногда). Он много рассказал мне о своей студии, работу которой я пойду сегодня смотреть — с мамой.

Станиславский не «повредил» мне, моя пьеса мне нравится, кроме того, я еще раз из разговора с Станиславским убедился, что она — правдива. А все-таки — горько. Опять писать, держа все «под спудом», кругом — травля от старых, и от молодых, тесный, тесный круг близких, непонимание тех, кто мог бы понять, полная неизвестность относительно жизни, и ты — далеко.

Завтра я начинаю лечение. Если б можно было узнать, когда кончится твое безвестное отсутствие.

Господь с тобой.

А.

Из твоего письма (неделю назад) я узнал только, что ты опять что-то подозреваешь о маме, чего нет, опять какая-то ненужная путаница — «вечное возвращение».

345. Л. Д. Блок. 29 апреля 1913.  
<Петербург>

**М**илая, я только запечатал письмо к тебе и сейчас же получил твое.

Неужели ты не приедешь *прежде* конца мая и совсем не поживешь со мной? Во-первых, мне совсем постыла эта пустая квартира. Во-вторых, надо же хоть сообразить все, опомниться. Я тут без тебя прожил долгую и трудную жизнь, от которой ты — за тридевять земель (опять волнуюсь и мучусь; эти вздорные слова должны идти тысячу верст, через две недели я получу ответ — опять не о том, что меня волнует, опять — из какой-то *летаргии* с ума можно сойти; мне вовсе не сладко).

На серные воды мне не нужно. Куда ехать и когда, я не знаю. И не хочу звать (после этого ты опять будешь ждать «ласкового письма», какое пишется, когда в человеке еще, и еще, и еще раз все перевернулось вверх дном и застыло в неясности, а душа... непоправимо устает и стареет от стужи, от неизвестности, от *сна* близких). «Просто нервы»... — нет, не просто.

О Станиславском я написал утром. О Мейерхольде — лучше не будем говорить. Двух пудов соли я с этим вторым Чулковым не съем. Мне не надо прирожденных плагиаторов с *убогим содержанием* души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта. Буду, насколько хватит сил, работать «про себя». А когда станет невтерпеж — сопьюсь.

«Станиславский „сейчас“ лучше, чем Мейерхольд!» (твои слова). Да ты очнись, пойми, до чего вы все заврались, не отличаете бриллианта от бутылочного стекла? Тоже — художниками хотите быть. А ведь, наверно, всё там рассуждаете о «театре», пожалуй еще, о «новом театре» (пошлые шаблонные слова, дыр протертые, одно решето осталось).

Конечно, в моих словах есть и нервы, но не они одни — ты знаешь. Если бы ты приехала хоть в середине мая. Господь с тобой, милая.

А.

Ответь мне.

346. Л. Д. Блок. 1 мая 1913.  
<Петербург>

**М**илая, третьего дня мы с мамой смотрели «Гибель Надежды» Гейерманса в Студии Московского художественного театра. Пьеса довольно фальшивая, но игра превосходная. Напоминает первые времена Художественного театра. Все почти играют хорошо, но главное — ансамбль. Все сделано без помощи старших, только все воспитаны в той строгой дисциплине, которая только Художественному театру свойственна. В публике — слезы. После постановок Мейерхольда и Зонова — отрадное чувство творческой работы, твердой почвы и заслуженного успеха. Мне было интересно следить за тем, как пользуются актеры приемами, которые подробно разъяснил мне Станиславский.

В студии я встретился с Вл. Немировичем-Данченкой и, в весьма любезной форме, дал ему понять все, что думаю о нем (разговор был о «Розе и Кресте», которую он хотел узнать). Думаю, что путь в Художественный театр мне закрыт окончательно, и сейчас мне

очень тяжело от многого, и от этого тоже.

Очень жаль, что ты не видела студии и не увидишь. Там бы можно научиться чему-нибудь путному. Во всяком случае, дух *работы* (единственно поучительный) существует только там, а все остальное (и Мейерхольд особенно) — одно невежественное нутро.

Я пойду непременно посмотреть также и «Праздник примирения» Гауптмана (другой режиссер, тоже молодой).

Кроме того, мне дадут билет на Мольера.

Напиши мне, не приедешь ли ты в половине мая.

Вчера я начал лечение.

Господь с тобой, милая. Снег идет.

А.

11-го приезжает из Волынской губернии А. Белый с женой.

## 347. С. А. Богомолу. 1 мая 1913. Петербург

Спасибо, что так пишете о себе. Все-таки, читая Ваши письма, я чувствую, как много Вы копаетесь в себе — именно в себе, а не в своем. Будь у Вас какая-нибудь любимая работа, «специальность», Вы бы иначе себя чувствовали. Она и будет, надо надеяться. Пока ее нет, все отношение к миру выходит женское, много «настроений» и мало действия. Не так ли? Кому не одиноко? — Всем тяжело. Переносить эту тяжесть помогает только обладание своей атмосферой, хранение своего круга, и чем шире круг, чем больше он захватывает, тем более творческой становится жизнь. Я не говорю Вам, что я этим владею, а думаю только, что всем нам надо научиться этим владеть. Завоевать хотя бы небольшое пространство воздуха, которым дышишь по своей воле, независимо от того, что ветер все время наносит на нас тоску или веселье, легко переходящее в ту же тоску, — это и есть действие мужественной воли, творческой воли.



В конце мая я поеду в разные места (за границу), так что не могу Вам оставить адреса.

Если будете писать сюда, получу по возвращении.

*Ал. Блок.*

Как-то Вы писали об эфире (или о гашише?). Бросьте Вы эту дрянь, ничего, кроме тоски, там нет.

Прочитайте «Опавшие листья» Розанова. Удивительная книга.

**348. Л. Д. Блок. 7 мая 1913.**  
**<Петербург>**

**М**оя милая, вчера, вернувшись с мольеровского спектакля, я получил твое письмо. Ну, хорошо, приезжай 26-го мая, что же делать; я тебя ни в чем не виню, напротив, иногда думаю, как бы тебе не было скучно со мной. Мне трудно все-таки жить.

Впечатление от вчерашнего спектакля у меня самое дурное; прежде всего Мольер устарел. Затем — Бенуа — жизнерадостный труп, и трупом пахнет от его выдумок. «Ансамбль» Художественного театра испарился, большая часть актеров (много новых) играет

хуже, чем в Александринке. Любовники — Юрьевы чистой воды.

Станиславский восхитителен, минутами смертельно жаль его, попавшего в эту мертвецкую бездарностей и пошляков. Та «смерть Прекрасному», которой пропитан весь спектакль, заставляет ненавидеть все красоты; но и на красоты Бенуа, по-видимому, уже не способен. По крайней мере от самых «показных» мест — тошнит. Минутами, кощунство. Я совсем разбит сегодня от этого впечатления, давно не было такой ненужной тяжести. Сегодня пойду второй раз посмотреть «Гибель Надежды» с Терещенкой. Там будет Веригина, которую Станиславский зовет в Студию, и я поддерживаю.

Когда еще ты вернешься. Три недели.

Господь с тобой, милая.

А.

## 349. К. С. Станиславскому. 7 мая 1913. <Петербург>

Глубокоуважаемый и дорогой Константин Сергеевич.

Большое спасибо Вам, что дали мне возможность увидеть вчерашний мольеровский спектакль. Я хотел зайти к Вам за кулисы перед последним актом, но узнал, что Вы в самом начале его — на сцене, и не решил Вас беспокоить.

Кроме того, если бы встретил у Вас в уборной кого-нибудь постороннего, уже никак не сумел бы выразить Вам мои смутные впечатления; а я не хочу от Вас скрывать, что спектакль в целом мне не понравился; нравились только Вы, Лужский в Станареле, иные частности у некоторых, а остальное было тяжело и ненужно. И Мольер устарел, решаюсь сказать это, потому что чувствую отчетливо, как вчера, так и сегодня.

В Студии Вашей, напротив, было много впечатлений истинно прекрасных.

Очень много думаю, в частности, о том, что Вы говорили мне; постарался записать

все, что запомнил. Всего в письме не сказать. Во многом не согласен с Вами. Сегодня опять буду смотреть «Гибель Надежды».

Неизменно и сердечно Вам преданный  
*Александр Блок.*

### **350. Матери. 9 июля <н. ст> 1913. <Гетари>**

**М**ама, вот точный адрес: France, Basses-Pyrénées, Hotel de la Plage Guethary.

Сегодня я получил твое письмо, спускаясь с лестницы, чтобы в первый раз купаться. Сегодня только потеплело, а вода еще довольно холодная. Мы купались минут пять, не больше. Очень приятно. Волны сегодня небольшие и не бьют.

Ты положила нечаянно эти марки в мое письмо, вместо какого-то другого.

Здесь все так грандиозно, как только может быть. В Бретани мы были около бухты, хотя и большой, а здесь — открытый океан.

Нас перевели вчера в настоящие комнаты, у меня окно во всю стену, прямо на море, я так и сплю, не закрывая его. Кораблей немного и все очень далеко. Рядом с нами — рыба-

ки, которые вчера привезли шесть огромных камбал и потрошили их, так что запачкали кровью весь мол. Прямо под окнами у нас — Etablissement des bains,[57] там надо раздеваться в каютках. В самой деревне — тихо и все пропитано запахом цветов. Всюду огромные дали. Сегодня мы купили за 40 сантимов большой букет роз. В оранжерее поспевают виноград, поспеет через десять дней. Тамаринды, как бузина, растут из-под каждого камня, а луга почти как в Шахматово. Берег похож на бретонский, такие же скалы, папоротники, ежевика, только немногим богаче. Всюду — белые дома и виллы. Биарриц хорошо виден, с другой стороны виден St. Jean de Luz и кажется, даже Hendaye — последний французский plage[58] — перед Испанией. Все это надо будет изъездить. Пока мы ходили в обе стороны по берегу и по разным шоссе.

Напиши мне о войне, я читал в Париже «Matin», а здесь не вижу газет.

Молодой месяц я увидел справа, когда мы выехали из Парижа. У меня перед окном Большая Медведица, высоко над головой.

Мы уже купили espadrilles, сандалии с ве-

ревочной подошвой, и ходим в них. Солнце обожгло мне лицо, так что оно красное, как обваренное. Пока нечего больше писать.

Господь с тобой, целую тетю.

*Саша.*

## **351. В. А. Пясту. 19 июля <н. ст.> 1913. Гетари**

Дорогой Владимир Алексеевич.

Вот где мы живем покупаемся. У меня окно выходит на океан. Направо, в десяти верстах, — Биарриц. Два раза ездили в Испанию — в San-Sebastian и Fuenterrabia. Дней десять прожили в Париже, он все-таки единственный в мире; кажется, нигде нет большей загнанности и затравленности человеческой; от этого все люди кажутся лучше, и жить можно как угодно, просто и пышно, пошло и не пошло, — все равно никто не обратит внимания.

Вокруг нас — баскский, испанский и французский говор. А главное — небо и море. Жить, конечно, скучно, я сплю без конца. Недели через две вернемся в Париж, а оттуда — в Петербург. Хочется в деревню.

До свидания, целую Вас крепко.

*Ваш Ал. Блок.*

## **352. Матери. 2 августа <н. ст.> 1913. Биарриц**

**М**ама, сегодня Ильин день, но здесь не похоже на это. Эти дни мы провели очень разнообразно. 29 июля (когда я тебе писал) мы снялись на cartes postales, я тебе их пришлю. Потом — купались. На следующий день — ездили из Guethary — на испанскую границу (Hendaye), а оттуда — на извозчике — в Испанию в деревню Vera в Пиренеях. Там тишина, лесистые долины и скалы, всюду страшные усатые испанцы стражники. Во всякой деревне и на всяком мосту берут пошлину. Возвращались по горной дороге через Col colbardin, откуда видно, как на карте, — изгиб Бискайского залива, ланды, Биарриц и все городки до испанской границы. Очень долго ездили, часов пять; в это время от купанья у меня оглохло ухо и болело ночью, так что на следующий день я только смотрел из окна, как купалась Люба, а потом мы поехали в Биарриц за деньгами и стали собираться в

Париж. В Биаррице ухо уже стало проходить, и я поехал верхом с Любой и с берейтером. Проехали 16 километров, много из них галопом. День был ветреный, мы скакали по берегу моря в ландах к устью Адур, где сажённые волны борются с рекой. Я отвык ездить, да и лошадь не послушная (огромная, тяжелая, гривка подстрижена, любит сахар), так что у меня до сих пор все мускулы болят. — Ухо мое прошло, но на следующий день мы все-таки собрались в Париж (вчера, 1 августа) и уехали для этого в Биарриц. Приехали — и остались здесь жить, думаю, на неделю. Очень уж жаль расставаться с морем. Уезжать из Gufthary было очень жаль. Наш адрес (на всякий случай) — Biarritz Place S-te Eugenie, villa Belle Vue [59] (на море и на цветущие тамарисы); но числа 8-9-го мы будем все-таки, надо полагать, в Париже, ты и пиши туда (poste restante), письма пока будут пересылать.

Я хочу купить себе здесь белье. Люба сейчас уже поехала за покупками в Байонну (большой город рядом). Вчера мы купались долго, минут сорок, волны сбивали с ног. Ухо мое прошло, только я закрываю его ватой и



надеваю шлем для купанья.

Господь с тобой, целую тетиньку.

*Саша.*

### **353. Матери. 12 августа <н. ст.> 1913. Париж**

**М**ама, я получил от тебя здесь уже два письма, не считая того, которое залежалось. Я сейчас сижу в том самом кафэ и за тем самым столом, за которым сидел, когда попал в Париж в первый раз в жизни. Совсем иначе теперь. Париж нестерпим, я очень устал за эти дни; слава богу, с портными все кончено, и завтра днем мы уедем. В пятницу или в субботу будем в Петербурге. Корректуры, конечно, будут посылать в Шахматово, если будут издавать альманах теперь. У меня нет никаких известий из Петербурга.

К сожалению, тут на днях было воскресенье, магазины закрывались, и мы поехали в вонючем таксомоторе в Версаль. Все, начиная с пропорций, мне отвратительно в XVIII веке, потому Версаль мне показался даже еще более уродливым, чем Царское Село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь

вытоптан, ибо в демократических республиках буржуа могут, где им угодно, пастись и гадить.

Боюсь таможни, мне сшили здесь (впрочем, англичане) очень хороший костюм.

Теперь напишу тебе из Петербурга. Долго мне там делать нечего (главным образом — умываться), так что я скоро приеду в Шахматово. Господь с тобой, целую тетиньку.

*Саша.*

### **354. Л. Д. Блок. 21–22 августа 1913. Шахматово**

**М**оя милая, я получил от тебя два письма, а сегодня получил телеграмму, которую захотел понять также и символически; захотел этого потому, что здесь мне кажется очень странным то, что ты постоянно едешь в какие-то Бердичевы (точно — глупый сон). Иногда бывает от этого и грустно и тяжело. Мне и кинематограф не особенно нравится, надеюсь только, что, если... предложат тебе представить что-нибудь непристойное, ты откажешься.

Не думай, что я ворчу или брюзжу, я про-

сто часто думаю об этом, и постоянно думаю о тебе; часто мне кажется диким, почему ты не здесь и не со мной. Мне здесь жить очень хорошо, тихо, я понемногу собираюсь с мыслями, растерянными в паршивой Франции, но ничего еще не делаю; все очищаю сад от суши и гуляю. Засуха и жарко, дождь только сегодня пошел. Вот бы ты приехала, мы бы уехали вместе.

Сегодня я отослал исправленную корректуру первых двух действий «Розы и Креста». Твое письмо о Мейерхольде как-то не произвело на меня впечатления, показалось устаревшим, что ли.

Мне бы нечего было отвечать ему даже; я совсем не чувствую внутренне его бытия как художника и очень боюсь его внешне, так как знаю, что есть в Александринке такой «режиссер». Да еще ты проводишь в письме мнение Вали: Валя — она Валя и есть, очень милая, но, в самом деле, нельзя же считать серьезно, что она относится к театру.

Ты не думай, что я все это пишу под влиянием злости или какого-либо аффекта. Нет, я просто мысленно пробуждаюсь, и многое воз-

вращается в мою голову, только не возвращаются вовсе все эти странные понятия о том, что есть «новый театр», что есть кризис в сценическом искусстве, что есть разница будто бы в «идеях» разных модных режиссеров, и т. д., и т. д. Точно все это я видел в детстве во сне; сначала это была милая чепуха с мистическими оттенками, потом осталась голая чепуха, потом о ней все режиссеры написали книги, которые начали злить, — а теперь... ей-богу, все это прошло безвозвратно, и книги, и «опыты», и «студии», и осталось прежнее деление людей на людей с головой и сердцем и людей без сердца и без головы.

Сейчас заходил к нам, гуляя, Ваня, которому я страшно обрадовался, потому что он похож на тебя. Он пообедал; был очень мил и интересен; издает уже четвертую книгу; кажется, что он именно *делает* много. Я его выспросил о Васе, который служит на заводе, хотя и недоволен этим; дела его пока благополучны, т. е. переданы из сената в окружной суд и, следовательно, отложены, а может быть, прекратятся вовсе; также о Мусе, которая ездит по собачьим делам в Москву и соби-

рается за границу.

По вечерам мы с мамой и тетей занимаемся шарадами, над которыми ты бы хохотала. Мама все почти время чувствует себя плохо, бывают припадки, устает. Много хозяйничает.

Я с каждой почтой боюсь, что меня вызовут в Петербург для театрально-литературного комитета. Пока еще не было ничего, кроме письма от Ремизова о том, что Терещенко 19-го августа приезжает в Петербург, и о мелочах.

А может статься, что я все-таки скоро поеду — в конце августа или в начале сентября. Все-таки на душе не очень спокойно. Да и ты, главное, со своими бердичевыми и кинематографами; — ребячества. Боюсь я, что тебя так ветер носит.

Если бы ты знала, как здесь тихо и хорошо, ты бы приехала. После заграницы ценишь все подлинное особенно. Зимы не вижу; боюсь; прежде всего, ворочусь — и возникнет «вопрос» о «Розе и Кресте» и о Мейерхольде; вопроса такого *нет*, но он *существует*, вот в чем несчастье!

Изволь решать, «да» или «нет» относительно того, что — дым и призрак. Так вот постоянно в *городской* жизни бывает; глупо, нудно, неразрешимо, утомительно и... в конце концов, очень, очень неприятно. Что ты об этом думаешь? Да ты не поймешь, у тебя головка набита бердичевыми и Валей.

*22 августа*

Сегодня дождливо, все деревья радуются. Господь с тобой, маленькая Бу. Если будут письма (нужные), перешли мне. А то бы сама приехала.

**355. М. М. Гаккебушу. 20 сентября  
1913**

**М**ногоуважаемый Михаил Михайлович. Благодарю Вас за Ваше любезное предложение написать рассказ для «Нового слова». Я бы сделал это с удовольствием, но рассказы мне не даются.

Примите уверение в совершенном уважении к Вам.

*Александр Блок.*

**356. В. Н. Княжнину. 3 ноября 1913.**  
**<Петербург>**

Дорогой Владимир Николаевич, с Вашими замечаниями о стихах Савицкого я совершенно согласен; не понимаю одного — что Вы назвали «авторским экзотизмом»?

Вы пропустили еще несколько плохих рифм и ударение («рвалась»). Вообще же, по моему, обратили слишком много внимания. Все, что можно сказать, — что душа чистая, но, должно быть, лет ей немного, что-нибудь вроде семнадцати; говорит о своих годах и об утрате надежды. Лучше бы писал да и писал, не показывая никому, кроме своей матери, если есть она.

Спасибо Вам за слова о «Розе и Кресте», но не об Андрее Белом. Впрочем, все его ругают, я только одного человека встретил сочувствующего, кроме себя.

Не думайте, что я вечно отсутствую, и попробуйте еще звонить. Я собирался звонить к Вам через Аничкова, но не знаю, удобно ли это.

До свидания, жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*

**357. Д. В. Философову. 18 ноября  
1913. <Петербург>**

Дорогой Дмитрий Владимирович.  
Сейчас прочел Вашу статью в «Речи». Конечно, я не согласен с очень многим в ней (как все и всегда не согласны). Все равно, — через все, нас разделяющее, хочу позжать Вашу руку и поблагодарить Вас за бережное Ваше чувство. Спасибо Вам.

Хотел писать много, да не могу, все так горько.

*Александр Блок.*

Р. S. Я получил документы, касающиеся венгеровской публикации; в основном согласен с Вами; сам я тоже не давал автобиографии, и моего имени нет ни в числе «головешек» и нигде.

Воздух, которым мы дышим, проникнут в эту осень преимущественно злобой. И программа продиктована злобой же.

Вам спасибо за то, что Ваша сегодняшняя статья — добрая.



**358. Е. Ю. Кузьминой-Караваевой. 1  
декабря 1913. <Петербург>**

**Е**лизавета Юрьевна, я хотел бы написать Вам не только то, что получил Ваше письмо. Я верю ему, благодарю, и целую Ваши руки. Других слов у меня нет, может быть, не будет долго. Силы мои уходят на то, чтобы протянуть эту самую трудную часть жизни — середину ее.

До свидания, мы встретимся когда-нибудь, я перед Вами не лгу. Прошу Вас, думайте обо мне, как я буду вспоминать о Вас.

*Александр Блок.*

Р. S. «Скифские черепки» мне мало нравятся — это самое точное выражение; я знаю, что все меняются, а Вы — молоды очень. Но все-таки, не знаю почему, мне кажется, что Ваши стихи — не для печати. Вероятно, «Скифские черепки» звучали бы иначе, если бы они не были напечатаны.

359. Л. Я. Гуревич. 11 декабря 1913.  
<Петербург>

Дорогая Любовь Яковлевна, я сейчас пишу и дописываю разные стихи; как только приведу их в порядок, пришлю Вам несколько для «Русской мысли». Сию минуту еще не могу этого сделать. Очень мне бы хотелось, чтобы Струве согласился напечатать то в первом Но; я в нем люблю все строки, кроме третьей от конца, с которой еще не умею ничего сделать.

Ваш душевно *Александр Блок.*

**360. П. Е. Щеголеву. 19 декабря 1913.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Павел Елисеевич.  
Извините, пожалуйста: сегодня я Вам послал листок с моим мнением о лучших романах этого года и, уже после того как опустил в ящик, сообразил, что все это написано каким-то суконным нерусским языком. Объясняется это тем, что я весь день сегодня писал стихами, а потому в прозе окончательно охромел. Пожалуйста, бросьте тот листок, вот другой Вам вместо него.

Преданный Вам *Александр Блок.*

**361. Н. Д. Санжарь. 5 января 1914.  
<Петербург>**

Дорогая Надежда Дмитриевна.

Звонил к Вам и не дозвонился. Прежде всего глубокое Вам спасибо за Русинова, которого Вы, по-видимому, облагодетельствовали (я получил от него восторженное письмо). Он — человек слабый, жить не умеет, сам я ничего настоящего для него не мог сделать (да и не хотел как следует). Наудачу послал его к Вам, потому что передо мной лежало Ваше письмо и я думал о нем и о Вас. Ну, спасибо.

Что же мне ответить Вам? Мы такие разные. С литераторами я теперь совсем мало вижусь, так что и собрать некого, чтобы слушать Вашу работу. Сам я уверен, что ничего не скажу Вам полезного: ведь мы действуем в совершенно разных областях: моя сила — в форме, Ваша — в бесформенности. Я думаю, и Вы и я думаем друг о друге довольно странно: смесь досады с уважением.

О сказках: Вы знаете, конечно, Ремизова; знаете, что на него как на мастера стиля

(именно относительно прозы) можно положиться. Кроме того, я знаю, что деньги ему очень нужны. Я ничего с ним не говорил по этому поводу, но, если хотите, поговорю с ним; или прямо напишите ему (Таврическая, 7, кв. 23). Его зовут Алексей Михайлович. Сам я в прозе немного стою.

Если будете мне писать, сообщите мне, когда уедете. Я бы к Вам еще позвонил как-нибудь. Ужасно Вы странный человек, Надежда Дмитриевна, никак Вас не поймешь. Спасибо Вам еще раз, всего Вам лучшего.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

Р. С. Дарского (псевдоним?) я просматривал только. Меня поразило, что книга заключается стихотворением Тютчева, которым я живу уже года два и которое хотел поставить эпиграфом к «Розе и Кресту».

362. Л. А. Дельмас. 14 февраля 1914.  
<Петербург>

Я смотрю на Вас в «Кармен» третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, — невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя. Я — не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода. Думаю, что Вы очень знаете это, раз Вы *так* знаете Кармен (никогда ни в чем другом, да и вообще — до этого «сезона», я Вас не видел). Ну, и я покупаю Ваши карточки, совершенно непохожие на Вас, как гимназист и больше ничего, все остальное как-то давно уже совершается в «других планах» (дурацкое выражение, к тому же Вы, вероятно, «позитивистка», как все настоящие женщины, и думаете, что я мелю вздор), и Вы (однако продолжаю) об этом зна-

ете тоже «в других планах», по крайней мере когда я на Вас смотрю, Ваше самочувствие на сцене несколько иное, чем когда меня нет (думаю все-таки, что все это понятно художникам разных цехов и без теософии; я — не теософ).

Конечно, все это вздор. Кажется, Ваша Кармен — совершенно особенная, очень таинственная. Ясно, что молитва матери и любовь невесты от гибели не спасут. Но я не умею разделить — моя проклятая влюбленность, от которой ноет сердце, мешает, прощайте.

### **363. С. А. Клычкову. 28 февраля 1914. <Петербург>**

Спасибо Вам за книгу, Сергей Антонович. Я сейчас очень занят своей работой, боюсь прерывать ее, а между тем мне кажется (по стихам Вашим), что мы люди очень несходные, так что надо привыкать друг к другу. Если б это было практически надо, — другое дело; но Вы уже в литературе, так что и помощи моей Вам не надо. Вот по этим причинам я хочу предложить Вам не устраивать такого «нарочитого» свидания, как-то связывающего и

Вас и меня. Приведет бог — и встретимся, не в этом году, так в будущем, не здесь, так в Москве. «Потаенный сад» я еще бегло посмотрел, а «Песни» давно у меня есть, я читал их. Не скажу, чтобы они были мне близки, нет потребности их вспоминать. Поется Вам легко, но я не вижу в песнях насущного.

Всего Вам доброго.

*Александр Блок.*

### **364. В. М. Жирмунскому. 3 марта 1914. <Петербург>**

Спасибо Вам за книгу, о которой я читал уже немало отзывов, и за милую Вашу надпись.

Эпиграф, и отзывы, и даже сегодняшней день, в который я получил Ваш подарок, — все говорит мне, что я найду в Вашей книге друга.

Искренно Вас уважающий *Александр Блок.*



## 365. Л. А. Дельмас. 11 марта 1914. Петербург

**П**рошу Вас, снимитесь, наконец, в роли Кармен и без грима. Все Ваши карточки, во-первых, непохожи, во-вторых — распроданы: их нет не только в больших магазинах, но и в маленьких, где обыкновенно остаются случайные.

Без грима Вам нужно сняться в рабочем репетиционном платье с черным нагрудником. В Кармен — в нескольких поворотах в I акте; первые слова («Когда я люблю...»); хабанера (несколько движений); когда Кармен бросает цветок; когда Кармен уходит (взгляд на Хозе); слова: «А мне что-то кажется, что приказа ты не исполнишь...»; начало песни «Там у моста за рекою» (на тачке); несколько поз около Хозе; Кармен, гадающая по руке Цуниги («...жизнью заплатишь ты...», взгляд на Хозе; впрочем, Вы не каждый раз на него взглядываете).

II акт: сегидилья (сидя на стуле и хлопая в такт пляске); слова: «...и эту тайну расскажу... я влюбилась...»; Кармен, слушающая Хозе (его слова: «помнишь, в день первой нашей встре-

чи...»), Кармен, танцующая для Хозе.

III акт: разве бросание карт («Бубны!.. Пики!..») и когда Кармен прогоняет Хозе (не помню точно слов; смысл: «Оставь нас, гордый человек...»). В последнем движении (на скале) есть легкий налет модернизма, от Вас можно ждать большего. — Вообще III акт — наименее: невыгодный свет и платье.

IV акт: ожидание Эскамильо (у стены аптеки); какая-нибудь поза из разговора с Хозе — в последний раз Кармен во всем великолепии, чтобы чувствовалась путаница кружев, золотистость платья, веер и каблуки; смерть: спиной, кошачье сползание по столбу (не знаю, может ли выйти на фотографии); во всяком случае сидя у столба (зубы видны и улыбка).

*Ваш поклонник.*

**366. С. К. Маковскому. 20 марта 1914.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемый Сергей Константинович. Рисунок Н. К. Рериха вошел в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами, и мне было бы очень тяжело с ним расстаться, даже на эти месяцы. Прошу Вас, не сетуйте на меня слишком за мой отказ, вызванный чувствами, мне кажется, Вам понятными.

Искренно Вас уважающий *Александр Блок.*

**367. Л. А. Дельмас. 22 марта <1914.  
Петербург>**

**П**ростите мне мою дерзость и навязчивость. — В этих книгах собраны мои старые стихи, позвольте мне поднести их Вам. Если Вы позволите посвятить Вам эти новые стихи, Вы доставите мне величайшую честь. Мне жаль, что я должен просить Вас принять мое бедное посвящение, но я решаюсь просить Вас об этом только потому, что, как ни бедны мои стихи, я выражаю в них лучшее,

что могу выразить.

Я боюсь быть представленным Вам, так как не сумею сказать Вам ничего, что могло бы быть интересным для Вас. Если когда-нибудь в театре мне представится случай поцеловать Вашу руку, я буду счастлив. Но мысль об этом слишком волнует меня.

Вот стихи.

**368. А. А. Ахматовой. 26 марта 1914.  
<Петербург>**

**М**ногоуважаемая Анна Андреевна.  
Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. А в доме у нее — болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски — подлинно. Спасибо Вам.

Преданный Вам *Александр Блок*.

P. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома.

**369. П. С. СУХОТИНУ. 1 апреля 1914.  
Петербург**

**М**ногоуважаемый Павел Сергеевич. Спасибо Вам и «Софии» за приглашение сотрудничать, не знаю только, чем могу быть ей полезным. Если что надумаю, пришлю. «Софию» я люблю. Передайте, пожалуйста, Павлу Павловичу Муратову мой поклон и мое искреннее уважение; по Италии я ездил в 1909 году, скоро после него, и местами находил его следы в виде надписей в книгах при музеях и церквах. С тех пор как-то часто я вспоминал его, не будучи знакомым, и время выхода его книг, особенно «Образов Италии», для меня памятно.

Вам должен сказать, что Ваши статьи в «Софии» (о повестях) мне гораздо больше нравятся, чем книжка стихов. Может быть, это личный мой вкус, но я просто не люблю таких стихов, они для меня, грубо говоря, «непитательны».

Простите за поздний ответ, у меня все это время было очень беспокойно на душе.

Жму Вашу руку.

Александр Блок.

**370. В. А. Зоргенфрею. <30 июня  
1914. Шахматово>**

Дорогой Вильгельм Александрович.  
Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной, оно так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлю с ответом. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, я не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь. Во многие леченья, особенно — природные, как солнце, электричество, покой, морская вода, я очень верю; знаю, что, если захотеть, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать *хотеть* излечиться; я бывал на этой границе, но пока что выпадала как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя самого страстно ждал этой счастливой карты.

Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире *нет*. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда

же эта тайная страсть к жизни? Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна, но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие. Знали мы *то*, узнать надо и это: жить «по-человечески»; после «ученических годов» — «годы странствий».

Не нравится мне, как я пишу, не умею сказать конкретнее и проще. Этим посильным ответом я просто хочу откликнуться Вам и сказать: «поживем еще».

Крепко жму Вашу руку.

Ваш *Ал. Блок*.

### **371. А. Н. Чеботаревской. 9 февраля 1915. <Петроград>**

Дорогая Анастасия Николаевна.  
Нет у меня желания предпринимать чтение «Розы и Креста». Пьесу эту надо — или играть на сцене, или читать про себя по книге. Никакой середины я не вижу. Вы предлагаете то гобелены, то столы, закрывающие чтецов до подбородка, то Мандельштама, то Игоря Северянина; из всего этого я вижу, как раз-но мы к этому относимся. Есть во всех делах своя мистика, и отношение к «Розе и Кресту»

у меня сложное и, как во всем для меня важном, такое, что я предпочитаю не делать опытов и прятать, пока не найду действительно-го (или — хоть приблизительного) согласия воле, и вкусов, и темпераментов, и т. д., и т. д. <...>

Да и музыки Базилевского я не знаю, сам судить о ней не могу, а человека, которому я бы поверил относительно музыки к этой пьесе, сейчас около меня нет. По всем этим причинам оставим это дело.

Преданный Вам душевно *Ал. Блок.*

## **372. Л. Д. Блок. 19 февраля 1915. <Петроград>**

**М**илая моя, милая. Кроме телеграммы, которую я получил в тот же день, когда послал тебе свою, я получил от тебя два письма: второе — вчера (с оказией, от 14-го).

Ты пишешь, что я должен не беспокоиться. Это ведь только способ выражения — беспокойство. Теперь особенно — все, что я о тебе чувствую, — превышает все беспокойства; т. е. беспокойство достигло предела и перешло уже в другое, в какой-то «огненный по-



кой», что ли. Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мною, несмотря на свое, несмотря на мое. Мне так нужно это.

Сегодня я собирался написать тебе зараз о студии и о «Зеленом кольце». Только очень уж сегодня все во мне спутано и обострено, не могу писать подробно.

На спектакль студии я пошел, как всегда, с открытой душой, с желанием, чтобы мне понравилось, и мне, как всегда, страшно не понравилось *почти*, все:... это, все: узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который и есть *любовь* и воля, — мне и тяжело и скучно от никчемного «легкого веселья», и я не могу простить подробностей, которые простил бы может быть, если бы меня хоть немного «обожгли» тем огнем, в котором всё и без которого ничто не мило. Молодые и пожилые люди претенциозно кривляются: глуповатая хорошенькая мордочка Ильяшенки; инженерша Валентина Петровна послушно валяется по полу. Нотманские ноги мелькают в течение

всего вечера, так что тошно от повторяемости мельканий. Бедная угреватая Адда Корвин печально кривляется. Какая-то больная старуха сидит на столе на корточках. Изобретательности настоящей нет, воображение бедное и больное. Жакомино — гений рядом с ними. Один его жест стоит всей студии. Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин, а претензии на пересаживание каких-то графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, *РУССКИЙ*, — есть только *бесчинство*. Все это больно, потому что Мейерхольд — славный, и несчастный калека Соловьев — тоже.

В «Зеленом кольце» Мейерхольда вовсе не было, а были Гиппиус, Савина, Домашева и некоторые другие. Актеры сыграли пьесу в четверть ее роста. Пьеса неумелая, с массой недостатков, и все-таки — какого она *роста*, какой *зрелости*, даже в руках актеров!

После об этом. Господь с тобой. Милая.

А.

**373. М. П. Мурашову. <9 марта 1915.  
Петроград>**

Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к вам талантливому крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш А. Блок.

Р. С. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу. Посмотрите и сделайте все, что возможно.

**374. Н. С. Ашукину. 6 апреля 1915.  
Петроград**

Многоуважаемый Николай Сергеевич.

Очень прошу Вас и Константина Федоровича не делить стихи Григорьева на два тома. Я никогда не боялся толстой книги, скорее люблю такие. Деление будет не только «техническое», оно отразится на существе дела. Разумеется, я не могу этого доказать, но у меня такое чувство, что это будет прекрасная, тяжелая (и внешне пусть тяжелая) книга. Это

ведь — вся жизнь его (хоть и не «полное» собрание стихов). Одна книга будет внушительна а две, по-моему, расхолодят; я сказал бы даже, что это может опять повлиять на судьбу его, и после смерти он может остаться тем же неудачником. Григорьев — поэт, по-моему, неделим, как Тютчев (хоть и совсем другой), как Боратынский (разве можно привыкнуть к академическому Боратынскому?). Тютчев Маркса — 44 листа (правда, большой формат). Я ничего не имею против таких книг, как, например, «Опавшие листья» Розанова (почти 34 листа французского формата). Есть и французские книги такие. По-моему, это приятно держать в руках. Уж лучше со временем, когда понадобится второе издание, напечатайте в большем формате. А пока, очень прошу, оставьте один том, уверяю Вас, будет *убедительная* книга.

Получили ли Вы мою открытку? — Мне необходима рукопись для исправления готовых листов, буде там есть опечатки.

Посылаю Вам пока готовые страницы рукописи: 403–426 и 452–476; это: 1) та часть примечаний, в которой страницы уже разме-

ченны; надо обратить внимание на то, чтобы курсивом печатали *только подчеркнутое* (строки приведены иногда целиком, а слова в них изменены не все); это касается вариантов;

2) приложения, следующие за примечаниями;

3) азбучный указатель, который прошу Вас набрать и прислать мне (с рукописью) в гранках или в верстке (как хотите), — я отмечу страницы.

Остаются у меня: 1) стр. 427–451 примечаний, где я размечу страницы, и 2) содержание, которое я составляю по мере печатанья; его надо будет поместить впереди тома (а указатель — в конце).

Не надо печатать примечания слишком мелко, хорошо бы как текст! Там есть важные вещи, вроде отдельных статей, на которые мне хотелось бы обратить внимание читателя.

Для «Вестника книгоиздательства» можно взять начало статьи моей (до того места, где идет речь о «частных» причинах неудачничества Григорьева (о Белинском); а продол-

жить — началом примечаний (я отчеркнул сбоку красным). Если же Вы не боитесь длинной заметки, перепечатайте всю первую главу моей статьи (без последней фразы).

Очень меня тревожит то, что Вы хотите делить книгу. Известите, на каком решении остановитесь. Очень прошу не делить.

С искренним уважением *Ал. Блок*.

### **375. В. А. Пясту. 6 апреля 1915. <Петроград>**

**М**илый Владимир Алексеевич.

Не писал я Вам долго потому, что и мне было скверно. Теперь гораздо лучше, и не потому, что что-нибудь изменилось (нет, жизнь все так же запутана и богата), а потому, что набралось опять много дел. В сотый раз приходится с грустью признаться, что приходится прибегать к работе, чтобы вернуть ритм, а других средств пока нет.

Во-первых, мой Григорьев подвигается, напечатано 10 листов (а всего будет до 35-ти!). Это — не только сложные корректуры, но еще и держание в душе всей книги (т. е. всей жизни его) и влияние на издателей. Пока выхо-

дит чисто.

Второе — длинные переговоры с «Мусагетом» и законченная лишь вчерне работа над четырьмя книгами (три — стихов — по 1914 год, и театр — четыре пьесы). Это — главное. Еще много мелкого.

Может быть, Вы правы в том, что пишете по существу. Я не берусь сейчас судить решительно; для того чтобы судить, надо увидеть Вас и опять проникнуть в Вас, как бывало; вообще сызнова начать. Последние годы (с 1912) между нами заводилась какая-то неправда, которую мы, право, в силах разбить; а не разбивали по тысяче мелких, «психологических» причин, своих для каждого. Думаю, лучше отложим речь об этом до свидания.

Насчет «забвения», — это Вы не так говорите, так не надо. Настолько же, насколько я это чувство понимаю, настолько знаю, что оно — ненужное.

Щеголеву я звонил давно уже. Он обещал прислать мне рецензию (я хотел сам для верности послать ее в «Вершины», с которыми, впрочем, тоже не в особых ладах) и, конечно, не прислал. Говорит, что уже недели три на-

зад сказал Вашему брату, что рецензии о тех же книгах написаны Тиняковым, потому он и не помещает.

Георгий Иванович живет в Царском Селе рядом с Гумилевыми (Малая ул., 47, кв. 5). Я получил от него письмо и давно уже собираюсь к нему съездить.

Княжнину на днях сказал (по телефону) о Вас. Не вижу-то я по-прежнему почти никого. Между прочим, и Руманова не видал с того дня, как он был у Вас, и даже по телефону с ним не говорил.

Посылаю (бандеролью) номер журнала Мейерхольда и оттиск из «Русской мысли».

Целую крепко Вас.

Ваш Ал. Блок.

Нельзя ли попросить стихов (хоть одно) для журнала Мейерхольда?

P. S. К вопросу о «забвении»: между прочим, Ремизова не пригласили в «Клич» (московские жертвы войны). Меня туда пригласили, но и я в другом чувствую временами — «либеральный бойкот», что ли... Все это — суэта.



**376. С. А. Есенину. 22 апреля 1915.  
<Петроград>**

Дорогой Сергей Александрович.

Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем.

Вам желаю от души остаться живым и здоровым.

Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.

Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло.

Будьте здоровы, жму руку.

*Александр Блок.*

**377. В. А. Пясту. 26 апреля 1915.  
<Петроград>**

**М**илый Владимир Алексеевич.

Письму Вашему я очень обрадовался по всяким причинам.

Любовь Дмитриевна вернулась еще перед Пасхой, проработав сплошь более шести месяцев в Львове. Общину она оставила и занята теперь театральными делами. Сестринская работа очень трудна, так что усталость чувствовалась долго. Зато дела сделала очень много и без крайней необходимости в людях туда больше не вернется.

Кланяйтесь от меня Евгению Васильевичу, когда будете ему писать. Надо бы самому написать ему, да уж не знаю, соберусь ли. Мучаюсь над своими книгами (новое издание «Музагета»). Вообще столько старого заботит (Григорьев, Флобер и я сам!), что к новому пока трудно пробиться. К тому же усталость точит, и гнездится, проклятая, не в теле и не в душе, а где-то — между телом и душой: то всему рад, а то вдруг *taedium*. [60] «Следующего периода» я желаю так же сильно, как и Вы;

т. е., должно быть, недостаточно сильно, потому что оба устали.

У Георгия Ивановича я все еще не побывал; но он был не так давно у Мережковских, у которых и я на днях сидел долго (по обыкновению). Много и хорошо говорили мы с Зинаидой Николаевной, а также и с Дмитрием Сергеевичем.

О лете не знаю еще ничего. А Мережковские будут жить в Веймарне (Балтийская ж. д.).

Ваш А. Б.

### **378. Н. С. Ашукину. 5 июня 1915. Петроград**

**М**ногоуважаемый Николай Сергеевич. Мне очень нравится обложка: она — не скучная, хотя и грубоватая. Последнее — идет к Григорьеву. Слова и буквы размещены талантливо. Может быть, лучше было бы написать: «Стихотворения Аполлона Григорьева», как на книжке 46 года; но и так — хорошо.

Кажется, у меня есть описка в последней корректуре (статьи): я прошу не гранки, а

верстку в двух экземплярах.

Не отказывайте мне в верстке и статьи и примечаний, потому что, может статься, я захочу еще переделать несколько фраз, кое-что поправить и т. д. К тому же, верно, Вы выпустите книгу уже не теперь, а осенью, хотя бы и ранней.

Я собираюсь съездить в деревню, не знаю, надолго ли. Как только соберусь, сообщу Вам новый адрес; но, может быть, все-таки было бы удобнее мне держать корректуры (именно моего текста) здесь, потому что здесь все справки под рекой, а там их не будет; и почта там ходит не каждый день.

На всякий случай сообщите мне, удобно ли Вам, чтобы типография ждала, или необходимо посылать все корректуры без замедления. Сообразно с Вашим ответом и буду поступать.

Книга будет, по-видимому, листов в 40, а не в 35. По-моему, это неплохо.

Оставшиеся примечания вышлю, как только получу последние отпечатанные листы стихов.

С истинным уважением *Александр Блок.*

## 379. Матери. 13 июня 1915. <Петроград>

**М**ама, по поводу сдачи Львова и прочих со-  
бытий я обратился к истории Ключевско-  
го. Его обобщения действуют оздоравливающе,  
хотя они довольно печальны. В конце концов,  
с Петра прошло только двести лет, и многое с  
тех пор не переменилось. И Петр бывал в бес-  
помощном положении до смешного, затяги-  
вая шведов к Полтаве, а Кутузов затягивал  
Наполеона к Москве, когда Пушкину было  
тринадцать лет; к тому же очень уж ясна пе-  
ремена нашей тактики, так что на очищение  
Галиции смотришь иначе, чем смотрел бы  
недели три назад. Есть слухи о серьезных (на-  
конец!) укреплениях нашего фронта, хотя и  
на нашей территории.

Люба разговаривала с представителями ра-  
бочих Путиловского завода, и все, что она рас-  
сказывала об этом, показывает мне, что она  
попала в хорошее и большое дело. Завтра  
предстоит играть, так что Любу уж тошнит от  
страха.

Я проехал как-то вверх по Неве на парохо-

де и убедился, что Пет <ербург>, собственно, только в центре...немецкий; окраины — очень грандиозные и *русские* — и по грандиозности и по нелепости, с ней соединенной. За Смольным начинаются необозримые хлебные склады, элеваторы, товарные вагоны, зеленые берега, громоздкие храмы, и буксиры с именами «Пророк», «Воля» режут большие волны, Нева синяя и широкая, ветер, радуга.

Сочиняю автобиографию и повадился ходить к букинисту, у которого скупаю десятки интересных книг по пятаку. Вчера встретил С. М. Зарудного (сенатор и цыганист, друг Художественного театра), который, проводив Книппер, шатался без дела. Я его завез к себе. Он читал очень хорошо стихи Вольтера, нарисовал меня (совсем не похоже) и рассказал анекдот о том, как К. Р. просил его раз прочесть мои стихи. Он прочел «Незнакомку», [61] К. Р. возмутился; когда же он прочел «Озарены церковные ступени», К. Р. нашел, что это лучше. Очевидно, уловил родственное, немецкое.

Встретил я еще Зоргенфрея, гулял с ним и сидел в кофейне.

Любовь Александровна была у меня вчера (хотя и написала тебе, кажется, что меня не видит).

Господь с тобой.

*Саша.*

Письма, которые ты переслала, я получил разные литературные предложения.

**380. В. В. Гиппиусу. 30 октября 1915.  
<Петроград>**

Дорогой Владимир Васильевич.

Спасибо Вам за книгу, я ее прочел, вспоминал Ваш голос, когда Вы читали в Религиозно-философском обществе. С замыслом я не согласен, с терминологией не согласен, т. е. просто мне она кажется ненужной, отвлеченной; зато многие конкретные наблюдения над Пушкиным очень меня тронули и показались, как я и ждал, нужными и близкими.

Недавно читал статью о Добролюбове в венгеровской «истории». Могу сказать, что благодаря Вашей статье в первый раз почувствовал Добролюбова по-настоящему.

*Ваш Ал. Блок.*

**381. Н. С. Ашукину. 2 ноября 1915.  
Петроград**

**М**ногоуважаемый Николай Сергеевич.  
Спасибо Вам за присылку 34-го листа, теперь я получил все (в двух экземплярах).

Спасибо Вам также за Ваше внимание к корректурам и к различным просьбам моим, с ними связанным. Должен сказать, что отсылал Вам последний листок не без грусти: как ни приятно, что книга готова, — все-таки такая работа входит в жизнь, и расставаться с ней жаль.

Искренно Вас уважающий *Александр Блок.*



**382. В. Я. Брюсову. 2 ноября 1915.  
Петроград**

Дорогой Валерий Яковлевич.  
Сейчас говорили мы с Павлом Никитичем Макинцианом, он дал мне много ценных и интересных сведений и предложил несколько текстов, из которых я непременно возьму несколько. Думаю пока о Кучаке и Исаакиане; оба пленили меня.

Спасибо. Вам за письмо, я очень рад принять участие в такой работе, но то стихотворение Териана действительно оказалось ужасно мне не по душе; я и сейчас помню его отчетливо, и впечатление остается таким же. Думаю, что, когда увижу другие переводы из Териана, пойму, что именно меня отвращает от него; это очень меня интересует, тем более что Павел Никитич считает Териана одним из лучших поэтов новой Армении.

Преданный Вам Ал. Блок.

**383. Ф. И. БЛАГОВУ. 30 ноября 1915**  
**<Петроград>**

**М**ногоуважаемый Федор Иванович.  
Спасибо за память, я получил Вашу телеграмму.

Лучшее, что у меня есть сейчас, — небольшая поэма «Соловьиный сад»; я работал над ней почти два года, но ее надо еще отделать в мелочах и переписать.

Если Вас не смутит то, что поэма совсем не касается злобы дня, что размер ее — 148 стихов (разделенные на семь глав) и что я хотел бы получить за нее 300 рублей, — то позвольте предложить ее Вам для рождественского номера «Русского слова».

Во всяком случае, буду ждать от Вас ответа.  
Искренно Вас уважающий *Александр Блок.*

**384. И. М. Брюсовой. 30 ноября 1915.  
<Петроград>**

**Г**лубокоуважаемая Иоанна Матвеевна.

Очень извиняюсь, что так долго задерживаю стихи Исаакиана; это происходит не оттого, что я ими не занимаюсь; напротив, я бьюсь над ними часто, но этот прекрасный поэт невероятно труден для передачи. Пока у меня сделано вчерне около десяти стихотворений, я все недоволен переводом. Постараюсь на этих днях прислать все, что отделаю хоть приблизительно. Если вы дадите мне еще немного времени, я сделаю еще кое-что.

Искренно преданный Вам *Александр Блок.*

**385. В. Я. Брюсову. 1 декабря 1915.  
Петроград**

Дорогой Валерий Яковлевич.

Вот мой перевод тринадцати стихотворений Исаакиана. Если удастся что-нибудь дополнить или исправить, я сделаю это в корректуре, которую поэтому особенно прошу прислать. Относительно одного стихотворения у меня есть недоумение (написано на полях рукописи). Павел Никитич далеко, может быть, можно попросить об этом Иоанну Матвеевну? Кстати, я вчера получил ее письмо и вчера же ей ответил.

Ценными и дружественными указаниями Павла Никитича я пользовался, как мог.

Стараясь держаться как можно ближе подлинника, я имел, однако, в виду, что рифма у Исаакиана занимает не первое место, поэтому или опускал ее, или добавлял от себя (впрочем, не часто); соблюдать аллитерации стремился, стараясь не играть ими, памятуя, что поэт — крестьянин и пандухт.

Слово «джан» не только сохранял, но еще и от себя прибавил кое-где; очень уж хорошее

слово. — Обойтись без лишних слов, конечно, старался, но, к сожалению, не всегда мог обойтись без них.

Душевно преданный Вам *Александр Блок*.

**386. А. Н. Чеботаревской. 27 декабря  
1915. <Петроград>**

**М**ногоуважаемая Анастасия Николаевна. Журнал Горького не производит на меня гадкого впечатления. Я склонен относиться к нему очень серьезно. Вовсе не все мне там враждебно, а то, что враждебно, — стоящее и сильное. — Меня позвали в этот журнал как ремесленника, а я люблю ремесло и, в частности, то ремесло, которое мне дали, нахожу нужным и полезным. — Вы пишете, что журнал этот «против всего, что нам дорого», например — против «мечты». Я думаю, что Вы меня совсем не знаете; я ведь никогда не любил «мечты», а в лучшие свои времена, когда мне удастся более или менее сказать свое, настоящее, — я даже ненавижу «мечту», предпочитаю ей самую серую действительность.

Во всяком случае, Вы заставили меня Вашим письмом многое передумать сызнова; за

это спасибо.

Ал. Блок.

### 387. Е. М. Тагер. <1915. Петроград>

**М**ногоуважаемая Елена Михайловна!  
Сейчас я просматривал Ваши стихи. Они не поразили меня особой оригинальностью и новизной, но они напевны, в них есть искренность и какая-то *мера*.

По-видимому, Вы много читали современных поэтов, и они не всегда хорошо на Вас влияли.

Думаю, что Вы все сделаете сами, и никакие «ценители» тут не помогут.

Вы пишете, что я вначале тоже нуждался в чьем-то совете. Не думаю. Может быть, и был такой момент, но я его не заметил, не помню. Моих ранних стихов я никому не читал. Показывал только матери, с которой особенно близок.

Хочу Вам сказать одно: все самое нужное в жизни человек делает *сам*, через *себя* и через большее, чем он сам (любовь, вера).

Думаю, что Вы понимаете, потому что относитесь к жизни серьезно.

*Александр Блок.*

Если стихи Вам нужны, я могу вернуть.

### **388. Е. М. Тагер. <1915. Петроград>**

**М**ногоуважаемая Елена Михайловна!  
В каждом человеке несколько людей, и все они между собой борются. И не всегда достойнейший побеждает. Но часто жизнь сама разрешает то, что казалось всего неразрешимей.

### **389. С. Н. Тутолминой. 16 января 1916. Петербург**

**Д**орогая Соня.

Спасибо тебе и Николаю Николаевичу за прекрасные цветы, тебе и Никсу за стихи, всем вам за доброе ко мне чувство.

Сегодня меня мучает мысль, что я сделал Вам неприятное своим вчерашним отказом; боюсь, что Вы, от чего боже сохрани, можете иногда думать, что я «горжусь» чем-то или что-нибудь такое; потому хочу сказать тебе несколько объяснительных слов, которые ты прими своим добрым сердцем так же просто,

как я их говорю.

Жизнь моя, по тысяче причин, так сложилась, что мне очень трудно быть с людьми, за исключением немногих, что я смотрю на жизнь, что называется, мрачно (хотя сам я не считаю своего взгляда мрачным), что я не чувствую связей родственников; я знаю при этом, что дело мое, которое я делаю (худо ли, хорошо ли — я сам, как ты уже знаешь, вовсе не доволен собой), требует, чтобы я был именно таким, а не другим.

Вот ты говоришь «брат», а я не умею ответить тебе так же горячо и искренно, потому что не чувствую этого слова. Так же — с многими другими словами. Я знаю и верю, что все вы, Качаловы, — милые, добрые и хорошие и что ко мне вы относитесь более чем хорошо, но я не умею ценить этого, несмотря на то, что мне приходилось сталкиваться с людьми просто очень дурными и злобными. Не умею ценить потому, что требую от жизни — или безмерного, чего она не дает, или уже ничего не требую. Вся современная жизнь людей есть *холодный ужас*, несмотря на отдельные светлые точки, — ужас надолго



непоправимый. Я не понимаю, как ты, например, можешь говорить, что все хорошо, когда наша родина, может быть, на краю гибели, когда социальный вопрос так обострен во всем мире, когда нет общества, государства, семьи, личности, где было бы хоть сравнительно благополучно.

Всего этого ужаса не исправить отдельным людям, как бы хороши они ни были: иногда даже эти отдельные светлые точки кажутся кощунственным диссонансом, потому что слишком черна, а в черноте своей величава, окружающая нас ночь. Эта мысль довольно хорошо выражена, между прочим, в одном рассказе Л. Андреева (не помню заглавия), где герой говорит, что стыдно быть хорошим.

Свет идет уже не от отдельных людей и не от отдельных добрых начинаний: мы вступили явственно в эпоху совсем новую, и новые людские отношения, понятия, мысли, образы пока еще в большинстве не поддаются определению.

Не люблю говорить о себе, повторять те готовые мысли и чувства, которые для меня давно уже — «дважды два четыре»; но я чув-

ствую потребность сказать это тебе, с которой мы так давно не встречались, так сказать, «через голову» всех условностей, несмотря на то, что мы думаем разное и чувствуем разное, что у нас различное воспитание и уклад жизни. Сказать для того, чтобы ты знала обо мне больше, чтобы ты не толковала превратно каких-нибудь поступков моих (лучше сказать, отказа от поступков).

Я хочу, чтобы ты сердцем знала, что если я упрямлюсь, дичусь и т. д., - то это происходит не от дурных моих чувств к тебе и всем вам, а от строя моей души, которого я не могу изменить. Недоразумения между людьми всегда бывают, но пусть будет их меньше.

Желаю тебе, милая Соня, и вам с Николаем Николаевичем вместе всего, чего сами себе желаете, чтобы были вы счастливы, если только бывают на свете исключения в эту сторону; передай, пожалуйста, Никсу, когда его увидишь, мой поцелуй, а также то, что найдешь нужным, из этого письма; если же тебе или вам с ним будет в нем что-нибудь неприятно, — то поверь, что я пишу не для неприятности, а обращаюсь прямо к твоему

доброму сердцу, и так добро, насколько сам умею.

Твой *Ал. Блок*.

**390. А. И. Тинякову. 17 января 1916.**  
**<Петроград>**

**М**ногоуважаемый Александр Иванович. Спасибо Вам за присылку статьи о Подлинском, обрадовавшей меня уже с первого взгляда тем, что Вы подходите к поэту не с «пэонической» стороны.

С искренним уважением *Ал. Блок*.

**391. А. А. Измайлову. 28 января 1916.**  
**<Петроград>**

**М**ногоуважаемый Александр Алексеевич. Письмо Ваше сейчас получил. А газету-то все-таки разве так и не будут посылать? Никто не отказывается от этого доброго старого обычая, да и «Биржевые ведомости» до сих пор не отказывали, тем более что стихи мои там помещались довольно часто. Почему же вдруг так — взять да и прекратить высылку?

Вы пишете, что у Вас только одно стихо-

творение, которое Вы «таите на случай краха». Не понимаю этой фразы, — какой крах? Кроме того, у Вас есть еще Исаакиан; я не знаю, как вышел перевод, но поэт Исаакиан — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет.

А какие «настроения близки современной душе»? Разным душам разные, и я не могу судить, отвечаю ли хоть одной из них... «Одичание», которое теперь у всех на языке, — факт, в большой степени совершившийся... Вот и Вы в сегодняшнем фельетоне, например, возвращаетесь к великому прошлому.

Кстати — о Григорьеве: хоть бы кому пришло в голову написать по поводу редактированной мной книги именно о нем, а не о Розанове и не обо мне, который должен бы быть здесь последней спицей в колеснице. Ведь в Григорьеве действительно заложены искры громадной культуры, которые так и догорают до сей поры под пеплом полемики и равнодушия.

Искренно уважающий Вас *Ал. Блок*.

**392. П. С. Сухотину. 22 февраля 1916.  
<Петроград>**

Дорогой Павел Сергеевич.  
Сейчас получил Вашего Григорьева, спасибо Вам. Прочтите «Детство» Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего. Какая у него бабушка! Я хотел об этом Вам напомнить и устно, да забыл, и письменно, но не знал адреса. Всего Вам хорошего.

С искренним уважением *Ал. Блок.*

**393. А. Я. Гуревич. 23 февраля 1916.  
<Петроград>**

Глубокоуважаемая Анна Яковлевна.  
Благодарю Вас за сочувствие. В таких письмах, как Ваше, есть некое «слышу, сынку» из «Тараса Бульбы».

Переиздание моих книг. побуждает меня всегда проверять весь путь, потому я семь раз отмериваю, чтобы раз отрезать. Может быть, ошибаюсь все-таки; но относительно «Весны над замком» пока еще не могу согласиться с

Вами. Да ведь все это не имеет ничего общего с «полным собранием сочинений». Выбираю и распределяю все так, чтобы как можно яснее (насколько в данное время жизни понимаю) было, чего хотел, чего не достиг, как падал, где удалось удержаться.

Спасибо Вам еще раз. Передайте, пожалуйста, Любви Яковлевне, если будет случай, мое сердечное пожелание поправиться.

Искренно Вас уважающий *Ал. Блок*.

### **394. Л. Я. Гуревич. 29 февраля 1916. <Петроград>**

**Г**лубокоуважаемая и дорогая Любовь Яковлевна.

Когда драма «Роза и Крест» была готова, я не думал ни о каком театре, кроме Художественного; когда она не понравилась К. С. Станиславском, (по тысяче причин, среди которых было много, как всегда бывает, второстепенных, мелких, психологических, почти физических), я как-то не отчаялся ни в чем, а только подумал, что «не судьба»; проверил драму для себя особым способом (написал в прозе биографию Бертрана), и показалось

мне, что все верно и ничего не надо переделывать. Потом шли годы, и иногда возникали переговоры с разными лицами, касающиеся постановки драмы; признаться, я к этим переговорам относился поверхностно; мне не казалось, что произойдет какое-то особое событие для меня, если даже что-либо из предлагаемого осуществится.

Весть, полученную вами от Лужского (а теперь уже и мной от Немировича-Данченко), я принял именно как событие; она меня озаботила в такой же мере, в какой обрадовала. Владимир Иванович вызывает меня в Москву, и я поеду туда, как только поправится моя мать. «Роза и Крест» в эти годы производила на меня разное впечатление, но все еще кажется мне верно написанной, так что я там все узнаю и за все отвечаю.

Чувствую, что дело это не обошлось без Вашего мягкого и упорного влияния; поэтому позвольте мне Вас поблагодарить; слона тут найти, конечно, невозможно, пожалуй, и не нужно; а только я чувствую, что Вы очень связаны с тем театром, который сыграл для меня большую роль когда-то, в лучшую пору

жизни, сыграет и теперь, в пору не очень хорошую, роль еще большую, как бы ни повернулось дело.

Накануне того дня, когда Анна Яковлевна сообщила о телеграмме, я звонил к Вам, не зная о Вашей болезни. Хотел просить Вас посмотреть Ек. Мих. Манасеину, которая экзаменуется теперь в Александринке (выпуск учеников Долинова). Я видел первый спектакль («Грех да беда»); будет Манасеина драматической актрисой; в технике я, конечно, не судья, но то, что от нее исходит, мне кажется подлинным: благородное и «необщее выражение». Слушая голос, я думал, что он может стать когда-нибудь легендарным (как стал голос Коммиссаржевской, совершенно непохожий, говорящий о другом).

Желаю Вам скорее поправиться. Любовь Дмитриевна просит Вам поклониться.

Преданный Вам сердечно *Александр Блок*.



395. А. А. Ахматовой. 14 марта 1916.  
<Петроград>

**М**ногоуважаемая Анна Андреевна.  
Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы: Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти — по-смотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия — что я стихов не люблю; следующая — что стихи вообще занятие праздное; дальше — начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие чувства; если да, — то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.

Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они — не пустяк, и много такого — отрадного, *свежего*,

как сама поэма. Все это — несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «со-всем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. — Но все это — пустяки, поэма настоящая, и Вы — настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.

Преданный Вам Ал. Блок.

## 396. Матери. 31 марта 1916. Москва

**М**ама, я так занят, что только сегодня собрался написать. Открытку ты, надеюсь, получила.

Несмотря на то, что к вечеру устаю до неприличия, чувствую себя в своей тарелке. Каждый день в половине второго хожу на репетицию, расходимся в шестом часу. Пока говорю главным образом я, читаю пьесу и объясняю, еще говорят Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы. Роли несколько изменены — Качалов захотел играть Бертрана, а Гаэтана будет играть актер, которого я видел Мефистофелем в гетевском Фаусте (у Незлобина), — хороший актер. Граф, вероятно, Массалитинов. За Качалова я мало боюсь, он делает очень тонкие замечания. Немного боюсь за Алису — слишком молодая и тонкая, может быть, переменим (Вишневский справедливо заметил, что для нее нужны «формочки»). Алискан — Берсенев, думаю, будет хороший. У Станиславского какие-то сложные планы постановки, которые будем пробовать.

Третьего дня я был в студии на благотворительном вечере, читали и играли Станиславский, Качалов, Гзовская, Германова, Москвин, Вишневский, Кусевицкий (на контрабасе). Вчера обедал у Станиславского, потом смотрел «Будет Радость» (понравилось, несмотря на многое), в антрактах ходил курить в уборную Качалова, сидел там с ним, Массалитиным и Берсеневым.

Волнует меня вопрос, по-видимому уже решенный, о Гзовской и Германовой. Гзовская очень хорошо слушает, хочет играть, но она любит Игоря Северянина и боится делать себя смуглой, чтобы сохранить дрожание собственных ресниц. Кроме того, я в нее никак не могу влюбиться. Германову же я вчера смотрел в пьесе Мережковского и стал уже влюбляться, по своему обычаю; в антракте столкнулся с ней около уборной, она жалела, что не играет Изору, сказала: «Говорят, я состарилась». После этого я, разумеется, еще немного больше влюбился в нее. При этом говор у нее — для Изоры невозможный (мне, впрочем, очень нравится), но зато наружность и движения удивительны.

Не знаю еще, когда приеду, до Пасхи или после. Напиши. Любе письмо покажи, я ей пишу мало. Что доктор скажет? Господь с тобой.

*Саша.*

**397. В. В. Лужскому. 24 мая 1916.  
<Петроград>**

**И**так, до осени, многоуважаемый Василий Васильевич! Все, что Вы пишете о Добужинском и Василенко, меня радует. Кажется, это — все, чего можно желать, и лучшего не придумать. Чем больше участия в деле примет Мстислав Валерианович, тем приятнее будет.

Будьте здоровы, позвольте пожелать Вам приятного и отдохновительного лета.

Жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*

## 398. О. В. Гзовской. 26 мая 1916. Петербург

Ольга Владимировна, приехать мне весной не судьба; так и Лужской написал. Значит — до осени.

Вчера, идя по улице, вдруг вижу: «Мара Крамская». Я зашел. Жарко очень, смотрел только 3-ю и 4-ю картины; экран плохой, куски ленты, вероятно, вырезаны. Вижу Вас и на лошади и в шарабане, и все — что-то не то; думаю — не буду писать Вам об этом; какая-то неуверенность, напряженность, нарочитость: играет Ольга Владимировна, но не вся, а в каждом отрывке играет только часть ее, другие — молчат. Есть кинематографическая неопытность. Только местами все та же *мера*, умеренность выражения чувств и строго *свое*, свои оттенки. Кончается чтение письма (прекрасна *мера* — только брови и шаг вперед мимо стола). И вдруг — эпилог в «притоне». Тут я вспомнил мгновенно слова Константина Сергеевича о том, что «шалость» и есть в Вас настоящее. Вспомнил и «аристократку», разговаривающую со знакомым молодым челове-

ком о Художественном театре. Глубоко мудро сказать, что Вы — «характерная» актриса в лучшем смысле, т. е. в том смысле, что «характерность» есть как бы почва, земля, что-то душистое. Не знаю, так ли я сейчас скажу: «жизнь» (что-то случившееся) — «собрала», сделала «англичанкой», «суховатой» (Вы — утром на репетиции; Вы в большом обществе на экране); стоит «расшалиться» — и все по-другому («о, художница», замечаю я от себя, перескакивая через несколько мыслей, может быть невнятно даже: «Вы сами не знаете, какую трагедию переживаете: все ту же, ту же, нашу общую, художническую: *играете... говоря о жизни*»).[62]

В притоне: это припухшее лицо, эти несморящие глаза, опустившиеся, жалкие веки; какая-то циничная фраза, грубо брошенная в сторону; как бросилась и заслонила, как упала на стол. Вот — почти совершенное создание *искусства*. Выдают руки до локтя (надо было замазать).

«Расшалитесь», придайте Изоре несколько «простонародных» черт; и все найдете тогда; найдете все испанские скачки из одного чув-

ства в другое, все, что в конце концов психологией заполнить мудрено и скучно. И выйдет — земная, страстная, смуглая. Недаром же и образ Мары в притоне и даже простую шалость — имитацию аристократки — можно углубить до бесконечности: такую богатую пищу воображению даете Вы несколькими незначущими штрихами. Целую Вашу руку.

Преданный Вам *Ал. Блок*.

### **399. О. А. Кауфман. <Весна 1916. Петроград>**

**В**ообще деление на поколения условно. Есть люди, в которых сразу — как бы десять поколений, а то и того нет.

(И только с этой оговоркой я могу сказать Вам): да, и на Ваших лицах, на лицах Вашего поколения, я вижу «кровавый отсвет» и «роковую пустоту» за ним.

<...> Не называйте поэтов пророками, потому что этим Вы обесцените великое слово. Достаточно называть их тем, что они есть, — поэтами.

Поэзия имеет свою правду, как и свой язык.



Лгал я или нет — судить не мне, но я знаю, что я никогда не хотел лгать, в том числе тогда, когда говорил о масках, понимая под маской не то, что под нею видит вульгарный взгляд.

Мне кажется, что Вы хотели спросить не совсем о том, так что и отвечаю Вам не так, как Вы бы хотели. Спросить всегда трудно о таком сложном. Даже — неизвестно, о чем спросить.

Все-таки, я думаю, хорошо, что Вас тревожит то, о чем Вы, пусть и неумело, спрашиваете.

Стихи пришлите. Если я найду в них что-нибудь, — отвечу, а если нет, — не стоит писать. Только пишите поразборчивее, потому что в Вашем почерке пропадают концы слов и короткие слова.

*Александр Блок.*

## 400. Матери. 16 июня 1916. <Петроград>

**М**ама, я не боюсь Поликсены Сергеевны, а мне еду потому, что надеюсь (может быть, и тщетно) еще что-нибудь написать. Глухое лето без особых беспокойств в городе, где перед глазами пестрит, но ничего по-настоящему не принимаешь к сердцу, — кажется, единственное условие, при котором я могу по-настоящему работать (так было когда-то с «Вольными мыслями», потом — с «Розой и Крестом», теперь — с поэмой). Мне очень печально и неудобно, что это так, но для изменения этих условий надо ждать старости (должно быть, ждать больше нечего). Между прочим, у меня на виске есть наконец седой волос; он уже, кажется, год или больше, но Люба признала его только теперь. Однако мне все еще можно сказать, как Дон-Карлос сказал Лауре: «Ты молода, и будешь молода еще лет пять, иль шесть...».

Любовь Александровна уедет, вероятно, завтра.

Я достал первый том того «Добротолубия»,

«φλοκαλία» — *Любовь к прекрасному* (высокому), о котором говорила О. Форш. Это, собственно, сокращенная патрология — сочинения разных отцов церкви, подвижников и монахов (пять огромных томов). Переводы с греческого, не всегда удовлетворительные, «дополненные» попами, уснащенные церковнославянскими текстами из книг св. писания Ветхого и Нового завета (неизменно неубедительными для меня). Все это — отрицательные стороны. Тем не менее в сочинениях монаха Евагрия (IV века), которые я прочел, есть «гениальные вещи» (выражаясь... неумеренно). Он был человеком очень страстным, и православные переводчики, как ни старались, не могли уничтожить того действительного реализма, который роднит его, например, со Стриндбергом. Таковы главным образом главы о борьбе с бесами — очень простые и полезные наблюдения, часто известные, разумеется, и художникам — того типа, к которому принадлежу и я. Выводы его часто неожиданны и (именно по-художнически) — скромны; таких человеческих выводов я никогда не встречал у «святых», натерпевшись

достаточно от жестокой и бешеной новозаветной «метафизики», [63] которая людей полнокровных (вроде нас с тобой) запугивает и отвращает от себя.

Мне лично занятно, что отношение Евгария к демонам точно таково же, каково мое — к двойникам, например в статье о символизме.

Вечный монашеский прием, как известно, — толковать тексты Св. писания, опираясь на свой личный опыт. У меня очень странное впечатление от этого: тексты все до одного остаются мертвыми, а опыт — живой.

Новых слухов о призыве у меня не было. Прочти кавалерийскую атаку в «Русском слове» — очень интересно (5 июня) и пришли (мы брали здесь у соседей).

Господь с тобой.

*Саша.*

Аннушка все еще у нас, по вечерам уходит. Пушок веселый, служит, вчера вымыт (блохи).

## 401. Матери. 7 июля 1916. <Петроград>

Мама, пишу кратко, пока, потому что сегодня очень устал от массы сделанных дел. Сегодня я, как ты знаешь, призван. Вместе с тем я уже *сегодня* зачислен в организацию Земских и Городских союзов: звание мое — «табельщик 13-й инженерно-строительной дружины», которая устраивает укрепления; обязанности — приблизительно — учет работ чернорабочих; форма — почти офицерская — с кортиком, на днях надена ее. От призыва я тем самым освобожден; буду на офицерском положении и вблизи фронта, то и другое мне пока приятно. Устроил Зоргенфрей. Начальник дружины меня знает. Сам он — архитектор. Более подробно напишу после. Паспорт уже отдал, и он заменен удостоверением, завтра получу подъемные (недостаточные, придется тратить свои деньги). Получу бесплатный проезд во II классе. Жалованье — около 50 р. в месяц. Уеду недели через две, а может быть, и раньше.

Николай призван, вот история! Что вы на-

мерены делать? Не знаю, что еще будет с А. Белым и Пястом. С Княжнинным — плохо, он сейчас обедал.

Мне очень необходимы мои сапоги черного товара и белые носки. Пошли мне сапоги и носков не более шести пар (которые ты мне подарила) *ПОСЫЛКАМИ по почте*, иначе ничего не придумаешь. Кажется, каждая посылка должна весить не более 14 ф., потому, вероятно придется сделать две или три. Можно — без цены. Купить — страшно дорого.

Перешли мне также письмо

Иванова-Разумника, посланное им в Шахматово.

Здесь — жара страшная, но я пока в деятельном настроении. Дела очень много, так что забываешь многое, что было бы при других условиях трудно.

Господь с тобой.

*Саша.*

**402. В. А. Зоргенфрею. 8 июля 1916.**  
**<Петроград>**

Дорогой Вильгельм Александрович.  
Вчера я зачислен в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины и скоро уеду. Пока только кратко сообщаю Вам об этом и благодарю Вас. Что дальше — не различаю: «жизнь на Офицерской» только кажется простой, она сплетена хитро.

Ваш Ал. Блок.

**403. Матери. 2 августа 1916.**  
**<Порохонск>**

Мама, я, вероятно, но буду писать особенно часто и буду писать понемногу. По крайней мере так мне кажется сейчас. Почвы под ногами нет никакой, большей частью очень скучно, почти ничего еще не делаю. Жить со всеми и т. д. я уже привык, так что страдаю пока только от блох и скуки. Два дня я жил в деревне (не той), теперь мы живем в большом именье и некоторые (я в том числе) — в княжеском доме. Блох, кажется, изведем. Дела

у меня будут со временем другие и в другом месте. Было и жарко, но большей частью серо. К массе новых впечатлений и людей я привык в два дня так, как будто живу здесь месяц. Вообще я более, чем когда-нибудь, вижу, что нового в человеческих отношениях и пр. никогда ничего не бывает. Ем очень много, начинаю отсыпаться, все находят меня мо-ложавым.

Я очень соскучился о тебе, Любе, Шахматово, квартире и т. д. Лунные ночи олеографические. Люди есть «интересные». Княжеская такса Фока и полицейская собака Фрина гуляют вместе.

Господь с тобой.

*Саша.*

Пиши так: Полесских жел. дорог ст. Лунинец, 13-я инж. — стр. дружина В.З.Г.С, мне. Газеты иногда доходят в два дня.



## 404. Л. Д. Блок. 4–7 августа 1916. <Порохонск>

Люба, один из моих товарищей едет в Петербург, и потому я могу написать тебе всякие нецензурные подробности. Мы живем в имении князя Друцкого-Любецкого «Порохонск», верст двенадцать от позиций. Я живу в главном доме, сплю, ем, скучаю и ничего не делаю. В трех верстах — станция Порохонск на реке Бобрике (как и мы). Это — последняя станция, куда доходят этапные поезда (из Лунинца), дальше идут уже только воинские, часто слышна канонада (глухая), в ясную погоду утром и вечером посещает нас аэроплан, бросающий бомбы главным образом на мост у Порохонска и в станцию Лунинец, где 90 путей. В мост ни разу не попал. В доме и флигелях стекла выбиты, одна бомба упала в палисадник месяца три назад. При мне бомб у нас еще не бросали. На горизонте видна иногда дозорная колбаса (привязной шар), ночью — ракеты и прожектор. Болот много, но мы сравнительно высоко. Тишина глубокая, несмотря на наших рабочих, которых еще ма-

ло. Единственный передовой отряд (их должно быть четыре) работает в Чернове (верст тридцать от нас наискосок — все это есть на штабной трехверстке, если не продадут, достань у кого-нибудь по протекции) — близко от позиций (верст пять-шесть). До сих пор неизвестно, попаду ли я в передовой отряд. Табельное дело очень просто, но не комфортабельно (как жизнь здесь). Рабочие неизвестно когда будут. Пока хозяйство анекдотическое. Строят телефоны и ватерклозеты. Ем много и, кроме казенного, еще пью молоко, иногда грызу шоколат, угощают конфетами и т. д. В деревне «Камень», куда я приехал на мешках с мукой по узкоколейке из Ловги (169 верст), я прожил всего два дня, здесь отсыпаюсь. Приехала вчера начальникова жена. Начальник милый, совершенно безвольный, помощник его — инженер, поляк, светский, не милый, но тоже безвольный. Пока что — я «помощник коменданта». Такой должности нет, потому я, погуляв и изредка расквартировав вновь прибывших, пью чай и болтаю в той или другой конторе. Именье большое и запущенное; обед в 1 час, ужин в 7 (или все опаз-

дывает), встаю в 7, в 8-м (вначале в 6). Живу в одной комнате с Егоровым, Влад. Ник. (сын профессора-техник), паном Протассовичем (тоже техник) и студентом Книлгаузенем (теперь заведует обозом). Рядом живет Идельсон (присяжный поверенный, товарищ Фεροля по гимназии и Пяста впоследствии) и многие другие — кто — с текущих счетов, кто — студент, всякие. Все это интересно маме, а мне — не очень. Говорят, мы здесь надолго.

*7 августа*

Три последних дня я провел веселее. 4-го мы с таким же свободным от занятий табельщиком Зайцевым решили ехать на позиции, выпросили лошадей, сделали круг верст двадцать. До позиций не доехали, было жарко, но видели настоящие окопы и проволоку, ездили по болоту и по полотну железной дороги и т. д. 5-го я был командирован с начальником обоза (студентом) покупать бензин. Поехали на грузовом автомобиле, вернулись только вчера (без бензина, но с разными мелкими покупками), сделали верст восемьдесят. Шина лопнула, застревали в болотах и пес-

ках, ломали мосты, чтобы проехать, ночевали в Лунинце в офицерской гостинице (бесплатно). Я загорел отчаянно, на солнце было градусов 35. Шатались безуспешно по интендантским складам.... лавкам и путям железной дороги. Вечером и на следующее утро обстреливали там аэропланы — очень красивые разрывы шрапнели вокруг аэроплана. Оба раза его прогнали, и бомб он не сбросил.

У меня до сих пор ни одного письма — ни от тебя, ни от мамы. Адрес — ст. Лунинец, Полесских ж. д., 13-я инженерно-строительная дружина, А. А. Блоку.

Вчера я купался после поездки в первый раз как следует — очень приятно. Под усадьбой — река Бобрик, есть места с песчаным дном. От лошади я, оказывается, не отвык и мало устал, проехав двадцать верст по жаре — всеми аллюрами.

Вчера вечером у нас пели русские и малороссийские песни — мне очень нравилось.

Однако — скучно. Я бы предпочел жить иначе.

Ну, господь с тобой. Больше нечего писать. Скучаю о тебе, напиши мне, Бб.

А.

Письмо перешлет Иван Владимирович Тебельт. Когда-нибудь пришли сладкого и какую-нибудь закуску. — Здесь друг друга угощают.

**405. Л. Д. Блок. 11 августа 1916.  
<Порохонск>**

Сегодня мы уезжаем в отряд большой компании. Там у меня будет, может быть, дело. Вероятно, скоро перейдем на новое место, можем оказаться и совсем в другом — дальше. Письма будут только с оказией; до сих пор еще ни одного письма я не получил. Эти дни я много ездил верхом, пробовал диких лошадей, вообще недурно провел время.

Господь с тобой, моя маленькая Бо.

А.

## 406. Л. Д. Блок. 14 августа <1916>

Люба, мы здесь живем отрядом — очень примитивно, но хорошо и дружно. От позиций почти так же далеко, как были. Начальник симпатичный. Народу нас немного — кроме рабочих — человек десять только. Я почти отчаялся получить письма — до сих пор нет ни одного.

Пиши по тому адресу, который я тебе дал, с *маркой* и скажи маме об этом. Деревня наша уже другая, скоро будет еще другая, письма и пишу присылают из «штаба» — верст 35. С болота неподалеку от нас виден город, занятый неприятелем, кругом стоят войска. Вообще же болота совсем не таковы, как их представляешь себе, — на разной высоте, не сплошные, частью сухие. Рядом с нами — судоходная река. — Жизнь совершенно новая, я ее «переносу» с легкостью и не без удовольствия, кроме скуки временами. Писать об этом трудно, настолько все иначе, чем у вас.

Господь с тобой, пиши все-таки, думаю постоянно.

А.

## 407. Л. Д. Блок. 16 августа <1916>

Письмо передаст или позвонит, чтобы прислали за ним, — Ник. Мих. Федоров. Стоим в деревне Колбы, на днях перейдем в Лопатино (рядом с лесом, где сейчас работы). У нас уже 250 рабочих, и еще идут. Каждый день верхом езжу. С равнины виден Пинск. Слышны пушки и пулеметы. Карточки отдай маме. Живем в деревне в хорошем домике — довольно дружно и весело (Идельсон, присяжный поверенный, Егоров, сын профессора, Попов, студент, Глинка, правнук композитора, Игнатов и я). Жизнь проще, не нужно стесняться Друцкого-Любецкого, едим хорошо, здесь веселее.

Господь с тобой, маленькая Люба.

А.

Сейчас еще нет семи часов утра, а мы давно встали.

## 408. Матери. 21–28 августа, 4 сентября 1916

**М**ама, сегодня я получил первые письма — от тебя, от Любы и от Кузьминой-Каравановой. Твое письмо очень расстроенное. Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работаю довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы — в окопы в поле и на рубку кольев в лес. Возвращаюсь только к 1 часу, к обеду. Потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и пр.

Сегодня воскресенье, дела, в сущности, нет, поэтому день проходит тихо. Я проснулся в 7-м часу, так как рядом уже копошился начальник отряда. Он — одинокий человек моих лет, семья и имущество остались в Вильне. Он страшно нервный, довольно суетливый, скучает и ищет все время дела, а когда дела нет, старается придумать. Проснувшись, я стал вместе с ним ругать «дачников» (так он называет наш «штаб»), который не присылает нам вовремя мяса, хлеба и т. д. Это его лю-



бимая тема. Потом умылись на крылечке, потом пошли в обоз, разбудив заведующего обозом (ему лет 14 по наружности и по развитию, и разбудить его трудно, между тем он должен вставать раньше всех, чтобы распределять подводы). Потом пришли и пили чай, потом я удрал с письмами, потом сидели в конторе и составляли табель. После обеда легли спать, но начальник пришел и стал опять ругать штаб и говорить о политике. Ему, бедному, страшно скучно. Я опять удрал. Заведующий хозяйством сегодня ночью застревал в болоте, потому крепко спит; Идельсон собирается в отпуск, Егоров — в штабе; начальник живет один на фольварке и хочет переманить кого-нибудь из нас к себе, но мы все упираемся, потому что устроились очень уютно. В избе три комнаты, блохи выведены. В одной спят Попов, Идельсон и Глинка, в другой — Игнатов, Егоров и я, в третьей (кухне) — хозяйин или хозяйка и котенок, на чердаке — две милovidные девицы (загнаны нами на чердак), на дворе — стадо гусей, огромная свинья и поросенок. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард, повар готовит очень вкусно и

довольно разнообразно, обедаем все вместе. Последнее лицо — техник, который скоро уйдет. В сущности, он страшно вредное животное, но для нас большей частью элемент увеселительный, а мне в нем даже многое нравится (мы с ним, между прочим, устраивали скачки на лошадях, он чувствует природу, хотя глуп и очень циничен). Интересы наши — кушательные и лошадиные (кроме деловых), и живем мы все очень дружно. Я надеюсь, что тебя застанет в Петербурге десятник Ащеулов, уморительный старик, хотя он может и приврать. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами, иногда — со служащими в других отрядах. По обыкновению — возникают разные «трения». Полдеревни заселено нашими 300-ми рабочими — туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы с каторги, москвичи (всех хуже и всех нахальнее), петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах. Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье — два эскадрона рубят кусты, скачут через препят-

ствия и пр. Раз прошла артиллерия. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет, вокруг него — шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулеметы щелкают. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые, патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, — приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а посередине — поменьше — семинария. Один день — жара, так что не просыхаешь ни на минуту, особенно верхом. Другой день — сильная гроза, потом холодно, потом моросит. Очень крупные звезды. Большая Медведица довольно низко над горизонтом, направо — Юпитер. Описать все это — выходит похоже на любую газетную корреспонденцию, так что, в сущности, нельзя описать, в чем дело. На реке рядом работает землечерпалка, наш штаб хочет заводить катер для доставки нам припасов в распутицу. Телефон обыкновенно испорчен (вероятно, мальчишки на нем качаются). Начальник страшно ругается и очень много говорит о коменданте, расстрелах, повешенье, каторге, порке и пр. К счастью (а иногда, может быть, и напрасно),

не исполняет.

К вечеру, когда начинается разговор о том, сколько кто выбросил кубов, сколько вырыто ячеек и траверсов, отчего саперы замедляют с трассировкой и пр., все уже очень хотят спать, даже и начальник иногда; вообще же он может в любую минуту ночи писать пропуск или ругать дачников. Комитеты, поставляющие нам рабочих, насылают сифилитиков, безруких, больных, так что иногда приходится немедленно отсылать их обратно.

*25 августа*

Сегодня опять воскресенье, время прошло довольно незаметно, за это время произошло много домашних событий (не настоящих). Рабочих прибавилось, пришла большая партия сартов, армян и татар, в пестрых костюмах; они живут отдельно, у них своя кухня, и они во всем резко отличаются от русских — не в пользу последних (стройные, чистые, спокойные, красивые, великолепно работают). — Сегодня пришла опять большая партия, к сожалению, из Москвы. Теперь у нас уже больше 400 человек.

Я ездил с визитом к военным (саперам) с начальником отряда, приезжал начальник дружины с женой, было много лошадиных, аэропланых, телефонных, кухонных и окопных интересов. На работах мы с Глинкой каждый день проводим все утро. Мы строим очень длинную позицию, в несколько верст длины, несколько линий, одновременно роём новые окопы, чиним старые, заколачиваем колья, натягиваем проволоку, расчищаем обстрел, ведем ходы сообщения — в поле, в лесу, на болоте, на вырубках, вдоль деревень. Вероятно, будем и обшивать деревом, и пр. Впереди висит наблюдатель, иногда с работ видны далеко впереди разрывы снарядов, аэропланы обстреливаются тщетно, как почти всегда. Движения вообще почти нет. Мы живём дружно, очень много хохочем. Сегодня я большей частью сплю, потому что ложусь в 12, а встаю в 6 часов всю неделю. Стоит бабье лето, прохладные безоблачные дни, паутина, желтого еще почти нет. Ближайшие леса почти все из черной ольхи, почва — песок и торф.

Не знаю, когда пошлю тебе это письмо, пошлю когда-нибудь с оказией. От тебя и Любы

получил старые письма от начала августа.

Понемногу у нас становится много общего; конфеты и папиросы, которые мы покупаем в лавках в более или менее далеких деревнях, сапожные щетки и ваксы; иногда — кровати, мыло. Я ко всему этому привык, и мне это даже нравится, я могу заснуть, когда рядом разговаривают громко пять человек, могу не умываться, долго быть без чая, скакать утром в карьер, писать пропуски рабочим, едва встав с кровати. Походная кровать очень удобная вещь.

Я получил еще письма — от Жени, от Кузьминой-Караваевой и от Вас. Гиппиуса.

*4 сентября*

Опять воскресенье, все уехали, единственный день, когда я могу сколько-нибудь отвлечься от отряда и написать письмо. Тебе его передаст на днях Конст. Алексеев. Глинка, очень милый, смелый и честный мальчик (табельщик), потомок композитора. Положение усложняется — все мы начинаем скверно относиться к начальнику. Глинка, я думаю, расскажет что-нибудь об этом, я не хочу пи-

сать, и так целые дни об этом разговариваем.

Если хочешь, пришли чего-нибудь вкусно-го вместе с Любой — немного, чтобы Глинке было не тяжело везти — для всех нас.

Как твое здоровье, я часто думаю о нем. У меня давно нет известий, мы живем в глуши. Позиция, которую мы роем и обшиваем, интересная, многоверстная, рабочих уже 500 с лишком. Детям после войны будет интересно играть в пулеметных гнездах.

Прилагаю письма к Любе и к Любови Александровне.

Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом — выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но, когда это прекратится, все покажется сном. Со вчерашнего дня в нашем распоряжении 5 казаков (для порядку). Видимся с саперами, иногда приезжают из штаба. Сегодня к вечеру я жду с нетерпением Егорова и Идельсона, они поехали в штаб и, я надеюсь, подложат свинью технику Брицу, о котором

тоже может рассказать Глинка.

Я подумываю об отпуске, но весьма неопределенно, не думаю, чтобы это случилось скоро.

Передай Глинке письмо от себя, от Любы и от Любови Александровны, если она захочет написать. Господь с тобой.

*Саша.*

## **409. Л. Н. Андрееву. 29 октября 1916. <Петроград>**

Дорогой Леонид Николаевич.

Все время я обдумывал, как ответить Вам по существу; когда же между нами (по телефону) втесался какой-то газетный и «деловой» голос, я ответил этому голосу сухо и холодно, как не хочу отвечать Вам.

Все мои близкие горячо убеждают меня не участвовать в газете, приводят факты и аргументы, которым я не могу не верить. Сам я был совершенно не в курсе дела, газет на фронте почти не видел и о газетной полемике, связанной с новым делом, не знал.

Если бы я захотел участвовать в газете, мне было бы нечего Вам дать: все словесное



во мне молчит; полдня я провожу верхом на лошади, сплю на походной кровати, почти не умываюсь; что дальше будет, не знаю, а пока это было только хорошо: проще и яснее; если бы все это описать, вышло бы донельзя обыкновенно и скучно; обычная газетная статья с подписью: «действующая армия»; стихи тоже никак не выходят; вся суть — в новом ряде снов, в которые погружаешься. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого, когда пройдут годы: из нежной любви к лошади и стыда перед рабочими, которыми я ведаю; среди них много несомненного хамья и природной сволочи, но стыдно до тошноты, и чего — сам плохо знаешь: кажется, того, что все равно «ничего не поделаешь» (не вылечишь, не обуешь).

Вероятно, пройдя назначенный путь разочарований, боли и гнева, Вы уйдете из газеты; кроме всего, Вы совсем не для газет. — Как тяжело здесь в городе этой зимой; я в полторы недели успел изнежиться и запутаться; там теперь лучше; хоть все это говорят, это не слова.

Ваш Александр Блок.

## 410. Л. Н. Андрееву. 21 ноября 1916

**М**ногоуважаемый Леонид Николаевич. Простите, пожалуйста; получив Ваше письмо, я почувствовал, что действительно ответил Вам не так, как надо; не в деловом отношении, а в человеческом; прошу Вас также извиниться за меня перед В. В. Брусяниным, сказать ему, что всякие городские химеры заставили меня в ту минуту ответить ему так нелюбезно, отнестись непросто к его простым словам.

Чем далее развиваются события, тем меньше я понимаю, что происходит и к чему это ведет. Всякая попытка войти в политическую жизнь хотя бы косвенно для меня сейчас невозможна. Ничего, кроме новых химер, такая попытка не породит. Живя здесь, я по крайней мере как-то участвую в событиях (мало, но участвую), но не в качестве поэта. Вот отчасти объяснение той уклончивости и нервности, которую я проявил по отношению к Вам и к В. В. Брусянину. Еще раз прошу Вас не думать, что я хотел обидеть.

Искренно уважающий Вас *Ал. Блок.*

## 411. Матери. 7 декабря 1916

**М**ама, вероятно, ты получаешь не все письма. Мама, например, не получила открытку, в которой написано, что Ольга Павловна вполне допустима. Вообще известие о том, что поэма пошла, мне приятно. Пишу я не часто, очень трудно выбрать время, к сожалению, не потому, что много дела, а потому, что жизнь складывается глупо, неприятно, нелепо и некрасиво. Редкие дни бывает хорошо, все остальные — бестолково, противоречиво и мелочно. Надоедает мне такая жизнь временами смертельно, и я жду хоть весны или лета, чтобы можно было открывать окна и проветривать комнату, полную мелких и пошловатых дрызг. На вызов в театр я почти потерял надежду и даже не стремлюсь к этому, так все неблагоприятно вообще.

От Любы у меня давно нет писем.

Удовольствие мне доставляют твои довольно редкие письма и редкие минуты, когда я остаюсь один (например, вчера к вечеру в поле на лошади).

О XIX веке я все-таки не меняю мнения, да

и сейчас чувствую его на собственной шкуре — меня окружают его детища. Есть и ничтожные, есть и семи пядей во лбу, в одном только *все* сходны: не чувствуют уродства — своего и чужого. Таковы и эстеты и неэстеты, и «красивые» и некрасивые. Современные люди в большом количестве хороши разве на открытом воздухе, но жить с ними в одном хлеву долгое время бывает тягостно.

Егоров приезжал из отряда, мы много играли в шахматы. Он ближе других мне, так как очень ленив; лень современного человека все-таки облагораживает.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 412. Матери. 21 февраля <1917>

**М**ама, я пишу опять записку, писать решительно нечего. «Событий» здесь очень много, но все они неопишутемы, не имеют ровно никакого смысла и значения. Мне скверно потому главным образом, что страшно надоело все, хотелось бы наконец жить, а не существовать, и заняться делом. Скоро я попрошусь в отпуск и постараюсь его использовать лучше прежнего, если дадут.

Сегодня пришло твое письмо от 12 февраля, шло, следовательно, 9 дней. Я писал тебе неделю назад. Все это дурацкое отсутствие минимальных удобств станет менее заметным, когда можно будет часто иметь дело с лошадьми, ездить верхом. На днях я уже проехал верхом ночью верст восемь, это было очень приятно после зимнего перерыва, хотя морозы еще не совсем прошли.

Писать трудно, потому что кругом орет человек двадцать, прибивают брезент, играют в шахматы, говорят по телефону, топят печку, играют на мандолине и все это одновременно (а время дня — «рабочее»!). Господь с тобой.

Саша.

### 413. Матери. 19–20 марта 1917. <Петроград>

Мама, сегодня приехал я в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали, рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Отдохну несколько дней и присмотрюсь. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. — Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России.

Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность, если она и предстоит, освещена, чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка).

Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует».

Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость (это мой способ применяться к среде).

Думаю съездить к тебе; вообще могу пользоваться отпуском месяц. Очень жду приезда Любы, которая не пишет ни тете, ни мне.

Господь с тобой.

*Саша.*

*20 марта*

Сейчас встал, чувствую только, что приятно быть во всем чистом.

## 414. Матери. 23 марта 1917 <Петроград>

Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развившуюся мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких «собственностей» — опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с



красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше. Выгорели дотла Литовский замок и Окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. Ходишь по городу как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шофером провез какую-то старуху с костылями (полагаю, Вырубову — в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парием, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное.

Билеты на ж. д. разобраны надолго, так что выехать к тебе трудно. Пока я жду Любу, которая, вероятно, сейчас у тебя, и все вопросы оставляю открытыми, потому что решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы Фоминой (на законном основании), но я бы охотно не возвращался в дружину, если бы нашел здесь подходящее дело. Со

вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно.

Вчера я получил из дружины твое письмо о Лилиной, и тетя получила. Как это я поеду на Фоминой в Москву — не знаю.

Сейчас мне позвонил Идельсон. Оказывается, он через день после меня *совсем* уехал из дружины, получив вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) — вся Литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускают в могилу на Марсовом поле, производится салют с крепости (путем нажатия электрической кнопки).

Сейчас пойду на улицу — посмотреть, как расходятся.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 415. Матери. 2 апреля 1917. <Петроград>

**М**ама, в этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда. Оказывается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исакиевского собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда, порядок очень большой. Всех, кого могли, впустили в церковь, а остальные свободно толпились на площади, не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни тучи великосветских автомобилей, не дающих ходить. Иллюминации почти нигде не было, с крепости был обычный салют, и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов — стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем есть свой революционный шик. Флаги везде только красные, «подонки общества» присмирели всюду, что радует меня даже слишком — до злорадства.

Третьего дня Немирович-Данченко пригласил нас с Добужинским обедать вместе у Донона, но самому ему неожиданно пришлось уехать (из-за трудности попасть на железную дорогу), так что мы с Добужинским очутились у Донова вдвоем. Туда же зашли случайно из Зимнего дворца Александр Бенуа и Грабарь, и мы очень мило пообедали вчетвером; зади нас сидел великий князь Николай Михайлович — одиноко за столом (бывший человек: он давно мечтал об участии в революции и был замешан в убийстве Распутина). Подошел к нему молодой паж (тоже «бывший», а ныне — «воспитанник школы для сирот павших воинов»). На довольно обыкновенный обед (прежде так было в среднем ресторане) мы истратили по 12 рублей. А у нас в квартире хорошее пасхальное кушанье.

Мне звонила на днях Поликсена Сергеевна. Катя совсем больна от ухаживаний за отцом, который теперь находится в лечебнице на Песках, а Наталья Ивановна, тоже больная, ездит к нему каждый день.

Еще звонили мне Зоргенфрей и Ал. Н. Чеботаревская, которую я увижу завтра у Реми-

ЗОВЫХ.

Сегодня утром приходил Мейерхольд. Киноматографическая фирма просит «Розу и Крест» (после Художественного театра), надо не продешевить.

Все, с кем говоришь и видишься, по-разному озабочены событиями, так что воспринимаю их безоблачно только я один, вышвырнутый из жизни войной. Когда приглядишься, вероятно, над многим придется призадуматься. Впрочем, события еще далеко не развернулись, что чувствуют более или менее все.

Я забыл написать, что у меня на столе лежит давно письмо Ремизова, где сказано: «Я очень благодарен Александре Андреевне: единственный человек принял участие в моей ратной судьбе. Освобожден я по статьям» таким-то.

Вчера пришла телеграмма от Франца тебе — он беспокоится о тебе. Мы послали ему успокоительную телеграмму.

Сегодня яркий весенний день. У меня стоит корзина мелких красных роз от Любови Александровны.

Эти дни я много ходил по книжным мага-

зидам, так как мне поручено купить книг для рабочих.

Люба много спит, отдыхает, иногда бывает грустная.

Господь с тобой.

*Саша.*

Сейчас принесли мне большую корзину ландышей — неизвестно откуда.

## **416. Матери. 15 апреля 1917.** **<Москва>**

**М**ама, 13-го я прослушал в театре весь первый акт и 2 картину второго. Все, за исключением частностей, совершенно верно, и все волнуются (хороший признак). Вишневному надо дать (взамен) несколько новых слов, Массалитинову надо еще немного разрастись, Качалов превосходен, Лужский на верном пути, Гзовская показала только бледный рисунок, паж и Алиса оставляют желать лучшего (это были не Гайдаров и не Пыжова).

Вечером я был у Гзовской. Обедал в ресторане (с П. Потемкиным). — *Вчера* (14-го) утром меня вызывал Терещенко. Мы завтракали с ним в «Праге». Он такой же милый, как был,

без голоса, говорит, что все время читает только мои стихи. Просит позвонить к нему в Петербурге (Любино письмо он читал, но о делах мы почти не говорили). Обедал я у Нелидовых (Гзовской), потом смотрел 1 1/2 акта «У Царских врат» (Художественный театр). Какая Лилина тонкая актриса! В театре взял аванс (1000 р.). Вот пока все деловое.

В театре все время заседают. Может уйти Немирович и почти наверно — Гзовская.

Уверенности в том, что пьеса пойдет на будущий год, у меня нет.

Мое намерение — скоро уехать в Петербург, где я увижусь с Терещенко. Может быть, из этого что-нибудь выйдет в смысле «устройства». Я хочу побыть совсем один, потому что все-таки чувствую угнетенность. Что потом — будет видно. Устал я без дела.

Господь с тобой.

*Саша.*

Живу в гостинице.

Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, — происходит в духе *моей* тревоги. Недаром же министр фи-

нансов, отправляясь на *первое* собрание с. р. и с. д., открыл наугад мою книгу и нашел слова «Свергни, о, свергни». Отчего же до сих пор никто мне еще не верит (и ты в том числе), что мировая война есть *вздор* (просто, полный знак равенства; или еще: «немецкая пошлость»). Когда-нибудь и это поймут. Я это говорю не только потому, что сам гнию в этом вздоре. —

## **417. Матери. 17 апреля 1917. Москва**

**М**ама, сегодня вечером я уеду и опущу это письмо на вокзале. Немирович-Данченко сказал мне, что я не понадобится в театре до сентября. Сам он не уходит, но Гзовская почти наверно уходит; что и когда будет с пьесой, не знаю. Отчасти я рад тому, что мой нынешний приезд оказался, в сущности, напрасным, потому что меня все еще почти нет, я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит. В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты «политикой». Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культу-



ра погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть справедливым, за «гуманизм» прошлого века. За уродливое пристрастие к «малым делам» история мстит историческим нагромождением событий и фактов, безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимзыкально, т. е. бессмысленно.

Сегодня мне нужно зайти проститься с Гзовской и обедать у Алексеевых. В сущности, действительно *очень большой художник* — только Станиславский, который говорит много глупостей; но он действительно любит искусство, потому что сам — искусство. Между прочим, ему «Роза и Крест» совершенно непонятна и ненужна; по-моему, он притворяется (хитрит с самим собой), хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя.

Господь с тобой.

*Саша.*

Из Петербурга я пошлю Катонину бумагу Каннабиха.

## 418. Л. И. Катонину. 19 апреля 1917. Петербург

**М**ногоуважаемый Леонид Иванович. Будучи в санатории у матери, я показлся доктору, который нашел у меня нейрастению; вот почему я обманул Вас и не приехал в субботу на Фоминой. Признаюсь Вам, что моя малая полезность дружине часто тяготит меня, но я попал в какой-то нравственный тупик, откуда трудно найти выход. На днях надеюсь послать Вам еще две книги — вместе с последней партией книг для рабочих, адресованной А. Я. Вакману. Не знаю, видели ли Вы книги, я старался подбирать их разнообразно и советовался с опытными людьми.

Передайте, пожалуйста, А. А. Надеждину, что, будучи в Москве, куда вызвал меня Художественный театр, я дважды пытался застать Конкордию Ивановну, но ее не было дома — раз в 4 часа, а другой — в 6 часов.

Жизнь кругом совершенно необычайная, трудная, грозная и блистательная. Вчера в день Интернационала город представлял зре-

лице, какого мы никогда не видали: Невский запружен людьми, лошадей и повозок нет, точно Венеция.

При всем том тишина и порядок, благодаря отсутствию полиции. «Буржуа» только и делают, что боятся: то хулиганов, то немцев, то Ленина, то анархии. В те редкие минуты, когда меня отпускает оцепенение, я мог бы с уверенностью сказать, что может произойти (и произойдет) еще многое но все не *страшно*, а это «не страшно» как-то осмысливает пестроту событий, идет красной нитью сквозь всю кажущуюся их несвязность (между прочим, об этом «не страшно» теперь думает и Горький).

Преданный Вам Ал. Блок.

## 419. Матери. 2 мая 1917. <Петроград>

**М**ама, ты, я думаю, ждешь от меня письма, но я не пишу, потому что ничего нового пока нет. Терещенку я тогда не дождался, в Государственном совете ночью были освещены окна.

Третьего дня я написал ему краткое письмо с просьбой помочь выйти из положения, но кризис длится, я думаю, что у него нет свободной минуты. Подожду еще.

Результатом моей возобновившейся переписки с Пашуканисом было получение книг и 350 рублей. Не начать ли опять с ним переговоры? Он, во всяком случае, весьма меня уважает. Кроме того, я сейчас подсчитывал, и вышло, что *большую* часть денег я уже получил с него (следует за все издание не более 3375 р., а получил я 2100). Эти цифры довольно утешительны.

Я перечитывал внимательно свои книги и поэму, и мне они понравились.

Это время я кое-кого видел. Воздух временами опять *не скучный*, пахнет опять событиями.

О твоём письме к \*\*\* я знаю, так как однажды видел ее. Ты рассчитываешь на психологические воздействия, я же в них окончательно не верю (и никогда не верил) и вижу в этом разные комбинации действия воли на расстоянии. Теперь я (и ты своим письмом) отвел эту слепую женщину от тебя и подвел к Любе. Это — род эксперимента, проявления власти; на то и жизнь художника, чтобы играть, пока играет (мы с тобой добры и не употребим игры во зло). В конце концов, то, чего ты боишься, миновало; я уже живу не этим.

Питаюсь я теперь воздухом и обещаниями.

Страшнее всего — скука. Если бы мир прекратил свои надоевшие всем и бездарные занятия (я говорю, конечно, о войне), с которыми он лезет и пристаёт (всякий волен быть бездарным в своей комнате, но навязывать свою бездарность на улице — неприлично), я бы мог, вероятно, сейчас заняться делом; но, пока я вишу в воздухе, поневоле приходится довольствоваться эпистолярными излияниями.

Вас в Шахматово я плохо себе представляю

в этом году. Главное — вопрос продовольствия для тебя.

Бумагу я тебе купил, по-моему, хорошую, там приложена объяснительная записка.

Как повернется судьба Франца, я тоже не представляю. Во всяком случае, это поворот пока мягкий и ласковый.

Если даже меня возьмут в солдаты, и это, может быть, не потрясающе. Во всяком случае, всем нужно помнить, что каждый день приносит новое, и все может повернуться совершенно неожиданно. Жалеть-то не о чем, изолгавшийся мир вступил, во всяком случае, в *ЛУЧШУЮ* эпоху. Сейчас самые большие враги (англичане, а также французы и японцы) угрожают нам, пожалуй, больше, чем немцы. Это признак, что мы устали от вранья. Нам *надоело*, этого Европа не осмыслит, ибо это *просто*, а в ее запутанных мозгах — темно. Но, презирая нас более чем когда-либо, они смертельно нас боятся, я думаю; потому что мы, если уж на то пошло, с легкостью пропустили сквозь себя желтых и затопили ими не один Реймский собор, но и все остальные их святые магазины. Мы ведь плотина, в плоти-

не — шлюз, и никому отныне не заказано приоткрыть этот шлюз «в сознании своей революционной силы».

Бром помогает, и на улице теплее, это несколько приподнимает меня над землю.

Думаю, что также и твои мысли обо мне. Господь с тобой.

Конверт распечатывал я.

*Саша.*

## **420. Л. Д. Блок. 3 мая 1917. <Петроград>**

Сегодня пришла твоя телеграмма, я тебе ответил. Твоих писем не было, двух писем от меня ты тоже не получила. Трудно теперь общаться.

Я обратился к Терещенке с просьбой, но ответа не получаю и мало надеюсь на него, потому что как раз эти дни длится кризис, ему не до того, да и хочет ли он, сомневаюсь.

Это — немного слишком высокая инстанция для таких просьб, но я обратился к нему, потому что очень люблю и ценю его, он меня любит тоже (в Москве мы виделись). Он — настоящий художник, таких почти не существу-

ет.

Повторять ли тебе просьбу о приезде? Нет особенной нужды для тебя сидеть там, а что еще будет дальше, я не знаю.

В ту минуту, как я это пишу, принесли твое письмо от 22-го, вскрытое военной цензурой. Тебе там хорошо, я вижу, жалко звать тебя, маленького. Из того, что ты пишешь о «старозаветных» барышнях, и из того, что письмо нагло вскрыто, я вижу, что в Пскове пахнет войной, т. е. гнилью и разложением, боюсь, что пахнет даже всеми теми пошляками, которые арестованы. Как ты пишешь странно, ты не проснулась еще. Уезжая отсюда, ты мне писала об угрозах ленинцев. Неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах?

Пришла квитанция на твои вещи, они только 14 апреля посланы из Оренбурга большой скоростью, багажом не приняли. В обществе, куда я заходил, обещали прислать сейчас же, когда они придут, прямо в квартиру. Будет стоить дорого (рублей 100), но деньги у



меня есть. Хочешь денег? Я пришлю.

Тетя уедет 7-го, я почти не вижусь с ней; но когда она уедет, станет как-то беспочвеннее в квартире. Что делать с Маней? Все это неважно; но как-то все один да один, думаешь свои мрачные думы, как бы не застигло врасплох «оно» (разумея под этим что-нибудь хаотическое и бессмысленное, все к той же войне, что ли, относящееся, не знаю). Про дела свои как-то не хочу тебе писать сейчас; пока на плечах картон с галуном, нет почвы настоящей, каким-то подлецом и пошляком себя чувствуешь. А я бы еще пригодился кое на что. Франца отрешили от дивизии («омоложение») и дали ему запасную бригаду.

Господь с тобой, моя Бу.

А.

## 421. Матери. 7 мая 1917. <Петроград>

Мама, сегодня я провожал тетю, которая села в поезд благополучно с людьми, собаками и вещами. Потом сидел у Идельсона, который осветил мне деятельность комиссии, о которой я тебе писал, после чего мы с ним поехали в Зимний дворец, где я познакомился с председателем (Муравьевым). Кроме первого редактора (Неведомского), будут еще два: Л. Я. Гуревич и я. Завтра же я получу работу, которую возьму на дом, и должен исполнять ее в строгой тайне, пока результаты ее не станут известны Временному правительству. «Легализован» я буду, по всей вероятности, как Идельсон, т. е., меня «временно откомандирует» непосредственно «Земгорфронт».

Так как я буду иметь возможность присутствовать и на допросах (о чем уже говорил с Муравьевым), дело представляется мне пока интересным.

Мы бегло обошли Зимний дворец, который почти весь занят солдатским лазаретом. Со стен смотрят утомительно известные Боровиковские, вечно виденные в жизненных снах

мраморы и яшмы. Версальские масштабы опять поразили меня своей ненужностью. Действительно сильное впечатление произвел на меня тронный зал, хотя материя со ступеней трона содрана и самый трон убран, потому что солдаты хотели его сломать. В этой гигантской комнате с двойным светом поразительно то, что оба ряда окон упираются в соседние стены того же дворца, и все это гигантское и пышное сооружение спрятано в самой середине дворцовой громады. Здесь царь принимал Первую думу, и мало ли что тут было.

В праздник я пойду посмотреть комнаты Николая Романова, сегодня было слишком поздно.

Из всех разговоров, впечатлений и мыслей сегодняшнего дня я многое понял (для себя). Между прочим, Адам Феликсович, которого я опять видел (на вокзале), высказал (как он часто это делает) весьма интересную точку зрения на комиссию. Он очень точно (юридически) умеет формулировать свои мысли, так что мне не раз уже удавалось «наматывать на ус» его соображения. И на этот раз тоже.

Петербург сегодня очень величественен. Идет снег, иногда густой; природа, как всегда, подтверждает странность положения вещей.

На днях я читал в газетах, что Морозов (П. О.), Сакулин и я выбраны в литературную комиссию, которая заменит Театрально-литературный комитет Александрийского театра. Будет ли все это, я еще не уверен, да до этого еще далеко.

## **422. Л. Д. Блок. 14 мая 1917. <Петроград>**

**В**чера я получил твое милое письмо. Все это прекрасно, что ты пишешь о своей жизни там, и то, что ты не проснулась, и то, что ты утром ходишь к Псковскому детинцу, и что обо мне думаешь (я заслужил это — представь себе, я в этом уверен, — несмотря на всю свою жизнь, более мрачную и более дикую, чем твоя). То, что ты пишешь, подтверждает мои вечные мысли о тебе. Но я тоже скажу, — что же мне притворяться? Мне страшно недостает тебя, все чаще, несмотря на то, что моя жизнь наполнена до краев (я все еще пишу тебе об этом, кажется, пятый

или шестой раз). Иногда так тебя не хватает, трудно сказать, например сейчас; у меня есть тихий час, посидеть бы с тобой. Завтра опять будет очень ответственный день, я буду и во дворце и в крепости. Я вижу и слышу теперь то, чего почти никто не видит и не слышит, что немногим приходится наблюдать раз в сто лет. Я надеюсь пока удержаться здесь, хотя меня опять треплют (скучно описывать возникшую обо мне переписку). У меня очень напряжены мозг и нервы, дело мое страшно интересно, но оно действительно трудное и берет много времени и все силы. Жить так внешним образом (в смысле прислуги и пр.) я тоже мог бы здесь без тебя (не скрываю), хотя кое в чем иногда хотел бы помощи (но в пустяках, право, просто — иногда времени не хватает на пустяки). Но время такое, положение такое, что не знаешь, что завтра будет; все насыщено электричеством, и сам насыщен, и надо иногда, чтобы был рядом такой, которому веришь и которого любишь. Все это я о себе (по обыкновению, но мне суждено постоянно исходить из себя, это — натура и входит в мой план), но я все жду, чтобы совпало;

и жду этого я, никогда не ошибавшийся. Господь с тобой.

А.

Говоря «деловито»: Л. Я. Гуревич здесь и делает то же, что я, рано или поздно мы с ней встретимся. Кажется, и Гайдебуров тут (?). А провинциальная антреприза летом в России 1917 года — что такое?

Все твои письма «вскрыты военной цензурой». С вещами твоими — без движения. Мамню я посылаю иногда и прошу ее исполнять некоторые поручения.

## **423. Матери. 18 мая 1917. <Петроград>**

**М**ама, очевидно, это будет последнее письмо мо в санаторию. Вчера пришло твое письмо с рецептом. Насморк у меня умеренный. Агния — очень хорошая прислуга, я много ем в те дни, когда дома. Обеды и завтраки, впрочем, есть и во дворце, пока я ими еще мало пользовался.

Говоря о «Подростке», о Ницше и Штейнере, о заключении перемирия и выгоне Милюкова и пр., ты ошибаешься только в том, что

ставишь слишком резко точки над *i*. «Демоническая» точка зрения (т. е. та, которая имеет вес, а следовательно, обладает той или другой долей власти) заключается в том, что при многих злободневных вопросах «да» и «нет» ставятся только в скобки, как бы — под ними; на поверхность же эти «да» и «нет» не всплывают, и вопрос остается как бы безответным, заданным, но не разрешенным. Стараясь определить, хотя и довольно неясно, эту позицию, я не только нахожусь под влиянием «государственной» среды, меня окружающей; я думаю, что я выражаю древнюю мысль, которая выражалась, например, греками так: «жизнь не хороша и не плоха».

Вообще стараюсь найти тот способ висения в воздухе, который всегда старалось найти человечество, взнесенное на гребень волны, на границе между «величием» и «падением».

То же, например, о чтении демократических газет; я-то читаю «Новую жизнь», газету демократическую разве по сравнению с «Речью»; читаю потому, что слишком знаю точки зрения «буржуазные» и хочу войти в курс

противоположных: скоро, может быть, все-таки переменю на эс-эрскую; во эти газеты надо привыкать читать, в них совсем нет того духа сплетни и сенсации, который нам давал ощущение новизны, нет обширных «последних известий», длинных театральных хроник, груды телеграмм от «собственных корреспондентов». Они гораздо серее, так что иногда откроешь, и кажется, что ничего особенного не случилось; там же что ни день, то события; на самом деле, шестерни движения вертятся действительно не там, куда тычут пальцем благородная и грамотная «Речь» и карикатуры на нес, вроде «Биржевок», «Нового времени» и т. п. По это ничего, что в Шахматово вы будете читать «Речь», она, но всяком случае, «широко осведомляет».

А у меня все время «большие дни», т. е. я продолжаю погружаться в историю этого бесконечного рода русских Ругон-Маккаров, или Карамазовых, что ли. Этот увлекательный роман с тысячью действующих лиц и фантастических комбинаций, в духе более всего Достоевского (которого Мережковский так неожиданно верно назвал «пророком русской рево-



люции»), называется историей русского самодержавия XX века.

В субботу я присутствовал на приеме «прессы», которую комиссия осведомляла о своих работах...

В понедельник во дворце допрашивали Горемыкина, барственную развалину; глаза у старика смотрят в смерть, а он все еще лжет своим мягким, заплетающимся, грассирующим языком; набежит на лицо тень улыбки смесь стариковского добродушия (дети, семья, дом, усталость) и железного лукавства (венецианская фреска, порфирная колонна, ступени трона, государственное рулевое колесо), — и опять глаза уставятся в смерть. — После этого мы опять ездили в крепость, опять слушали Белецкого. Вчера в третий раз Белецкий в крепости растекался в разоблачениях тайн того искусства, магом которого он был, так что и в понедельник мы будем опять его слушать, он уже надоел немного, до того услужлив и словоохотлив. Зато в перерыве Муравьев взял меня, под предлогом секретарствования, в камеры. Пошли в гости — сначала к Воейкову (я сейчас буду работать над

ним); это — ничтожное довольно существо, не похож на бывшего командира гусарского полка, но показания его крайне интересны; потом зашли к кн. Андронникову; это — мерзость, сальная морда, пухлый животик, новый пиджачок (все они повторяют одинаково: «Ах, этот Андронников, который ко всем приставал»). Князь угодливо подпрыгнул — затворить форточку; но до форточки каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского.[64] — Потом пришли к Вырубовой (я только что сдал ее допрос); эта блаженная потаскушка и дура сидела со своими костылями на кровати. Ей 32 года, она могла бы быть даже красивой, но есть в ней что-то ужасное. В коридоре мы хотели с Идельсоном попробовать их пищу (как пробовали постоянно пищу рабочих), но не успеть за Муравьевым, который не ходит, а летает. Пришли к Макарову (министр внутренних дел) — умный чиновник. — Потом к Кафафову (директор департамента полиции); этот несчастный восточный человек с бараньим профилем дрожит и плачет, что сойдет с ума: глупо и жалко. — Потом к Климовичу (директор департамента полиции) — очень

умный, пронзительный жандармский молодой генерал, очень смелый, глубочайший скептик. Все это вместе производит сильное впечатление: надеюсь, что еще пойду, навещу всех главных обитателей Трубецкого бастиона. Очень красивы на некоторых из них синие халаты со стоячими воротниками.

Меня опять треплют: в ответ на телеграмму Муравьева Лодыженский (начальник дружины) ответил, что Идельсон уже взят, а выемка из дружин «ценных сотрудников» (это про меня!) вредит их деятельности, поэтому он *просил бы* отменить просьбу об откомандировании меня. Муравьев ответил письмом (сочиненным Идельсоном), что мне поручена очень ответственная работа, которая займет непродолжительное время, поэтому он *настаивал бы* на моем откомандировании. Не знаю, что выйдет из этого, меня это уже не волнует, говорят, можно потом продлить еще. Кстати, твоя боязнь пинских болот преувеличена. — Ой, какое длинное письмо, я уж устал.

Grujdige Frau Alexandra Romanow[65] получила наивное немецкое письмо погостить в

каком-то замке в Германии. Конечно, письмо это получили мы, а не она.

Читал я некоторые распутинские документы; весьма густая порнография.

Добужинский звонил, говорил, что работа идет усиленным темпом. В театр (Художественный) поступила Тиме, есть вероятность, что Изору дадут ей или Кореневой. Не знаю. Надо кончать письмо. Господь с тобой, целую тебя.

*Саша.*

Люба написала очень хорошее письмо из Пскова, как она ранним утром была в детинце.

## 424. Матери. 26 мая 1917. <Петроград>

**М**ама, напиши, как ты в Шахматово. Мне тревожно.

В последние дни я немного разбился в работе, потому что слишком часто бывал во дворце по пустякам. Был только интересный допрос О. В. Лохтиной (поклонницы Илиодора и Распутина) и Виссарионова (вице-директор департамента полиции). На днях я пойду по всем камерам. Слушать буду еще Штюмерра и Протопопова. Я приму участие в составлении отчета, т. е. мне будет поручено написать какую-нибудь часть. Муравьев предлагает характеристики всех.

На основании последнего приказа Керенского я должен идти в войска. Министр юстиции возбудил перед военным министром Временного правительства ходатайство об отсрочке для меня (и для нескольких евреев). По-видимому, до 1 сентября, если такую отсрочку дадут. Все почти молодые у нас (с которыми мне больше всего приходится иметь дело) — евреи. Есть — неприятные, но боль-

шей частью — «приятные».

Так обстоит мое дело. Посмотрим, что дальше будет.

К Любе я посылаю портниху. Люба довольна, играет каждый день. Вещи ее наконец пришли.

Я «сораспинаюсь со всеми», как кто-то у А. Белого. Действительно, очень, очень тяжело. Вчера царкосельский комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья. И это тяжело. Вообще все правы — и кадеты правы, и Горький с «двумя дуншами» прав, и в большевизме есть страшная правда. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, «старые» и «новые», сидят в нас самих; во мне по крайней мере. Я же — вишу, в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба. При всем том Петербург опять необыкновенно красив. Господь с тобой.

*Саша.*

Тетю поцелуй.

425. Л. Д. Блок. 28 мая 1917.  
<Петроград>

**М**оя маленькая Бу, прежде всего — о вещах... Я дал Мане 100 р., в прошлый раз дал ей на дорогу 20 р., спроси с нее и возьми себе, что останется.

Я не склонен особенно оспаривать то, что ты пишешь. Могу сказать только одно: если это действительно правда (а в этом много правды, но есть и другие), это только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название «большевизма». Если бы ты видела и знала то, что я знаю, ты бы отнеслась все-таки иначе; твоя точка зрения — несколько обывательская, надо подняться выше.

Мне на днях или через некоторый промежуток времени надо идти в войска (если ты читала приказ Керенского). Я еще никаких решений не принял и не вижу ясно, а много работаю. Вчера обошел я 18 камер. Когда мозги от напряжения чуть не лопаются (кроме того, что нужно держаться определенной умственной позиции, надо еще напрягать вни-

мание, чтобы не упустить чего-нибудь из виденного и слышанного), тогда легче, а когда отойдешь, очень не по себе: страшно одиноко, никому ничего не скажешь и не с кем посоветоваться. Не знаю, как дальше все будет, не вижу вперед.

А.

## **426. Матери. 30 мая 1917. <Петроград>**

**М**ама, разная крупа куплена и послана вчера, лучше не нашли. Не беспокойся о моей еде, прислуга хорошая, я ем много, иногда даже слишком; зато когда бываю на службе, ем меньше, так что равновесие не нарушается. Мяса много, хлеб хороший (большей частью черный), масло бывает. Ем много яиц, здесь и во дворце. Скажи тете, что я ее благодарю за письмо. Напиши, какое на тебя впечатление производит Шахматово?

Следует иметь в виду, что скоро могут остановиться все железные дороги (угля нет). Пока об этом говорят большей частью правые (Родзянко и пр.), но на это есть реальные основания.



Если тебе случится разговаривать с тетей Софой, она, вероятно, будет держаться отрицательного взгляда на верховную следственную комиссию (как ее муж и сын). Этому тоже не удивляйся, такое мнение (мною глубоко *не* разделяемое) существует даже в среде самой комиссии. Его держатся профессионалы-юристы, для которых юридические нормы представляют священное и никому не доступное место: место, недостижимое даже для «чрезвычайных обстоятельств». Разумеется, тут есть не всегда уловимая тяга к контрреволюции.

У меня за последние дни есть несколько приятных впечатлений; во-первых — от городских выборов. Я подал голос за социалистический блок (с.-р. с меньшевиками) после многих размышлений и очень был рад, когда выяснилось потом, что швейцар, кухарка, многие рабочие тоже подали голоса именно за этот список (а всех было *семь*, так что для них выбор был труден), а всякие «домовые комитеты» фрондируют. Вообще многие ауспичии, которым я, как всегда, склонен верить, говорят мне пока, что надо быть с социалистами.

Во-вторых, вчера во дворце после мрачных лиц «бывших людей», истерических сцен в камерах приятно было слушать Чхеидзе, которого допрашивали в качестве свидетеля. Неумный, страшно добрый старый меньшевик, для себя уже ничего ему не нужно. В нем есть детское. В допросе участвовал остервененный Н. Д. Соколов, по слухам, автор приказа № 1. Во время допроса вошел Керенский: в толстой военной куртке без погон, быстрой походкой, желто-бледный, но гораздо более крепкий, чем я думал. Главное — глаза, как будто несмотрящие, но зоркие, и — ореол славы. Он посидел пять минут, поболтал, поздоровался, простился и ушел. — Чхеидзе рассказал одно весьма неприятное обстоятельство из недавнего прошлого. Комиссия встретила это не сморгнув, но я думаю, что это будет иметь последствия.

На улице, среди многих других, я встретил В. М. Латкина, который спрашивал о тебе. Он был болен и всю революцию пролежал в постели, очень исхудал и, конечно, всем недоволен.

Письма идут все хуже. Напиши, от каких

чисел мои письма ты получила.

Кажется, я не писал тебе, что на днях утром я обходил с Муравьевым камеры — обошли 18, в том числе Сухомлинова (и жены его, стервы), Штюрмера, Протопопова, Маклакова, Курлова, Беляева, Дубровина, Вырубовой. Поразило меня одно чудовище, которое я встречал много раз на улицах, с этим лицом у меня было связано разное несколько лет. Оказалось, что это Собецанский, жандармский офицер, присутствовавший при казнях. В камере теперь — это жалкая больная обезьяна.

Очень мерзок старик Штюрмер. Поганые глаза у Дубровина. М-те Сухомлинову я бы повесил, хотя смертная казнь и отменена. Довольно гадок Курлов. Остальные гораздо лучше. С нами ходил доктор Манухин, а в коридорах поверял караулы новый командующий Петроградским округом, генерал Половцов — бравый. Было несколько сцен тяжелых. После этого долго совещались во дворце редакторы, т. е. Неведомский, Червинский, Любовь Яковлевна и я. Больше, конечно, так болтали.

Женя звал меня крестить в воскресенье, но я из-за Горемыкина не мог, и он записал меня

крестным отцом. Теперь я уже сызнова погружаюсь в тайны департамента полиции, потому что работаю над Белецким, недаром высидел все его бесконечные допросы.

Писать письма стоит только заказные, остальные, очевидно, пропадают.

Господь с тобой.

*Саша.*

Погода хорошая, иногда жарко, цветет черемуха (отцветает) и сирень.

## **427. Матери. 7 июня 1917.**

### **<Петроград>**

**М**ама, Люба была у меня два дня, я ее водил в оперетку в Луна-Парк, вообще она была довольна. Я примирился с тем, что она живет в Пскове, потому что она там поправится немного, она все жила в городе, а там — деревенское положение.

Здесь последние дни страшная духота и жара.

Пашуканис прислал мне деньги (350 рублей еще) и написал, что он делает опыт печатанья! (а где договор? Довольно странно, но мне некогда об этом думать). Кроме того, сего-

дня я получил за 3 недели 460 р. жалованья, так что я получаю в месяц министерские деньги.

Работа ответственная. Сегодня Муравьев, прогнав одного из редакторов (за леность), поручил мне привести в известность и порядок все отчеты, что будет нелегко при беспорядке, которого в комиссии много. У следователей трудно выцарапать допросы, не говоря о важных документах.

Сегодня я должен бы был быть в кадетском клубе, куда m-me Кокошкина, муж ее и В. Д. Набоков созывают несколько литераторов для решения разных предварительных вопросов о подготовке к Учредительному собранию. M-me Кокошкина убеждала меня по телефону в прелести моих стихов и моей любви к России, я же старался внушить ей, что я склоняюсь к с.-р., а втайне — и к большевизму и что, по моему мнению, сейчас именно любовь к России клонит меня к интернациональной точке зрения, и заступился за травмированного всеми Горького. Я хотел пойти, но сейчас только вернулся из дворца с двух допросов, поздно обедал и устал.

В эти дни я получил два твоих письма.  
Господь с тобой.

*Саша.*

## **428. Матери. 11 июня 1917. <Петроград>**

**М**ама, тетя написала мне, что у тебя опять болят спина. Я думаю, что этому главная причина — спор с Кублицкими. Спорить не поможет; эти несчастные слепые люди не видят, какой страшный вред они приносят России, сами того не ведая. Чиновничьи тосты втихомолку (даже такие невинные) могут вконец подорвать государство; нужно быть душевно безграмотным, чтобы не знать, что один тост родит сотню «большевиков» (так же, как один «рескрипт» или «акт» родил их миллион).

Несмотря на то, что положение России сейчас критическое (я много знаю), я продолжаю, в общем, быть оптимистом, чего сам себе не могу объяснить...

Сегодня я весь день работал во дворце, стараясь привести в приблизительный порядок тот хаос, который там господствовал. Посте-

пенно это удается.

Один вечер я провел в «дворцовой комму-не», где следователи без пиджаков пьют чай с вареньем. Один из них — самый талантливый (русский, специалист по «темным силам») рассказывал мне о Распутине — очень просто и глубоко.

Вчера был большой день: в крепости мы с Муравьевым и И. И. Манухиным обходили наших клиентов. Были «раздирающие» сцены. Штюрмер рылся на полу в книжонках и все, дурацки заплетаясь языком, просил у меня еще (Муравьев ушел куда-то, и мы были вдвоем с прокурором здешней судебной палаты — кроме солдат).

Протопопов дал мне свои записки. Когда-нибудь я тебе скажу, кого мне страшно напоминает этот талантливый и ничтожный человек. Сухомлинов погано всплескивает своими ладошками. Есть среди них твердые люди, к которым я чувствую уважение (Макаров, Климович), но большей частью — какая все это страшная шваль! Когда они захлебываются от слез или говорят что-нибудь очень для них важное, я смотрю всегда с каким-то

особенным, внимательным чувством: революционным.

После этого мы обходили крепость: Н. А. Морозов все искал остатки того рavelина, в котором он сидел. Потом мы были в заседании крепостного гарнизонного комитета (вследствие недавнего крупного скандала). Муравьев говорил речи, иногда — очень хорошо (он социалист). Товарищи отвечали, все обошлось хорошо — до следующего раза. Вечером у меня были Идельсон и Егоров (Лодыженский опять пространно пишет обо мне, опять будут отписываться).

Сам я погружен в тайны департамента полиции; мой Белецкий, над которым я тружусь, сам строчит — потный, сальный, в слезах, с увлечением, говоря, что это одно осталось для его души. В этой грубой скотинке есть детское. — Господь с тобой.

*Саша.*



## 429. Матери. 15 июня 1917. <Петроград>

**М**ама, сегодня я пишу мало, очень устал, далеко ходил. Эти дни у меня было несколько интересных разговоров и интересный допрос Маклакова (и неинтересный — Штюрмера, несмотря даже на пикантные подробности; до такой степени этот господин — пустое место).

От Пашуканиса я получил письмо с пунктами условий, на которые не знаю еще, соглашаться или нет. Заниматься корректурой времени нет. В общем, пункты сводятся к тому, что он будет ежемесячно платить мне по 350 р. до каких-то пор, рассчитывая все это из 15%, как и прежде, и печатать театр в 5000, а стихи в 10 000 экз. (если удастся по типографским условиям).

Сейчас (поздно вечером) вдруг зашел Идельсон, который сегодня подробно допрашивал Вырубову (по поводу Штюрмера, который ему поручен).

«Исполнительная комиссия» дружины наконец откомандировала меня, прислав мне

выписку из протокола заседания, где сказано, что они «выражают глубокое сожаление по поводу утраты редкого по своим качествам товарища» и считают, что «если состав Верховной Следственной Комиссии будет пополняться такими людьми, то Революционная Демократия должна быть спокойна и уверена в том, что изменники и деспоты отечества не избегнут справедливого приговора народного Правосудия» (!!! Вот что наделала переписка с Лодыженским!!!).

«Есть упоение в бою» — слова Председателя «Пира во время чумы».

Господь с тобой.

*Саша.*

## 430. Матери. 19 июня 1917. <Петроград>

**М**ама, ты мне прислала очень милые «кадетские» стишки (к m-lle Лурье); но меня ужасно беспокоит все кадетское и многое еврейское, беспокоит благополучием, неумением и нежеланием радикально перестроить строй души и головы. Здесь, у сердца Революции, это, конечно, особенно заметно: вечные слухи и вечная паника (у кадетов она выражается в умной иронии, а у домовладельцев и мелких мещан, вроде прислуги, чиновников и пр., - в отъездах на дачу, запираании подъездов и пр.; но, по существу, разницы нет). На деле — *город все время находится в состоянии такого образцового порядка, в каком никогда не был* (мелкие беспорядки только подчеркивают общий порядок), и охраняется ежечасно *всем революционным народом*, как никогда не охранялся. Этот факт — сам по себе — приводит меня иногда просто в страшное волнение, вселяет особый род беспокойства; я чувствую страшное одиночество, потому что ни один интеллигентный че-

ловек — умнее ли он или глупее меня — не может этого понять (но крайней мере я встречаюсь с такими). Кроме того, я нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с *социалистической* психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны).

Я это пишу под впечатлением дворца, в котором (в противоположность крепости) я ненавижу бывать — это царство беспорядка, сплетен, каверз, растерях.

За эти дни я был на Съезде Советов С. и Р. Д., в пленарном заседании, где Муравьев делал доклад о положении нашей работы. Перед этим говорил американец — представитель Конфедерации труда; он долго «поучал» собрание, которое сохраняло полное величие, свойственное русским (смеялись тихо, скучали не слишком заметно, для приличия аплодировали). Американец обещал всякую помощь, только бы мы воевали и учились; Чхе-

идзе, отвечая на это «приветствие», сказал коротко и с железным добродушием: «Вы вот помогите нам, главное, поскорее войну ликвидировать». Тут уж аплодисменты были не американские. Я думал, слушая: давно у них революции не было. Речь Муравьева, большую и довольно сухую, приняли очень хорошо — внимательно и сочувственно.

На другой день допрашивали в крепости беднягу Виссарионова и Протопопова, которого надо было развлечь (он изнервничался, запустил в поручика чайником, бился в стену головой и пр., - ужасный неврастеник). Развлекли немножко. Было очень душно, и грозы. Я работаю очень много. Господь с тобой.

*Саша.*

431. Л. Д. Блок. 21 июня 1917.  
<Петроград>

**М**илая, сейчас пришло твое письмо от 15-го, вскрытое. Работаю я много, бывают дни интересные, бывают просто трудные, пустых почти не бывает. Вообще за это время моей жизни будет что вспомнить, хотя я очень устаю временами и чувствую, как меняюсь, старею, что ли, и государство затягивает меня в машину.

У меня лежат для тебя два журнала и еще книжечка в подарок.

Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия. Мы так молоды, что в несколько месяцев можем совершенно поправиться от 300-летней болезни. Наша Демократия в эту минуту действительно «опоясана бурей» и обладает непреклонной волей, что можно видеть и в крупном и в мелком каждый день. Я был на Съезде Советов Солдатских и Рабочих Депутатов и вообще вижу

много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым — бесследно прошедшим.

Все это — только обобщения, сводка бесконечных мыслей и впечатлений, которые каждый день трутся и шлифуются о другие мысли и впечатления, увы, часто противоположные моим, что заставляет постоянно злиться, сдерживаться, нервничать, иногда — просто ненавидеть «интеллигенцию». Бели «мозг страны» будет продолжать питаться все теми же ирониями, рабскими страхами, рабским опытом усталых наций, то он и перестанет быть мозгом, и его вышвырнут — скоро, жестоко и величаво, как делается все, что действительно делается теперь. Какое мы имеем право бояться своего великого, умного и доброго народа? А могли бы своим опытом, купленным кровью детей, поделиться с этими детьми.

Господь с тобой, милая.

А.

## 432. Матери. 30 июня 1917. <Петроград>

**М**ама, сегодня пришло твое письмо от 24-го, т. е. опять 6 дней.

Нечего удивляться, если письма будут опаздывать, а может быть, и пропадать. Во всех ведомствах, и у Церетелли, приблизительно одно: выгнали много «опытных» чиновников, которые штрафовали, были строги и т. д. Я на это, как на многое подобное, не склонен раздражаться, так как это — революция. Если пролетариат будет иметь власть, то нам придется долго ждать «порядка», а может быть, нам и не дождаться; но пусть будет у пролетариата власть, потому что сделать эту старую игрушку новой и занимательной могут только дети.[66]

Скажи тете, что квартира пока не освобождается и надежды на это почти нет. Город переполнен вообще. Где сейчас А. Белый, я точно не знаю.

Эти дни было два интересных допроса (генерала Иванова и Челнокова). Остальное — заседания, «внутренняя политика» наша, в



которую мне приходится втягиваться, что раздробляет силы. Пока мне удалось размежеваться, хотя и не вполне еще, с одним «жидом», которого я считаю очень вредным существом; тем более приходится подчеркивать уважение к «евреям» действительно дельным. Это — всё уже — подробности жизни, дипломатический обиход, необходимость. В самой работе, настоящей, открываются горизонты довольно далекие, но тут уже вступает иногда моя «личная» жизнь. Так что вообще музыка усложняется. Но ведь вся жизнь наших поколений, жизнь Европы бабочка около свечи; я с тех пор, как сознаю себя, другого не видел, не знаю середины между прострацией и лихорадкой; этой серединой будет только старческая одышка, особый род головокращения от полета, предчувствие которого у меня уже давно есть.

Насчет «продуктов» — все «хуже»; пока мне это очень полезно, иногда я ем только раз в день и чувствую себя от этого крылатей. Господь с тобой.

*Саша.*

## 433. Матери. 12 июля 1917. вечером <Петроград>

Мама, сейчас я получил твое письмо от 5 июля, на телеграмму же, посланную после, ответил срочной телеграммой в день получения (9 июля).

Сегодня в городе неприятно — висит объявление Церетелли (от министерства внутренних дел), масса команд, солдатских конных и пеших патрулей. Вообще поворот направо.

На фронте — тоже неприятно. Я за эти дни опять много всякого переживал, гулял очень много и работал также. На огромном допросе Крыжановского (интересном, так как он умный человек) мне пришлось быть секретарем и придется быть редактором, так что — много возни с документами. В перерывах этого допроса все время врывалось новое (был день потрясающих слухов), Родичев испускал какие-то риторические вопли и плакал, Неведомский с ним сцеплялся и тоже плакал (все, разумеется, касалось «ленинцев» — здесь и на фронте). Я довольно много говорю с Ольден-

бургом, который очень милый и простой человек, хотя и совсем другого склада. Вчера мы с ним долго работали во дворце над стенограммами (с секретарем). Сегодня я заходил временами на допрос Хвостова (старого — дяди, а не племянника), а больше занимался мелкими делами.

Опять я не вижу будущего, потому что проклятая война затягивается, опять воняет ей. Многое меня очень смущает, то есть я не могу понять, в чем дело. Всякая вечерняя газетная сволочь теперь взбесилась, ушаты помой выливаются. Сейчас я прочел в вечерней газетке (прежде всего — во французской «L'Entente»): «Le rfttablissement de la peine de mort».[67] Хотя и «на фронте», «принципиально», в «случае бегства», но все-таки это меня как-то поразило <...>

Ем я много, чувствую себя хорошо. Сегодня что-то не хочется писать, настолько опять не видно будущего.

Господь с тобой.

*Саша.*

## 434. Матери. 16 июля 1917. <Петроград>

**М**ама, вчера только я получил твое письмо от 4 июля, а третьего дня — тетино от 7 июля! Из писем я увидал, что вы собираетесь ехать сюда. Может быть, это под влиянием 4 июля, которое теперь ликвидировано (до следующего раза), и ты раздумала? Тут сложные вопросы: во-первых, тебе надо набраться сил и относительного спокойствия к исключительно трудной зиме, и, может быть, в Шахматово это все-таки достижимей. Во-вторых, квартира тети. Найти, кажется, нет надежды. Тетя пишет, что вы вернетесь на твою квартиру. Как же это будет для тебя и для нее? Что у нас трудно, я тоже знаю, потому что 1 августа вернется Люба, которая (надеюсь) будет здесь жить. Во всяком случае, напиши поскорее, когда приблизительно вы думаете приехать. Тогда нужно будет выставить некоторые окна в твоей квартире (пока не выставленные, что и лучше от пыли, но перед приходом нужно, чтобы обновился воздух; я туда не заходил, но с Сашей разговаривал как-то).

Вопрос о дровах (для всех) будет крайне труден, как и о «продовольствии». Белого хлеба здесь совсем нет, имей в виду; фунт мяса стоит 2 р. 40 к., курица — 7 р., или 2.50 фунт. Мне все это ничего, но как вам с тетей, не знаю. Сколько у тебя денег, тоже не знаю.

Тетя пишет, не приеду ли я. Это и фактически трудно устроить, и, кроме того, я не возьмусь, потому что держусь колеи, без которой всякой работе — конец. Не спорю, что это было бы хорошо и для тебя и, может быть, для меня, ненадолго; но я даже в Псков, который близко, не смог съездить, боюсь выбиться. Один уезжаю, страшно люблю Шуваловский парк, как будто это — второе Шахматово и как будто я там жил, так что мне жалко уходить оттуда. Иногда на это уходит даже целый день, но, забывая одно (работу), я, так сказать, не вспоминаю (или мало вспоминаю) другое, так что мне на следующий день легко вернуться в дело. Вообще, если бы не работа, я бы был совершенно издерган нервно. Работа — лучшее лекарство; при всей посылости, которая есть во всякой работе, в ней же есть нечто спасительное. Все является совер-

шенно в другом свете, многое *омывается* работой. Тебе бы тоже очень надо, если бы можно было придумать.

Обобщая далее, я должен констатировать, что, как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания в одной полосе я несколько притупился к событиям, утратил способность расчленять, в глазах пестрит. Это — постоянное следствие утраты пафоса, в данном случае революционного (закон столь же общий, сколько личный). Поэтому я не умею бунтовать против кадет и с удовольствием почитываю иногда «Русскую свободу», которой прежде совсем не понимал (кстати, попроси тетю привезти сюда номера, которые у нее, потому что мне продолжают присылать все; у тети, кажется, *два номера* — тонкие тетрадки). Однако я сейчас же хочу оговориться, что это — временно, так как, любя кадет по крови, я духовно не кадет и, будучи во многом (в морали и культурности) ниже их, никогда не пойду с ними; утрачивая противорес эмоциональный (ибо я, отупев к событиям, не в состоянии сейчас «осветить» их, «внедриться» в революцию — термины деп.

полиции), ищу постоянно хотя бы рационального (читаю социалистические газеты, например). Но, так как качания маятника во мне медленнее, он не добрасывается эти дни до стихии большевизма (или добрасывается случайно и редко); и я несколько «отдыхаю», работая и гуляя. На будущей неделе предстоит много дела.

Вчера я попал случайно к Жене Иванову, видел его жену — которая тебе просила кланяться и которая изменилась к лучшему, как будто успокоилась от ребенка, — и свою крестницу. Они меня накормили многими кушаньями. Они получают по 175 р. в месяц, живут в пустой квартире, где нанимают дорогую и сырую комнату, но купили себе диван хороший и пр., так что — не так плохо, как можно было думать.

Правые (кадеты и беспартийные) пророчат Наполеона (одни первого, другие третьего). В городе, однако, больше (восхитительных для меня) признаков русской лени и лишь немногие парижские сценки. Свергавшие правительство частью удрали, частью попрятались. Бабы в хвостах дерутся. Кронштадтцы, приез-

жавшие сюда 4 июля, в знак высшего нахальства имели ружья на веревках. Когда их арестовывали, они, главное, просили не отбирать ружей, потому что стыдно вернуться в Кронштадт не только не свергнув правительства, но и без оружия. И много такого. Когда устанешь волноваться, начинаешь видеть эту восхитительную добродушную сторону всех великих событий.

Завтра мы будем допрашивать Хвостова-племянника («толстого Хвостова»), величайшего среди всех наших клиентов сплетника и шута.

Здесь тоже всегда горят — не леса, а торф. Думаю, весь сгорит, тушить-то лень. Господь с тобой.

*Саша.*



## 435. П. Б. Струве. <30 июля 1917. Петроград>

Глубокоуважаемый Петр Бернгардович. Тщательно взвесив для себя ваше предложение вступить в число членов «Лиги русской культуры», я пришел к заключению, что только одно обстоятельство могло бы служить для меня препятствием: это обстоятельство выражается и конкретно и символически в отсутствии среди учредителей имени Горького, или, говоря еще больнее и острее: *есть* М. В. Родзянко и *нет* Горького. Понимая всю фактическую невозможность совмещения, принимая во внимание всю полемику июльских дней, не принадлежа ни к какой партии, я тем не менее воспринимаю это болезненно и остро, имею потребность сказать, что нужно изыскать какие-то чрезвычайные средства для обретения Горького, хотя бы для того, чтобы его имя прошло через «Лигу русской культуры» (по-человечески, что ли, как это делается, избрать «почетным членом», а потом — пусть отказывается и ругается). Ведь первоначально нужно, чтобы родился звук,

который потом может оформиться, облечься в плоть «слова» или «дела», или не оформиться остаться звуком и отлететь; но дело в том, что всякий скажет, что в истории русской культуры имя автора «Исповеди» и «Детства» знаменательнее, чем имя председателя IV Думы, что бы ни произошло.

Знаю, что эта боль — не только моя, личная, и что она выразилась, например, еще на днях в письме С. Ф. Ольденбурга, одного из учредителей Лиги; и потому, зная это, я с благодарностью принимаю ваше приглашение и прошу вас передать мою глубокую благодарность временному комитету Лиги.

Что касается вопроса об участии моем в первом публичном собрании, то я хочу этого, думаю об этом серьезно и буду думать, но боюсь, что, кроме моих постоянных занятий (я редактирую стенографические отчеты Чрезвычайной следственной комиссии), у меня могут теперь как раз явиться еще более спешные и ответственные (в той же комиссии); так что (в этом случае и при том разъединении, которое существует в моей собственной душе) я не сумею ничего обдумать и написать

без ущерба для служебной работы.

Искренно преданный вам *Ал. Блок*.

## **436. Матери. 4 августа 1917.** **<Петроград>**

**М**ама, по твоему последнему письму я вижу, что твое беспокойство все больше питается шахматовской глушью. Тем не менее, хотя я очень понимаю это, я считаю, что теперь тебе надо еще там остаться некоторое время, что это будет, в общем, полезнее. Теперь здесь уже, так сказать, «неинтересно», в смысле революции. Россия опять вступила в свою трагическую (с вечной водевильной примесью) полосу, все тащат «тягостный ярем». Другими словами, так тошно, что даже не хочется говорить. Спасает только работа, спасает тем, что, организуя, утомляет, утомляя, организует. Люба и работа — больше я ничего сейчас не вижу.

Третьего дня допрашивали Гучкова. Трудно быть мрачнее его и говорить мрачнее. Вчера я приступил к работе для отчета, весь день делал подготовку. Сегодня пошел на допрос Милюкова, но слышал только его первые фра-

зы, потому что очень торопился: председатель поручил мне сделать спешно, к завтрашнему дню, большую редакционную работу (для Керенского; я уже ее сейчас сделал).

Прилагаю деловые записки о тетиной квартире.

Могу прибавить, что я уже читаю «Русскую волю»; да и вообще — «рожденный ползать летать не может»!

Купаюсь все-таки. Завтра надеюсь, после еще одного заседания, вырваться купаться. Господь с тобой.

*Саша.*

## 437. Андрею Белому. 9 апреля 1918. <Петроград>[68]

Милый Боря.

Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist'ом.[69] Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.

В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от не прошедшей еще усталости.

Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга; а мне показалось, что Ты «испугался», как одиннадцать лет назад — «Снежной маски» (тоже — январь и снег). Хо-

чу, чтобы письмо передал Тебе Разумник Васильевич, с которым мне часто бывает хорошо и «особенно» (уютно и тревожно вместе). Крепко Тебя целую.

Твой Ал. Блок.

**438. Матери. 26 апреля 1918.  
<Петроград>**

Это верно, что я «в вате», но мне не менее трудно жить, чем тебе, и физически, и душевно, и матерьяльно; кроме того, я с утра до вечера пишу, сосредоточиваясь на одной теме, очень мучающей меня и трудной для меня. У Любы тоже большие затруднения, и она не в духе. Оттого у нас в квартире такая тяжелая атмосфера. Потому не будем ссориться.

*Саша.*

## 439. Ю. П. Анненкову. 12 августа 1918. <Петроград>

**М**ногоуважаемый Юрий Павлович.  
Пишу Вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо, — т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы, столь разные и разных поколений, — говорили с Вами сейчас, — мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже

отдельные части, тем решительнее должен я спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепноый рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит *изящество* всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже — на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» поглубже и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатриконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: малень-



кий, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и *уходит*. «Христос с флагом» — это ведь — «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и *главное* — за ночной темнотой), то т?од яг/ж мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, — это была бы *исчерпывающая обложка*. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош *кухонный ноле* в руке; но рот опять старый. А на целое я опять смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, *постороннее* воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко *уменьшать* рисунки. Нельзя ли, по-Ва-

шему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Кати», которое, по-моему, настолько grande style, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уже Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

*Александр Блок.*

**440. А. А. Санину. 10 сентября 1918.  
<Петроград>**

**М**ногоуважаемый и дорогой Александр Акимович.

Спасибо Вам за письмо и за предложение. Готового для экрана у меня нет ничего, но я не раз думал писать для него; чувствую, однако, всегда, что для этого надо найти в себе новую технику. Кинематограф, по-моему, ничего общего с театром не имеет, ни в каких отношениях не конкурирует с ним; один другого убить не может; потому и разговоры «о кинематографе и театре», которые были одно

время в моде, казались мне нереальными. Я долго любил кинематограф таким, каков он был; потом стал охладевать — уж очень крепко захватила его в свои руки обывательщина и пошлость «великосветских» и т. п. сюжетов.

Но ведь двигатель — все двигатель, и лента — все лента. К ним ничего не пристаёт. Актеру, воспитанному на Шпажинском, нельзя дать Шекспира, а механике все можно вверить, надо только суметь воспользоваться именно ее услугами и не утруждать колес и рычагов тем, что они сами все равно брезгливо откинут, не перемолов, а только поломавшись.

Вот всякие такие мысли бродят, а как их пустить в дело, не знаешь. Надо время, чтобы сосредоточиться на этом. Ближайшим образом я хотел бы узнать от Вас, дорогой Александр Акимович: 1) чего Вы ждете от меня? Обработки ли какого-нибудь литературного сюжета из известных или моего собственного? Истории, фантастики, психологии? — Самому мне разное брезжит. — 2) Каковы материальные условия, на какую сумму денег можно рассчитывать, как они получаются —

сразу, или постепенно?

Буду ждать Вашего ответа, крепко жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*

## **441. А. В. Луначарскому. 18 октября 1918. <Петроград>**

**М**ногоуважаемый Анатолий Васильевич. Письмо это доставит Вам сотрудник Театрального отдела и издатель «Алконоста» Самуил Миронович Алянский.

Вот в чем заключается моя большая к Вам просьба: дайте нам разрешение выпустить по старой орфографии книги, означенные в прилагаемой справке, сданные в три указанные государственные типографии до 1 сентября.

Позвольте обратиться к Вам и с третьей просьбой, также касающейся моих книг: я продал свой «Театр» и три книги стихов издательству «Земля», все они печатаются в 1-й государственной типографии, которая теперь переходит к издательству Смольного. По слухам, вопрос о форме ликвидации частных заказов решился на совещании Вашем с Зиновьевым и Поповым.

Работа над моими книгами приходит к концу, осталось допечатать 17 листов. Я очень пострадал бы, если бы две последних книги выбросили из машины, не дав их закончить, тогда как две первых уже вышли и продаются.

Последние корректуры мной давно уже сданы, но Смольный не позволяет печатать. Кстати, и эти книги, сданные в работу в июне — августе, печатаются по старой орфографии.

Я был бы очень обязан Вам, если бы Вы помогли нам с тов. Алянским довести до конца эти работы, которые замедлились не по нашей вине.

С искренним уважением *Александр Блок.*

442. В. С. Миролубову. 5 декабря  
1918. Петроград

**М**ногоуважаемый и дорогой Виктор Сергеевич.

«Ямбы», которые посылаю Вам для журнала отдельной заказной бандеролью, одновременно с этим письмом, предназначались для III книжки прекратившегося «Нашего пути». Если напечатаете их, буду очень рад, так как мне они кажутся одними из лучших моих стихов. Все десять стихотворений, кроме четвертого, были напечатаны в разных местах в разное время. Денег хорошо бы больше, сколько — установите сами. Строк во всех стихах вместе — 217. Если можно сейчас получить деньги, хорошо бы.

Сердечно Вам преданный *Ал. Блок.*

443. В. А. Зоргенфрею. 7 декабря  
1918. <Петроград>

Дорогой Вильгельм Александрович.  
В издательстве Горького и Тихонова «Всемирная литература» (о котором Вы, вероятно, слышали) я взялся редактировать Гейне. Предстоит дать Гейне *нашей* эпохи — труд большой и ответственный. Редакторские полномочия насчет старых и новых переводов у меня есть, т. е. я могу делать все, что найду нужным.

Чем больше читаю старые переводы, тем больше ужасаюсь. Оказывается, русские профессора и версификаторы не умели совладать не только со стихами, но и с прозой Гейне. Русского Гейне, несмотря на два полных собрания и множество отдельных переводов, не существует, есть только либеральный суррогат. В этом Вы меня поймете без лишних слов.

О том, чтобы просить Вас принять участие в переводах как стихов, так и прозы, я думаю с тех пор, как получил эту работу. Теперь, когда сам начал переводить, думаю особенно, и мог бы сейчас же предложить Вам конкрет-

ную работу, сначала — над прозаической вещью. Если бы Вы принципиально согласились, мы сговорились бы с Вами, повидавшись.

«Любуша», которую Вы, надеюсь, переводите, включена в список и в том издательстве, и я сказал Тихонову, что Вы переводите ее.

Может случиться, что и мы (Театральный отдел) и они возьмут ее у Вас для разных, не конкурирующих между собой, изданий.

Решайте с Гейне и поскорей звоните, пишете или прямо приходите ко мне. Деньги они, разумеется, платят. Работа и очень нужная, и очень благодарная, и срочная.

Жму Вашу руку.

*Ал. Блок.*



## 444. П. О. Морозову. 12 февраля 1919. <Петроград>

Глубокоуважаемый Петр Осипович.

Эти дни я все возвращаюсь к Вашей «Истории драматической литературы и театра» (том 1, не знаю, был ли 2-й) и имею большую потребность сказать Вам, как меня не только учит, но и радует эта книга — с каждым чтением все больше — своей сжатостью, простотой, ясностью и языком. То, что мне слышится в Ваших речах о любом предмете, я нахожу и на каждой странице этой книги и для себя называю это «пушкинским» в Вас. Простите за эту лирику, она — от чистого сердца, а кроме того, клонит к делу, которое заключается в следующем: мне кажется, что Ваша книга обладает двумя качествами редкими и драгоценными также и в данную минуту: во-первых, сжатость и насыщенность, во-вторых — простота, соединенная с научностью. Поэтому я думаю, что не только надо, но и совершенно возможно (несмотря на бумажный голод) выпускать книгу отдельными главами, так что из этой книги вышли бы четыре; вероятно, у

Вас если не в печатном, то в рукописном виде есть такие же главы и об английском, немецком, французском театрах и т. д. Эти книжки, мне кажется, должны получить и получают самое широкое распространение и способны стать одним из «сезамов», о которых я все думаю, потому что закваска их — не либерально-интеллигентская, не «высокомерно-популярная», а научная и художественная. Простите, что не могу воздержаться от высказывания своих впечатлений, очень уж я лично благодарен Вам за эту книгу. Не согласится ли Историко-театральная секция приступить к ее изданию?

Искренно преданный Вам *Ал. Блок.*

**445. В. А. Зоргенфрею. 25 апреля  
1919. <Петроград>**

Дорогой Василий Александрович.

1) Не записывайтесь в союз, о котором мы говорили (если собираетесь), — там произошёл крупный скандал, и все мы (с Горьким) ушли. 2) Вы еще не передали II части «Путевых картин»? — Меня немного беспокоит, не пропала ли она? Сегодня я спрашивал, но мне сказали, что Вы взяли с собой. 3) Сегодня разговоры о повышении гонорара поднимали, но пока безрезультатно (инициатива от Комиссариата, а не от издательства).

*Ваш Ал. Блок.*

## 446. М. Ф. Андреевой. 27 апреля 1919. <Петроград>

Глубокоуважаемая Мария Федоровна.

Пока не поздно, хочу Вам сказать следующее: боюсь, что я опрометчиво взял на себя дело, в котором не разберусь и которое сильно отвлечет меня от прямых обязанностей и обязательств, которые я должен исполнять. Вчерашнее заседание убедило меня в том, что главное, в чем бы я мог принести некоторую пользу, уже сделано, а в остальном, что надо создавать, я совершенно не сведущ.

Репертуар, в сущности, готов, он сам собой выработался очень цельно, и его легко защитить от каких бы то ни было упреков. Я сказал бы так: «Разбойники» и «Орлеанская Дева» звучат в воздухе как весь Шиллер, а театр уже показал, что он может справиться с Шиллером. Вопрос о переводе этих трагедий (годятся ли старые, нужны ли новые или надо исправлять) решится во «Всемирной литературе», потому что Шиллер входит в ее рамки. К Шиллеру примыкает Гюго: в вопросе о переводе «Эрнани» также компетентна «Всемир-

ная литература». Шекспир — основание всякого репертуара и до сих пор; о нем спору быть не может; по-моему, «Отелло», в переводе которого едва ли кто победит Вейнберга, я бы дополнил комедией, например «Виндзорскими кумушками». Это бы, кстати, восполнило недостаток в репертуаре комедии — недостаток, мне кажется, не слишком ощутительный в наше трагическое время. Дальше идут *новые* пьесы — «Алексей», «Рванный плащ» я прочел; хорошая пьеса, но я очень серьезно боюсь, что Амфитеатров не только внешне, но и внутренне искажил ее. Не говоря о том, что стихи — часто просто не стихи, отсутствует не только ритм, но и размер, — я боюсь, что всей пьесе, при помощи сочных словечек и залихватского тона, сообщена вульгарность, идущая вразрез с ее подлинной демократичностью. Смешны, но *не так* и *не потому* смешны поэты петраркисты, как думал Амфитеатров, стоящий далеко от стихов вообще и, очевидно, увлекавшийся иногда пародией на русскую современность, ненавистную ему, но Амфитеатров как-то по-буренински просто не разбирается, все валит в одну

кучу. У него, в сущности, нет настоящей разницы между словарем петраркистов и словарем их противников, или эта разница подчеркивается улично, — я сказал бы, как в театрах «миниатюр». Театру убыли не будет, если сделать все это тоньше, а в таком виде это может подействовать на дурные инстинкты и сослужить еще одну плохую службу культуре — прозвучать как фельетон из «Нового времени». Вообще такие стихи, при общем неуменье русских актеров читать стихи, о котором Вы, конечно, знаете, могут загубить пьесу, самый текст которой пока расхлябан; лучше бы уж была честная проза; в таком виде пьеса покатится по наклонной плоскости. Я бы сказал, что следует просто заново перевести; если же этого нельзя, надо дать пьесу и подлинник знающему итальянский язык стихотворцу (например, П. О. Морозову, которого считаю я большим мастером языка, в противоположность большинству профессоров, он действительно проникнут Пушкиным, над которым всю жизнь работал).

Относительно «Начальника шайки» я не совсем с Вами согласен. Эта роль очень важ-

ная, благодаря последнему монологу, но она все-таки не главная. Главный — «Новичок» (кстати, едва ли он так называется у Сем-Бенелли; в слове «новичок» — что-то маленькое, плюгавенькое). Однако практически едва ли это меняет дело: Начальника шайки надо дать большому актеру, потому что в заключительном монологе заключена демократическая душа пьесы. Надо знать, как произнести прекрасные слова: «Мы не сумели сберечь и потеряли неизвестного нам человека, но он — брат наш» (у Амфитеатрова и это сказано ужасно коряво).

К «Дантону» я прибавил бы еще одну драму или пьесу того же духа, который, я сказал бы, больше всего сближает театр с современностью (об «Алексее» не говорю, потому что не прочитал его, но заранее могу сказать, что пьеса — другой породы). Я бы назвал «Каталину» Ибсена, который, несмотря на все юношеские недостатки, нужен, как хлеб, я сказал бы, злободневен. Кроме того, он внес бы большое разнообразие в репертуар. Три таких пьесы, как «Рванный плащ», «Каталина» и «Дантон», надо будет напоить духом одной и той

же музыки. Их герои, счастлива или несчастна их судьба, проникнуты одной могучей волей, которая их несет часто вопреки им самим и вопреки тому мраку, который в их душах царствует; и стоят они под одной звездой. Все это — обреченные, жертвы будущего.

Вот и весь репертуар — восемь пьес; чертеж этого репертуара такой:

Середина — неподвижный центр — Шекспир, *вечное*, общечеловеческое (в этом центре «Виндзорские кумушки», которых едва ли удастся поднять, заменяются «Алексеем» — тоже не современное, а общечеловеческое). Одна стрелка — Шиллер и Гюго, другая — Ибсен, Сем-Бенелли и Левберг. Все это вместе — хороший волевой напор, хороший таран.

На этом кончается вся моя пригодность к делу; следующий шаг — свести с этим репертуаром главные наличные артистические силы, доказать Юрьеву, Монахову и Максимову, что они именно это могут и хотят играть. Это уж дело политики, такта, в котором я всегда боюсь просто напорить. Относительно вторых ролей я просто не судья, я слишком мало знаю актеров. Тем более в хозяйственных де-



лах. Что же остается? Опять «засесть», чего очень не хотел бы. Уходя из Театрального отдела, я уходил, собственно, от специфически театрального, от «театральщины» в литературное, как в стихию более родную, где, мне кажется, я больше могу сделать. Тут же, мне кажется, будет очень много специфически театрального; люди — очень милые, но боюсь, что между нами вечно будет пролегать что-то, мешающее нам понять друг друга, как почти всегда — между актерами и писателями; этой помехи я до сих пор почти не испытывал только в одном месте — в Художественном театре, а здешние люди — не таковы, да им и не надо быть другими, чем они есть. Этот репертуар (в части Шекспира и Шиллера) должны нести театральные, а не литературные люди. Что касается нового, то тут потребен какой-то другой режиссер, вероятно, а кто бы это мог быть, я совершенно не берусь придумать. Нет сейчас такого. Нет, — значит, надо идти на компромисс, которых так много в современном театре. Как уладить этот компромисс, можете придумать Вы, как очень близкая театру, а я не сумею. Я не думаю, чтобы

выхода из положения не было, но я буду думать над положением, а рубить узлы, как в данном случае надо, не сумею.

Если бы я мог уйти в дело с головой, я бы взялся, может быть; но, думаю, Вы меня поймете, зная, сколько у меня других дел и как они непохожи на это по своему ритму. Я хотел бы еще, чтобы Вам не пришло в голову, что мой отказ произошел под чьим-либо влиянием; я даже с близкими не говорил, а исключительно про себя весь вчерашний день взвешивал это дело и пишу Вам только результаты собственных размышлений; пишу откровенно, искренно и с чувством давней моей преданности Вам и веры в Вас. Целую Вашу руку.

*Александр Блок.*

P. S. Хотел говорить по телефону, но он испорчен.

## 447. М. Ф. Андреевой. 10 августа 1919. <Петроград>

**М**ногоуважаемая Мария Федоровна. Судя по тому, что вся сцена носит название *первой* («Вечье-увечье»), это — первый акт большой пьесы. Иначе нельзя объяснить и распределение материала.

В картине — три куса, переходы от первого ко второму (первая драка) и от второго к третьему (появление Василия Буслаева) — очень интересные. Но весь первый кусок (суд) невыносимо растянут. Очевидно, всем этим лицам суждено играть роли в других актах, иначе — не стоило бы их так долго показывать. Для представления я просил бы Амфитеатрова очень сократить всю сцену суда.

Приятно, когда люди, особенно сам Василий, начинают говорить по-былинному. Остальные стихи — обыкновенные, амфитеатровские, т. е. до крайности не крепкие, антипушкинские. Лучше бы — честной прозой.

По существу — все изрядно упрятано в «литературу», сглажено, как у Ал. Толстого (или Римского-Корсакова), отчего эта самая рус-

ская мордобойная «правда» выходит немного слащавой, книжной, даже... газетной. Есть, однако, и живые слова и та «сочность», которая свойственна Амфитеатрову всегда.

Однажды девица в кинематографе сделала кокетливое замечание: «Мужчины всегда дерутся». Так вот и про эти картины будут делать зрители такие же замечания. Очень характерно, что первая картина из «Истории человеческой культуры», написанная в 1919 году, полна драк и безобразий. Так оно и есть.

Ваш Ал. Блок.

#### **448. В. М. Жирмунскому. 16 августа 1919. <Петроград>**

**М**ногоуважаемый Виктор Максимович. Позвольте Вас просить дать мне Вашу статью «Гейне и романтизм». Я очень хочу поместить ее в VII томе редактируемого мной собрания сочинений Гейне в виде предисловия по существу (небольшое деловое предисловие напишу сам). VII том, это — «К истории религии и философии в Германии» и «Романтическая школа».

Редакционная коллегия «Всемирной лите-

ратуры» уже одобрила мой план — поместить Вашу статью. Хочется прибавить, что мне лично Ваше согласие доставило бы большую внутреннюю радость. Заново писать не нужно; по-моему, то, что напечатано в майской книжке «Русской мысли» 1914 года, и сжато, и содержательно, и способно сильно взволновать тех, кому не безразлична тема статьи.

Нельзя ли просить Вас только вот о чем: 1) писать Фарнгаген фон Энзе; 2) привести цитированное Вами в новых переводах, сообразно всему плану издания; 3) — можете сделать только Вы: вставить где-нибудь абзац об «иронии» романтиков и «иронии» Гейне, определив различие между ними с классической четкостью; 4) исключить по своему усмотрению несколько фраз, не соответствующих по тону статье как *предисловию*; 5) может быть, если найдете нужным, — забронировать статью от будущих нападений еще несколькими увесистыми библиографическими ссылками.

Искренно Вас уважающий Ал. Блок.

449. Н. И. Комаровской. 16 августа  
1919. <Петроград>

Многоуважаемая Надежда Ивановна.

Первая часть монолога — лирическая, женская, потому я заканчиваю ее шестью рифмованными строками.

Вторую часть *необходимо* сохранить, как для всей пьесы, так и потому, что Новичок взволнован ею не менее (а может быть, и более), чем первой. В ней — социальный мотив и твердость южанки, потому из шести строк пять последних имеют твердые (мужские) окончания.

Искренно уважающий Вас Ал. Блок.

P. S. Кроме того, в *мужских* окончаниях монолога есть мост к четвертому акту («взвою волчицей» и пр. — как будто психология высокой античной трагедии).

**450. М. Ф. Андреевой. 24 сентября  
1919. <Петроград>**

**М**ногоуважаемая Мария Федоровна. Есть вот какое дело: ко мне обратился с просьбой А. Г. Горнфельд; еще в «мои времена» при репертуарной секции ТЕО была образована группа инсценировки социальных и революционных романов под редакцией Горнфельда. Все сводится к тому, что несколько человек (Венцель, Л. Урванцов и Ф. Латернер) работали под его руководством и инсценировали «Человека, который смеется», «Риенци» и, кажется, что-то еще. Такой репертуар, конечно, нужен сейчас (вспоминаю, что инициатива этой группы исходила от Луначарского), и Горнфельд знает дело. Отчасти была мысль о том, чтобы дать ему такую домашнюю работу с жалованьем, так как другой, не домашней, он по своей болезни не может выполнять. Теперь он беспокоится по поводу ликвидации и просит передать Вам, не найдете ли Вы возможным включить группу в Отдел театров и зрелищ. — Жалованье получал только он (как член бюро), остальные ра-

ботали сдельно.

О себе хочу Вам сказать, что я с большим волнением готовлюсь поговорить с нашими актерами о *романтизме* (меня об этом просили Лаврентьев, Мичурин и еще некоторые). — «Рваный плащ», чем больше я думаю о нем как о пьесе, все более представляется мне *не* нашим, ненужным для нас, может быть, даже *вредным* для труппы романтического театра. Бенелли сам не первоклассен; далее — его *изуродовал* Амфитеатров; далее — мы его сократили, сделали *сценичным* и окончательно вынули из него то *главное*, что хотел сказать автор. Так эта лавина катилась и все обрастала посторонним, и блестящий талант Болеславского и великолепная оперность Аллегри, может быть, увеличили *опасность*, которую я чувствую; я больше всего боюсь, что мы, сами того не желая, *льстим толпе*, угрожаем ее разрушительным инстинктам. Владимир Васильевич не был на высоте, между тем только исполнитель главной роли Новичка мог бы спасти пьесу, показав, что *народ силен не только тем, что он — оборванец, хулиган и в лучшем случае — блаженненький из*



*кинематографа*, что в Новичке заложено существенно *НОВОЕ*.

Я боюсь, что публика повалит на фарсовую игру Бороздина, на блестящее зрелище, проникнутое волей большого режиссера, и что ни одна душа не *освежится* от этого зрелища, не проникнется высоким; зато некоторые души найдут новую пищу для мелкого озлобления и для жалкого варварского *разрушения по мелочам*.

Вы опять скажете мне, зачем я не подумал об этом прежде. Я действительно не предвидел того, что получится в целом; я совсем не умею предвидеть ближайшего; часто смотрел с увлечением на работу Болеславского, радовался отдельным находкам и успехам, а потом пошла лавина, лавину не удержишь, а все театральное — лавинообразно.

Мне представляется, что мы должны теперь *исправляться*, как после какого-то не слишком благородного поступка. Я все больше думаю о том, что нам надо *резко повернуть*. Пока государство идет навстречу, надо *успеть* заразить толпу (и труппу в том числе) истинно высоким; в этом направлении мы

никогда не зайдём слишком далеко.

У меня есть несколько предложений, вот они: надо тронуть Байрона; существует Hebbel, его не игранная в России «Ирод и Марианна» (переведено во «Всемирной литературе») — предвестие Ибсена; есть «Чаттертон» Виньи — трагедия поэта; есть «Кин» Дюма, наконец, даже «Бедный Иорик» Тамайо-и-Бауса. Со всем этим мы не выйдем из области высокого, к которому надо стремиться неуклонно, пока ядро трупы им горит; ошибками и отступлениями мы можем испортить молодых актеров, тогда уж будет поздно.

Ваш Ал. Блок.

**451. В. Е. Аренс. 28 октября 1919.  
<Петроград>**

**М**ногоуважаемая Вера Евгеньевна.

Среди всего, что нас окружает, я совсем разучился и думать и говорить в том направлении, какое в Вашем письме. К тому же сейчас как-то все обострилось, и это отражается на семье. Каждый почти день — большой труд, кончающийся победой или поражением, чего прежде не бывало, и личное ушло и все еще не знает, где, среди каких развалин, ему вновь начинать расти, и начинать ли.

Вот какое у меня чувство; с ним я читал Ваше письмо, оно мне было приятно, но немного страшно в том месте, где Вы говорите о «человеке». О себе это плохо знаешь и не всегда в это веришь.

Кроме того, я привык теперь говорить с массой людей о «делах» и совершенно отвык говорить с кем-нибудь одним о «душе». Несмотря на все это, письмо было приятно. Да, вероятно, в нас с Вами есть сходное: я тоже не совсем русский, как и Вы, кажется; и другое.

Будем ждать, чтобы судьба нас познакомила.

*Ал. Блок.*

**452. Э. Ф. Голлербаху. 21 августа  
<1920. Петроград>**

**М**ногоуважаемый господин Голлербах. Сорок лет — вещь трудная и для публики неинтересная, потому я не хотел бы, чтобы об этом писали. — Первая глава «Возмездия» была напечатана в «Русской мысли» (январь 1917 г.), а ненапечатанное скоро выйдет во 2-м Но «Записок мечтателей» издательства «Алконост».

С уважением *Ал. Блок.*

**453. Э. Ф. Голлербаху. 17 сентября  
1920. <Петроград>**

Спасибо Вам за книжки, Эрих Федорович. «Чары и таинства» я уже читал, имея в виду Ваше желание быть в Союзе поэтов. Мне лично показалось их недостаточно. Не знаю, что скажут другие (Лозинский, Кузмин, Гумилев).

2-й номер «Записок мечтателей» уже набирается, а 3-й будет неизвестно когда. Если Вас это не смущает, пришлите мне посмотреть копии писем Розанова.

Вы цитируете разные мои старые стихи, а мне странно их читать; и какие там «короли» и «придворные», когда «все равны»?

*Ал. Блок.*

454. Г. П. Блоку. 22 ноября 1920.  
<Петроград>

**М**ногоуважаемый Георгий Петрович. Не звоню Вам, потому что мой телефон до сих пор не могут починить, хотя и чинят. Рад буду увидаться с Вами и поговорить о Фете. Да, он очень дорог мне, хотя не часто приходится вспоминать о нем в этой пыли. Если не боитесь расстояний, хотите провести вечер у меня? Только для этого созвонимся, я надеюсь, что телефон будет починен, и тогда я сейчас же к Вам позвоню, — начиная со следующей недели, потому что эта у меня — вся театральная.

Искренно уважающий Вас *Ал. Блок*.

Я живу: Офицерская, 57 (угол Пряжки), кв. 23, тел. 612-00.

**455. Г. П. БлокУ. 10 декабря 1920.  
<Петроград>**

Спасибо Вам за письмо, дорогой Георгий Петрович. Оно мне очень близко и понятно. Да, конечно, все, что мне нужно, это чтобы у меня «нахмурилась ночь». Что касается «нельзя писать», то эта мысль много раз перевертывалась и взвешивалась, но, конечно, она — мысль, и только, покамест. А я чем старше, тем радостнее готов всякие отвлеченности закидывать на чердак, как только они отслужили свою необходимую, увы, службу. И Вы великолепно говорите о том, что все-таки живете, — сторонитесь или нет, выкидывают Вас или нет.

Не принимайте во мне за «страшное» (слово, которое Вы несколько раз употребили в письме) то, что другие называют еще «пессимизмом», «разлагающим» и т. д. Я действительно хочу многое «разложить» и во многом «усумниться», — но это — не «искусство» для искусства, а происходит от большой требовательности к жизни; от того, что, я думаю, то, чего нельзя разложить, и не разложится, а

только очистится. Совсем не считаю себя пессимистом.

Не знаю, когда удастся зайти к Вам, не могу обещать, что скоро, но, очевидно, наша встреча была не последней. Всего Вам лучшего.

*Ваш Ал. Блок.*

## **456. Н. А. Нолле-Коган. 8 января 1921. <Петроград>**

Дорогая Надежда Александровна.

<...> Я бесконечно отяжелел от всей жизни, и Вы помните это и не думайте о 99/100 меня, о всем слабом, грешном и ничтожном, что во мне. Но во мне есть, правда, 1/100 того, что надо было передать кому-то, вот эту лучшую мою часть я бы мог выразить в пожелании Вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое: пусть, если только это будет возможно, он будет человек *мира*, а не войны, пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное семьёю годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разрушать, как во всех нас, греш-



ных, — то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего *совесть*, пусть она хоть обезвреживает его ядовитые, страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богато и ближайшее будущее.

Поймите, как я говорю это, говорю с болью и с отчаянием в душе; но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет. Жалейте и лелейте своего будущего ребенка; если он будет хороший, какой он будет мученик, — он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней.

Преданный Вам *Александр Блок*

457. Э. Ф. Голлербаху. 12 февраля  
1921. <Петроград>

**М**ногоуважаемый Эрих Федорович.  
Вы вчера ушли, и я не успел Вам сказать ничего о портретах. Потом ушел и я, и они остались в Доме литераторов, кажется, их взял Гумилев.

В портретах признаю удачные стихи среди слабых и падающих.

Но главное то, что оригиналы взяты в их чертах застывших, данных. Не показаны никакие возможности, ничего от будущего, а это — единственное, что может интересовать.

Кажется, Вы «эстет» — всеядный, т. е. Вам нравится бесконечное количество образов, вещей, душ, не имеющих общего между собою. Не так ли?

Мне бы хотелось получить от Вас свой портрет, также — рецензию о «Седом утра», о которой Вы писали.

Всего Вам лучшего.

*Ал. Блок.*

## 458. Матери. 12 мая 1921. <Петроград>

**М**ама, вчера я приехал из Москвы с Алянским. На вокзале встретила Люба с лошадью Билицкого. Твое письмо я получил 9-го в Москве, оно меня несколько успокоило. Читать пришлось 6 раз (3 больших вечера и 3 маленьких). Успех был все больше (цветы, письма и овации), но денег почти никаких — организаторы ничего не сумели сделать, и условия скверные. Выгоду, довольно большую, я получил от продажи «Розы и Креста» театру Незлобина, где она пойдет в сентябре. В этой продаже помогали Коганы и Станиславский. Это помогло мне также отклонить разные благотворительные предложения, которые делали Станиславский и Луначарский, узнав о моей болезни. У меня была кремлевская докторша, которая сказала, что дело вовсе не в одной подагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цынготные опухоли и расширение вен; велела мало ходить, больше лежать, дала мы-

шпьяк и стрихнин; никаких органических повреждений нет, а все состояние, и слабость, и испарина, и плохой сон, и пр. — от истощения. Я буду здесь стараться вылечиться. В Москве мне было очень трудно, все время болели ноги и рука, рука и до сих пор болит, так что трудно писать, читал я как во сне, почти все время ездил на автомобилях и на извозчиках.

Я был у Каменевых в Кремле и у Кублицких. Им живется, по-видимому, хуже, Адам Феликсович совсем старый. Андрей был очень нежен и трогателен. Фероль худой и злится.

Москва хуже прошлогодней, но все-таки живее Петербурга. Меня кормили и ухаживали за мной очень заботливо. Надежда Александровна тебе, вероятно, напишет. — Сейчас ноги почти не болят, мешает главным образом боль в руке, слабость и подавленность.

Тетю поцелуй и пиши. Можно ли спать, и есть ли еда? Какие отношения?

*Саша.*

13 мая. Евгения Федоровна узнала сегодня, что ее брат Сережа в Москве умер от тифа, хо-

чет ехать в Москву, я пробую устроить ей командировку.

**459. Н. А. Нолле-Коган. 20 мая 1921.  
<Петроград>**

Дорогая Надежда Александровна.  
Чувствую себя вправе писать Вам карандашом, в постели и самое домашнее письмо; потому что мне кажется уже после нынешней Москвы наше знакомство и наша дружба — старыми, укрепившимися.

Больше недели прошло с тех пор, как я приехал. Это время я провел дома, сначала — на розовых креслах и наконец уже в постели, с жаром, что и до сих пор продолжается. Доктор, не опровергающий ничего, что сказала Александра Юлиановна, считает, что без санатории не поправить ни душевного, ни физического состояния. Я чувствую, что он прав, хотя думать об этом, как обо всем, мне, конечно, лень. Тем не менее, может быть, следовало бы сделать последнюю в жизни попытку «поправиться» (не знаю зачем). От кого зависит попасть, например, к Габаю на июль и август! Как этого достичь?

Ваши дела гораздо серьезнее моих. Напишите мне, как *Вы чувствуете себя* <...> У Вас мне было хорошо, насколько только можно в таком состоянии, в каком я сейчас нахожусь.

Поверьте, что я глубоко благодарю и ценю Вашу удивительную заботливость и чуткость, доброту и мудрую мягкость Петра Семеновича. Вне атмосферы Вашего дома — в Москве хуже, чем было в прошлом году; или я не мог воспринимать ничего от болезни; все эти публичные чтения, несмотря на многое приятное, что даже до меня доходило, — были как тяжелый, трудный сон, как кошмары.

Выгоды моего положения заключаются в том, что я так никого и не видал и никуда не ходил — ни в театр, ни в заседания; вследствие этого у меня появились в голове некоторые мысли, и я даже пробую писать. Любовь Дмитриевна очень заботится обо мне. Мама живет в Луге пока благополучно. Мой телефон давно и, вероятно, надолго сломан.

Я вспоминал «Розу и Крест», еще раз проверил ее *правду*, сейчас верю в пьесу, при встрече с Оск. Блумом мог бы рассказать ему много. Не давал ли знать о себе Шлуглейт, не вы-

яснилось ли чудо с Брайловским?

Книжки скоро вышлю, Сердечно приветствую обоих Вас, Любовь Дмитриевна просит кланяться. Ездите ли Вы на дачу? В своем ли уме еще серый кот?

*Ваш Ал. Блок.*

**460. М. С. Шагинян. 22 мая 1921.  
<Петроград>**

**М**ногоуважаемая Мариэтта Сергеевна. Ваш «Театр» произвел на меня сильное впечатление. Сначала, когда я стал читать, казалось книжным, производным, но скоро я почувствовал щекотание в горле. Правда, я сейчас очень слаб физически, но зато и туп душевно тоже достаточно, так что расшевеливаюсь с трудом. Все больше мне понравилось (я все читал только раз) «Чудо на колокольне», потом «Истинносуженый», т. е. русские. Во второй — много штампованного, правда — это «в манере», но мера не совсем соблюдена. Не знаю, меньше ли мне нравится «Разлука по любви»: меня смущает подзаголовок «соната» и растянутость. «Дом у дороги» тоже близок. Совсем не нравится мне

«Самопознание» (не понимаю и как-то не интересно понять, может быть, ошибаюсь).

Говоря о недостатках, которые есть в большем или меньшем числе во всех драмах, я бы повторил все-таки, что книжность и производность есть; язык не особенно органический (общий порок «символистов», от которого ни один из нас не был свободен); главный же недостаток, всего труднее определимый, тоже общий нам всем: некоторая торопливость, короткое дыхание, неравномерное внимание ко всем частям, иногда — предпочтение более легких путей — более трудным, недостаточная пристальность взгляда.

Элементарный пример: все «отрицательные типы» «Чуда на колокольне» Вы хватаете сверху, одним талантом, не влюбившись в них, так сказать, «сатирически». В этом больше блеску, но это более преходяще, чем короткий разговор игумена и монахов, за которым, мне кажется, стоит более твердое знание предмета.

О подробностях языка и пр. будет говорить всякий читатель, и всякий о своих, и я тоже — о своих; но не стоит, общее побеждает.



«Неизвестный» — немного ex machina[70] (?).

Я Вам все это налагаю откровенно, не думаю, чтобы Вам было это неприятно, хотя мало Вас знаю. Прежде всего у меня нет тени желания говорить неприятное, напротив, я хочу сказать приятное. Знаю я Вас мало по своему всегдашнему нелюбопытству; Вы никогда не хотели никому бросаться в глаза, и вот я, например, не знаю даже «Orientalia».

С «Алконостом» я говорил и еще поговорю. Мне бы хотелось «Чудо на колокольне» в «Записки мечтателю». Поговорите с ним, он передаст Вам рукописи и всегда бывает в лавке Дома искусств.

*Ал. Блок.*

**461. К. И. Чуковскому. 26 мая 1921.  
Петроград**

Дорогой Корней Иванович.  
На Ваше необыкновенно милое и доброе письмо я хотел ответить как следует. Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит. Я думал о русской санатории около Москвы, но, кажется, выздороветь можно только в настоящей. То же думает и доктор. Итак, «здравствуем и посейчас» сказать уже нельзя: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка.

В Вас еще очень много сил, но есть и в голосе, и в манере, и в отношении к внешнему миру, и даже в последнем письме — надорванная струна.

«Объективно» говоря, может быть, еще поправимся.

*Ваш Ал. Блок.*

**462. Матери. 28 мая 1921.  
<Петроград>**

**М**ама, Л. А. Дельмас едет сегодня в Лугу и отвезет письмо. Писать мне нечего интересного; кроме болезни, ни о чем не могу писать и трудно — слабость. У меня уже вторые сутки — сердечный припадок, вроде твоих, по словам Пекелиса, я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38. Принимаю массу лекарств, некоторые немного помогают. Встаю с постели редко, больше сижу там, лежать нельзя из-за сердца. Теперь, кажется, припадок проходит.

Третьего дня приходил Женя Иванов. Я почти не говорил с ним, потому что плохо себя чувствовал. Делать тоже ничего не могу. Ну, господь с тобой.

*Саша.*

463. В. А. Зоргенфрею. 29 мая 1921.  
<Петроград>

Дорогой Вильгельм Александрович.  
Спросите Евдокию Петровну на всякий случай, не заказана ли кому-нибудь уже «Герман и Доротея»?

Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цынги, нервов — такой сердечный припадок, что не спал уж две ночи.

Ваш Ал. Блок.

Поклонитесь, пожалуйста, Александре Николаевне.

## 464. Матери. 4 июня 1921. <Петроград>

**М**ама, доктор Пекелис знает все мои болезни, ты ошибаешься, точно так же отравления никакого не было и вообще не может быть.

О болезнях писать нестерпимо скучно, но больше не о чем писать. Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и т. д. В чем дело, неизвестно. Если нервы несколько поправятся, то можно будет узнать, настоящая ли это сердечная болезнь или только неврозы. Нужно понизить температуру. Я принимаю водевильное количество лекарств.

Ем я хорошо, чтобы мне нравилась еда и что-нибудь вообще, не могу сказать. Люба почти всегда дома. Незлобии будет платить за пьесу в разные сроки. Вот, кажется, все.

*Саша.*

Спасибо за хлеб и яйца. Хлеб настоящий, русский, почти без примеси, я очень давно не ел такого.

# Примечания

Устно (франц.).

[^^^]

## 2

Здоровый дух в здоровом теле (*лат.*)

[^^^]



«Добра и зла» (лат.)

[^^^]

«Как бог» (*лат.*)

[^^^]

Все полно богов (*греч.*)

[^^^]

Оставим это (*франц.*)

[^^^]

# 7

Тут что-то, кажется, не так?

[^^^]

# 8

Разумное основание (*франц.*)

[^^^]

Всех других (*итал.*)

[^^^]

Порочный круг (*лат.*)

[^^^]



Арлекино-Лесного царя (нем.)

[^^^]

# 12

Ни в слове, ни в числе (*греч.*)

[^^^]

Обеда (нем.)

[^^^]

После обеда (нем)

[^^^]

«Курить воспрещается» (нем.)

[^^^]

Приветствовали жизнь (*франц.*)

[^^^]

«Для немногих» (нем.)

[^^^]

«Жена, облеченная в солнце» (нем.)

[^^^]



Мистический анархизм — это не школа, а течение в новой русской поэзии (*франц.*)

[^^^]

Описка Блока (вместо: Любовь)

[^^^]

Воспоминания (*греч.*)

[^^^]

Устно (франц.).

[^^^]

Непротивление (*франц.*)

[^^^]

Буквально: опрокинутый крем, давленная земляника, битое мясо (*франц.*)

[^^^]

«Песнь о Нибелунгах» (нем.)

[^^^]

Умении жить (*франц.*)

[^^^]



«Нечаянная Радость» — книга, которую я, за немногими исключениями, терпеть не могу.

[^^^]

Лимонный напиток (*франц.*)

[^^^]

Прекрасная Франция (*франц.*)

[^^^]

«Прощение св. Маргариты» *(франц.)*

[^^^]

Молитесь за него (*франц.*)

[^^^]

Прощенные дни (церк.) (*франц.*)

[^^^]

«Чернь» (франц.)

[^^^]

Школу изящных искусств (*франц.*)

[^^^]



Домовладелец (*франц.*)

[^^^]

Полудевы (*франц.*)

[^^^]

«Забавляйся со своими мальчишками!»  
(франц.)

[^^^]

Полевая стража (*франц.*)

[^^^]

Камни *(франц.)*

[^^^]

Заниматься любовью (*франц.*)

[^^^]

Успения (франц.)

[^^^]

На отдыхе (*франц.*)

[^^^]



«Черный лев» (франц.)

[^^^]

«Я все знаю» (*франц.*)

[^^^]

«Умереть за родину» (франц.)

[^^^]

Августа (*франц.*)

[^^^]

«Ты видел Джиоконду? Она нашлась! — Десять сантимов!» *(франц.)*

[^^^]

«Джиоконда! Ее улыбка вместе с конвертом —  
все за десять сантимов!» *(франц.)*

[^^^]

Ботаническом саду (*франц.*)

[^^^]

**50**

Поезде малой скорости (нем.)

[^^^]



«А, это по-английски, не правда ли? „Water“ — вода, „Minne“ — любовь, не так ли?» *(франц.)*

[^^^]

такую жару (*франц.*)

[^^^]

«Кусок Горацио» (нем.)

[^^^]

Катарсис (очищение) (*греч.*)

[^^^]

Северный вокзал (*франц.*)

[^^^]

Гладкая дощечка (чистый лист) *(лат.)*

[^^^]

Купальни (*франц.*)

[^^^]

Пляж (*франц.*).

[^^^]



«Belle vue» — буквально: красивый вид (*франц.*)

[^^^]

Отвращение, скука (*лат.*)

[^^^]

Знает ее наизусть, потому что в Озерках жила «одна женщина».

[^^^]

Понять ничего нельзя? Объясню когда-нибудь лучше!

[^^^]

В смысле «сверхъестественности» — наперекор естеству.

[^^^]

Между прочим, большую Библию на столе я заметил только у Андроникова.

[^^^]

Милостивейшая государыня Александра Романова (*нем.*)

[^^^]

Увы, на деле будет компромисс, взрослые, как всегда, отнимут у детей часть игрушек, урежут детей.

[^^^]



«Восстановление смертной казни» (франц.)

[^^^]

С 1918 г. все письма датированы по новому стилю.

[^^^]

Духом земли (*нем.*).

[^^^]

ex machina — «бог из машины» (*лат.*). - т. е.  
неожиданная развязка

[^^^]